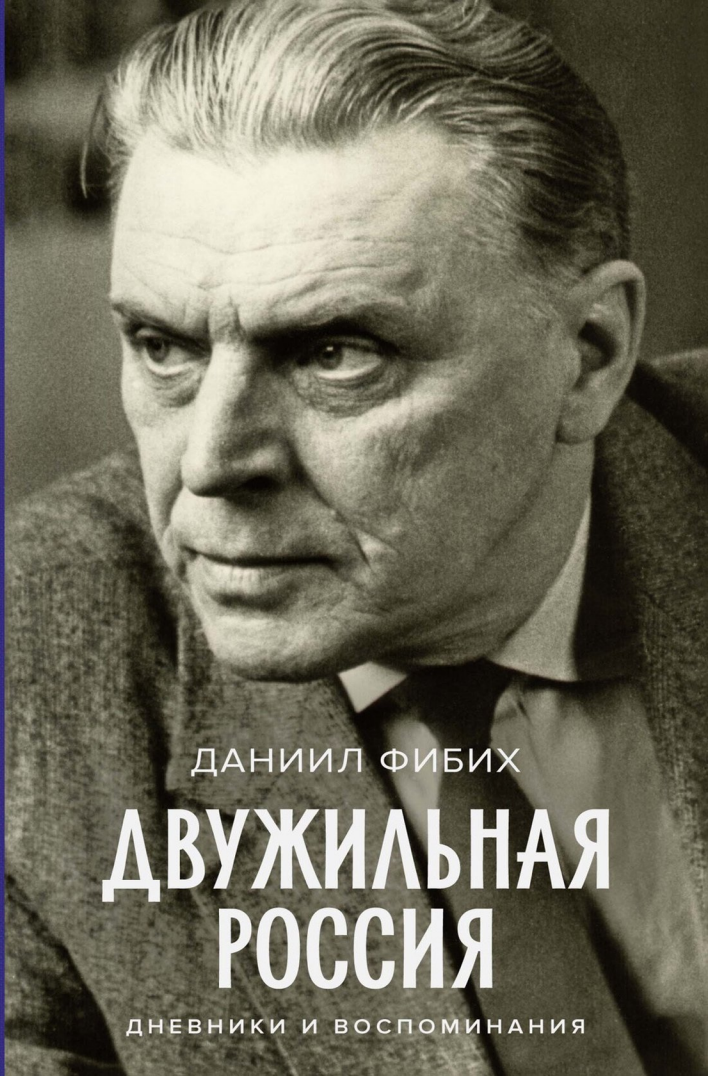


ДАНИИЛ ФИБИХ

# ДВУЖИЛЬНАЯ РОССИЯ

ДНЕВНИКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

# Двужильная Россия
# Даниил Владимирович Фибих

Аннотация
Даниил Владимирович Фибих. Двужильная Россия. Дневники и воспоминания
Предисловие
Часть I. Записки гимназиста. Дневники 1915–1917 гг.
  1915 год
  1916 год
  1917 год
  Послесловие
  Комментарии к части I
Часть II. Северо-западный фронт. Дневники 1942–1943 гг.
  1942 год
  1943 год
  Комментарии к части II
Часть III. По ту сторону. Карлаг. Воспоминания 1943–1965 гг.
  Фрагменты писем Д. Фибиха к матери из лагеря
  Комментарии к части III
Приложение
Иллюстрации

## Аннотация

В книге собраны поразительные документы – юношеские дневники, описывающие события 1915–1917 годов в Пензе, сам факт сохранности которых удивителен, и дневники фронтовые, чудом уцелевшие, а еще воспоминания о тяжелейшем испытании, которое пришлось на долю искреннего, честного, принципиального и очень красивого человека, – отбывании десятилетнего срока в ГУЛАГе. Талантливый писатель Даниил Фибих создал уникальную картину эпохи глазами очевидца, которому было суждено жить в самые сложные, переломные и трагические годы истории нашей страны. С воодушевлением принявший революцию, работавший корреспондентом «Известий», автор рассказов, очерков и повестей, он добровольцем ушел на фронт, где был корреспондентом на передовой линии Западного и Северо-Западного фронтов. В июне 1943 года был арестован по доносу сослуживца и осужден на срок 10 лет, который полностью отбыл. Не сломался, добился реабилитации и до конца жизни

продолжал трудиться. С гимназических лет он мечтал не просто стать писателем, а создать нечто такое, что осталось бы после него. «Хочется написать такую книгу, которая бы пережила меня, явилась бы итогом целой жизни». Эта книга перед вами.

# Даниил Владимирович Фибих
# Двужильная Россия. Дневники и воспоминания

© М.Ю. Дремач, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
КоЛибри®

# Предисловие

«Книги имеют свою судьбу» — гласит известное латинское изречение. В древности также считали, что «свою судьбу» имеют рукописи-манускрипты и те, кто эти книги и манускрипты сочиняет, то есть писатели. На латыни как-то способнее и легче выражать вечные истины. Хоть затерты они от нескончаемого употребления, но суть их остается неопровержимой. Только у многих книг и их создателей слово «судьба» пишется с маленькой буквы, а у некоторых — с большой. В их ряду оказался Даниил Владимирович Фибих.

Его писательский путь был основателен, выстрадан и закономерен, но опубликованные книги его остались там, в том времени, в двадцатых — семидесятых годах прошлого века. Казалось, что Главная книга, о которой он мечтал всю свою жизнь и которая стала бы воплощением и исполнением его писательского призвания, не написана им. Но вдруг она, эта книга, начала проявляться, проступать своими очертаниями, рукописными строчками, порыжевшими чернилами, как будто постепенно материализуясь из

какого-то иного измерения, другого мира.

Выяснилось это совсем недавно, буквально за последние год-два.

Но не будем забегать вперед.

Даниил Владимирович Фибих родился 5 апреля (по ст. ст.) 1899 года в городке Кола Калишской губернии, которая входила тогда в Царство Польское, бывшее составной частью Российской империи. Его отец, Владимир Емельянович Фибих, титулярный советник, акцизный чиновник, потомок выходцев из Южной Богемии, вскоре вместе с семьей переехал в Нижний Ломов, уездный город Пензенской губернии. Тогдашние справочники сообщали, что утопавший в садах город был одним из лучших в губернии. У Фибихов была большая семья: кроме старшего Даниила, еще два брата и сестра. Владимир Емельянович уделял много времени воспитанию детей, поддерживал их разнообразные увлечения. Дочь Ксения хорошо рисовала и писала стихи, сын Аркадий музицировал, а Даниил, с раннего детства обладавший редкой наблюдательностью, записывал все происходившее вокруг и мечтал стать писателем.

Когда подошел гимназический возраст, родители Даниила решили, что ему нужно получать

образование в Пензе. Так он стал учеником 1-й Пензенской мужской гимназии, снимая квартиру неподалеку у немецкого пастора. Постепенно вся семья Фибихов перебралась в Пензу. В гимназии Даниил провел десять лет. Вначале он посещал занятия наравне со своими сверстниками, а потом начал заниматься самообразованием и стал «экстерном». Причиной было, очевидно, его сильное заикание, мешавшее нормальному общению и обучению. Вероятно, это обстоятельство и подогрело его склонность к почти каждодневному писанию дневников, уединенному общению с книгами, неспешному обдумыванию прочитанного. «Я всюду таскаю за собой записную книжку, не потому, что подражаю этим великим писателям, а так как чувствую попросту потребность записывать все это» (*запись в дневнике от 23 ноября 1915 года*). Читал он много, беспорядочно, забывая обо всем на свете. Одинаковый жадный интерес перебрасывал его внимание от Льва Толстого к Оскару Уайльду, от Достоевского к Эрнсту Ренану или Ницше. «…Я представляю собой ходячую энциклопедию. Системы в моем развитии нет. Я знаю понемногу изо всего, и если бы я хотел, то легко мог пустить пыль в глаза и произвести впечатление человека всесторонне

образованного, но честолюбия во мне очень мало, и я, откровенно говоря, совершенно к этому не стремлюсь...» (*запись в дневнике от 23 ноября 1915 года*).

Сквозь довольно стандартные и свойственные возрасту романтически возвышенные рассуждения в гимназических дневниках Фибиха пробиваются достаточно трезвые оценки своих личных качеств и способностей. Он постепенно учится разбираться в себе. И все больше в нем вызревает убеждение, что в будущем он будет только и исключительно — писателем. «Да, я мечтаю о том, чтобы создать произведение, которое отразило бы в себе всю жизнь, все те мысли и чувства, которые я сейчас переживаю. Талант у меня есть, без сомнения. Но временами я сам себе кажусь слишком слабым для этого и сомневаюсь в том, хватит ли у меня сил и умения передать это все на бумаге в ярких образах. А если бы действительно передать!» (*запись в дневнике от 23 ноября 1915 года*). Еще в приготовительном классе Фибих сочинял приключенческие романы, некую помесь Ната Пинкертона с Майн Ридом. У читателей-одноклассников они пользовались успехом.

К гимназическим учителям Фибих относился

с юношеским высокомерием. Разве можно было серьезно относиться к тому, что рассказывал в классе историк, если в руках уже успела побывать наполовину нелегальная, в дерзкой красной обложке книга «Рассказы из русской истории» революционера и публициста Л.Э. Шишко? Там была, как полагал Даниил, подлинная правда о прошлых временах, которую от гимназистов тщательно скрывали: о восстании на Сенатской площади, о героях-народовольцах, о том, как был убит Александр II…

С социалистическими идеями Фибиха познакомил гимназист-старшеклассник Евгений Шадрин: «Он был для меня первым другом, отцом и учителем в одно и то же время. К своим родителям я не относился с таким благоговением, как к нему, гимназисту старшего класса, к нему, каждое слово которого я считал святыней. Он первый развил мой кругозор, открыл передо мною новые горизонты. В примитивной форме он первый познакомил меня с идеалами социализма, и я, тринадцатилетний мальчик, уверовал в это сначала потому, что так говорил сам Женя. …Сколько удовольствия доставляли мне небольшие прогулки после наших занятий (он сначала был моим репетитором), во время которых мы

обсуждали мировые вопросы, он, высокий, тонкий, в очках, с лицом ученого и я, гимназист 2-го класса! А когда он приводил меня к себе, в тихую, беспорядочную, чисто студенческую комнату, где обыкновенно уже сидели товарищи, то это для меня было верхом счастья!» (*запись в дневнике от 19 декабря 1916 года*). Развитого и начитанного юношу Шадрин ввел в организованный им подпольный кружок политического самообразования, в составе которого были в основном гимназисты старших классов: «Я пил там жидкий чай, иногда играл с Женей в шахматы, причем он всегда обыгрывал меня, и затем, забившись в угол, молча, почти с благоговением следил за ним и его товарищами. Раз он вслух прочел им написанный мною тогда рассказ «Митька». Я описывал бедного сапожного подмастерья, который под влиянием жестокого обращения хозяина бросается в воду. Вероятно, рассказ был сравнительно недурен, если сам Женя одобрил его. Теперь он погиб в архивах сыскного отделения, куда он попал, когда арестовали Женю» (*запись в дневнике от 19 декабря 1916 года*).

Несмотря на довольно безобидную деятельность кружка, членов его арестовали, судили за подготовку к ниспровержению существующего

строя и сослали. Фибих тогда остался на свободе случайно.

Однако через два года он снова активный участник похожего нелегального кружка учащихся, восторженно принявших Февральскую революцию и отречение царя. В первые же дни революции кружок, как ни странно, распался. Совершенно неожиданно в нем обнаружились сторонники самых различных партий: и большевики, и меньшевики, и эсеры, и даже кадеты.

В 1917 году Даниил испытал необыкновенное счастье впервые увидеть написанные им строки напечатанными. Журнал «Наша мысль», орган Комитета учащихся города Пензы, опубликовал его этюд в прозе «Ночью» — нечто революционно-символическое. Редактором журнала и первым наставником Фибиха в литературе был Марк Чарный, впоследствии известный литературовед, а в то время учащийся 2-й Пензенской гимназии.

В 1919 году Фибих сделался постоянным сотрудником пензенской газеты «Красное знамя». Отныне навсегда определился его жизненный путь: журналистика, а в дальнейшем — литература.

В 1921 году Фибих навсегда расстался с Пензой, уехав в Москву, где сразу же поступил на работу

в «Известия ВЦИК».

1920-е годы были для начинающего писателя и журналиста достаточно плодотворными. Вскоре Фибих уходит из «Известий» и становится «свободным литератором». Можно предположить, что и в это время Даниил Владимирович не оставлял своего любимого занятия — писания дневников. К «тасканию с собой записных книжек» были все предпосылки: Фибих ездит по стране, собирает материал о социалистическом строительстве, индустриализации, о том, как приходит «новая жизнь» в «страну гор» (так назывался его очерк о Дагестане), публикуется в журналах «Знамя», «Октябрь» и «Новый мир». Помимо очерков и репортажей в центральных газетах, он печатает повесть «Святыни» (1926), сборник рассказов «Апельсиновые гетры» (1927). Пробует он себя и в драматургии. Его пьеса «Поворот» идет на сцене МХАТа и театра Вахтангова (1930).

В 1931 году в свет выходит первая значительная вещь Фибиха — роман «Угар». Его перепечатало берлинское издательство «Петрополис». Книгу заметили и в Париже. Один из лучших критиков русской эмиграции Георгий Адамович, который вел литературные обзоры в милюковских «Последних новостях» (см. *«Последние новости».*

*1931/8 января*), посвятил ей отдельную небольшую рецензию. Любопытно привести ее текст полностью: «“Угар” — если не ошибаюсь, первый роман молодого московского беллетриста Даниила Фибиха. Вместе с несомненными литературными способностями начинающий автор обнаружил в этом романе и менее несомненную «ловкость рук».

Дело в том, что в «Угаре», собственно говоря, два романа. Один — очень бойкий, занимательный, картинный, с налетом уголовщины и множеством эффектных подробностей, другой — казенно-добродетельный, условный, схематический, нужный, по-видимому, только для прикрытия и оправдания основного повествования.

Старый рабочий Чагин, выдвинутый революцией на ответственный пост, строит новую, необходимую для советской промышленности прядильную фабрику. На пути своем этот стойкий и честнейший коммунист встречает множество препятствий. Ему мешают сослуживцы, его заподозревают даже в злоупотреблениях. Но правда побеждает. Ревизия не обнаружила в делах Чагина ничего противозаконного. Врагов его снимают с работы. Фабрика достроена. В день ее открытия Чагин вполне счастлив и забывает даже все свои

домашние огорчения. «Все это было посторонним, не настоящим, не его», — замечает автор. На этом бодром аккорде «Угар» оканчивается.

А огорчаться тов. Чагину есть из-за чего… Но тут нам придется коснуться второго романа, включенного в «Угар». У Чагина есть молодая жена, Нина Павловна, «обезьянка», как он ее зовет. Обезьянка с Чагиным скучает. «Он такой… спокойный… — объясняет она подруге. — Придет домой поздно, усталый, голодный. Поужинает и сразу спать. Как мне иногда недостает… понимаете?» На беду или на счастье, к Чагину возвращается его сын, которого он считал давно убитым. Сергей — странный молодой человек, молчаливый, скрытный, но «обезьянке» он кажется неотразимым. Повторяется история Федры с Ипполитом с той разницей, что Ипполит в «Угаре» весьма благосклонен к своей мачехе. Чагин застает любовников в объятиях. По случайности тут же выясняется, что Сергей — бывший налетчик, громила, его приходят арестовать. Сергей убегает, и Чагин на лестнице стреляет в него, не то как в преступника — из гражданской сознательности, не то как в соблазнителя «обезьянки» — из ревности.

Именно все эти весьма неприятные проис-

шествия и пытается позабыть Чагин во время торжественного открытия фабрики, что ему и удается. «Чувства должны быть уничтожены», — мог бы он повторить вслед за героем Пильняка.

«Угар», вероятно, будет иметь успех у так называемого «среднего» или «рядового» читателя. Книга написана очень живо, местами очень правдиво. Кстати, как и у Пильняка, название может ввести простодушных людей в заблуждение. «Угар» — следует понимать у Фибиха в «производственном значении»: оказывается, это слово обозначает отбросы хлопка».

В 1938 году Фибих становится членом Союза советских писателей. В предвоенные годы у него выходит роман «Родная земля», о германской интервенции 1918 года. С успехом шла на московской сцене пьеса «Снега Финляндии».

Его жизнь, в общем, удалась: он много работает, обдумывает новые произведения, полон творческих планов и надежд. То, о чем он мечтал в гимназические годы, кажется, сбылось…

В начале Великой Отечественной войны 42-летний Фибих в числе других просится на фронт. Но его не берут в действующую армию: он не годен по здоровью — плохое зрение. Тогда он становится добровольцем. Мобилизованных писателей

влили в 8-ю Краснопресненскую ополченскую дивизию, которая была брошена под Ельню и почти вся полегла там. Фибиху «повезло»: в пути его скрутил приступ малярии, который врачи приняли за тиф, и он срочно был отправлен назад, в Москву. А пока он болел, прошла паника первых дней войны, и писателей начали направлять на фронтовую работу по специальности. Так Фибих попал в армейскую газету «На разгром врага» Северо-Западного фронта.

Для сбора материала ему приходилось часто бывать на передовой линии фронта, в попеременно наступавших и отступавших частях в самые тяжелые дни 1941–1943 годов. Он был контужен, но все равно продолжил свою работу фронтового журналиста. Хотел побывать в партизанском отряде: подал рапорт начальству, получил согласие, но командировка сорвалась. Фибих был награжден медалью «За отвагу». В этот период им было написано немало рассказов и очерков на военную тему, публиковавшихся во фронтовой печати, а также в «Известиях». Но главной своей писательской целью он ставил создание книги о войне — масштабного романа, в котором бы нашли выражение все его впечатления и наблюдения, чувства и мысли фронтовика, свидетеля и

участника роковых и кровавых событий.

Поэтому привычное «таскание с собой записных книжек» продолжилось — на передовой, в землянках, под бомбежкой, в тыловом затишье — везде вел Фибих свои дневники. Писал, как правило, ночью, фиксируя только что виденное и пережитое: «Пишу эти строки в деревне Мир-Онеж (как будто так) Ленинградской области. Мы обосновались здесь на ночлег. Вечер, керосиновая лампа, большой стол, за которым, кроме меня, пишут еще трое. Тиканье больших, в деревянном ящике часов, явно городского вида» (*запись в дневнике от 7 февраля 1942 года*). Или вот такая, почти идиллическая обстановка: «Сейчас, когда я пишу, поздний вечер. Хозяева хаты и Рокотянский давно спят. В сенях чешется и шумно вздыхает корова. Дремотно чирикают — совсем по-диккенсовски — сверчки за печкой, испуганно притихая на несколько минут, когда дом дрожит и звякает стеклами от глухих далеких ударов. Немцы бомбят Касторную» (*запись в дневнике от 17 мая 1943 года*). Он записывал все, что происходило вокруг: фронтовые успехи и неудачи, быт и настроения в армии, судьбы и нравы людей, занятых непосильным солдатским трудом, а также все то трогательное, горькое, страшное

и трагическое, чем всегда изобилует война. Неизвестно, представлял ли в эти минуты майор интендантской службы Фибих, что за ведение таких личных и сверхоткровенных дневников ему грозят очень крупные неприятности. Может, и знал, и думается, если бы мог предвидеть свою дальнейшую судьбу, то все равно не отказался бы от любимого занятия. Потому что был писателем не по названию, а по призванию…

Война явилась для Фибиха, как, наверное, и для большинства советских людей, переломом и очищением. Переломом в их судьбах. Очищением от многих иллюзий и навязанных пропагандой взглядов и представлений. Только у Фибиха все эти внутренние, интеллектуальные и эмоциональные, процессы протекали более отчетливо, глубоко, осознанно и значимо. Его революционно-романтические идеи о «светлом будущем», видимо, испарились еще в тридцатые годы. Но и до и во время войны Фибих искренне считал себя «сталинцем». Так он не колеблясь именовал себя и на допросах после своего ареста. Сталин олицетворял для него волевое и разумное начало страны, твердую, хотя и жестокую волю: «Я смотрел на его слегка обрюзглое непоколебимо-спокойное, холодное лицо с черными, строгими

и проницательными глазами. Ни тени волнения. Ни малейшего намека на то, что всего в нескольких десятках километров отсюда разъяренная гитлеровская армия изо всех сил рвется в Москву. Что за нечеловеческая выдержка, спокойствие и уверенность! Гигант» (*запись в дневнике от 2 февраля 1942 года*).

Но в то же время приходит понимание другой, подноготной реальности: «Что осталось от большевистской доктрины? Рожки да ножки. Мне кажется, что партия, выполнив историческую роль, теперь должна сойти со сцены. И сходит уже. Мавр сделал свое дело. Война ведется во имя общенациональной, русской, а не партийной идеи. Армия сражается за родину, за Россию, а не за коммунизм. Вождь и народ, Сталин и Россия. Вот что мы видим. Коммунисты — всего-навсего организующее начало. Стоит ли вступать в партию?» (*запись в дневнике от 23 января 1942 года*).

Читая фронтовые дневники Фибиха, обращаешь внимание на значимый факт: в тексте почти не встречается упоминание СССР, слово «советский» используется в качестве некоего прилагательного, а не значимого слова. Везде весомо — Родина, Россия. Впечатления от окружающего в окопах и в тылу приводят к трезвым оценкам:

«Наши победы, наше двухлетнее сопротивление фашистской Европе — заслуга не армии как таковой, а героической России, простого русского человека, решившего умереть за Родину. И умирающего сотнями тысяч, безропотно и буднично» (*запись в дневнике от 12 апреля 1942 года*).

Фибих видит и перспективы войны, ее конечный результат — победу, но помнит и сожалеет о цене, выраженной не в золотовалютных единицах: «Наши бодрячки с многозначительным видом все еще говорят о каких-то решающих операциях в скором времени, о выходе в Прибалтику. Оптимизм до обалдения. Предстоит война на измор — длинная, затяжная, тяжелая. «Выдюжим», — писал А. Толстой. Выдюжить-то выдюжим, Россия всегда была двужильной, но какой ценой» (*запись в дневнике от 4 октября 1942 года*).

«Двужильная Россия» — образ-символ, данный военным корреспондентом Фибихом, сфокусировал суть той правды, которую он добыл на фронте.

30 мая 1943 года майор Фибих получил предписание: немедленно явиться в штаб округа, помещавшийся в селе Новая Усмань, где его примет член Военного совета генерал-лейтенант Л.З.

Мехлис. Фибих надеялся на лучшее. «Я ничего не понимал. Сам Мехлис, перед которым все трепетало, Мехлис, в дни отступления 1941 года расстрелявший командующего 34-й армией, — интересовался моим приездом, он желал лично со мной беседовать. В Рыкань я поеду уже после знакомства с членом Военного совета округа — как триумфатор, как почетный гость» (*запись в дневнике от 30 мая 1943 года*). Но не триумф ожидал военного корреспондента Фибиха: через несколько дней по доносу, написанному его коллегой-журналистом, он был арестован прямо в кабинете Мехлиса. Так начались его тюремные и гулаговские «хождения по мукам».

Сначала это была самодельная камера контрразведки СМЕРШ при штабе Степного округа под Воронежем, потом камера гарнизонной тюрьмы в Белгороде. Затем Лефортовская и Бутырская тюрьмы в Москве. Как написал потом Фибих в своих воспоминаниях «По ту сторону», «конвейер тупой, бездушной, свирепой карательной машины, куда я попал, тащил дальше и дальше».

Фибиху «шили» дело по знаменитой 58-й статье. Позднее он кратко сформулировал суть этого «дела»: «Все дело было в одной лишь фразе в моем дневнике, злополучной, крамольной, кри-

минальной фразе о том, что Троцкий, вместе с Луначарским и Кировым, был хорошим оратором. Примитивная следовательская фантазия под нажимом Мехлиса мгновенно создала несложную стандартно-профессиональную концепцию. Ага, троцкист! (Одобрительно отзывается о Троцком.) Несомненно, связан с какой-то подпольной троцкистской организацией, которая, оказывается, работает в действующей армии. Задача: раскрыть через Фибиха эту организацию» («По ту сторону»).

Смехотворность предъявленных обвинений не интересовала следователей: карательная машина не интересовалась сутью, ей требовались все новые и новые жертвы. Шесть месяцев шло следствие. Фибиха пытались «расколоть» на то, чтобы он признался в участии в троцкистской террористической организации. Только его стойкость, сообразительность и внутренняя интуиция не позволили следователям состряпать коллективное дело о троцкистской организации, по которому он мог вполне реально получить «вышку». И вот — приговор. Будничность его вынесения поражает больше, нежели описания сцен допросов и лагерной житухи. Фибиха «привели в небольшую служебного вида комнату. За

столом сидел молодой человек в простой солдатской гимнастерке без погон.

— Прочтите и распишитесь, — равнодушным будничным голосом сказал он, подавая мне четвертушку листа с текстом, отпечатанным под копирку на машинке. Я пробежал глазами и узнал, что майор интендантской службы имярек постановлением ОСО при МВД СССР такого-то числа приговаривается по статье 58–10 УПК к десяти годам заключения в ИТЛ.

— Вот здесь! — ткнул пальцем молодой человек. Я расписался почти машинально, и меня повели обратно…» («По ту сторону»).

Отбывал срок зэк Фибих в Карлаге, на территории Карагандинской области Казахстана. Об этом периоде его жизни подробно повествуют воспоминания «По ту сторону».

Как отразились десять лет пребывания в ГУЛАГе на личности и мировоззрении Фибиха? В его записках нет пространных рассуждений на эту тему. Но есть иное: пристальное внимание к человеческим взаимоотношениям, к облику окружавших его людей, к их душе, к таким вечным понятиям, как низость и доброта, жестокость и милосердие. Поэтому такое место в повествовании «По ту сторону» занимают описания многих

из тех, с кем пришлось ему отбывать карлаговский срок. И — вывод-размышление: «Люди пробивали себе дорогу локтями и кулаками, давили и душили друг друга. «Подохни сегодня ты, а завтра я», — таков был лагерный лозунг. Слезала шелуха цивилизации, и человек представал в натуральном неприкрашенном виде — голый человек на голой земле, недалеко ушедший от своего пещерного предка. Долгое время после освобождения, вернувшись в нормальный мир и наблюдая за кем-нибудь на собрании, на званом вечере или в театре — за кем-нибудь почтенного вида, хорошо одетым, прилизанным, улыбающимся, ведущим культурный разговор — не мог я отделаться от назойливой мысли: а как бы проявил ты себя в лагере? Как бы там выглядел? Что бы делал?..» Но это была не вся правда. Являлось и другое: «Великое дело доброта человеческая. По настоящему понял я это только в тюрьме и лагере...»

Освободился Фибих в 1953 году, полностью «отмотав» положенный ему срок. Поскольку он был осужден по «политической» статье и не мог жить не только в Москве и Ленинграде, но даже в областных городах, выбрал он себе местом пребывания город Покров Владимирской области.

Там он устроился на работу в правление совхоза счетоводом. Потом, в 1955–1956 годах, он проживал под Клином, работая в правлении местного совхоза и влача полуголодное существование. Фибих постоянно хлопотал о снятии судимости, о реабилитации, чтобы ему вернули право воссоединиться с семьей в Москве. К тому времени со своей второй женой он был уже разведен, а его матери, Евгении Ниловны (урожденной Лучаниновой), не было в живых; остались у Фибиха только два брата. В 1957 году ему разрешили временно проживать в Москве. В 1960 году он опять женился, получил реабилитацию и был восстановлен в членстве ССП СССР.

В послелагерное время Фибих не оставил своей литературной профессии. В 1953–1956 годах публиковал очерки в подмосковных газетах. В 1956 году вышел сборник рассказов «Когда поет небо». Им были созданы романы «Испытание» и «Ветер с Востока» о Чингиз-хане (не изданы). Писал он и на военную тему (повесть «В снегах Подмосковья», 1963). Издан и переиздан роман «Судьба генерала Джона Турчина», о русском военачальнике, ставшем героем американской истории. В 1974 году был готов к печати роман-хроника «Путь его сердца», но он так и не вышел в свет. Кажется,

что жизнь Фибиха вошла в спокойное русло. Но это лишь для постороннего глаза. Втайне от всех, даже самых близких людей, он пишет воспоминания «По ту сторону». В нем живет не умирая все тот же человек «с записной книжкой». Он хочет оставить неведомым потомкам свидетельства о том, что с ним произошло, рассказать о подлинном опыте жизни в ГУЛАГе, о людях, с кем столкнула его судьба. Фибих знает, что уже есть произведения на лагерную тему, такие как «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Но не вся правда рассказана, не вся… И он, работая «в стол», не оглядываясь ни на какую цензуру, восстановит в памяти и закрепит на бумаге все! Все, что сохранила его цепкая и емкая память, все, что он понял, к чему пришел, оценивая пережитое своим тяжелым выстраданным опытом.

Скончался Даниил Владимирович Фибих в Москве в июле 1975 года.

Зимой 1943 года в блиндаже, а может, в крестьянской избе недалеко от линии фронта записывал военкор Фибих в свою черную клеенчатую тетрадь строки: «Когда настанет мир — никто не захочет читать о войне. Интерес к нынешней войне вспыхнет спустя несколько лет. Вот к этому-то времени должен быть готов мой большой роман. Героями его будут герои «Родной земли» и «Снегов Финляндии». Хочется написать такую книгу, которая бы пережила меня, явилась бы итогом целой жизни. Пора подумать об этом. Ведь мне уже пятый десяток пошел» (*запись в дневнике от 10 января 1943 года*). С гимназических лет он мечтал не просто стать писателем, а создать нечто такое, что осталось бы после него, к чему обращались бы люди и после его смерти, читая и перечитывая созданные им строки. Словом, он хотел создать свою *Главную книгу*. Что ж, писателю Даниилу Фибиху это удалось. Эта книга перед вами.

***Мария Дремач,***
***Алексей Савельев***

# Часть I. Записки гимназиста. *Дневники 1915–1917 гг.*

Гимназические дневники Д.В. Фибиха представляют интерес как документ начала XX столетия, как летопись дореволюционной Пензы и настроений русского провинциального общества накануне и во время революционных потрясений 1917 года.

Д.В. Фибих начал вести регулярные дневниковые записи с 15-летнего возраста. В них отражались не только размышления, чувства и мнения подростка и юноши, выбиравшего свой жизненный путь, вырабатывавшего свое мировоззрение, но содержатся и картины гимназического быта, взаимоотношений в молодежной среде. Дневники дают много интересного материала о распространении революционной идеологии и радикальных настроений в Пензе, позволяют судить об отношении к войне со стороны многих общественных групп.

Особую ценность представляют записи, относящиеся к марту 1917 года, когда Пензу взбаламутили известия о революции в столичном

Петрограде. Такой эффект присутствия и участия в важнейших событиях не часто можно встретить даже в авторитетных исторических источниках. Д.В. Фибих делал записи в своем дневнике почти ежедневно, фиксируя главные события городской жизни Пензы. В этом отношении незаменима информация о солдатском бунте, который случился в Пензе 6 марта (по ст. ст.) во время общегородской манифестации. В ходе беспорядков солдатами был растерзан командующий гарнизоном генерал-майор Бем. Д.В. Фибих был фактически свидетелем этой сцены. Это дневниковое свидетельство позволяет существенно уточнить хронологию и порядок событий. Дело в том, что пензенские историки считают: Бем был убит 10 марта на параде войск в честь праздника Свободы.

Текст дневников публикуется по рукописям, хранящимся в Государственном архиве Пензенской области (фонд Р-2397, опись 1, д. 6–7, 17), в соответствии с современной орфографией и пунктуацией. Описки и явные неточности текста исправлены без оговорок.

## 1915 год

***29 сентября***

Я очень интересуюсь происходящей в данное время войной, так как сознаю, что эту войну справедливо можно назвать священной и освободительной. Почему же я не пошел воевать? Многие даже гораздо моложе меня явно или тайно пробирались на позиции и становились частичками той огромной машины, имя которой — армия.

Смерти на поле брани я не страшусь. Смерть неизбежна, всем нам суждено умереть, и, во всяком случае, красивее и лучше погибнуть за родину, нежели скончаться от какой-нибудь глупой болезни. В самом деле, почему я не пошел на войну? Я хочу испытать жизнь во всех, по возможности, ее видах и формах, и какое богатое впечатлениями и переживаниями это явление — война. Отчасти препятствует этому решению мой недостаток — заикание. Но главное то, что, выйди я из гимназии в простые рядовые, после войны придется терять лишние годы, чтобы доканчивать гимназическое образование, а мне, по возможности, хочется скорее стать свободным

человеком. Конечно, будь в том необходимость, я бы с радостью пошел на защиту родины, но пока помощь моя не особенно нужна. В заключение же всего скажу, что я попросту любитель хорошей жизни и пугает меня холодная, грязная жизнь в окопах.

Меня часто возмущает равнодушное и непатриотичное отношение к войне моих знакомых. Война сама по себе, мы сами по себе. Пусть там умирают, отступают, наступают, мы по-прежнему будем заниматься своими мелкими делишками.

***1 октября***

Что еще характеризует данную войну, это большое участие в ней женщин и детей. Когда-то все восторгались женщиной-кавалеристом Дуровой[1], а теперь таких дуровых десятки, если не сотни. Простые солдатки, казачки, гимназистки — все надевают солдатскую шинель, берут винтовку и идут против врагов. Вот яркое доказательство тому, что женщина вовсе не так слаба, труслива и нерешительна, как ее изображают обыкновенно. А подвиг сестры милосердия Риммы Ивановой? Видя замешательство наших солдат и отсутствие офицеров, она сама собрала солдат и овладела неприятельскими окопами, жизнью заплатив за свой подвиг.

Такое же, даже еще большее участие принимают дети. Одни тайком, другие явно перебираются в действующую армию и там свободно и с пользой применяют свои способности и наклонности, на которые дома не обращали никакого внимания, а зачастую и преследовали, искореняя их. Теперь не редкость видеть георгиевских кавалеров 12–15 лет. Я лично видел в Севастополе мальчишку лет 10–12 в солдатской форме и с Георгием. Пусть война кровопролитна, отвратительна, бессмысленна (я говорю о войне вообще), на ней наиболее резко, наряду и со зверствами, выступают благородные черты человеческого характера. Милосердие, самопожертвование, сострадание, храбрость, презрение к опасности и смерти, великодушие… Сколько подобных примеров дала нам нынешняя война. Какой, например, великолепный героизм заключается в поступке одного прапорщика, который, по ошибке попав в неприятельский окоп, не захотел сдаться в плен, а пустил себе две пули в голову. Или подвиг гусара Выжимка, который под огнем тащил несколько верст своего раненого командира. Да всех этих примеров и не перечислишь. Невозможно.

Признаться, временами я очень жалею о том, что я не участвовал в войне, не видел этой боевой

обстановки.

***10 ноября***

В древних греческих храмах была надпись: «Познай самого себя». Как я ни пытался познать себя, никак мне это не удавалось. Моя душа — сплетение таких противоречивых качеств, что я не могу определенно назвать себя ни тем ни другим. О себе я могу сказать, что я довольно добр, довольно умен, довольно храбр, впечатлителен и увлекающаяся вообще натура. Еще очень самолюбив, но это самолюбие у меня какое-то странное. Данного слова я обыкновенно держусь.

***13 ноября***

Интересно перечитывать свои старые дневники. Сколько смешного, наивного и трогательного. А главное, всего заметнее то, как сильно изменяются понятия, стремления и в особенности самый характер человека. Иногда читаешь, и невольно мелькнет в голове: неужели это я? Вот как меняется характер.

***23 ноября***

…Я теперь вовсе не задумываюсь над окружающим и не требую, подобно Гейне, чтобы мне дали «на проклятые вопросы ответы прямые», как требовал года два тому назад. Со мной про-

изошло обычное явление: в молодости человек кипит, рвется, бьется, как речка во время половодья, а дальше он утихает все больше, и, наконец, жизнь его течет тихо и мирно, в узком грязном русле. Слишком рано я развился в умственном отношении и поэтому в данном случае меня можно назвать уже не юношей, а человеком более зрелым. Меня, тринадцатилетнего мальчишку, интересовали и волновали те вопросы, которые интересуют восемнадцатилетних юношей. Поэтому, когда теперь я вижу, что мои сверстники переходят уже на более обширный кругозор и начинают затрагивать более серьезные вопросы, я лично смотрю на это как на что-то уже старое, для меня совершенно не новое. Я это все знаю. Вообще же, если касаться вопроса о моем развитии, то я могу одно сказать, что я представляю собой ходячую энциклопедию. Системы в моем развитии нет. Я знаю понемногу изо всего, и если бы я хотел, то легко мог пустить пыль в глаза и произвести впечатление человека всесторонне образованного, но честолюбия во мне очень мало, и я, откровенно говоря, совершенно к этому не стремлюсь…

…Когда у меня мелькает иногда мысль, кем я буду впоследствии, то сейчас же возникает ответ:

прежде всего писателем.

Да, я мечтаю о том, чтобы создать произведение, которое отразило бы в себе всю жизнь, все те мысли и чувства, которые я сейчас переживаю. Талант у меня есть, без сомнения. Но временами я сам себе кажусь слишком слабым для этого и сомневаюсь в том, хватит ли у меня сил и умения передать это все на бумаге в ярких образах. А если бы действительно передать! Я и сейчас уже вникаю в жизнь, которая окружает меня, записывая каждое оригинальное слово, каждый характерный, но незаметный штришок, на который посторонний не только не обратит внимания, а просто не заметит. Я всюду таскаю с собой записную книжку, не потому, что подражаю этим великим писателям, а так как чувствую попросту потребность записывать все это. А неужели истинный писатель сидит все время в четырех стенах своего кабинета и остается в своей фантазии, творя какое-нибудь произведение? Нет, надо втереться в самую гущу жизни, испробовать ее, чтобы написать такие произведения, которые я бы желал написать. И так уже я испытал довольно, несмотря на то что еще молод, но и это для меня кажется слишком мало, слишком мизерно и жалко…

…Если я буду когда-нибудь писателем, то выражу в ярких картинках все то, что сейчас мучает меня и чем я теперь занят. Взгляд на жизнь, женщину, на любовь, на Бога, на войну, человечество, мои стремления к чему-то прекрасному, поэтичному, недовольство обыденщиной, желание хоть отчасти приблизить прекрасный идеал будущего, типы людей, меня окружающих, — все это я хочу воплотить в своих произведениях.

## 1916 год

***22 марта***

В сущности, я социалист по своим взглядам и убеждениям. Я знаю, что будущая жизнь человечества будет прекрасной и что скорейший способ сделать ее таковой — это произвести социальную революцию. Надо орудия производства вырвать из рук отдельной группы промышленников-капиталистов и вручить их пролетариату, то есть всему народу. Тогда не будет тех резких различий между классами населения, как теперь, когда одна часть умирает с голоду, а другая — купается в золоте. Тогда и вся жизнь примет другой вид. Но об этом в другой раз…

***26 марта***

Сегодня по дороге на Московскую я услышал звуки полковой музыки, которая направлялась туда же. Временами она замолкала, и тогда слышался ритмичный сухой грохот барабанов, под который ноги шагали сами. Скоро я увидел солдат. Впереди шли барабанщики, за ними оркестр. Затем шагали рядом человек десять офицеров. Лица молодые, загорелые, но спокойные. Только

на красном лице одного из них я заметил какую-то натянутую улыбку. Позади шла густая серая толпа солдат, навьюченных сумками, мешками, одни с ружьями, другие без них. По бокам и позади сгрудились бабы, провожавшие своих детей и мужей. Эшелон шел на войну.

Что мне особенно запомнилось — это спокойные лица солдат и их простой, обыденный, чуждый всякой рисовки взгляд. Двое были пьяны — шатались, что-то выкрикивали, размахивали руками, и начальство на это смотрело сквозь пальцы.

Звуки музыки, вид этой толпы людей, идущих просто и безропотно на смерть по чьему-то приказанию, общее внимание и движение на улице так воодушевили и в то же время растрогали меня, что я боялся заплакать. Интересная была бы тогда картина. И в то же время меня интересовал вопрос, что чувствуют эти люди.

Солдаты спустились по Московской по направлению к вокзалу. Я повернул обратно. И таким пошлым и мизерным показался мне попавшийся навстречу молодой человек со стеком в руке. После этих идущих с музыкой на войну людей по-прежнему гуляла публика, самодовольная, эгоистичная, равнодушная к чужим, по-преж-

нему раздавался банальный пошлый разговор и звучал смех.

***11 мая***

Война неминуемо кладет свой отпечаток на всю внутреннюю жизнь страны, даже по мелочам. Я, кажется, еще не писал, что уже второй год учимся не в здании своей гимназии, которое занято под лазарет, а распределены в зданиях реального училища и землемерного. Я, как принадлежащий к старшим классам, занимаюсь в землемерном училище. Здание допотопное, с низкими потолками, с крошечными окнами, со скрипучими полами, но мы к нему привыкли. Хотя мы еще занимаемся, но восьмой класс явно распущен и вместо этого обучается военному строю. Готовят пушечное мясо к будущим боям. Сегодня восьмиклассники зачем-то были в гимназии. Все в высоких сапогах, страшно воняющих кожей, многие в блузах хаки. В сущности, несмотря на свой почтенный возраст, большинство из них те же мальчишки. Придя курить в наш клуб, уборную, они расселись по окнам, приняли ухарский вид, заломили фуражки на затылки, словно им теперь сам черт не брат.

В Пензе теперь в учебных заведениях вводится симпатичное учреждение — бой-скаутизм. Малы-

ши, ученики 3–5-х классов, с жаром набросились на это, и теперь уже скаут-боев до 250 человек. Большинство их, конечно, еще не носят формы, но на улицах стали теперь появляться и настоящие скауты в их изящной форме защитного цвета: широкополая шляпа, английская блуза с галстуком, галифе и чулки. К такому костюму в Пензе не привыкли, и поэтому прошедший скаут-бой привлекает всеобщее внимание.

***14 октября***

Вот уже третий год тянется эта проклятая война, и, несмотря на первоначальный всеобщий взрыв патриотизма, взрыв, смешавший воедино бывших врагов, либералов и правых, «жида» и националиста, поляка и русского, этот восторженный порыв, когда все стали монархистами и отчаянными патриотами, когда горы бумаги были написаны в оправдание, возвеличение, идеализирование этой войны, то теперь наконец надоела и эта бойня, еще небывалая до сих пор, грозящая перебить все мужское население Европы, надоела и страшная дороговизна жизни и житье впроголодь. Да, как бы ни говорили газетные писаки о прелести гибели за родину, о необходимости свергнуть «германское иго» (почему же до сих пор никто не знал и не слышал, что

это «иго» существует на свете), о братьях-славянах, но теперь частью прошел первоначальный страшный кошмар, гипноз, под влиянием которого люди шли на смерть, не отдавая себе отчета, подобно стаду баранов, прыгающих в овраг за своим вожаком. Как ни вынослив, покорен наш забитый мужик, забитый веками рабства и тьмы, все же и он начинает проявлять нежелание становиться пушечным мясом. По крайней мере, уже не раз случалось, что запасники отказывались идти на фронт.

Да и вокруг себя только и слышишь: «Когда наконец кончится эта проклятая война!»

Говорят, идет глухое брожение, начинается ропот, сам не знаю этого точно, не был свидетелем этого народного недовольства и не могу поэтому утверждать это. Да и кому роптать? Мальчишкам до 18 лет, надобно ли старикам да увечным?.. Весь цвет народа поглотила, и сожрала, и исторгла эта «освободительная» война, новый страшный Молох, перед которым древний кажется невинным ребенком. Бабы? Но русская обыкновенная женщина так унижена и забита, что ей не выступать в роли мятежницы и бунтовщицы.

Теперь нам, мирным жителям, известна только мизерная показная сторона войны. «Взяли та-

кой-то город», «отступили», «столько-то пленных орудий и пулеметов». Вдобавок к этому продажные перья газетных и журнальных литераторов строчат восторги, похвалы и славословия русским генералам, офицерам и «серым защитникам родины — солдатам». Но быт, обычный, ежедневный быт, настроения, переживания, истинное, а не поддельное, подкрашенное и подчищенное существование этого серого героя — мы так и не знаем. И узнаем это только лет через пять, десять после войны…

Кстати, еще два, три года тому назад Женя писал мне, что, по его расчетам, революция у нас будет между 1914 и 1918 годами. Дай-то Бог! Но я верю плохо в это. По-моему, сейчас это движение затихло. Какая здесь пропаганда, когда все наши эмигранты пошли в солдаты добровольцами, когда апостол анархизма Кропоткин благословляет обеими руками и войну, и воюющих, когда, наконец, наша молодежь или перебита, или искалечена, или в плену. Какое здесь движение, когда те, которых масса считает за своих духовных вождей, всяческими способами восхваляют войну. Я читал, что библиотеки наших пленных в Германии состоят почти исключительно из революционных книжек. Это очень хорошо,

так как немцы, я не буду говорить, какую цель они при этом преследуют, очень помогают этим русским революционерам вести пропаганду в армии. Наш всеобщий, внутренний враг — правительство — силен и могуч. Поэтому вступать с ним в открытую борьбу на баррикадах можно только тогда, когда восставшие более или менее сравнятся с ним в силах, а до этого надо вербовать себе сторонников всеми способами, во всяком случае не отказываясь от добровольной помощи и со стороны, а, напротив, с радостью принимая ее. Поэтому мы только должны быть благодарны немцам.

Но, с другой стороны, едва ли это поможет. Слишком уж скверно зарекомендовали себя немцы в глазах наших пленных своим хамством и грубостью в обращении с ними, и я не думаю, что эти книжки, врученные пленным их врагом, произведут должное впечатление на наших солдат.

Как ни невежественен, в сущности, мужик, как ни монархист он по своим убеждениям, но, с одной стороны, образование мало-помалу начинает проникать в эту плотную черноземную массу, а с другой — царь уже начинает терять свое обаяние в глазах мужика, обаяние Божьего помазанника и самого Бога.

Царь не отец народа, не «батюшка», а скорее даже тиран, узурпатор, посылающий на смерть тысячи людей только из-за своего каприза или беспокойства.

Даже прежнему мужику все обожание царя не мешало разбойничать с Разиным или Пугачевым, то есть идти, в сущности, против того же самого царя, против его власти. Но здесь мужик восставал только против крепко насоливших ему бояр и дворян и расправлялся с ними круто. Царь и правительство вовсе не одно и то же в понятии крестьянина. Царь, по его мнению, что-то добродушное, жалостливое, милосердное, но слабовольное, вечно обманываемое своими боярами (или министрами), и поэтому мужик вешал и убивал обидчиков своих и царя дворян, помещиков, господ, в душе оставаясь тем же верным монархистом, что и прежде.

***24 октября***

Почему я, человек состоятельный, ни в чем не нуждающийся, человек, которому живется в материальном отношении отлично, почему же я интересуюсь социализмом и революционным движением, и не только интересуюсь, а увлекаюсь им и сам считаю себя социалистом? Почему же это?

Я отвечу на это, что, прежде всего, я в этом чувствую какую-то святую правду и красоту. Затем из-за чувства справедливости. Если я человек справедливый или же считаю себя таковым, то я неминуемо должен возмутиться современной, ужасающей социальной несправедливостью, когда громадное большинство людей сведено к положению рабов, почти рабочей скотины, а меньшинство наслаждается жизнью, как только хочет. Разве это нормально? И если мне дорога справедливость, то я обязан не только возмущаться этим, а все свои силы приложить к тому, чтобы изменить этот неестественный порядок вещей.

Во-вторых, из-за чувства альтруизма, человеколюбия. Я член общества, пользуюсь дарами и благами его, и поэтому мне должен быть дорог и близок каждый член этого общества, и я обязан стараться, чтобы каждому члену жилось так же хорошо, как и мне самому. И поэтому, когда я вижу, что в современном обществе большая часть его живет не по-человечески, а по-скотски, то я обязан, я должен стараться улучшить их жизнь.

Затем перейду на более узкую почву — национальную. Если человек считает себя патриотом и ему дорого процветание своей страны, то есть своего народа, так как страна и народ — это си-

нонимы, то этот человек должен стараться всеми силами улучшить существование своего народа, — народа, который сдавлен тисками, забит в грязь, затоптан. Поэтому все революционеры, будь они русские, китайцы, немцы, итальянцы, все они прежде всего были величайшими искренними патриотами. И в тюрьмах, в казематах крепостей, в ссылках, на виселицах эти люди гибли за свое человеколюбие. Разве одно это не может вооружить всякого чуткого человека против современного порядка вещей, допускающего такие подлости?

Так называемое освобождение крестьян, которым так возвеличили Александра II, сняв с крестьян позорную кличку «раб», не только не улучшило, а даже ухудшило экономическое, материальное положение мужика. Прежний крепостной крестьянин, хотя и зависел всецело от каприза своего господина, хотя и был его рабочей скотиной, по крайней мере знал, что ни он, ни его семья не умрут с голоду, у них всегда будет хлеб. При «освобождении» мужика ограбили, отняв даже то, что он имел, и поставили в полную зависимость от купцов и помещиков, и тех же почти самых помещиков — земских начальников. В экономическом отношении нашему крестьянину

пришлось еще хуже, чем прежнему. Поэтому нисколько не удивительно возникновение у нас среди крестьянства аграрного движения.

Кто знаком с нашей историей, тот должен знать, что все время, начиная с XIV, XV столетия были большие и малые крестьянские восстания и волнения, разливаясь временами в такие сильные, стихийные движения, как восстания Разина[2] и Пугачева[3]. Видно, уж действительно непосильна была жизнь его, если он восставал против господ, брал в руки топор и шел «пускать красного петуха». Я сам читал отчет о заседаниях крестьянского собрания в 1906 году и на основании заявлений депутатов крестьян могу себе представить истинную жизнь русской деревни, не делая никаких фантастических заключений. А чем же объяснить большие крестьянские беспорядки в Харьковской и Полтавской губерниях в 1902 году? Опять тем же пьянством мужиков, которые все пропили свою землю и захотели получить еще?

***11 ноября***

Моя попытка «совратить в веру свою» Симаковых оказалась удачной. Они «совращены». Но тут младший, Модест, о котором я меньше всего думал, что он может читать серьезные книги

и исповедовать идеи социализма, которого я считал парнем легкомысленным, сильно изумил меня. Одним словом, Модест стал ревностным социалистом. Хотя он и немного пока в этом смыслит, хотя в голове у него сейчас, вероятно, каша, старые понятия мешаются с новыми и многого он еще не понимает, но сама эта благородная горячность, стремление к свету — лучше всего. Старший — Вася, флегматик и скептик, труднее поддается этому. Здесь нужно горячее, живое слово, а не мертвый язык сухой книги.

Заходил раз ко мне товарищ Архангельский, гимназист 7-го класса, и взял у меня «Подпольную Россию» Степняка. Через некоторое время он возвратил мне эту книгу, которая ему очень понравилась, и в разговоре упомянул, что у них в классе многие интересуются «этим». Особенного значения я этому не придаю. Я знаю, что по крайней мере три четверти этих интересующихся, став почтенными, зрелыми гражданами, в сторону откинут «увлечения пылкого юношества». Одни — во имя собственного благополучия, во имя своей карьеры, своя-де рубашка ближе к телу, другие — соблюдая мудрую пословицу «Моя хата с краю, знать ничего не знаю», третьи, ознакомившиеся с социализмом понаслышке,

поверхностно, быть может, обратятся потом в строгих гонителей «крамолы».

А время сейчас тревожное. По рукам ходят запрещенные цензурой речи Милюкова[4], Керенского[5] и других ораторов Государственной думы. Даже и в Пензе, в этом медвежьем углу, циркулируют слухи о том, что правительство хочет заключить мир с Германией и идти войной на Англию. Где правда, где ложь — трудно разобрать. Появилось новое страшное слово «измена». Да, время очень тревожное.

Вчера вечером ко мне неожиданно явился из Москвы Коля Дейнека. Тот самый реалист, который принес мне «Подпольную Россию». Коля, человек более сведущий, чем я, говорит, что действительно назревает что-то грозное. В Москве ходят упорные слухи, что где-то, не то в Киеве, не то в Харькове, было столкновение с полицией, будто бы убито до 30 студентов. По всей России рассылаются студенческими и иными организациями тайно напечатанные запрещенные речи левых думских ораторов. (Между прочим, Вася Симаков хотел дать мне почитать речь Милюкова.) Коля со мной распрощался. Он в тот же вечер уезжал в Александровское военное училище, куда поступал, чтобы избежать призыва.

***24 ноября***

Читаю книги, взятые у Архангельского, — «Рассказы из русской истории» известного чайковца Шишко[6], «Программы партий» и др. Мне очень понравилась книга Шишко. Написана она простым, ясным и понятным языком, замечательно правдива, своими словами называя то, что обычно скрывается, затушевывается, и ясно показывает весь тот страшный вред, который принесло России самодержавие. С удовольствием я познакомился с программами наших социалистов. Теперь вижу, что по своим взглядам я ближе всего приближаюсь к социалистам-революционерам, к эсерам.

***25 ноября***

Меня очень занимает вопрос: будет или не будет революция? И если будет, то какую форму она примет, во что выльется? Каковы будут ее стремление и задачи?

Я предчувствую, что если революционеры и достигнут своей главной, первоначальной цели — свержения самодержавия, то потом в их среде произойдут раздоры. Социалисты, то есть организованный, сознательный пролетариат, неминуемо должны перейти от политических к социальным, экономическим преобразованиям,

которые для России, для народа гораздо нужнее и важнее политики, представляющей в понятии крестьянских и рабочих масс нечто отвлеченное и туманное. Быть может, социалисты даже попытаются произвести социальную революцию, то есть захватят частную собственность и орудия производства в свои руки, чтобы затем справедливо распределить между всем народом.

Если это произойдет, то либеральная буржуазия, во главе с партией кадетов, только что вместе с социалистами идущая против общего врага — самодержавного правительства, теперь восстанет против своего союзника. Ведь это далеко не одно и то же — захватить ли власть, то есть подчинить ее себе, или же жертвовать своим карманом. Ведь социальные стремления рабочих прямо враждебны, прямо опасны буржуазии, какой бы либеральной она ни была.

По-моему, произвести революцию надо так.

Подготовив умной агитацией настроение народа, надо отряду энергичных и решительных людей внезапно напасть на Зимний дворец, в случае сопротивления перебить бомбами дворцовую стражу и захватить власть в свои руки. Учредить диктатуру пролетариата. Царя держать почетным пленником, отнюдь не причиняя ему

никакого вреда, так как это будет недостойно революционеров. Для более сильного эффекта можно другому отряду во главе толпы народа двинуться против Петропавловской крепости и взять ее. Но это, повторяю, лишь для эффекта, так как крепость и сама, вероятно, сдастся, как только власть будет в руках народа. Столичное восстание, по словам Степняка[6а], только застрельщик общей революции. Весть о захвате власти, разнесенная по России, заставит восстать весь народ. Повторяются времена Разина и Пугачева. По всей стране возникают аграрные и иные беспорядки под влиянием главным образом слухов о прибавке земли. Всеобщая забастовка железнодорожников затруднит или даже прекратит доставку войск для усмирения. Затем следует созыв Учредительного собрания, на котором уже окончательно совершается государственное и экономическое переустройство страны. В случае возникновения конфликта между буржуазией и пролетариатом, что неминуемо и будет, самое лучшее оружие — это всеобщая грандиозная забастовка. Хотя она десять лет тому назад не увенчалась успехом, но в случае, если она будет организована стройно и осмотрительно, если будут существовать комитеты помощи стачечни-

кам, то я думаю, победа останется за народом.

Такова моя схема революции. Будущее покажет, осуществится ли это или нет.

***1 декабря***

Зашел ко мне Архангельский вчера потолковать насчет помещения. У них образовался так называемый самообразовательный кружок, в котором участвуют свыше 10 человек, преимущественно ученики 7-го класса, а также две барышни. Меня радует это. Только дело в том, что сейчас у них нет подходящего помещения для собраний и Архангельский, видимо по поручению остальных членов, решил поговорить об этом со мной. Но для такой оравы моя комната оказалась слишком мала. Поэтому я посоветовал ему поговорить об этом с Симаковыми, у которых комната больше. Я посмотрю, что будет дальше. Возможно, что мы трое, то есть я и Симаковы, примкнем к ним. Тогда нас будет 15 человек.

***10 декабря***

Что касается кружка, то ничего определенного я сказать не могу. До сих пор, например, я не знаю всех участников. Это хорошо, так как показывает, что там собрались не болтуны, а люди, умеющие держать язык за зубами. Впрочем, дело в том, что

отчасти не находя помещения, а главным образом под влиянием малоотзывчивых, инертных участников этот кружок начинает рушиться. Не расцветши, отвял в утре пасмурных дней.

Мы с Модестом решили повести дело энергичнее, и сегодня я познакомлюсь с полным составом этого кружка. Дай Бог, чтобы, считая и нас, набралось 10 человек. Впрочем, во-первых, этого достаточно, а во-вторых, все более слабые, робкие отпадут, а останутся люди нужные, деятельные. Что касается помещения, то я в конце концов принужден буду предложить свою комнату, несмотря на ее малые размеры. Иначе дело станет на точке замерзания. Мне как революционеру в душе, как энергичному организатору будет очень жаль, если распадется этот кружок, и я приложу все свое старание, чтобы этого не случилось. Даже если из 10 человек будут участвовать только пять, то и тогда я буду этим доволен.

***12 декабря***

С появлением министра народного просвещения Игнатьева[7], видимо, любящего свое дело, в душную, затхлую обстановку гимназического быта пахнуло свежей струей воздуха. Производятся всевозможные реформы, нововведения, преобразования. На внутреннюю жизнь учащихся, на их

быт педагоги стали обращать больше внимания.

Так, в Пензе, в нашей гимназии теперь возникли всевозможные кружки: литературные, драматические и даже спортивные. Все это, конечно, под наблюдением учителей. Но я подозреваю в этом еще кое-что другое, вовсе не такое благородное, как это кажется на первый взгляд. Основав эти совершенно легальные, но находящиеся под наблюдением начальства ученические кружки, хотят раздробить молодежь, хотят отвлечь ее в сторону от всевозможных тайных, антиправительственных кружков с более или менее революционной окраской. Зная, что горячее, пылкое, смелое юношество больше всего склонно к освободительным идеям, теперь хотят отвлечь его в сторону от этого, хотят заинтересовать его другим, отняв у него свободное время и вместе с тем в тесной, интимной обстановке кружка наблюдать за настроением молодежи. Это не моя фантазия. Гимназический учитель пения, человек, видимо, либеральный, раз по секрету предупредил учеников, чтобы они были осторожнее на собраниях кружков, так как за ними там следят. Но ухищрения правительства оказываются неудачными. Правда, гимназисты охотно принимают участие в этих кружках, но

это не мешает им организовывать в то же время и тайные, секретные кружки.

Дня два-три тому назад я пошел вечером на собрание литературного кружка вместе с Модестом. На обратном пути я все время добивался узнать о составе «того» кружка, о его собраниях. Но и Архангельский, и Мишка Сафронов все время медлили, мямлили, не говоря ничего определенного. Это меня взорвало. Мы остановились на углу пустынной улицы, и я, в эту минуту отбросив свое заикание к чертям, стал говорить им о том, что, как я вижу, они только умеют болтать языком, ничего не делая и не желая делать, что это ни к какому результату не приведет и что если они так относятся, так зачем же было им затевать устройство этого кружка? Давно я так не говорил. Речь моя была несвязная, отрывистая, но, видимо, подействовала на них своей горячностью. Затем я сказал, что предлагаю им помещение — нашу гостиную.

Вчера, в воскресенье, было собрание «того» кружка, решавшее нашу с Модестом участь, и я сегодня узнаю о результатах.

Откровенно говоря, мне будет неприятно и обидно, если мне откажут в принятии. Обидно за то, что вся моя горячность, вся моя энергия, все

мои старания укрепить этот кружок пропадут так глупо и даром. Я уверен, что из всех участников его (пока, впрочем, я участником назвать себя не могу) я самый энергичный и настойчивый. Я умею молчать. Я могу дать удобное, безопасное помещение. Поэтому я могу принести большую пользу этому кружку. А что касается моего заикания, то это не может служить помехой. Правда, речей я произносить не могу, быть пропагандистом и агитатором не в состоянии, но живую речь могу заменить пером, которым я умею владеть. Разве среди наших революционеров не было заик? Разве Камиль Демулен, один из героев Великой французской революции, не заикался, что не помешало стать ему деятельным, талантливым революционером? Разве, наконец, мое заикание помешает мне погибнуть за свои взгляды, убеждения? Впрочем, оговорюсь, пока погибнуть я не желаю, а, напротив, хочу принести большую пользу.

После класса, где он поговорил с участниками кружка, Модест зашел сообщить о результатах вчерашнего собрания. Конечно, приняли.

Как теперь дело выяснилось, квартира у них была, место для собраний они имели и собирались у Моисеева уже не раз, но вся суть в том,

что они по обычной неосторожности повели дело так, что с первых же дней за ними стали следить. Они были настолько неосмотрительны, что на первое же собрание пригласили некоего Розанова, парня умного и развитого, что, однако, нисколько не мешает ему заниматься всевозможными темными делами и быть чуть ли не шулером, к тому же он сын черносотенца. Больше собраний Розанов не посещал, но сами они скоро заметили, что за ними следят какие-то подозрительные личности. Связь между этими двумя фактами очевидна: Розанов, человек сомнительной нравственности, перестал ходить, и сразу же начали следить. Вывод тут тот, что Розанов донес в сыскное. Вот это-то, с одной стороны, и с другой — то, что некоторые члены, видя, что дело принимает нешуточный оборот, невольно струсили и уже раскаивались в своем участии. Вот эти-то две вещи и грозили распаду кружка. Не приди я на помощь с помещением, вероятно бы, кружок разрушился.

***19 декабря***

Наконец-то у меня собрания. Вчера и позавчера, 17-го и 18-го было два собрания, и я их подробно опишу.

Обыкновенно кружок собирался по воскресе-

ньям, но так как сыщики, видимо, знали это, то участники решили собраться у меня в субботу, 17-го, в шесть часов вечера. К этому времени я уже все приготовил в гостиной и расхаживал, опасаясь, что они не придут. Но вот наконец повалили. То и дело раздавались звонки, я бежал отворять и впускал гостей, приходивших большей частью поодиночке. Пришли три барышни с Мишкой Софроновым. Всех нас, включая и меня, набралось 13 человек. Большинство из них были на моей квартире в первый раз, а с барышнями и с двумя гимназистами я не был знаком. Кажется, никогда у нас не было столько гостей. Вся гостиная была наполнена, в воздухе стояло сплошное гудение, точно в пчелином улье. Только и слышалось:

— Товарищ! Товарищ! Товарищ!

По-моему, некоторые из них уж очень злоупотребляли этим «товарищем».

Наконец расселись. Но вместо реферата читали газетные статьи, все мне уже известные, на животрепещущие вопросы — о Думе, об исповеди черносотенца Сергея Прохожего, которому союз поручил убить Милюкова.

Девицы все трое сели вместе. Довольно миловидные. Одна из них, кажется Леля, с интересным лицом — спокойным, холодным. У нее хорошая

фигура и красивые маленькие ноги. Пока девицы ничем себя не зарекомендовали, ограничиваясь только перешептыванием и несколькими словами.

Затем пили чай. Сахар, ввиду нынешней дороговизны, принесли с собой. Возникло было затруднение насчет булок, но я нарезал и подал хлеб домашнего печения. С какой радостью накинулись все на него и моментально расхватали. Разговоры, остроты, смех — все это так и гудело в воздухе. Никогда, кажется, так не было весело, как в этом тесном, дружном, жизнерадостном товарищеском кружке.

На собрании решили устроить снова сходку на другой день, в воскресенье, в полчаса пятого, но при этом соблюдать крайнюю осторожность.

Часов в восемь стали расходиться по домам. Во избежание лишних подозрений выходили небольшими группами и в два выхода. Девицы пошли в театр на оперу. Между прочим, мне поручили написать реферат о русской социал-демократии. Конечно, читать я его отказываюсь, вместо меня прочтет кто-нибудь другой, хотя бы Модест. Так как с социализмом наши, видимо, незнакомы, да и сама тема мне нравится, я хочу написать его с жаром, с чувством, вложить всю

душу, хочу, чтобы каждое слово моего реферата было ценным, ненапрасным.

На другой день, то есть, значит, вчера, погода была страшная. Поднялся ветер, чуть не срывающий фонари на улицах, поднялась метель. Я уже думал, что члены побоятся прийти, но вот, один за другим, они заполнили мою комнату. Черт возьми, что за шикарная вещь эти товарищеские кружки! Все равны, все оживлены, все остроумны, сыплются остроты, друг друга ругают «дегенератом», настроение бодрое, веселое, возбужденное.

Когда все распрощались и ушли, остались я и Столыпинский.

— Вы давно занимаетесь социализмом? — был его первый вопрос.

Я ответил, что с третьего класса. На самом деле впервые я познакомился с этим во втором классе от Жени. Он был для меня первым другом, отцом и учителем в одно и то же время. К своим родителям я не относился с таким благоговением, как к нему, гимназисту старшего класса, к нему, каждое слово которого я считал святыней. Он первый развил мой кругозор, открыл передо мною новые горизонты. В примитивной форме он первый познакомил меня с идеалами соци-

ализма, и я, 13-летний мальчик, уверовал в это сначала потому, что так говорил сам Женя. А он ошибаться не мог. Критическое отношение у меня появилось уже потом, и когда я обратился все к тому же Жене со своими вопросами, возможен ли социалистический строй, не химера ли это, он снова объяснил мне и доказал эту возможность. Сколько удовольствия доставляли мне небольшие прогулки после наших занятий (он сначала был моим репетитором), во время которых мы обсуждали мировые вопросы, он, высокий, тонкий, в очках, с лицом ученого, и я, гимназист 2-го класса! А когда он приводил меня к себе, в тихую, беспорядочную, чисто студенческую комнату, где обыкновенно уже сидели товарищи, то это для меня было верхом счастья!

Я пил там жидкий чай, иногда играл с Женей в шахматы, причем он всегда обыгрывал меня, и затем, забившись в угол, молча, почти с благоговением следил за ним и его товарищами. Раз он вслух прочел им написанный мною тогда рассказ «Митька». Я описывал бедного сапожного подмастерья, который под влиянием жестокого обращения хозяина бросается в воду. Вероятно, рассказ был сравнительно недурен, если сам Женя одобрил его. Теперь он погиб в архивах

сыскного отделения, куда он попал, когда арестовали Женю.

И так велика власть и обаяние этого действительно незаурядного человека надо мною, что даже теперь, когда я стал уже более или менее взрослым человеком, я с благоговением отношусь к нему, и он составляет для меня высший авторитет.

Мы долго говорили с ним в этот вечер, и давно я не помню такого хорошего времени. Он, между прочим, сказал мне, что я принесу кружку большую пользу, так как никто из них незнаком с социализмом, а я могу их с ним познакомить.

Сейчас, когда я пишу эти строки, реферат о социализме у меня уже готов.

## 1917 год

***21 января***

Пишу заключительные слова — все распалось. Горько это мне очень, гораздо горше, чем остальным, но что же, против рожна не попрешь.

Я пошел к Моисееву, тот меня встретил своей старой песней. Опять одно и то же о том, что сыщики знают все, что затевать кружки очень опасно, что мы все попадемся, не получим потом свидетельства о благонадежности, мы погибнем, не принеся никому ни малейшей пользы. Заканчивал он тем, что он сам лично не боится, но только советует хорошенько обдумать это. Раньше он было согласился организовать новый кружок, но теперь, как хорошенько он это обдумал, теперь он против.

Через всю историю существования нашего недолговечного кружка красной нитью проходит страх перед преследованием, перед сыском, страх, раздуваемый нервными членами. От слишком большой вначале откровенности и болтливости члены перешли потом к трусости, к опасению за существование и целость кружка.

Вначале, когда организация была накануне раз-

вала из-за недостатка помещения, я поддержал ее, продлил ее существование приблизительно на месяц, вступив вместе с Модестом туда и предоставив свою квартиру. Но и это не помогло. Несмотря на то что подозрительного больше замечено не было, снова начался панический страх перед сыщиками. Сначала Артоболевский, затем Мишель начали проповедовать, что кружок не может больше существовать, что нам надо это прекратить. Старания их увенчались успехом. Как я уже подробно описывал, 18 января у меня было последнее генеральное заседание, после чего кружок распался.

Но я и Юрий решили не сдаваться и биться до последней капли крови. В тот же вечер у нас возникла мысль организовать свой кружок отдельно от других. К нам присоединились Моисеев и Товбин. На другой день число наших членов увеличилось присоединением Мишеля. Казалось бы, снова возродится кружок. Но через два дня, 20-го числа, и эта надежда была разбита. И этот новый кружок погиб, еще не сформировавшись окончательно.

Такова краткая история нашей организации. Но, повторяю, я не теряю еще надежды и думаю, что через некоторое время нам все-таки удаст-

ся образовать свой кружок. Прав ли я, покажет будущее…

***26 января***

В прошлую субботу, то есть 21-го числа, я пошел снова на заседание гимназического литературного кружка. Как раз Федор читал реферат о Рылееве. В этом кружке проходят историю русской интеллигенции. Теперь добрались до декабристов. Откровенно говоря, я только удивляюсь тому, что наш директор, этот сухарь, педагог в генеральском чине, допускает публично распространяться о такой щекотливой теме, как декабристы и их идеалы. Главное, это происходит в гимназии, в обществе 50–60 юнцов-гимназистов и в присутствии его превосходительства. Что это такое? Повеяло ли новым духом, несмотря на отставку Игнатьева и замену его Кульчицким, или же наш директор ударился в либерализм? Ей-ей, не понимаю.

Я оказался прав, говоря, что наши снова организуют кружок через некоторое время. Действительно, хотя, в сущности, наша организация распалась, наши все-таки склоняются к плану устраивать общие собрания раз в месяц. Мишель сообщил мне, что, вероятно, на будущей неделе у меня будет заседание. Юрий сияет. Но рад этому

также и я. Видно, не погибнет наше дело. Видно, несмотря на всю их трусость, наши все-таки интересуются, и не только интересуются, а чувствуют склонность к нелегальщине. Теперь эти собрания хотя и будут реже, но зато плодотворнее. Теперь на них не будут читать вырезки из газет или Геккеля, а вместо того будут прочитываться наши собственные доклады на интересующую нас тему, и притом несколько зараз.

***4 февраля***

У меня есть роман Войнич[8] «Овод». Книга очень хорошая, художественная, потрясающая, рисует нравы революционной Италии первой половины XIX века. Замечательна она тем, что там впервые я встретил действующее лицо — заику. Кажется, во всей литературе, нашей и иностранной, ни один писатель не вывел типа заики. А между тем какой это интересный психологический тип.

Сравнивая себя с героем романа, Оводом, я вижу много сродных черт. Прежде всего, я, как и он, заикаюсь. Затем я, подобно ему, революционер. Я также прежде был ревностным, пылким христианином, и только случай толкнул меня, как и Овода, в ряды атеистов.

Артур, он же Овод, терпел мучения в продолжение пяти лет. Такие же мучения, только

нравственные, терплю и я, с той разницей, что мои муки длятся не пять лет, а 13, с тех пор, как только я начал сознавать окружающее.

Артур отличался смелостью и безропотно шел на смерть. Мне думается, что и я не уступаю ему в этом.

Он, подобно мне, сходился с женщиной, только видя, что он нравится.

Он был журналистом-сатириком. Я ни тот пока ни другой, но мне кажется, что и я могу писать хлестко.

Даже в мелочах я похож на него. Так я, подобно ему, очень люблю сладости.

Наконец, и я, как Овод, темноволос и имею голубые глаза.

***13 февраля***

Сегодня Юрий зашел ко мне. Как обычно, он объявил, что зашел «на минутку», но просидел несколько часов. Мы говорили о делах.

Между прочим, появилась довольно-таки дикая мысль написать своеобразную сатиру на кружок, осмеять его недостатки и высказать свой взгляд на него. Цель этих писаний, по словам Юрия, подбодрить, оживить и воодушевить кружок. Эта идея мне кажется странной, но я берусь написать.

***17 февраля***

Вчера я окончил свои «Записки дегенерата», написанные по просьбе Юрия. Дня два-три сидел и писал, писал. Надо было соединить «самую едкую сатиру и возвышенный идеализм», как говорил он. «Острое перо и горькая желчь». Кажется, я так сделал. Я описал безграничную трусость нашего кружка, интриги и сплетни его. Особенно обрушился я на Артоболевского, затем на Мишеля и Моисеева. Кажется, вышло удачно. Потом, когда это читали Модест и Федор, они все время хохотали.

***2 марта***

Настают великие события. Одним мгновенным громовым ударом Россия в лице своей Думы сбила с ног дряхлый колосс бюрократического самодержавия, тот колосс, который, возникнув при Петре, высшего своего развития достиг при Николае I и погиб теперь при Николае II.

Сегодня утром, когда я развернул газету, меня точно хватило обухом по голове. Ясно, черным по белому, было напечатано, что 27 февраля ночью организовался Исполнительный комитет Государственной думы, состоящий из двенадцати наиболее лучших, наиболее свободомыслящих членов, в числе которых Чхеидзе[9],

Керенский, Милюков, Родзянко[10]. Этот комитет стал ныне Временным правительством, и по его распоряжению арестована вся свора министров — Протопопов[11], Штюрмер[12], Щегловитов[13] и прочая сволочь. Это громовой, великолепный, потрясающий первый шаг новой России. Кажется, в истории еще не было такого примера, чтобы парламент в лице своих лучших представителей одним внезапным, неожиданным мгновенным ударом сверг старое правительство, которое, благодаря своей бездарности и дряхлости, ввело страну в анархию. Россия была на краю гибели. Голод, страшная дороговизна, мошенничество, каленые идиотские выходки правительства — вот к чему привело господство бюрократического самодержавия. И честь и слава Думе, что она в решительную минуту внезапно для всех, в ответ на приказ о роспуске, арестовала эту сволочь и организовала новое, чисто народное правительство. Теперь скоро война, эта проклятая, надоевшая всем война окончится. И тогда наступит эпоха коренной ломки всего старого и создание нового. Может быть, и мы, кружковцы, окажемся полезными.

Теперь все будет зависеть от тактики нового правительства. Если оно будет на высоте (в чем

я почти уверен), в стране наступит спокойствие, к чему и призывает Исполнительный комитет, война закончится в этом же году, и наступит создание Новой России.

Но особенно интересна телеграмма к царю Родзянко 26 февраля: «Положение серьезное: в столице анархия; правительство парализовано; транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство; растет общее недовольство; на улицах происходит беспорядочная стрельба, частью войска стреляют друг в друга; необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство; медлить нельзя; всякое промедление смерти подобно; молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».

Итак, в то время как мы мирно коптим в Пензе, в России внутри льется кровь, начинается революция. 25 тысяч восставших солдат послали 26 февраля в Думу делегацию, узнать решение Государственной думы.

Начальником Петроградского гарнизона стал член Думы полковник Энгельгардт, вступивший в свою должность в ночь на 28 февраля.

Да, первые шаги народа в лице его представителей блестящи. Посмотрим, что покажет будущее.

Новое временное правительство призывает всех к порядку и спокойствию и в своем воззвании к железнодорожникам требует у них не только исполнения своего долга, но прямо подвига ради успешной работы для армии.

Всем главнокомандующим разослан текст телеграммы к царю.

Интересное время теперь мы переживаем!

***3 марта***

Весть о неожиданной революции мгновенно разнеслась по всему городу. В гимназиях ученики и педагоги поздравляют друг друга и ведут между собой разговоры на эту тему. Телеграммы у газетчиков мгновенно расхватываются, причем платят по рублю за телеграмму. Но на улицах пока ничего не заметно. Тихо, как обычно. Городовых почти нет.

Приходят все новые известия. Революция, громовая, блестящая, бескровная почти, революция в полном разгаре.

Аресты министров и прочей камарильи продолжаются. В числе арестованных Горемыкин[14], Трёпов[15], Сухомлинов[16], председатель Союза русского народа мерзавец Дубровин[17]. Всех сановников отправляют в Петропавловскую крепость. Пусть, сидючи в казематах, эти столпы отечества,

посылавшие некогда туда сотни лучших людей России, узнают прелести этой жизни.

Организовался Совет рабочих депутатов (как и в 1905 году), который вместе с Исполнительным комитетом призывает всю страну к спокойствию и полезной работе для армии.

Но поразительнее всего общая солидарность, общее уважение к Думе. Весь Петроградский гарнизон, флотские экипажи на стороне народа. Даже казаки; даже конвой царя в полном составе явился в Думу, заявляя, что он на стороне ее, и прося приставить караул к офицерам, не принявшим участие в восстании. Члены Думы говорят горячие речи полкам, где их встречают с энтузиазмом. Родзянко и Керенский произнесли речи юнкерам Михайловского артиллерийского училища, в которых поклялись, что Россия будет свободна. Черт возьми, какие великие минуты переживает страна, а я, сидя тут, не могу этого видеть. Конечно, сейчас же возникли сплетни о том, что царь и царица арестованы (кстати, о Николае ни слуху ни духу). В Кронштадте солдатами убит адмирал Вирен[18], пензенский губернатор Евреинов растерялся окончательно и махнул на все рукой.

Нет, я все не могу опомниться от восхищения

и восторга гениальностью членов Думы, так блестяще совершивших этот великий бескровный переворот. Одним ударом, ударом суворовским сбили с ног старое правительство и этим спасли Россию. И захватив внезапно всю свору негодяев-министров, запрятали их в крепость, Дума свергла окончательно темные силы. Где они? Их точно ветром сдуло. Страна ликует. Да, весна наступила.

***5 марта***

Вчерашний день был богат событиями. Я видел, как Пенза отозвалась на счастливую революцию. И при этом я видел многое, взволновавшее меня.

Я вышел из дома днем и натолкнулся на характерную сценку. По другой стороне улицы шли, обнявшись, два солдата и нестройными голосами пели «Дружно, товарищи, в ногу…». Повстречался с ними какой-то прапорщик, остановил их, но затем пошел дальше. Через некоторое время их остановил другой офицер, шедший по моей стороне. Он долго всматривался в них и наконец окликнул их, подозвал к себе и начал спрашивать, какого они полка.

— Вы, наверно, напились?

— Так точно, — почтительно отвечают солдаты. — Ваше благородие, Россия воскресла!

— Верно, голубчик, верно, но зачем же непременно напиваться? Неужели без этого обойтись нельзя? Нам сейчас всем надо быть трезвыми, надо работать, а не пьянствовать. Вот если бы вы были трезвые, тогда другое дело, тогда я бы слова не сказал, — говорил офицер, как мне казалось, нарочно громко, видя, что несколько прохожих остановились, слушая.

Какая-то ветхая старушонка вообразила, что солдата будут за это наказывать, и слезливым голосом обратилась к офицеру, прося этого не делать. Солдаты принялись успокаивать ее:

— Иди, иди, бабка, иди. Теперь не то. Теперь мы все одна семья.

Чем это кончилось, я не знаю, так как уже давно слышал где-то поблизости крики «ура» и теперь поспешил туда. На перекрестке Садовой и Суворовской улиц стояла толпа манифестантов. На дороге стройно, рядами стояли полки солдат, и оттуда гремело «ура». Толпы публики, взбудораженные, лихорадочные, окружали их. У всех, даже у солдат, лица были какие-то другие, светлые. Я шнырял в толпе, стараясь найти наших кружковцев.

— Скажите, что будут делать? — обращается какая-то дама к стоящему возле выстроенного

полка офицеру.

— Покричим «ура» да и разойдемся по домам.

Однако мирная, светлая манифестация кончилась кровавой драмой. Но об этом после.

Вот над толпой солдат показался плывущий шест, украшенный красным бантом с висящим портретом Николая Николаевича. Затем поплыли мимо разноцветные плакаты, которые несли солдаты: «Да здравствует Народная Государственная Дума», «Долой немецкое правительство» и т. д. И при появлении этих медленно движущихся плакатов еще громче, еще одушевленнее загремело «ура». Какой-то солдат с красной тряпкой на шее свернул с дороги на тротуар. Моментально за ним ринулась целая толпа коренастых, неуклюжих солдат, бежавших по тротуару за красным знаменем. Да, это была настоящая революционная армия. Но вот наконец я увидел в толпе стоявших Юрия, Федора и Знаменского. Поздоровавшись, мы принялись смотреть. Мимо, над щетиной штыков медленно плыли красные флаги и разнообразные плакаты. То затихая, то разрастаясь снова как прибой, неслось все время громовое «ура». Толпа колыхалась и двигалась с места на место, росла все больше и больше. Двух или трех солдаты качали. Один из них был офи-

цер. Из толпы войск вылетали они вверх, затем на секунду скрывались и снова взлетали вверх. Офицер при этом ритмично взмахивал папахой, которую держал в руке.

Но вот внезапно толпа колыхнулась и дрогнула.

— Бем[19], Бем, — пронеслось, — бьют Бема!

Дело в том, что тут же присутствовал генерал Бем, которого солдаты страшно ненавидели за его жестокое и несправедливое обращение с ними. К тому же ходили слухи, будто он, немец, предал два корпуса на Карпатах.

Желая узнать, в чем дело, еще не веря тому, что Бема бьют, я и Юрий врезались в толпу. Около самого здания Городской думы плотной стеной стояли солдаты. Что происходило в этой серой, как волны моря, колыхающейся массе, я не знал. Я видел только море кричащих солдатских голов. В воздухе стоял сплошной, оглушающий крик:

— Аааа…

Толпа колыхалась из стороны в сторону, увлекая за собой и нас. Все деревья возле Думы были облеплены гроздьями солдат, и оттуда слышались крики:

— Довольно бить! Довольно!

Я чувствовал, что происходит что-то страш-

ное, и поэтому, не щадя глотки, вместе с Юрием кричал:

— Довольно! Довольно!

Но вряд ли эти немногочисленные крики было слышно в том реве, который стоял в воздухе. Мы выбились из этой толпы на более свободное место. Юрий видел все-таки, как Бема стиснули со всех сторон, сорвали с него погоны и фуражку и сыпали на его лысую голову снег. Затем эта лысая голова исчезла, видимо очутившись под ногами толпы

солдат.

— Что с Бемом? — спросили мы какого-то солдата. Тот равнодушно ответил:

— Убили.

Как я и Юрий потом узнавали от солдат, вся сцена убийства произошла таким образом. Бем вышел из здания Городской думы, сел на лошадь и накинулся на солдат, крича, что эта манифестация недопустима. Тогда Бема хотели арестовать, но он отказался.

Разъяренная толпа солдат кинулась к нему, опрокинула его лошадь, стащила его, сорвала погоны и шапку и, стиснув со всех сторон, прижала его к Городской думе. Эту-то сцену мы с Юрием и видели. Говорят, будто Бем пытался стрелять.

Затем его сбили с ног и принялись топтать ногами. Это происходило в двух шагах от остальных офицеров.

Наконец кое-как окровавленному Бему удалось освободиться. Он поднялся и инстинктивно сделал несколько шагов. Но тут, видя, что добыча ускользает из рук, один из солдат закричал:

— Ребята, неужто мы его отпустим?

Толпа кинулась вдогонку, сбила Бема с ног и принялась топтать его снова. Наконец его сволокли в соседний двор, но и тут не оставили в покое. Юрий, видевший его тело, рассказывал, что труп, желтый, замерзший, был совершенно голый. Голова представляла собой бесформенную кровавую массу. Каждый из прибежавших сюда солдат считал своим прямым долгом, своей обязанностью ударить ногой или плюнуть на это страшное, бесформенное тело.

Вот это-то гнусное надругательство, это варварство возмущало всего более. Пусть Бем заслуживал смерти, пусть он негодяй, но тогда проще было заколоть его или застрелить, нежели рвать на клочки и потом издеваться над трупом.

Отчасти тут вина самого Бема, который грубо накинулся на солдат и отказался сдаться в плен, но еще больше здесь виноват Пензенский ис-

полнительный комитет, который не арестовал его раньше. И эта кровавая трагедия омрачила все торжество. Это было пятно, как выражался Юрий, которому очень понравилось, видимо, это выражение, пятно на белоснежной одежде Революции.

Мы потом не раз говорили солдатам, что лучше было его арестовать, нежели убить так зверски. Но почти все были довольны.

— Чего там арестовать! Тут, по крайней мере, своим судом эту сволочь.

Через некоторое время я отправился с Юрием в театр, где было заседание Пензенского исполнительного комитета.

На улицах виднелась милиция — молодые люди с белыми повязками на рукаве. Некоторые гимназисты для чего-то получили красные повязки.

Публики в театре было много, и эта публика была преимущественно демократической. Конечно, вход был бесплатный.

— «Полный сбор», — как бы шутя, сказал сидевший рядом с нами еврей, указывая на черневший от массы публики зрительный зал.

Мы долго ждали перед закрытым занавесом. Наконец вышел какой-то господин, который

извинился перед «гражданами» и заявил, что сейчас производятся выборы.

Но вот раскрылся занавес. На сцене стоял стол, накрытый красной скатертью, вокруг которого сидели выбранные представители от города и от офицеров. Сзади стояли делегаты от солдат.

Вся сцена была полна народом.

Я не стану передавать всего хода заседания, но скажу только, что Комитет решил из своей среды выбрать особое Бюро, состоящее из 12–15 членов. Большинством голосовавших было постановлено, чтобы в число их вошло двое делегатов от офицеров, четверо — от солдат, четверо, кажется, от рабочих и остальные депутаты от города. Затем поднялся вопрос о губернаторе Евреинове. Было прочтено заявление губернатора о том, что он вполне подчиняется Исполнительному комитету. Подписывался он: «Гражданин Евреинов».

Теперь заговорили о том, что он всегда был либерален, заступался за местную левую газету «Чернозем» и даже запретил арестовать ее жандармскому полковнику, который теперь сам арестован, когда в Пензу проникли первые слухи о революции, и поэтому его можно оставить.

Тут мы ушли. Но, как потом мне передавала мама, бывшая тоже в театре, все же Евреинова

решили удалить.

Теперь о нашем нелегальном кружке, ныне, конечно, вполне легальном. Как я уже не раз говорил, цель была — подготовка нас к будущей революции.

Но так внезапно, так мгновенно и блестяще произошла эта революция, что наш кружок оказался совершенно непригодным. Мы не успели опомниться, как войсками и Думой все было сделано, и теперь наступили прелестные дни свободы и братства. Мы оказались как бы за бортом жизни, и поэтому я думаю, что наш кружок теперь распадется. Конечно, мне это страшно жаль, так как тогда исчезнет самое драгоценное — товарищеское единение, и поэтому я лично приложу все усилия к тому, чтобы мы, кружковцы, поддерживали связь между собою.

***6 марта***

Какое прекрасное, счастливое время, какое великое историческое событие мы сейчас переживаем. Как рад я и доволен, что я сейчас сознательный, разумный человек, а не двухлетний ребенок и могу вполне наслаждаться событиями. Прав был полупьяный солдат, твердивший все время:

— Ваше благородие, Россия воскресла.

Да, она воскресла. Все то, к чему стремилась наша святая интеллигенция, наши герои-революционеры, лучшая соль народа, за что они страдали, умирали, — все это достигнуто. Первая ступень в царство вековечной мысли и света пройдена. Программа наших социалистов, по всей вероятности, будет введена в жизнь Учредительным собранием, которое в скором времени соберется. Да, а тогда еще один переворот, еще одна последняя революция, третья, и наступит царство социализма, царство труда и счастья.

Теперь зовут всех изгнанников и выпускают на волю всех политических. Скоро прибудут Плеханов[20], апостол анархизма Кропоткин[21]. Лопатин[22], тот Герман Лопатин, который пытался воскресить партию «Народной Воли», уже здесь. Он счастлив, видя исполнение того, за что он бился всю жизнь. Он был во время уличных петроградских беспорядков, вокруг него свистели пули, а он был рад погибнуть в эту минуту.

Теперь как-то радостно стало на душе. Идешь по улице, видишь солдат и офицеров, видишь публику и с теплым чувством думаешь: «Все это наши. Это все братья и товарищи. Теперь нам ничто не страшно и теперь мы добились свободы».

Люди те и как будто не те. Что-то их изменило, хотя уличная жизнь почти та же, все же чувствуешь что-то иное.

Идет коренная ломка всего старого. В мгновение, в одно только мгновение все стало вверх дном, все перевернулось и изменилось. И, Боже мой, как хорошо себя чувствуешь в это время.

Царь отказался от престола в пользу брата Михаила Александровича, который ждет пока приговора Учредительного собрания. Но будет ли это конституционная монархия или республика, право, это не важно. Суть здесь та, что монархизм с бюрократией исчез навеки и наступила новая жизнь. Князь Львов[23], Керенский, Милюков, Гучков[24] и другие члены Думы стали пока министрами, и, надо сказать, первые их шаги на этом поприще блестящи.

Вчера часов в пять мы с Юрием пошли в театр на митинг, первый свободный митинг народа.

Когда мы вышли на улицу, издалека доносилось громовое «ура». Скоро мы увидели бесконечные стройные полки, идущие с музыкой, с красными флагами и плакатами на Московскую, главную улицу Пензы. Толпы публики сопровождали их. Впереди ехали на лошадях офицеры, за ними солдаты несли красное знамя с надписью на нем:

«Да здравствует свободная Государственная Дума. Низко кланяемся нашей доблестной армии». На других плакатах были надписи: «Да здравствует свобода», «Да здравствует свободная Россия». Солдаты, почти отдельно от офицеров, шли быстро и стройно, и по их рядам все время перекатывалось «ура». Их было, наверно, несколько тысяч. Когда голова манифестации достигла конца Московской, то позади, в начале улицы, все еще двигались бесконечные полки. Музыка гремела.

Какой-то студент высунулся из форточки с красным платком в руке и, махая, закричал:

— Да здравствует свобода!

— Ура, — загремели полки, быстро под музыку идя по улице.

Дойдя до театра, солдаты повернули и прошли мимо. Большая же часть публики вошла вовнутрь. Вошли и мы.

Толпа идущих на митинг все прибывала и прибывала. Среди этой толпы я увидел массу (человек 300–350) странных людей в арестантских шапках и серых шинелях. Некоторые были в желтых овчинных сюртуках.

Это были арестанты, каким-то образом, сами или с помощью тюремщиков освобожденные из тюрьмы, явившиеся сюда просить помощи

и суда.

— Ну, намучились одиннадцать месяцев, — говорил один из них, молодой арестант с симпатичным лицом.

Публика, окружавшая их, относилась к ним тепло и сочувственно. В самом деле, поступок этих арестантов был в высшей степени красивый. Каким-то образом вырвавшись на волю и разгромив тюрьму, большая часть их (всего было 600 человек) не разбежалась по сторонам, что она свободно могла сделать, а явилась на суд народа, может быть, чтобы опять быть заключенными в тюрьму. Каким образом они освободились — темно и неизвестно. По всей вероятности, как потом на митинге говорил полковник, здесь была провокация со стороны полиции, выпустившей на волю народ, среди арестованных солдат была масса грабителей и мошенников…

На углу Московской стоял вместе с вооруженным солдатом Артоболевский с красной повязкой милиционера на рукаве.

Я поговорил с ним и пошел дальше. Там Товбин, тоже милиционер, шел с двумя солдатами. Вообще весь наш кружок, кроме меня и Федора Архангельского, записался в милицию.

У театра стояла толпа солдат и офицеров. Цари-

ла полная непринужденность. Солдаты курили… папиросы, между тем как раньше за это их наказывали, и наказывали очень строго.

Здесь состоялся митинг солдат, и офицеров и штатских туда не пускали.

Юрий ходил со мной записываться в милицию. Гимназисты захватили в свои руки бывший второй участок, и теперь темные, гнусного вида комнаты были заполнены галдящей толпой гимназистов-милиционеров с красными и белыми повязками.

Почти все старшие классы гимназий пошли в милицию. Шли не только так или иначе «сочувствующие политике», а даже гимназисты-аристократы, шли, по-моему, только из-за моды, а вовсе не по какому-нибудь убеждению.

Но как бы там ни было, милиция работает превосходно. В помощь ей дано 600 солдат, с 10 офицерами (при каждом участке 120 солдат, два офицера). Почти все бежавшие арестанты теперь пойманы и водворены в тюрьму. Арестовано много притонов с винными суррогатами.

Когда мы возвращались, издалека с площади перед собором донеслось хоровое пение. Пели «Вечную память» павшим борцам за свободу. Затем разнеслось многоголосое «ура». Манифе-

стации все продолжались.

Вечером под окнами нашего дома я услышал знакомый мотив «Марсельезы», впервые услышанный, впрочем, мною здесь. Я выскочил на крыльцо и увидел небольшую толпу, быстро идущую по улице и несшую красный большой плакат.

Раздавалось пение.

***12 марта***

10 марта справлялся Праздник Свободы, праздник, затмивший все официальные тезоименитства, дни рождения царской семьи и прочие.

Утром были молебны. Затем в 12 часов парад революционных войск и манифестации, а вечером митинги. Я пошел на площадь перед собором, где обыкновенно бывали парады часов в 11 утра. День был серый, пасмурный. Все было заполнено бесчисленными толпами публики. Все маломальски возвышенные пункты были заполнены любопытными. Деревья были усеяны гроздьями взобравшихся туда мальчишек. Ограда сквера, соборная колокольня, крыши домов — везде была публика. А посередине колыхались раздуваемые легким весенним ветерком красные знамена и плакаты.

Со всех сторон прибывали новые толпы с но-

выми флагами, и это еще больше оживляло собравшуюся публику. Пришла толпа с двумя флагами. На одном, черном, была надпись «Вечная память павшим за свободу», на другом, красном знамени — «Да здравствует рабочий союз». Маленький человек пробился сквозь массу публики, неся красное знамя с надписью «Да здравствует социализм». Пришла толпа поляков с национальными флагами и двумя красными плакатами. На одном была надпись «За вашу и нашу свободу». То же самое было написано на другом плакате по-польски.

Я был далеко от войск и поэтому самого парада не видел. Но вот вдали раздались звуки полковых оркестров. Играли французскую «Марсельезу» вместо обычного «Боже, царя храни».

И вот наконец среди тысяч народа стройно, в полном порядке двинулась манифестация, направляясь вниз по Московской. Впереди стройно шла организация железнодорожников с красным знаменем, на котором была надпись «Слава павшим борцам за свободу».

Это была поистине грандиозная манифестация. Часа два тянулась эта бесконечная лента солдат, одних с винтовками, других — без них, и рабочих. Гремела военная музыка, перекатываясь громо-

вым «ура». В воздух летели шапки.

Какое-то неизвестное до сих пор, захватывающее одушевление мало-помалу охватывало холодную пензенскую публику.

Боже мой! Кто мог бы дней 10 тому назад вообразить себе, что всенародно, публично, наши солдаты — эта гроза и пугало бунтовщиков, шли бы с красными знаменами и вместе с рабочими пели «Марсельезу»? Кто бы мог себе это представить? Снилось ли это кому-нибудь из наших революционеров?

И эти солдаты не только несли красные флаги, не только кричали «ура» в честь революции, но их благословляло само духовенство, — духовенство, бывшее второй приспешницей правительства. Поистине мы живем в самую странную, самую фантастическую, но в то же время в самую прекрасную и великую эру истории России.

Но всего удивительнее спокойствие и всеобщий порядок. Действительно, эта революция почти бескровная. Только сначала в Петрограде лилась кровь, затем в провинции кое-где были эксцессы толпы, но в общем удивительно спокойно, мгновенно и в величавом порядке прошел этот великий переворот. Видно, много насолила династия Романовых России, если даже в среде

темного монархического крестьянства в защиту их не прозвучало ни одного слова.

И потом на митинге я увидел, как ненавидит теперь общество царизм и царя.

Вечером я пошел на митинг в Народный дом.

Должен сказать, что теперь почти каждый день происходят всевозможные митинги, собрания, заседания, и так много желающих, что далеко не все туда попадают. Я три раза не мог попасть.

Я пошел в «Олимп», где тоже был митинг. Там я наконец нашел себе место.

Председателем был выбран, как и в Народном доме, доктор Совков.

Основной лейтмотив речей был тот — готовьтесь к выборам в Учредительное собрание и добивайтесь республики. С этой целью одни из ораторов вкратце освещали историю, отношение Романовых к народу, другие говорили о том, что только одна республика более или менее пригодна России. И каждое слово о царе, о его отношении к народу, о его издевательстве над Россией встречалось громом аплодисментов. Эта неприязнь, даже ненависть к царю-батюшке совершенно естественна теперь, когда исчез ореол «помазанника» и когда выяснилось окончательно, какой ничтожной, жалкой и в то же время

глубоко вредной личностью был этот самый царь-батюшка, чинивший столько зла России.

Один из ораторов предложил почтить вставанием павших за свободу, и все встали как один человек. Затем с шапкой стали обходить публику, собирать деньги в пользу освобожденных политических. Я дал 35 копеек, которые только и были при мне.

Всего собрали 120 рублей, сумму порядочную в сравнении с небольшим числом публики.

В числе ораторов между прочим были две женщины. Первая из них, вышедшая на эстраду из публики, была, очевидно, мещанкой. Она говорила о том, что старое правительство издевалось над народом, желало всех уморить с голоду, ввело особые карточки на провизию, содействовало возникновению «хвостов». Люди стояли по целым дням в очереди и часто возвращались домой без всего. Случалось, что, не вынесши вида своих голодных детей, женщины убивали и их, и себя. Хотя язык этой ораторши далеко не был литературным, хотя она изящно говорить не умела, но благодаря чувству, которым были проникнуты ее слова, речь ее произвела впечатление. Я боялся, что она не выдержит и разрыдается тут же на эстраде.

Затем говорила барышня, как я думаю, принадлежащая к какой-нибудь партии или организации. Она говорила каким-то таинственным, интимным тоном, но, в общем, очень недурно.

***13 марта***

Жизнь входит в спокойное русло, но это спокойствие относительно и условно. Каждый день, переживаемый нами, равняется нескольким годам, каждый день приносит все новые и новые известия, показывающие, что в государстве идет крупная ломка всего старого. По выражению Яблоновского, сотрудника «Русского слова», мы слышим ежедневно грохот геологических обвалов истории, обвалов грандиозных, поразительных, но мы к этому относимся вполне спокойно и сдержанно. Иначе и быть не может. У нас нет времени заниматься этим. Объявлены свободы, долгожданные свободы слова, совести, действий, собраний, объявлено всеобщее равенство, нет ни дворян, ни крестьян, нет «благородий» и «превосходительств», есть только граждане, объявлено возвращение политических ссыльных и эмигрантов, отменена смертная казнь — все эти великие, громадные явления встречаются нами сдержанно. И не потому, что Россия к этому равнодушна, а так как иначе быть

не может и так как впереди у нас много важных, гигантских задач.

Теперь газеты полны известий об арестованной царской семье и о тех гадостях, которые происходили наверху, при дворе бывшего повелителя громадной России. Теперь исчезла вся мишура, весь поддельный блеск, все сусальное золото, покрывающее священное недавно слово «царь», и обнаружилась во всей своей красоте подлая шайка нравственных да, пожалуй, и физических дегенератов, 300 лет и три года державших под ярмом Россию.

Невольно удивляешься, каким колдовством был зачарован народ, и не только народ, но и образованное общество, стонавшее под игом нескольких вырожденцев? Что ослепляло его? Что ему мешало сбросить с себя это проклятое ярмо, сбросить которое можно было так легко, как это показало недавнее?

***17 марта***

Вообще удивительная метаморфоза произошла с нашим обывателем. Еще недавно дрожа за свою шкуру, он пуще всего боялся страшных слов «революция», «беспорядки», «социализм»…

А ныне все это страшное для заячьего уха обывателя получило право самого широкого

гражданства. Подобно тому как грозная, мощная волна несет с собой всякий мусор, так сейчас всплыла наверх, подхваченная общим потоком, и всякая дрянь. Вся та сволочь, которая долгие годы систематически натравливала и верхи, и низы страны на интеллигенцию, которая все святое и великое оплевывала и обливала грязью, сейчас спешит выказать себя ярым сторонником Временного правительства, в то же время всячески стараясь сунуть палку в победную колесницу Революции.

И по сравнению с этой сволочью (иного имени я дать не могу) смело можно назвать честным человеком отца современной провокации Зубатова[25], который застрелился, видя торжество народа. Да, провокатор, предатель, шпион может в данном случае называться честным человеком.

А интересно сейчас самочувствие тех искренних правых, которые, по недостатку ли умственного развития или же вследствие своей ограниченности и своего убожества, серьезно считали «бессмысленными мечтаниями», как выразился Николай II, все либеральные идеи. Как они чувствуют себя, видя, что все это превратилось в явь, что греза стала былью? А как себя чувствует арестованный Николай?

***22 марта***

Вечером Юрий зашел ко мне, и заговорили о будущей карьере. Юрий начал говорить о том, что он будет доктором и общественным деятелем, отдавая весь свой досуг пропаганде социальных идей среди крестьян.

Он говорил горячо и с увлечением, как обычно говорит (без сомнения, к тому же и вино оказывало некоторое действие), и поэтому мне было жаль обливать его ушатом холодной воды. Но все-таки я сказал ему, что это так он мечтает, пока молод, а когда станет почтенным обывателем, то отлично проживет и без всяких идей, заботясь только о собственной шкуре. Конечно, это высказано было не так грубо, но все-таки подействовало на Юрия.

— Товарищ, я тогда застрелюсь. Поймите, застрелюсь, — ответил он.

Я поспешил сгладить это, сказав, что я не говорю о нем, но так обычно бывает.

— Ну а каковы ваши проблемы? — спросил Юрий.

Мы в это время остановились у ярко освещенной витрины сапожного магазина.

— А все-таки какой-нибудь идеал жизни у вас есть. Каков же он?

Я увлекся и почти без заикания начал говорить о том, что уже не раз высказывал в дневнике. Я говорил, что цель моей жизни узнать ее, эту человеческую жизнь, и чем больше судьба меня будет кидать из стороны в сторону, тем больше я буду доволен…

## Послесловие

*(Воспоминания Д.В. Фибиха-Лучанинова — июль 1965 года)*

…Летом восемнадцатого года, проходя по Лермонтовскому скверу, я встретил одного из членов бывшего нашего кружка, Юрия Столыпинского, которого уже давно не видал. С Юрием я больше всего дружил. Высокий, красивый, сейчас он выглядел чрезвычайно импозантно: военная фуражка с красной звездочкой, на боку наган. Небрежным тоном Столыпинский сообщил мне, что в Пензе он проездом, едет на фронт, что эшелон его стоит на вокзале, а сам он — комиссар.

Другой наш кружковец, Эфраим Товбин, тоже ушел с Красной армией на фронт. Говорили, будто потом он попал в плен к деникинцам и был повешен как коммунист.

## Комментарии к части I

1. *Дурова* — Надежда Андреевна Дурова (1783–1866), писательница, первая российская женщина-кавалерист, офицер, прославившаяся в Отечественной войне 1812 г.

2. *Разин* — Степан Тимофеевич Разин (ок. 1630–1671), предводитель Крестьянской войны 1670–1671 гг., вождь крупного протестного движения крестьян, холопов, казаков и городских низов.

3. *Пугачев* — Емельян Иванович Пугачев (1742–1775), донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773–1775 гг. в России.

4. *Милюков* — Павел Николаевич Милюков (1859–1943), российский политический деятель, историк, публицист, теоретик и лидер партии кадетов. В 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства 1-го состава.

5. *Керенский* — Александр Федорович Керенский (1881–1970, Нью-Йорк), дворянин, видный политический и общественный деятель; министр-председатель Временного правительства (1917).

6. *Шишкó* — Леонид Эммануилович Шишкó

(1852–1910), политический деятель, публицист. Участник народнического движения 1870-х гг., член кружка чайковцев. С 1890 г. в эмиграции, один из основателей фонда Вольной русской прессы. Участвовал в создании партии эсеров, один из авторов ее программы.

6а. *Степняк* — Сергей Михайлович Степняк (Степняк-Кравчинский) (1851–1895), русский революционер-народник, анархист, писатель.

7. *Игнатьев* — граф Павел Николаевич Игнатьев (1870–1945, Канада), российский государственный деятель, министр народного просвещения (1915–1916).

8. *Войнич* — Этель Лилиан Войнич (1864–1960, Нью-Йорк) — английская писательница, композитор.

9. *Чхеидзе* — Николай (Карло) Семенович Чхеидзе (1864–1926, Франция), политический деятель, член РСДРП с 1898 г., меньшевик. Депутат III и IV Государственных дум.

10. *Родзянко* — Михаил Владимирович Родзянко (1859–1924), крупный помещик, действительный статский советник, политический деятель, один из лидеров партии октябристов.

11. *Протопопов* — Александр Дмитриевич Протопопов (1866–1918), потомственный дворянин,

министр внутренних дел, сторонник жесткой правительственной политики. Летом 1918 г. препровожден в Москву и расстрелян.

12. *Штюрмер* — Борис Владимирович Штюрмер (1848–1917), крупный помещик, русский государственный деятель, в 1916 г. стал председателем Совета министров.

13. *Щегловитов* — Иван Григорьевич Щегловитов (1861–1918), из потомственных дворян, русский государственный деятель, министр юстиции.

14. *Горемыкин* — Иван Логгинович Горемыкин (1839–1917), видный государственный деятель царской России, действительный тайный советник 1-го класса, сенатор, член Государственного совета, относился к группе правых, до 20 января 1916 г. занимал пост председателя Совета министров. Был убит во время разбойного нападения.

15. *Трёпов* — Александр Федорович Трёпов (1862–1928, Ницца), российский государственный деятель. После 1917 г. оказался среди лидеров Белого движения, в 1918 г. эмигрировал в Финляндию и стал одним из лидеров монархической эмиграции.

16. *Сухомлинов* — Владимир Александрович Сухомлинов (1848–1926), генерал от кавалерии,

с1909 г. военный министр, а в 1911 г. был введен в Государственный совет, во время Первой мировой войны был объявлен главным виновником неготовности страны и армии.

17. *Дубровин* — Александр Иванович Дубровин (1855–1921), один из основателей и до 1910 г. председатель Главного совета монархической черносотенной организации «Союз русского народа», редактор его печатного органа газеты «Русское знамя», по профессии врач. В 1920 г. арестован Всероссийской Чрезвычайной Комиссией и осужден.

18. *Вирен* — Роберт Николаевич Вирен (1856–1917), российский адмирал.

19. *Бем* — Михаил Антонович Бем, генерал-майор.

20. *Плеханов* — Георгий Валентинович Плеханов (1857–1918), русский публицист и политический деятель.

21. *Кропоткин* — князь Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921), русский революционер, теоретик анархизма, географ, историк, литератор.

22. *Лопатин* — Герман Александрович Лопатин (1845–1918), русский политический деятель, революционер.

23. *Князь Львов* — Георгий Евгеньевич Львов (1861–1925, Париж), русский общественный и политический деятель, после Февральской революции был председателем Временного правительства (фактически главой государства).

24. *Гучков* — Александр Иванович Гучков (1862–1936, Париж), российский политический деятель, лидер партии «Союз 17 октября». Председатель III Государственной думы.

25. *Зубатов* — Сергей Васильевич Зубатов (1864–1917), царский жандармский полковник, создатель системы политического сыска в России.

# Часть II. Северо-западный фронт. *Дневники 1942–1943 гг.*

Дневники — самый надежный и достоверный вид описательных исторических источников. Они фиксируют события прямо и непосредственно, дают как бы фотографический снимок происходившего. Нужно ли говорить, что подобные качества дневников особо ценны на фронте, когда события меняются каждую минуту и память просто не в состоянии удержать весь поток информации, который приходится воспринимать человеку, находящемуся постоянно в пограничном состоянии между жизнью и смертью.

Интересно, как стали доступны военные дневники Д.В. Фибиха. Тетради с его записями были отобраны у него при аресте: они служили главными «вещдоками» его «преступления». На тетрадных страницах сохранились пометы красными чернилами, сделанные руками следователей.

В конце 2008 года внучка писателя М.Ю. Дремач получила разрешение ознакомиться со

следственными делами ее деда, хранящимися в архивных фондах ФСБ России. К немалому ее удивлению, в качестве приложения к этим делам ей выдали несколько тетрадей с записями Д.В. Фибиха, чудом (поскольку все сопутствующие документы, как правило, уничтожались после вынесения приговора) уцелевших в архиве.

Рукописные тетради, в которых описываются события первой половины 1942 и первой половины 1943 годов, удалось расшифровать практически полностью. Последняя запись датирована 31 мая 1943 года. Через несколько дней их автор будет арестован и никогда больше не увидит своих дневников…

Здесь впервые публикуется полный текст сохранившихся дневников. Фрагменты их были опубликованы в газете «История — Первое сентября» (2009/№ 8) и в журнале «Новый мир» (2010/№ 5).

# 1942 год

## Январь

Новогодний подарок: утром радио сообщило о нашем десанте в Крыму — заняты Керчь и Феодосия. Это значит — освобождение Крыма, разгром и уничтожение всей крымской группировки противника. В час ночи, когда мы втроем — я со своими старичками — сидели за скромным новогодним столом, по радио было передано известие о взятии Калуги и о разгроме армии генерала фон Клюге. Разбито 16 дивизий. Наш ответ на самоназначение Гитлера верховным командующим.

31-го, к Новому году, в Москве стали выдавать вино. В магазинах творилось что-то несусветное. Мама целый день стояла на морозе в очереди, зато принесла литр портвейна.

Москвичи живут впроголодь и в холоде. Папа с мамой как иждивенцы получают по 400 гр. хлеба в день, по 200 гр. масла в месяц, по 200 гр. сахара и 200 гр. конфет, по 600 гр. мяса и по 4 килограмма картошки. Служащим полагается немного больше. Лучше всего рабочим: 800 гр. хлеба, 1200 гр.

мяса и т. д. О рабочей карточке мечтают. Многие интеллигентные люди только ради нее поступают на производство.

Квартиры с центральным отоплением топят прилично, на складах есть дрова, но все же холодно в московских домах. Во-первых, часть квартир пострадала от бомбежек — выбитые стекла, наспех, кое-где зашитые фанерой, треснувшие стены; во-вторых, много народа выехало кто куда, и их помещения сейчас совершенно не отапливаются, отчего страдают оставшиеся соседи.

Призрак годов военного коммунизма уже витает над Москвой. Скудность, неряшество, запущенность. В ресторанах мясные блюда и хлеб дают только по талонам. Я обедаю либо у мамы, либо в столовой Центрального дома Красной армии. Чистые скатерти на столиках, длинные дорожки, рыжие плюшевые портьеры на окнах. Обеды очень дешевые — 3–4 руб., но больше двух блюд не отпускают. Из мясных блюд — котлеты и сосиски с картофельным пюре.

Совершенно нет табака. Курят чай, шалфей, ромашку, липовый цвет. Махорка — заветная мечта москвичей.

Чувствую себя не совсем хорошо. Разболел-

ся зуб, перекосило физиономию. Температура немного повышена. На фронте был и под дождем, и в грязи, и спал на сырой земле, и мерз — и ничего. Приехал под отчий кров — и свернулся.

Москва понемногу оживает. Возвращаются кое-какие издательства, учреждения. Работает Московское бюро писателей — филиал ССП[1]. Дикая паника 16 октября у всех свежа в памяти. Völkische Beobachter, которую мы читали на фронте, недаром говорил о сценах на московских вокзалах, напоминающих рисунки Гойи или Дорэ. Страшная опасность, нависшая над столицей, рассеялась, но обыватель все еще побаивается: а вдруг немцы опять начнут наступление? С тревогой ждут весны.

Заметно усилился антисемитизм. Обыватель возмущается тем, что евреи бросились бежать из Москвы в первую очередь, вместо того чтобы остаться защищать ее.

Уже сложился своеобразный быт военной Москвы. Хотя налеты стали гораздо более редкими, многие регулярно ночуют в бомбоубежищах. Здесь завязываются знакомства. Убежища превратились в своеобразные клубы. Много квартир пустует. Управдомы и коменданты стремятся вселить в них новых жильцов. В частности, такая

попытка была сделана нашим новым комендантом и в отношении моей квартиры.

Два дня тому назад днем послышались выстрелы зениток. Только после того, как стрельба прекратилась, была объявлена воздушная тревога. В продолжение ее не прозвучало ни одного выстрела. Затем объявили отбой. Через четверть часа зенитки опять захлопали, но на это никто не обращал внимания.

Оригинальная система.

Был на кинофильме «Парад на Красной площади». Сталин говорил речь. Я смотрел на его слегка обрюзглое непоколебимо-спокойное, холодное лицо с черными, строгими и проницательными глазами. Ни тени волнения. Ни малейшего намека на то, что всего в нескольких десятках километров отсюда разъяренная гитлеровская армия изо всех сил рвется в Москву. Что за нечеловеческая выдержка, спокойствие и уверенность! Гигант. Поистине он имеет право с великолепным сарказмом и презрением называть тех, перед которыми дрожит весь мир, — «самовлюбленными берлинскими дурачками».

Не только Германия, но и вообще Европа никогда не знали, не понимали и всегда недооце-

нивали потенциальные силы русского народа. Буржуазные политики и государственные деятели обычно упускают из виду такой громадного значения фактор, как психология, дух, сердце народа.

Англичане были потрясены тем, что Красная армия не рассыпалась после первых ударов бронированной германской машины, а продолжала успешно сопротивляться. Даже этого они от нас не ожидали. Черчилль[1а] глубокомысленно высчитывает, что только к концу 43-го года силы союзников будут превышать силы Германии и ее вассалов. У нас на сей счет иное мнение. Если наступление будет продолжаться в том же темпе, летом нынешнего года, я уверен, Германия капитулирует. Главное, сломать дух гитлеровской армии. А это уже не за горами.

Прошедший 1941 год был годом великих испытаний. Мы перенесли их с честью. Мы многое выстрадали, многое узнали, многому научились. И прежде всего — мы узнали самих себя.

1942 год будет годом победы.

***6 января***

Два дня уже бездельничаю в штабе Западного фронта в ожидании попутной машины, которая

доставит меня в нужное место. Буду работать в армейской газете при новой армии — 1-й Ударной. Газета, как сообщили мне в Политуправлении фронта, новая и слабенькая. Здесь ею недовольны.

Прощаясь со мной, Дедюхин сказал, что я буду представлен к повышению — получу вторую «шпалу».

— Работали вы неплохо, отзыв о вас хороший.

Папа очень доволен, гордится мною. Предрекает мне к концу войны чин полковника. Провожал, помогал мне нести вещи.

Дедюхин сказал мне, как добраться до места назначения. Во-первых, я должен явиться в штаб фронта. Туда доставит меня попутная машина из «Красноармейской правды» — газета печатается в Москве. Ехать пришлось недалеко, километров тридцать на запад. Отсюда я поеду назад, опять через Москву, и затем сверну на север.

Перед самым отъездом из дома пришли два письма от Ади[2]. Жив, здоров. По-прежнему в том же положении. Общий тон этих кратких, написанных на клочках бумаги писем деловой и, я бы сказал, бодрый. Сильно был я обрадован и за брата, и за маму, которая места себе не находила, тоскуя и тревожась за его судьбу. Больше полуго-

да от Ади не было никаких известий.

При мне же пришло письмо от Ксаны[3], где она подробно описывает, как они живут втроем на Тирлянском заводе в Башкирии. Место глухое, живописное и, главное, тихое. Продуктов вдоволь, цены низкие, жизнь мирная и спокойная. Кира[4] учится прясть, вязать, помогает Ксане по хозяйству. Кажется, пока не скучает. После всего, что перенесла девочка за этот год, после всех ударов и потрясений, это именно та обстановка и та жизнь, которая ей нужна.

Штаб расположился в каком-то бывшем санатории, среди большого парка. Декоративные ели и сосны, овраги, мостики. Трехэтажный дом Политуправления весь в желто-зеленых разводах — камуфляж. Остальные здания выкрашены либо так же, либо в белый цвет.

В подвальном этаже Политуправления общежитие для командированных. Среди старших политруков и батальонных комиссаров, отчисленных в резерв и с нетерпением дожидающихся нового назначения, нахожусь и я. Спим на койках с пружинными кожаными матрасами. Ходим в столовую. Завтрак, обед и ужин обходятся рублей в десять в день. Кормят хорошо — мясные блюда в большом выборе. В Москве, где пробыл

почти две недели, все время у меня было чувство недоедания. Сейчас я наверстываю упущенное. Торопиться мне некуда, фронт от меня не уйдет, начальство само знает, когда меня отправить. Я не очень огорчен вынужденным бездельем, тем более что свободное время дает мне возможность писать большой очерк для «Известий» о конногвардейцах.

В один из последних вечеров моего пребывания в Москве внезапно за окном послышался грохот, и стекла так затряслись, что я подумал: сейчас вылетят. Немецкий самолет сбросил поблизости сразу несколько бомб. Одна упала на углу переулка Островского, как раз у самого посольства (кажется, австрийского), другая — на Гагаринском, третья как будто там же. В окружающих домах стекла выбиты. А морозы стояли тридцатиградусные.

Информбюро не только не сообщило об этом налете, но даже на следующий день опровергло заявление германской печати о бомбежках Москвы.

Нехорошо.

Вообще, Кропоткинский район, где живут мои старики, то и дело подвергается бомбежкам. Все окна в соседних домах зашиты фанерой. Одна из

бомб разорвалась во дворе музея Льва Толстого. Не везет старику! Штукатурка, придававшая зданию вид каменного, отвалилась, и стал виден бревенчатый сруб. С одного дерева воздушной волной сорвана вся кора, дерево стоит совершенно голое.

В этом районе находятся штаб Московского военного округа и Академия Генерального штаба. В первом здании, ныне пустующем, все окна забиты фанерой.

Тревожусь за своих.

***8 января***

Четвертый день «все в той же позиции». Начальник отдела кадров, полковой комиссар Заславский, принял меня хорошо и сам как будто человек симпатичный, но его целыми днями нет. Когда будет машина — неизвестно. Начинаю нервничать, тем более что ПУР[5] дал уже телеграмму в редакцию о моем приезде. Пока что живу действительно как в санатории. Летом здесь, наверное, чудесно. Усиленно питаюсь. Вчера за обедом давали даже пиво. Я получил два стакана. С удовольствием помылся в хорошей бане. Неплохо живут в штабе фронта. По коридорам Политуправления шныряют машинистки — круглозадые девочки в шинелях и сапожках.

Политработники, находящиеся в резерве, живут здесь иные по две недели. Я, конечно, в ином положении. Народ боевой, побывавший во всяких передрягах. Интересные рассказы. Запомнился мне рассказ о крестьянке, которая нашла в поле, в снегу разбитый германский самолет и около него летчика с переломленными ногами. Женщина несколько раз приходила к нему и била палкой, так и добила.

Эта же колхозница два дня держала у себя в погребе под картошкой раненого командира. Деревня была занята немцами.

Мальчик, работавший по заданию партизан, ночью разрядил автомат спящих у него в доме немцев. Кроме того, подложил гранаты под колеса машин. Партизаны сделали налет на село и перебили всех фашистов. Машины взорвались, едва только сдвинулись с места. Вскоре, во время боя, маленький герой погиб от шальной пули.

К сожалению, рассказчик не знал имени мальчика.

Мне думается, что когда Красная армия подойдет к Смоленску, немцы предложат нам мир, предварительно убрав Гитлера. Взяв на себя ответственность за руководство армией, кровавый маньяк подписал свой смертный приговор.

***9 января***

Вчера Заславский полусмущенно заявил мне, что, в сущности, транспорт не входит в его обязанности и что он ничем помочь не может. Спрашивается: чего он мне морочил голову и заставил даром потерять пять дней? А между тем из ПУРа уже прислали сюда запрос: куда девался писатель Фибих?

Кажется, завтра я все же уеду с одним батальонным, который направляется в 1-ю Ударную.

Вечером вчера показывали нам, «резервистам», американский фильм, еще нигде не шедший «Шампанский вальс». Киносеанс был оригинальный. В нашем большом подвальном помещении была установлена кинопередвижка, экран заменяла белая стена. Зрители сидели на койках. Каким далеким и чуждым было то, что нам показывали!

В антракте, когда вспыхнул свет, я увидел две новые фигуры. Поэт А.Тарковский[6] и переводчик стихов Бугаевский[7]. В военной форме, только что прибыли. Их направляют в армейские газеты. Приехали из Чистополя[8], где очутились после «великого драпа» 16 октября! Первый раз едут на фронт. Я — старый фронтовик, чувствую свое превосходство и немножко важничаю.

Тарковский — тонкий, черноволосый, красивый — хороший одухотворенный поэт и очень привлекательный человек. Приятно было встретить и еще приятнее было бы вместе работать.

Из рассказов моих сожителей.

Во время выхода из окружения им приходилось встречать в Смоленской области села, враждебно настроенные к Красной армии. Крестьяне, отказавшись пускать к себе голодных, продрогших командиров и бойцов, предлагали сдаваться в плен к немцам: «Там вас накормят». Наоборот, немцам охотно несли яйца и другие продукты.

Одному политработнику какой-то дед предложил: «Отдай мне часы, получишь хлеба». Делать нечего, политработник, вконец голодный, снял с руки свои часы и отдал. Дед за это вынес ему краюшку хлеба.

Это, конечно, единичные случаи, но все же, когда слышишь такие рассказы, а потом читаешь о немецких зверствах над крестьянским населением, то испытываешь чувство удовлетворения. Вы не ушли с нами, вы ждали немцев, может быть, даже радовались их приходу — так получайте же, кушайте на здоровье, господа мужички.

Хороший народ наши командиры и политра-

ботники. Они, правда, серые, им часто не хватает и военной, и общей культуры, но человеческий материал великолепный.

И лица простые и хорошие.

***10 января***

Попутчик, с которым я собирался поехать, оказывается, отправляется только тринадцатого. Еще три дня! Решил сегодня же ехать поездом назад в Москву, а оттуда есть ежедневная связь с армией. Я узнал это лишь сегодня. Никто ничего не скажет толком. Даром потеряна целая неделя.

Тарковский вчера уехал в свою 16-ю. Ему повезло: сразу же нашелся попутчик — кавалерист из части Доватора. Колоритный парень в полушубке, весь увешанный трофейным оружием. На одном боку, рядом со своим наганом, немецкий маузер, на другом — красивый кортик на серебряной перевязи, за спиной германский автомат. Странное двурогое оружие, напоминающее уродливый пистолет.

Бугаевский и вчера же приехавший поэт Швецов[9] тоже уехали — один в 10-ю, другой — в 50-ю армию.

Ходят слухи, что крупным нашим воздушным десантом занята Вязьма. Можайская группировка

немцев окружена. Если это правда, то замечательно.

***13 января***

Вот я и на новом месте, среди новых людей.

Первые впечатления хорошие. 11-го выехали. В Большом Спасском переулке, в здании школы, где находилась военная почта, с трудом, с волнениями, переходя от надежды к унынию и обратно, раздобыл машину, идущую в армию. Папа провожал меня и помог нести складную койку. Выехали в третьем часу дня. Счастье, что мне разрешили ехать в кабине шофера, иначе не знаю, что стало бы с моими ногами — я ехал без валенок. Мороз — под 30 градусов. Но и в кабине приходилось ежиться от холода.

Ехали долго, часов восемь. Дорога на Калинин. Занесенные снегом баррикады на окраинах Москвы, ряды железных рогаток, проволочные заграждения. Деревушки — мертвые, разрушенные. Чем дальше не запад, тем все дальше будет такая картина: торчащие печи, развалившиеся избы. В сумерках проехали Солнечногорск, совсем в темноте — Клин. Отвоеванные, политые кровью места. Все чаще по сторонам дороги попадаются подбитые немецкие танки, исковерканные автомашины. Последние часы пути

еду мимо бесконечной вереницы брошенных фашистских машин. Дорога идет лесом, ели в снегу — декоративные, как в опере, на каждом шагу торчат танки, автобусы, тягачи, грузовики, наконец, просто груды железного лома. Все занесено снегом. Прямо по Верещагину.

Это новый для меня пейзаж. Нечто похожее, но в очень слабой степени я видел под Каширой. Но вот конечный пункт моей машины — Теряева слобода. Здесь полевая почтовая станция. Мы привезли сюда газеты и корреспонденцию, мои спутники выгружают все это, чтобы ехать назад в Москву. Избушка, где находится ППС[10], крохотная, теснота невообразимая. Выясняю, что редакция в трех километрах отсюда, в деревне Чаща. Идти ночью по незнакомой дороге, нагруженный, как верблюд, тяжелой поклажей?

Упрашиваю позволить мне переночевать на ППС, ничего не выходит — меня направляют к коменданту. Иду туда. Я не ел с восьми часов утра, продрог, замерз, устал, клонит ко сну.

Комендант отводит мне ночлег в помещении комендантской роты. Сперва забираю вещи и плетусь по темной, неизвестной мне деревне. Ощупью нахожу в темноте обледенелые лестницы, сени, двери. В комендантской роте тепло и

дымно. Топится железная печурка, дым ест глаза. На нарах лежат и спят бойцы. За столом читают вслух газету и оживленно комментируют. Все молодежь, кадровики. Чувствую подъем. Только что я разложил в углу свою складную койку и лег — явился посыльный. Комендант телефонировал редактору о моем приезде, и редактор сам, собственной персоной явился меня встречать. Минут через десять, пока я укладывал вещи, он пришел сюда. Знакомимся. Высокий человек в овчинном полушубке и в валенках, лицо неврастеника. Фамилия его — Ведерник. Он ведет меня к санкам и несет сложенную мою койку.

В ожидании, пока приедут вызванные им санки, мы смотрим кинофильм «Парад на Красной площади». Кино в избе, зрителей всего несколько человек — политработники да сверху, с печки, свешиваются головы хозяйских ребятишек. Вместо экрана — простыня. Кинопередвижка в неисправности: хрип, свист, рычание. Затем на крошечных розвальнях, где с трудом помещаются трое, мы выезжаем из деревни. Снег поет под полозьями. Давно я не ездил в санях! Звезды такие, будто их долго чистили. Морозище. Оставляем темную Теряеву слободу, где кое-где чернеют, точно колонны, печные трубы, минуем

большую колокольню и церковь с вырванными боками, перед которой стоят зенитки, и выезжаем в поле. Далекие раскаты артиллерии, вспышки выстрелов. Знакомая картина. Почти месяц я ее не видел. Справа взлетает красная ракета, потом зеленая, снова зеленая, за ней белая… Так всю дорогу. Беседуем с редактором о газете. Он откровенно говорит, что Боев, приезжавший сюда, ругал газету — суха, скучна. Мне нравится эта откровенность.

В белесой тьме снежного поля смутно чернеют какие-то кусты, перелески.

Наконец мы в деревне. Я устраиваюсь в избе, где живут начальник отдела армейской жизни и два литработника. Все спят, темнота. Мои надежды на ужин разлетаются как дым. Полусонный Чирков, начальник отдела, познакомившись со мной и встав с постели, приносит чайник с теплым чаем, блюдце колотого сахара и черный хлеб. Изба чистая, просторная, только неприятно, что выпало стекло в одной из двойных рам, несет холодом.

Приглядываюсь к моим новым товарищам, с которыми отныне мне придется жить вместе и работать. И может быть, долго.

Старший политрук Чирков, новое мое непосред-

ственное начальство, — коренастый, спокойный, с открытым розовым лицом, с белыми зубами. Типичный кадровый командир. Начал с простого красноармейца и за 12 лет дошел до Военной академии. Очень любит порядок. Москвич. Литсотрудники Шипов и болезненный Ленский, похоже, простые и славные ребята. Первый работал раньше в «Красной звезде», второй — в железнодорожной газете. Они, видно, звезд с неба не хватают. Ну что ж, будем жить вместе. С грустью вспоминаю оставшихся друзей. Как тут не хватает злого и блистательного красноречия Митрофанова, утонченной эрудиции Берцмана, молодой горячности и культурного багажа Кузнецова, лиричности музыкального Васи Хабина! Серость чувствуется.

Редактор, старший батальонный комиссар Ведерник чрезвычайно любезен и предупредителен. Стоило мне только заикнуться, как он сразу же сам выдал мне валенки — огромные, на слона — и суконную гимнастерку. Суконных брюк, которых я не получил до сих пор, у них пока нет — не выдали. Сегодня написал раешник — впервые в жизни. Нужно зарекомендовать себя с наилучшей стороны, нужно выручать газету.

У меня приподнятое, рабочее настроение. Хо-

чется писать хорошие очерки.

***18 января***

Много работаю. Никогда в жизни не писал раешников — теперь пишу. Сам предложил Ведернику. За первый напечатанный раек редактор хотел пожать мне руку. Написал сказочку «Мороз-Воевода» — тоже впервые. История ее такова: в редакции валялись старые клише — мне предложили написать к ним текст.

Кроме того, делаю очерки.

Механическая база у газеты бедная. Нет клише, нет шрифтов, плохая верстка. Газета выходит со скрипом и часто отстает на день от центральных.

Приехал писатель Вяч. Ковалевский. Мы знакомы по Москве. Скромный, тихий, всегда в тени, способный. Автор «Хозяина трех гор» — истории Трехгорной мануфактуры. Выдвиженец Горького. Мне будет не так одиноко.

В «Известиях» напечатали мой подвал «Конногвардейцы». Как водится в газете, сильно поджали и подсушили. Десять лет не появлялась моя фамилия в «Известиях».

На днях «брал интервью» у пленного немца. Первый раз увидел перед собой живого врага.

Впечатление отталкивающее и жалкое. Молодой — 32 года, бывший рабочий. Лицо и руки черные от грязи. Ноги обморожены — не может ходить. Вши на нем кишат. Сидя на стуле, ни секунды не оставался спокойным — ежился, раскачивался. Может, оттого, что болели ноги, может, вши не давали покоя, а скорее всего, от того и от другого. Конечно, не фашист, не зверь и не сволочь. Несчастное пушечное мясо, страдающее неизвестно почему и за что.

Я написал очерк о пленном немце.

Армия, где я нахожусь, на правах гвардейской. Я буду получать полуторный оклад.

Плохо — нам, редакционным работникам, водки не дают.

***24 января***

Ездил во 2-ю гвардейскую бригаду. Первая моя поездка. Бригада из сибиряков, уральцев и тихоокеанских матросов была брошена на немцев под Дмитровом и Яхромой, разгромила их и отбросила назад. Пехотные части при этом полегли все — в строю осталось 23 человека. Дрались отчаянно, героически. Все молодежь, впервые попавшая в бой.

Поехали редактор, я и новый работник, началь-

ник отдела информации Белкин, добродушный, разбитной и недалекий еврей, опытный провинциальный журналист. Сильный мороз — как всегда во время моих поездок. Везет! В деревне Ботово, где находился политотдел, задержались, редактор разговаривал с начальником, а мы мерзли в машине на улице. Около обледенелого колодца застрял в снегу немецкий гусеничный автобус. Провели трех пленных немцев. Пилотки, зеленые шинели, сапоги и башмаки. Шли быстро, пряча руки в карманах или закрывая ладонями уши. Волчьи взгляды. Лица, сверх моего ожидания, здоровые, не истощенные. Говорят, это обозники, бывшие танкисты, превратившиеся в пехотинцев. Никто не обращал на немцев особого внимания, видимо, зрелище привычное. Гораздо больше интересовал всех наш самолет У-2, который брал за селом разгон и ездил по снежному полю. Собрались бойцы, мальчишки, даже выбежал из кухни повар в белом колпаке — глядели на «уточку». Прошел командующий армией генерал Кузнецов[11] и член Военного совета Колесников[12]. Оба в зеленых бекешах и в бурках, без оружия. Генерал маленький, смешной, ходит животом вперед. Сзади, шагах в десяти-пятнадцати, следовал боец личной охраны с винтовкой за спиной.

Поехали дальше.

По дороге то и дело мертвые немецкие машины — легковые, грузовики, вездеходы. Все изуродованное, горелое, покрытое снегом. Мы проехали несколько деревень. Там и тут еще дымились пожарища. Вчера здесь шел бой. Засыпанные снегом трупы немцев и лошадей. Немцы валялись по сторонам дороги в одиночку и кучами. Мерзлые, окоченелые, в разных позах мертвецы засыпаны снегом, из-под которого торчит лишь восковая рука или красная на морозе пятка. Почти все разуты. В одной из деревень, которые мы проезжали, машина задержалась. Я слез для того, чтобы рассмотреть мертвых немцев вблизи. На улице, на пустыре лежали четверо. Один в зеленом расстегнутом мундире с красной ленточкой Железного креста. Светлые волосы, худощавый, во рту с мелкими зубами набился снег. Чистокровный ариец, сволочь! Рядом другой, такой же, — совершенно голый. Кто-то начал стаскивать с него даже подштанники, да бросил на полпути. Желтая восковая кукла. Это не столько мародерство, сколько вызванное великой ненавистью желание поиздеваться даже над трупом. Мне рассказывали: красноармеец нашел убитого немецкого офицера — в очках, закоченел

с поднятыми руками. Его подняли и поставили в снег торчком. На этого офицера наткнулся один из моих новых коллег. Сюжет для рассказа. В Алферьеве крестьяне вырыли большую квадратную яму и вместе с убитыми лошадьми свалили туда и трупы немцев.

К валявшимся посреди села мертвецам подходили наши бойцы, рассматривали с холодным любопытством. Один ногой откинул борт зеленой куртки — показался шерстяной джемпер.

— Женский, — сказал боец.

На розвальни укладывали мотоциклы, винтовки, каски. Я видел, как проехали запряженные лошаденкой крестьянские сани, к которым на буксире был прикреплен немецкий мотоцикл с коляской. На нем сидел и правил наш мотоциклист. Это выглядело почти как символ.

Дальнейшую дорогу нам преградило дальнобойное наше орудие, которое вместе с тягачом застряло в овраге. Люди старались вытащить. Ведерник предложил мне и Белкину дальше двигаться пешком. До Бабинки, где находился штаб гвардейской бригады, оставалось, по его словам, километров шесть-восемь. Нечего делать, потопали пешком, записав маршрут и расспрашивая встречных.

Звонкий визжащий снег, оловянное солнце над головой, снежные поля. Когда весной растает снег, сколько под ним обнаружится трупов!

Снова деревни, где слабо курятся пепелища, — бойцы варят на горячих угольках картошку. Крестьянки, везущие саночки с мешками и тюками. Немцы прогнаны, можно вернуться к родному — буквально — пепелищу…

Я нашел на дороге обрывок немецкой полевой карты. Углич, Новгород. Дальше — воткнутый в сугроб шест с надписью на немецком языке «Елинархово» — указатель деревни, к которой мы подходили.

На закате добрались до деревни Бабинки. Издали еще слышалось хлопанье минометов. Бойцы, попадавшиеся по дороге, в касках, надетых поверх шапок-ушанок. То и дело черные матросские бушлаты. Находим штаб и политотдел, знакомимся с комиссаром бригады Бобровым, полковником Безверховым, начальником политотдела Никифоровым. Первые двое в черных морских кителях. Ночуем в избе, занятой политотдельцами. Я сплю на узкой лавке. Хозяева относятся к нам, военным, необычайно предупредительно и радушно. Познакомились с немцами! Снова ставшие уже стандартными рассказы о

хамстве и грубости немцев, о том, как они грабили, отбирали последнее. Знакомство с немецким народом наша деревня будет помнить сто лет. У сестры хозяйки, которая живет тут же, сгорел дом со всем имуществом — попала зажигательная бомба. «Еле успела выскочить»… Рассказывается об этом спокойно, покорно. Столько вокруг горя и разорения, что даже такое бедствие воспринимается пострадавшими как естественное.

Весь следующий день проходит в разговорах с командирами и политработниками, в отборе материала. Собрал за день достаточно. Обед с водкой. Но, в общем, прием далеко не такой радушный, как у конногвардейцев. Сейчас они далеко от меня.

Я должен был пробыть здесь несколько дней, но неожиданно стало известно, что получен приказ ночью сниматься и выступать. Куда? В Энском направлении, за восемьдесят километров. Бригаду должна сменить другая часть. Ночью выступаем. Нас повезут до Ботова. Едем в крытой полуторке. Мрак, невероятная теснота. Люди путаются в ногах. «Чьи это ноги?», «Дай мне выдернуть мою ногу». Мороз еще крепче. Хоть я одет и обут достаточно тепло, но холод, черт его возьми, находит какие-то неизвестные лазейки,

пробирается за шиворот, больно кусает пальцы. Тяжелый полусон, полуявь, что-то вроде бреда. Остановится машина — снаружи визг полозьев. Идут обозы — вся бригада в походе. Выглянешь из-под навеса: горящие звезды, дорога забита санями и автомашинами, рядом лошадиные морды и крупы, борта грузовиков, розвальни, на которых навалены пулеметы. Все покрыто инеем. В темноте то там, то тут пылают костры, у которых теснятся озябшие красноармейцы. Розоватый дым, искры.

О немецких самолетах сейчас не думают — пусть налетают, плевать!

Так проходит бессонная мучительная ночь. На рассвете, не доезжая Ботова, начальник политотдела сообщает нам, что машина целый день простоит здесь, в Масленниково, в ожидании, пока протянется колонна. Мы с Белкиным решаем продолжать путь самостоятельно. До Чащи километров пятнадцать.

Греемся в ближайшей избе. Из тридцати домов здесь уцелело только шесть. В избе живет несколько семей, человек двадцать. Покрытые снегом окна синеют рассветом, грязь, скученность, холод. На полу спят впритирку. На веревке через всю комнату висят портянки, тряпье. То-

пится железная печурка, перед ней сидит хозяйка с отупелым, апатичным лицом. Она оживляется только тогда, когда с беспокойством спрашивает нас, почему мы едем назад с фронта. Боится, что войска отступают. Между прочим, везде в деревнях, очищенных от врага, наблюдается эта тревожная настороженность: только бы не ушли наши, только бы не вернулся немец.

Мороз каленый. Желтая заря. Мы шагаем по дороге. Часть пути делаем пешком, часть на попутной машине. Застанем ли редакцию в Чаще? Неизвестно. Прощаясь с нами, редактор предупредил, что они, возможно, переедут на новое место. Вот и Чаща. Ура! Редакция на старом месте. На следующий день мы грузимся и трогаемся в путь.

Куда именно — конечно, неизвестно. Военная тайна. Снова бессонная ночь, вернее, вечер на открытой машине на 30-градусном морозе. Мы сидим, закутанные в одеяла, в пятнистые немецкие плащ-палатки.

Поздно ночью приезжаем в Клин и располагаемся в домиках рабочего поселка имени X Октября — наши квартирьеры нашли тут квартиры. Оказывается, наша армия на время отводится в тыл для окончательного формирования. В бой

она была брошена не будучи вполне сформированной — не до того было. Сейчас она выполнила свою основную миссию — разгромила нависший над Москвой с севера фланг немцев, отбросила их далеко за Дмитров и Яхрому и может немного отдохнуть. Куда нас теперь направят? Все говорит за то, что на север — выручать Ленинград.

Я не успел еще рассмотреть как следует Клин, где еще недавно происходили жестокие бои и куда приезжал Иден. Заметно только, что центр города совершенно разрушен. Мертвые кварталы. Каменные дома без крыш, с дырами вместо окон и дверей. В темноте (а я видел город только в темноте) все это скрадывается.

Комната, где мы живем вшестером, небольшая, чистенькая. Дров здесь мало, хозяева берегут, и поэтому во всех квартирах стоит собачий холод. С некоторым сожалением вспоминаем жизнь в деревне: там и топливо не проблема, и всегда можно найти спасительную картошку. А бытовые условия, в сущности, немногим отличаются от деревенских.

Присматриваюсь к окружающим меня людям. Редактор не пользуется симпатиями. Упрямый украинец, человек невысокого ума с примесью солдафонства. Ко мне пока относится хорошо. На

днях я даже пил у него чай, когда вернулся усталый и замерзший из 2-й гвардейской дивизии. Высокая честь!

Не успели мы переехать в Клин, как Ведерник снова направил меня и Белкина к гвардейцам. Таинственный поход бригады закончился у Клина. Отсюда до нового местонахождения гвардейцев километров восемь-десять. На завтрашний день у них должно было состояться торжество вручения гвардейского знамени. Редактор предложил нам отправиться пешком.

— Транспорт у нас больной вопрос.

Сотрудники мне рассказывали, что им приходилось делать, добывая материал, по 30, по 50 километров пешком. Как это отражается на качестве работы, можно судить.

Был уже вечер, темнота, и я осторожно сказал редактору, что гораздо целесообразнее было бы отправиться нам завтра, с раннего утра. Однако Ведерник мягко, но решительно заявил, что отправиться нужно именно сегодня. Спорить нельзя. Что ж, двинулись к гвардейцам ночью, пешком по незнакомой дороге. Хорошо, что ночь была светлая. Добрались наконец до села Селинского — расположения бригады. Нас встретили уже как старых знакомых.

На другой день с 11 часов утра батальоны выстроились для парада на площади перед белой каменной церковью. С одной стороны из-под снега торчали две высокие печные трубы — все, что осталось от школы, с другой — виднелись изуродованные немецкие автомашины. Все село завалено ими, есть даже брошенные пушки. Мороз свирепый. Усы, бороды, ресницы людей, меховые опушки шапок — все седое от инея. Над рядами бойцов стоит непрерывный топот ног и хлопанье руки об руку — народ греется как может. Все ждут прибытие высокого начальства. Но никакого недовольства, досады. Наоборот, люди как будто радуются морозу — каково немцам сейчас? А нам-то что, мы — народ привычный, перетерпим как-нибудь…

Наконец, пять часов продержав бойцов на морозе, прибыло высокое начальство, и парад начался. Спрашивается, к чему было гнать нас сюда именно вчера, именно ночью? Приехали сам командующий армией Кузнецов и бригадный комиссар Колесников. Привезли покрытое чехлом знамя.

— Здравствуйте, товарищи гвардейцы! — крикнул, закидываясь от натуги назад, маленький генерал и при последнем слове даже подпрыгнул

— будто выстрелил им.

— Р-ра! — ответили ряды.

Колесников залез на полуторку, где стоял столик, и произнес речь. Говорил с волнением, побагровел. Затем короткие речи командующего армией и полковника Безверхова, церемония передачи знамени, и бригада, перестроившись, рота за ротой проходит церемониальным маршем. Ничего гвардейского не было в этих мешковатых, нестройно шагающих бойцах. Большинство из них башкиры, удмурты — новое сырое пополнение. Основные кадры пехоты полегли под Яхромой и Дмитровом. Некому было вручать ордена — награжденные в земле или в лазаретах. Во сколько человеческих жизней обойдется нам эта война?

Признаться, в простоте душевной я надеялся, что и нас, корреспондентов, пригласят на обед по случаю такого торжества, но не тут-то было. Большое начальство отправилось обедать на квартиру командира и комиссара, а к услугам нашим и прибывших кинооператоров была предоставлена столовая Военторга. Мы скромно пообедали вместе с политработниками супом-лапшой и гречневой кашей.

Вечером в темноте, оставив Белкина, я двинул-

ся в обратный путь — нужно было срочно сдавать материал. Назад шел тоже пешком. Ночные снежные поля, лунный серп в морозной дымке, тишина и скрип снега. Неудобно шагать вот так в валенках…

И все же что-то патетическое было в этом скромном и суровом параде, происходящем в морозную стужу, в селе, где все хранило память недавних кровавых боев.

При политотделе армии уже организуется подбор материалов для будущей книги об истории армии. Я познакомился с инструктором, ведающим этим делом. Он сам предложил мне принять участие в книге. Я охотно согласился.

***28 января***

Пока еще в Клину. Гнетущее впечатление производит городок: торчащие печные трубы, мертвые пустые дома с дырами вместо окон и с провалившимися крышами, целые кварталы закоптелых полуразрушенных стен зданий. Особенно пострадала центральная часть города. У въезда в город, при подъеме на Крестьянскую улицу, — покрытые снегом немецкий автобус и два маленьких разбитых снарядами танка. На стенах домов сохранились написанные мелом надписи немецких квартирьеров.

Зашел в гастрономический магазин. На полках — шары катай. Всех товаров только черный и красный перец. Как живут клинчане? Хлеб есть. Торжественное событие: коллективно помылись в бане. Для этого нужно было встать в пятом часу утра. Баня работает круглые сутки и обслуживает, конечно, армию. Моются в организованном порядке, по заявкам. Раздевшись, полчаса ждали, когда пойдет вода. Наконец полил кипяток — холодной воды так и не дождались. С грехом пополам помылись. Хорошее правило: взамен снятого грязного белья тут же в бане дают чистое.

***30 января***

Кажется, завтра трогаемся в путь. Едем в эшелоне, по железной дороге. Давненько я не ездил в поезде. Предполагаем, что нашу армию направляют на север выручать ленинградцев. Настроение у нас в редакции приподнятое. Почетная и ответственная задача. 25 января, после доклада нашего Военного совета, Сталин передал привет 1-й Ударной и пожелал дальнейших успехов. В связи с этим редактор поручил мне написать передовицу. Я не писал их с 1918 года.

Участвую в работе над книгой о нашей армии.

История 1-й Ударной пишется по заданию Сталина. Срок — к 1 марта. Как сумею, не отрываясь от газетной работы, отнимающей 12 часов в сутки, написать к указанному сроку — не знаю.

В «Известиях» напечатана вторая моя корреспонденция — о пленном немце. Послал еще три очерка — расширенные копии того, что печатаю в газете «На разгром врага».

***31 января***

В армию приезжал Калинин[13] и выступал перед бойцами. Хвалил действия армии. Упрекнул лишь в том, что допустили большие потери. Сказал, что теперь нам предстоит воевать в лесах. Редакция прозевала такое важное событие, как приезд Калинина, поднялся переполох. Нам, армии поручается какое-то большое и важное дело. У нас уже поговаривают о будущих наградах.

## Февраль

***1 февраля***

Второй день сидим как на вокзале — вещи упакованы, а когда поедем, неизвестно. Газета пока не выходит. Непривычное ощущение праздности. Настроение какое-то кислое. Куда едем, конечно, никто не знает, но предполагают, что

под Ленинград.

Насчет лесов, о которых якобы говорил Калинин, неверно. Я читал стенограмму его речи. Как раз он сказал, что нам предстоит война в местности, где нет лесов. Уж не Украина ли, чего доброго?

От Берты[14] уже около двух месяцев никаких вестей. Правда, это может быть связано с моими переездами с места на место — письма меня не застают, — но все же беспокоюсь. Получила ли она денежный аттестат — не знаю.

Народ, меня окружающий, серый, примитивный. Неплохие ребята, но серость, серость… Редактор — дубоватый, с невысокой культурой, придирчивый и запуганный человек. Неврастеник. Его не любят и осторожно посмеиваются над ним. Никаких совещаний и летучек здесь не практикуется. Руководство осуществляется лишь методом приказа. Лещинер держался куда демократичнее и, конечно, был умнее.

На днях отправили по инстанции списки сотрудников для представления к награде. Я туда не включен. Конечно, мне рано еще претендовать на такую честь — нет еще трех недель, как я здесь работаю, но и сама-то газета существует не

больше трех месяцев.

Я не чужд честолюбия. С этой точки зрения мне импонирует то, что я направлен в особую, созданную самим Сталиным армию, предназначенную для серьезных операций. Здесь можно проявить себя. О второй «шпале», которую посулили мне в ПУРе, пока что-то ничего не слышно.

Наше питание: утром чай с сахаром, черный хлеб, масло, в обед гороховый суп (из концентратов), часто без мяса, и гречневая или ячменная каша. Ужин такой же, как и завтрак.

Стол далеко не изысканный, но сытный.

Вчера редакция раздобыла вина, и по сему случаю было скромное пьянство. На наш армейский отдел — на семь человек — досталось шесть с половиной литров. Вино красное, сухое, сильно разбавленное водой. Принесли патефон, слушали музыку.

Вспомнились мои прежние фронтовые «банкеты», товарищи, которых я покинул, и грустно стало. Не хватает мне их общества!

***2 февраля***

Редакция бездельничает — все еще сидим в ожидании погрузки. Выяснилось: едем сначала в Москву, там наш эшелон переводят на другую

линию и направляют на Бологое.

Заглянул вчера вечером к редактору — взять центральные газеты. Ведерник пригласил меня остаться, достал прекрасного портвейна и угостил. Кроме нас, были его жена — машинистка и начальник издательства, потом пришел заместитель редактора. Избранное общество, куда далеко не всякий имеет доступ. Однако я чувствую себя неловко среди олимпийцев. О чем с ними говорить? Даже Лещинер был культурнее.

Зато у секретаря редакции Березниченко в тот вечер собралась компания более демократическая. Между прочим, были три девушки, наши наборщицы. Одна из них, Люся, пела под аккомпанемент гитары. Аккомпанировал Березниченко. У Люси славный голосок, училась в свое время пению. Пела даже по-немецки. Репертуар у нее богатый. Еще несколько дней такого безделья, и редакция окончательно разложится.

Ходили с Ковалевским в музей Чайковского. Двухэтажный, темно-красного цвета каменный дом расположен среди старого сада на самой окраине города. Здесь некоторое время жил и работал Чайковский. Типичная помещичья усадьба. Ворота слегка повреждены въезжавшим сюда немецким танком. Заведующий музеем

старичок-еврей охотно водил нас по опустелым комнатам и рассказывал, как хозяйничали немцы. Они пробыли здесь 21 день. Вели себя как скоты и дикари. В свое время об этом много писалось в московских газетах. Я видел разбитый бюст Чайковского, у которого, кроме того, нарочно был отбит нос.

Сейчас дом вымыт, очищен от грязи и испражнений, все по возможности приведено в порядок.

Хорошо, что большинство экспонатов в свое время были отправлены в Воткинск, где имеется филиал музея.

***4 февраля***

«Все в той же позиции». Слоняемся, томимся, едим кисель, который раздобыл «наш хозяйственник» Ленский. Как будто сегодня все же тронемся в путь… Впереди напряженная боевая работа. Немцы сильно укрепились под Ленинградом, город в осаде, в кольце. Придется взламывать линию обороны. Нечто вроде прорыва линии Маннергейма.

Почти три недели прошло, как я написал старикам, и никаких писем от них нет. Не дошло до них мое письмо, что ли? То же и в отношении Берты.

Сильно тревожусь, как она живет материально, какова судьба посланного ей аттестата.

Кирочка ничего не пишет. А сколько я ей послал писем! Впрочем, она никогда не была охотницей много писать.

Работа над «Историей» на точке замерзания. Кроме меня, к этой работе привлечены К-ский и двое из нашего отдела — Шипов и Аристов. Военный совет поставил жесткий срок: сдать к 1 марта. Совершеннейшая утопия. При такой загруженности текущей газетной работой, которая у нас существует (здесь я работаю несравненно больше, чем у Лещинера), нечего думать о таких сроках. Мы выдвинули вопрос, если не о полном, то хотя бы о частичном временном освобождении от работы в газете.

Конечно, это не в интересах Ведерника. Во всяком случае, пока я не получу от него приказа приступать к работе над «Историей», бессмысленно приниматься за такое дело.

Узнал, что Верцман[20] направлен в какую-то армию, а Митрофанов совершенно освобожден от военной службы по состоянию здоровья. Он никогда не высказывался и держался мужественно, но по всему чувствовалось, как тяжело ему,

глубоко штатскому человеку, служить в армии и находиться на фронте.

Послал обоим письма.

В Москве с продовольствием стало хуже. Хлеба выдают на 100 гр. меньше. Разговоры о коммерческих магазинах — болтовня. Скорей бы разделаться с немцами!

Познакомился со стенограммой речи Калинина. Речь эта, конечно, не для широкой публики. Впервые за все время войны подчеркивание классового характера этой войны и оценка англичан как империалистов, которым, в сущности, нечего особенно доверять.

Немцы снова захватили Феодосию. Итак, блестяще начатая наша операция в Крыму провалилась. Этого нужно было опасаться: почти месяц газеты ничего не сообщали о положении на этом участке.

Нам еще предстоят неприятные неожиданности. Рано успокаиваться.

***7 февраля***

Пишу эти строки в деревне Мир-Онеж (как будто так) Ленинградской области. Мы обосновались здесь на ночлег. Вечер, керосиновая лампа, большой стол, за которым, кроме меня, пишут

еще трое. Тиканье больших, в деревянном ящике часов явно городского вида.

Четвертый день в пути на новый фронт. 4 февраля вечером погрузились в эшелон. Вокзал в Клину уничтожен немецкой бомбежкой. Мы — редакция, заняли две теплушки. Редакторат едет в классном вагоне. Кроме меня, в эшелоне и АХО[15], и трибунал, и политотдел, и санчасть. Ночь мы стоим в Клину. Посреди теплушки топится печурка. Мы раздобыли каменного угля, я принес большую корзину. В вагоне жарко, стенки печурки наливаются мутной краснотой, все озарены снизу, на стенках теплушки огромные тени шевелятся. Всю ночь и утро идет погрузка. Наши автомашины на платформах. Едем.

То и дело остановки, часто среди поля. Все заняты главным образом готовкой пищи: варят гречневую кашу, греют консервы, кипятят чай. На печурке стоят котелки, консервные банки, миски. Вагон дергает — мы еле удерживаемся на ногах, слышно шипение пролитой на раскаленную печурку воды, клубится пар. Под вечер принесли патефон от редактора. Приходят две наши девушки, в том числе Люда. Она не наборщица, как я думал, а корректорша.

Ночи великолепные: яркая луна, мороз. После

фронтового пейзажа глаз отдыхает на селах и деревнях. Все целехонькое, довоенное, войны не чувствуется — немец здесь не был. То, что немец сюда не заглядывал, чувствуется и в другом. На остановках вдоль вагонов ходят крестьяне, меняют на табак и мыло свой товар: молоко, лук, клюкву. За пол-литра молока требуют осьмушку махорки. Мы негодуем: спекулянты, немцев бы вам сюда! На мороженую клюкву все набрасываются с радостью. Витамины.

У нас не было уверенности, ходят ли поезда до Калинина. Оказалось — далеко за Калинин. Проезжаем Вышний Волочек. Две немецкие бомбы как раз угодили в здание вокзала. От него остался только кусок.

Бологое. К нему подъезжаем ночью. Останавливаемся в поле, долго стоим, потом осторожно трогаемся и опять надолго останавливаемся. Березниченко приносит сообщение о том, что немецкие самолеты каждую ночь бомбят Бологое. Точность попадания весьма высока. Пронюхали! Светлые ночи мешают нашим прожекторам обнаружить налетчиков.

Кое-кто переживает неприятные минуты: удастся ли благополучно проехать Бологое?

Удалось.

Под утро приезжаем на место назначения. Это вторая остановка после Бологого, станция, кажется, Лукошино. Наш эшелон останавливается на высокой насыпи. Внизу белые крыши и заснеженные деревья станционного поселка. Начинается выгрузка. Вместе с наборщиками и шоферами мы носим кипы бумаги, тяжелые кассы с шрифтами. Нести приходится вдоль всего эшелона по узкой тропке, забитой людьми, выгруженным из вагонов имуществом, лошадьми, запряженными в розвальни. Хорошо еще, что ночь светлая, ясная. В темноте такая работа превратилась бы в пытку.

Наконец — уф! — выгрузка закончена. Уже совсем светло. Морозец. Отсюда, от Лукошино, нам предстоит еще сделать километров восемьдесят на открытых машинах.

Усаживаемся, трогаемся в путь. В ближайшей к станции деревушке останавливаемся на час и выгружаем в одной из изб привезенную нашу бумагу. Кипы перелетают из рук в руки по конвейеру — и работа идет дружно и быстро. Затем едем дальше.

Местность необычайно живописная: Валдайская возвышенность, холмистый рельеф, еловые леса, много замерзших озер, на елях белыми шапками лежит снег. Прекрасное шоссе то взлетает

на горку, то спускается вниз. Мы едем быстро, хорошо. Не очень холодно. Деревни, которые приходится проезжать, совершенно своеобразного, отличного от московских и калининских вида. Серые бревенчатые срубы, высокие фундаменты, крыши из дранки. Север чувствуется. А самое главное, ни одного пустыря с торчащими трубами, ни одного выбитого стекла. Железная лапа войны не коснулась этих мест.

По волнистому шоссе, которое извивается среди хвойных лесов, змеей движутся конные обозы, воинские части, автомашины. То и дело проезжаешь мимо отрядов бойцов, шагающих с лыжами на плечах. Много автоматчиков, встретилось даже подразделение, вооруженное огромными противотанковыми ружьями, похожими на средневековые аркебузы. Часто мелькает то черный бушлат, то черная же морская зимняя шапка с золотым гербом. Наша 1-я Ударная. Вид бойцов здоровый, бодрый, спокойный. Очевидно, нас направляют куда-то под Новгород.

Движутся обозы, походные кухни на полозьях, много пушек, пулеметы на лыжах, пехота, артиллерия, кавалерия.

Проезжаем Валдай. Маленький провинциальный городок, совершенно не пострадавший. Ни

одного выбитого стекла. Вспоминаем знаменитые валдайские колокольчики.

На снежных полях часто попадаются проволочные заграждения — тянутые в два, три ряда, каменные надолбы в виде конусов. Укрепленный район. Когда мы останавливались в Мир-Онеже пообедать, а затем, как выяснилось, и переночевать — произошел следующий инцидент.

Нагруженный вещами, я пересекал улицу, направляясь в избу. Навстречу вышел боец, держа синий листок:

— Вот, листовка немецкая.

Я взял у него, взглянул. Листовка была наша — для германских солдат — и сделана очень неплохо. Бисмарк указывал на Гитлера и говорил: «Этот человек приведет Германию к катастрофе». Принцип фотомонтажа. Сунув листовку в карман, я направился дальше. В эту минуту меня сзади окликнули. Через улицу бежал ко мне зам. редактора Лысов, батальонный комиссар. Стоя вместе с Ведерником, он видел издали, как я взял листовку, и, очевидно по приказанию редактора, бросился ко мне сломя голову:

— Дайте листовку.

Я отдал, ничего не сказав. А можно было бы сказать. Какая трогательная забота о сохранении

моей политической невинности!

Ночлег был беспокойным. В 12 часов ночи меня разбудили громкие голоса в соседней комнате. Происходило бурное объяснение между Чирковым и каким-то красноармейцем, ввалившимся в избу. Перед тем он в продолжение получаса упорно колотил в запертую дверь, чтобы его впустили. Чирков, накинувший шинель поверх нижнего белья, кричал, что помещение занято высшим комсоставом, работниками политотдела, и приказывал уйти. Однако боец плевать хотел на приказание. Ему и его товарищам — всех их было человек двенадцать — нужен был ночлег, остальное его не касалось. Бурная сцена продолжалась минут двадцать, наконец кое-как с трудом удалось выставить напористого парня. Держался он дерзко, и это больше всего возмутило Чиркова, обычно очень спокойного, выдержанного, мягкого. Не успели мы успокоиться после этого визита, как ввалилась новая партия бойцов. Опять спор, препирательства, упоминание о дисциплине, о комсоставе. Ничего не помогло. Бойцы расположились в соседней комнате (правда, она была пустая, лишь на печи спали двое наших), переночевали, а под утро ушли.

Такова дисциплина на фронте. Это то, что со-

вершенно невозможно в германской армии.

***9 февраля***

Продолжаю рассказ о нашем путешествии.

8-го утром поехали дальше. Молочная синева рассвета, падает легкий снежок, тарахтят стоящие у избы грузовики. Снова залезаем в машины, усаживаемся среди наваленных мешков и чемоданов, кутаемся плотней, трогаемся в путь.

Характер окружающей местности меняется. Красивые, поросшие темным ельником горы уступают место голым равнинам. Болотистые озерные места. Весной мы здесь поплаваем! Снова походные колонны, обозы, артиллерия. Идут, идут: наша армия. День серый, туманный. Часто слышится глухое урчанье в небе. Немецкие разведчики. Следят за переброской нашей армии. У дороги дощечка: «Осторожно, мины». Наскоро сделанные загородки — минные поля.

Минуем железнодорожный разъезд. Здание станции, конечно, полуразрушенное, пустое и мертвое. На путях составы, пыхтят паровозы. Длинная вереница платформ, и на каждой из них — громадный, окрашенный в белое наш танк. А ведь три месяца назад мы на фронте совершенно не видели танков. Среди попадающихся по дороге автомашин много новеньких английских.

Готовится грозный удар по врагу.

В полдень приезжаем в деревню Ермошкино, где должна расположиться наша редакция. Немцы отсюда в десяти километрах. Тишина, канонады не слышно. Совершенно не чувствуется фронта. Видим знакомые лица: наши спутники по эшелону. Деревня вся занята тыловыми учреждениями — нам негде приткнуться. Редактор посылает разведку в ближайшие деревни. Долгое нудное ожидание в жарко натопленной избе, где временно расположился особый отдел. Теснота, давка, шум. Горы багажа на полу, на лавках. Здесь готовят на плите, пьют чай, бреются, читают газеты, спят, флиртуют с девушками в стеганых штанах. Женщин тут много. Особисты народ гостеприимный. Нас, голодных и озябших, угощают горячим чаем с сахаром и с хлебом. Хлеба мы уже пятый день не видели: его заменяют размоченные в сырой воде сухари. После перерыва в несколько дней читаем московские газеты.

Под вечер получили приказ садиться в машины. Едем назад, километров за восемь в деревню Новые Удрицы, там найдены помещения для редакции и типографии.

Насколько легким и даже приятным был путь сюда от станции Лукошино, настолько мучи-

тельной оказалась обратная дорога. То и дело застревали: пробка. Терпеливо ждем, пока разъедутся сбившиеся в кучу машины и подводы. Мерзнем на холоде, на ветру. Снова проезжаем станцию. Состава с танками уже нет.

До места назначения остается километра три, четыре, когда мы застреваем всерьез и надолго, остановившись в какой-то деревне. Дорога отсюда в Новую Удрицу очень трудная — недавно здесь прошли тяжелые танки и разрыли, размолотили снег. Пожалуй, нашим машинам не пройти. Ведерник матерится и решает все-таки ехать. Уже темно, вдали бродит по небу тонкий луч прожектора, иногда взлетают ракеты. Вспыхивают и гаснут. Светят фары скопившихся в большом количестве машин. Мы слезаем с машины и по колено в снегу начинаем подталкивать. Только бы миновать самый трудный участок, метров двести, и доехать вон до того смутно чернеющего в белесой зимней темноте сарая. Дальше, говорят, дорога будет легче. Мы налегаем изо всех сил, кряхтим, пыхтим, раскачивая машину — давай, давай, а ну еще раз! — мотор ревет, колесо буксует. Никакого результата. Шофер раскапывает лопатой снег, мы находим в сарае какие-то доски, приносим их, подкладываем под колеса.

Снова рычит и содрогается грузовик. Ура! Пошла, пошла: мы бежим следом за машиной, крича, спотыкаясь и падая в глубоких сыпучих колеях. Через минуту все начинается сызнова.

Наконец после величайших трудов машина минует самый тяжелый участок. Тогда наступает очередь других наших машин — зеленого автобуса с фанерой вместо стекол и грузовика, где положено типографское имущество. Мы тоже вытаскиваем их на руках.

То и дело нам приходится вылезать из нашей машины и выволакивать ее из глубокого снега. Так продолжается всю дорогу. Мы устали, целый день фактически не ели, продрогли, измучились. Хорошо, что вытаскивание машин дало возможность согреться. Ведерник — он едет с нами, с шофером — вылезает из кабины — большой, в полушубке, с автоматом, и командует:

— А ну, хлопчики, еще немного погрейтесь!

Вновь и вновь мы привычно спрыгиваем с грузовика и, увязая в снегу, начинаем «греться».

И все-таки до нужного места добрались вовремя. Если бы остались ночевать в деревушке, дожидаясь утра, то застряли бы надолго. Под утро поднялась вьюга — настоящая февральская, — и путь окончательно стал непроходимым.

Наш отдел армейской жизни, семь человек, занял избу из трех комнат. Одна комната — самая большая — с выбитыми стеклами, в ней не живут. Хозяйка тихая, приветливая, с двумя маленькими девочками, недавно сюда переселилась. У нее нет даже самовара. Надежды на деревенскую картошку и на молоко разлетелись как дым. Снова эта осточертевшая гречневая размазня из концентратов. Хорошо, что хоть тепло. Я сплю на печке.

А жить, по-видимому, нам здесь предстоит долго.

Совершенно своеобразный участок фронта. Район Новгорода — Старой Руссы — Пскова. Северо-Западный фронт. Немцы сильно здесь укрепились и сидят, не двигаясь с места, вот уже шесть месяцев. Нам предстоит взламывать эти мощные укрепления.

Скоро заговорит наша артиллерия.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мимо окон по деревне один за другим проходят тяжелые танки, гремя в облаке снежного дыма.

Во время остановки в Ермошкине я зашел в политотдел и представился начальнику политотдела, полковому комиссару Лисицыну[15a]. Худое тонкое лицо, освещенное светло-голубыми

глазами. Человек как будто интеллигентный, культурный, не чета Ведернику. Поговорили о моей работе в газете. Лисицын одобрил мои очерки, возразил только против раешника. Впрочем, я давно уже слышал, что раешник ему очень не понравился. «Балаган». Ну что ж, мне же лучше. Отпадает необходимость заниматься чужим для меня делом.

Моего он ничего не читал. Даже «Русских в Берлине», даже очерков в «Известиях». Просил прислать.

Когда-то теперь дойдут до меня письма родных и близких!

***10 февраля***

Немые деревни войны. Ни лая собак, ни крика петушьего, ни песен. Только треск и фырканье моторов да грохот немецких бомб временами.

Вчера, когда мы сидели за работой, в избу вошел рослый крестьянин с рыжеватой бородой, в черном заплатанном кожухе. Поздоровался, прошелся по комнате, внимательно осматриваясь, заглянул в печку. Все это молча. Мы спросили, не хозяйку ли он ищет. Оказалось, нет, он вернулся домой из Калининской области, куда был «вакулирован» (эвакуирован). Сам он жил в соседнем

доме, а в нашей избе был его зять, который уехал вместе с семьей в Куйбышев и теперь тоже возвращается на родину. В Калининской области наш гость работал на железной дороге, получал 11 руб. в день и 900 гр. хлеба.

— Колхоз у нас был богатый, жили хорошо, овчарня была, молочная ферма, четыре быка-производителя, бетонированная яма силосная. На трудодень полтора кило хлеба получали да по пуду-полтора меда. Восемьдесят домиков у нас было. Пришел проклятый немец, все порушил.

По дороге сюда, под станцией Бологое, их эшелон попал под бомбежку. Восемь немецких «юнкерсов» бомбили всю ночь, с часу до семи. Были жертвы — в санитарном эшелоне, но большинство бомб упало на открытом месте. Рассказывает колхозник об этом с улыбкой — «вот, дескать, какое приключение, даже забавно!».

Хозяйка наша — молодая, некрасивая, курносая, с кроткими и чистыми глазами — два месяца зимой жила с ребятишками в лесу. Собралось их там пятнадцать семей, построили шалаши — так и жили, в самые лютые морозы. Харчи захватили с собой из дому. Живуч русский человек!

Мы спросили колхозника, как же теперь устроятся те, кто возвращается назад, — ведь их дома

заняты другими.

— А ничего, вместе будем жить. В тесноте, да не в обиде.

Крестьяне возвращаются домой. Это показательно. Немец уже не внушает страха. В том, что его прогонят, нет сомнения. Только скорей бы его прогнали, чтобы можно было вернуться к посевной на родину.

***11 февраля***

Связались со столовой Военторга, которая обосновалась в нашей деревне. Ленский, добровольно взявший на себя обязанности хозяйственника, приносит нам на завтрак и ужин гору чудесных белых пышных оладий на масле. Получаем табак, печенье, сливочное масло, консервы. Дополнительный паек.

С «Историей» у меня ничего не получилось. Политотдел, очевидно, хочет возложить всю работу на Ковалевского и с этой целью освобождает его от газетной работы. Конечно, совмещать то и другое невозможно. Ведернику это весьма не нравится, но ничего не поделаешь, приказ свыше.

Лишний раз убеждаюсь, что нельзя заранее говорить утвердительно о том, что еще не оформлено окончательно.

Положительно, на войне не знаешь, что сулит завтрашний день. Прощай Новые Удрицы! Снова сборы, увязка мешков, чемоданов.

Нам предстоит марш в сотню с лишком километров. Тактическая обстановка такова: армия обходит сильно укрепленные неприятельские районы, оставляет их в тылу, блокирует и устремляется вглубь оккупированной территории. Начинается наступление на Старую Руссу.

Справа и слева от нас будут немцы. Предстоит приятная перспектива бродить пешком в таком окружении, в поисках наших бригад. Это обычный в здешней редакции способ сбора материала. Транспорт — наше больное место: ходить пешком еще полбеды, но дело в том, что до сих пор я совершенно безоружен. Полгода на фронте — и все никак не могу получить наган. Даже застрелиться, если нужно будет, не смогу.

Десять дней газета не выходила в связи с нашим переездом из Клина. Тут, в Новых Удрицах, выпустили один номер, приготовили к печати второй — и снова перерыв.

***12 февраля***

Вчера к вечеру выехали. Вся наша колонна — пять машин. Едем вдоль линии фронта. Фронт? Не веришь этому — тишина, внешнее спокой-

ствие, совершенно не пострадавшие от войны деревни. Они далеко друг от друга расположены. В Смоленщине и Подмосковье другая картина — там населенные пункты натыканы густо, один к одному. Улицы здешних деревень узкие, высокие серые избы — в этом что-то от старинных теремов, от оперной постановки.

Погода мягкая, но после нескольких часов езды в открытой машине все-таки пробирает холод.

По обеим сторонам шоссе загородки — мины. Едем среди минных полей. В темноте, проехав какую-то деревушку, видим лыжников. Прямо на дороге они надевают маскировочные куртки и штаны. Готовятся к боевой операции. Автомобильные фары освещают призрачные фигуры.

Потом мы едем по сказочному лесу. Молоденькие елочки будто из взбитых сливок. Согнувшиеся под тяжестью снега деревья перегибаются над узкой дорогой, образуя бесчисленные арки и своды, под которыми проходят, сияя фарами, наши машины.

Картина изумительная.

Я никогда не видел такого леса.

В одной из деревень, где мы задерживаемся, поджидая отставшие машины, Ведерник собирает всех. Мы стоим на улице в темноте около

машин. Редактор предупреждает, что сейчас начнется зона заражения сыпняком. Нужно проехать три деревни. В избы не входить, в случае ночлега спать только на своих вещах, «к бабам не лезть», больше всего опасаться вшей.

Действительно, в ближайшем же селе задержавшуюся нашу полуторку строго окликает часовой:

— Не останавливаться, останавливаться запрещено.

Немцев здесь не было. Откуда сыпняк? Но хорошо, что принимаются профилактические меры.

Ночлег в деревне. Здесь мы останавливаемся на день. Я раскладываю свою койку, вызывая восторг хозяйских ребятишек. Хозяин осторожно жалуется на то, что проходящие войска съели всю колхозную картошку и фураж. Сразу видно — немцев здесь не пробовали. Тогда бы говорили по-иному.

Утром, когда оконца синеют рассветом, мимо избы с тарахтеньем проходят аэросани. Одни, другие, третьи. Свыше десятка. Новый вид вооружения, о котором я давно не слышал. Обтекаемая форма, вид торпеды, низко сидят на полозьях. Трещат «уточки», низко проносясь над крышами, катятся грузовики в ту и другую сторону.

Оживленность близкого фронта.

Мы движемся вдоль восточного берега озера Ильмень. Впереди еще сто километров пути.

***13 февраля***

Вторую ночь провели в Кузнецовке. Деревушка в двадцать дворов. Вчера наш отдел устроил для себя баню. Воду таскали ведрами, проваливаясь в глубоком снегу. Таскал и я. Поели вечером картошки — нашлась все-таки у хозяев в обмен на махорку. Сегодня с утра в дальнейший поход.

Вшей давно уже нет.

Мои ближайшие коллеги.

Старший политрук Чирков, начальник отдела, невысокий, розовый, голубоглазый. Открытое спокойное лицо. Аккуратен, всегда гладко выбрит, любит порядок. Человек мягкий, выдержанный. Трудолюбив: готов работать с утра до ночи. Звезд с неба не хватает. Службист: приказ начальства — закон. Крестьянский парень, комсомолец, он прошел путь от красноармейца до слушателя Военной академии и редактора артиллерийского журнала. Говорит «эсли» (вместо «если»), «бывает». Узкий специалист.

Заместитель его, Аристов, политрук. Добродушный парень, был летчиком. Эпилептик или

шизофреник, о чем откровенно рассказывает. Смелый. На передовых позициях всегда в самых опасных местах. Культурный уровень невысок.

Политрук Шипов. Спокойный, знает себе цену. Редеющие волосы зачесаны назад, на подбородке ямка. Наиболее развитый и культурный среди всех. Опытный журналист: работал в «Красной звезде» и в московском Радиокомитете. Участвовал в походе в Западной Белоруссии.

Младший политрук Ленский. Коротконогий, подвижный, с острым и быстрым взглядом светлых глаз. За словом в карман не полезет. Остроумный, со своим словарем, балагур. Язык у него едкий. Жаль только, что остроумие Ленского не для печати. Рязанский железнодорожник. Работал долгое время помощником машиниста, был выдвинут в транспортную газету. На войну пошел добровольцем, заменив брата, хотя и страдает плоскостопием. Был в ополчении бойцом. Хозяйственный человек, услужливый для товарищей. Ко мне относится со скрытой неприязнью. Во-первых, я писатель, во-вторых, интеллигент.

Политрук Чебулаев, самый серый из всех. «Мужичок» — называет его Ленский, и это правильно. Маленький, любит напевать отрывки из романсов и песен. Говорит медленно, смачно,

по-крестьянски. Был в Мурманском крае, потом под Вязьмой выходил из окружения. Знает многих моих товарищей по роте, писателей — тех, которые пропали без вести.

Ковалевский, писатель. Фигура мальчика, лицо девушки не первой молодости. Скромный, застенчивый, замкнутый. Тихий голос. Человек глубокий как будто, вдумчивый и неглупый.

***26 февраля***

Все, что я видел и перенес за полгода фронтовой жизни, — детский лепет по сравнению с впечатлениями последних дней. Вот когда мне стало понятно, что такое война!

Пишу по порядку.

Снова в пути. Белый снег, серые избы, черный ельник. Древняя новгородская Русь. Опять следы бомбежек. Часто мелькают столбики с надписью: «Карантин». В домах сыпняк. Проезжая, видим на холме толпу военных, трубы оркестра. Хоронят какого-то начальника штаба. Залп салюта над могилой провожает нас.

Вечером останавливаемся в деревне, носящей странное название Вдаль. Улица забита машинами. Здесь должны размещаться редакция и типография, но помещений нет — впору ночевать на улице. У домов средние танки. В стороне

под деревьями огромный «КВ». В темном небе — гул, разноцветные движущиеся огоньки: наши патрулирующие самолеты. Прожектор за черными избами шарит по небу, описывая огромный круг. Вот упал на избу, озарил часового, стоящего под навесом.

Мы с Ковалевским находим пристанище в караульной роте. Командиры играют в домино, стучат костяшками. Два свободных места на нарах — роскошный ночлег!

Утром нас, два дня почти не евших, не спавших, забирает Ведерник и везет дальше: сначала в 1-й эшелон, в политотдел, а оттуда на передовую за материалом. Едут человек десять. Политотдел в Давыдове — километров тридцать, сорок, фронт еще дальше.

Ужасная дорога. Все время пробки. Машина поминутно вязнет в сыпучем снегу. Толкаем, вытаскиваем, везем на себе. За сутки сделали всего двадцать километров. Справа и слева стрельба. Бесконечным потоком идут на фронт лыжники в белом. Молодежь, лица серые, усталые. Шесть дней в пути. Умоляют подсадить их, цепляются за машину, прикрепляют сзади свои волокуши, на которые садятся сами. Один, больной дизентерией, все-таки умолил Ведерника подсадить его.

Тонкое лицо, почти мальчик, длинные загнутые ресницы. Навстречу этому потоку тянется другой — с фронта. Раненые. Большинство — раненных в руку.

Весь этот путь подвергаемся непрерывным бомбежкам. Немецкая авиация хозяйничает как у себя дома. Общий голос:

— Бомбит — спасу нет.

Бессонная ночь в грузовике, в дороге. Горючее вышло. Мы останавливаемся в деревне Юрьево. Что делать дальше? Ведерник предлагает идти дальше пешком — в темноте, по отвратительной дороге, пятнадцать-двадцать километров. К счастью, вымолили у какого-то шофера литров десять бензина, достали ведро ячменной каши, поели тут же, на улице, в темноте, сидя вокруг ведра на корточках. Два дня не ели, жевали сухари — и какой же вкусной оказалась эта горячая каша!

Заправили машину, двинулись дальше, на рассвете и это горючее вышло. Оставив нашу полуторку в лесу и с ней Ленского, мы пешком продолжаем свой тернистый путь.

Под вечер добрались до Давыдова. Немец то и дело бомбит деревню, и поэтому политотдел расположился в ближайшем лесу, в шалашах.

Днем на морозе, вечером возвращаемся ночевать в Давыдово. Ночью немцы не летают.

Сюда приехала труппа артистов Ленинградского театра им. Кирова (Мариинский), эвакуированных в свое время в Пермь. Все в черных ватниках, в ушанках. Со скандалом устраиваемся на ночлег вместе с ними, нас трое-четверо. Утром Ведерник вручает нам документы, инструкции. Я вместе с начальником отдела пропаганды Максимовым направляюсь в 129-ю дивизию, приданную 1-й Ударной. Срок командировки — десять дней, с 15 по 25 февраля. Дивизия в наступлении. Остальные товарищи по одному, по двое направляются в другие части. Газете срочно нужен материал.

Дорога тянется глубоким оврагом по льду замерзшей реки. Синее небо, в холодном воздухе чувствуется предвесенняя талость. Движение слабое. Изуродованные конские трупы — очевидно, погибли на минах или от бомб. У одного из них крестьянин с мальчиком и с салазками отрезает куски конины. Труп немца с отрубленными ногами. Говорят, отрубают ноги бабы, чтобы снять валенки. Везут раненых. Вижу впервые трупы наших.

То на подводе, то усевшись на прицеп к гусеничному трактору, то в закрытой полуторке

эрэсовцев[22] («катюша»), а большей частью пешком, добираемся до деревни Соколово, в районе которой расположился штаб 129-й дивизии. Деревня полуразрушена. Жителей нет. Я вижу страшную картину: на выжженном пустыре груда исковерканных машин, наших и немецких, а вокруг лежат растерзанные мертвецы. Наши. Стоит танк, около него лицом в землю полуобгорелый черный труп с голой розовой спиной. На одной ноге уцелел валенок.

За деревней лес, через него пролегала прямая шоссейная дорога на деревню Бородино. За Бородино все эти дни шел жестокий бой. Мы справляемся по карте. Где-то в лесу должен быть политотдел дивизии.

Едва выходим из деревни, как наверху появляется «стервятник», идет прямо на нас. Ложимся в придорожную канаву. Под снегом вода, моя левая нога попала туда, валенок промок. В нескольких шагах от меня лежит убитый красноармеец. Окоченелая рука указывает в небо.

Гул мотора над самой головой, стрекочет пулемет, мимо вжикает пуля, затем вторая… Когда шум мотора стихает, поднимаемся и идем к лесу.

Как забыть это! Редкий лес по обеим сторонам пустынного шоссе, розово-желтый ясный зимний

закат, отдаленные группы деревьев в голубой морозной дымке, тишина, покой. И конское мерзлое, растерзанное мясо на шоссе, и воздух, наполненный зловещим гудением, и дальний грохот взрывающихся бомб. Кружат убийцы и бомбят, бомбят непрерывно.

Мы проходим мимо огромной воронки у самой дороги. Совсем свежая. Валяющаяся на дороге лошадь еще поводит боками, но глаза наливаются смертной голубизной. Когда спустя некоторое время мы снова проходим по этому месту, лошадь уже издохла.

Расспрашивая редких встречных бойцов и командиров, долго ищем штаб. Наконец в глубоких сумерках находим его. Максимов великолепно ориентируется, — я бы никогда не нашел, заблудился бы в этом лесу, в темноте, в лабиринте узких извилистых тропок.

Политотдельцы в шалаше греются у костра. Нас встречают более чем прохладно: даже кружкой горячей воды не угостили. Ночевать предлагают устроить в Соколово. Первый раз за все время фронта я натыкаюсь на такой прием. Когда мы поднимаем вопрос о питании, о наших продовольственных аттестатах, кто-то из политотдельцев отпускает ехидное замечание: вот-де

из армии приехали за продуктами.

Делать нечего. Измученные, голодные, подавленные всем виденным, бредем назад в мертвую страшную деревню. Выбираем наиболее уцелевший дом. В темноте натыкаюсь на что-то лежащее у самого порога. Убитый. На втором этаже избы в разгромленной холодной комнате двое бойцов. Лица закопчены, вид неряшливый. Самодельная коптилка на столе, рядом кусок сырой конины. Печь разрушена, окна кое-как заткнуты соломой, вход за перегородку завален бревнами, досками. Холод как на улице. У бойцов непривычно культурный язык. Оказывается, студенты из Ташкента. Были автоматчиками. Тон горечи, упадничества. «Получили диплом, а теперь приходится шагать по человечине».

Предлагают жареной конины. Не могу есть — после бесчисленных виденных мною разорванных на части лошадей, мерзлых кишок и навоза. Мой разговор со студентами — о войне, о необходимости все перенести. Что-то подозрительное в поведении студентов: их обособленность от других, нотки ремаркизма, опустившийся вид. Может быть, дезертиры? Тягостно было в этой разгромленной холодной избе, в обществе с этими отщепенцами. Мы ушли.

Спустились в подвал. Глубокая яма, на дне которой разложен костер. Дым клубами валит из двери. Несколько человек. Трое спят прямо на земле, четвертый, охая, возится у костра. «Осторожно, я раненый». Видимо, тоже дезертиры. Мы посидели несколько минут и с трудом вылезли наверх, полузадохшиеся и ослепшие от дыма. Не было сил оставаться.

— Ад, — сказал Максимов, очутившись на улице.

В подвале следующего дома, куда мы заглянули, битком набито. Латыши из латвийской дивизии, хозкоманда. Гостеприимные, вежливые, культурные, милые. Предложили ночлег, угостили горячей похлебкой из гречихи. Разговоры о Риге, о будущей советской Латвии. «Нас теперь осталось немного». Действительно, их дивизия только называется Латвийской: латыши перебиты в боях под Наро-Фоминском, а комплектование сейчас идет за счет чистокровных русских.

Наконец мы нашли ночлег, выспались.

Когда мы на обратном пути из 129-й дивизии снова проехали через Соколово, на месте нашего ночлега была растерзанная груда бревен. Фашистские летчики вторично разбомбили деревушку. Что стало с милыми латышами?

Утром, придя в лес, мы получили в походной кухне котелок горячего супа, достали в АХО, расположенном под навесом из веток, буханку замерзшего хлеба, выпили по 100 гр. «продукта № 61» и зашли в шалаш комендантской роты позавтракать. Занесенный снегом чум из хвойных веток, внутри вокруг костра ребята в белых халатах, похожие на бедуинов.

Подогрели суп, оттаяли хлеб на огне, выпили по кружке кипятка (растопленный снег) — позавтракали. Среди бедуинов нашелся парикмахер, который ухитрился тут же нас побрить. Бритье проходило под гуденье немецких самолетов и грохот взрывов. Стервятники кружились над головой, бомбили и пулеметным огнем прочесывали лес.

Наконец стало тихо.

Мы двинулись в полки дивизии. Все та же прямая как струна дорога через лес с воронками, с конскими и человеческими трупами. Чем ближе к Бородину, тем все больше и больше их было.

Никогда я не забуду этой дороги смерти, дороги нашего наступления от Соколово до Бородино. Белый, искрящийся на солнце снег, лазурное небо и трупы, трупы, трупы: все наши. Они лежали по обеим сторонам шоссе, застывшие в

самых разнообразных позах, в растерзанной белой одежде. Некоторые вдавлены в снег — по ним проезжали сани, грузовики. Запомнился мне один — пожилой, в шинели, без шапки. Он лежал, приподнявшись на локтях, и стеклянными глазами глядел вдаль, в сторону Бородина, в сторону врага. Так и застала его смерть. Вся дорога усыпана винтовками, дисками, патронами, сумками от противогазов, самими противогазами, окровавленным тряпьем — трагический мусор войны. На снегу розовели мерзлые пятна крови. Действительно, политая кровью земля. Так на протяжении двух, трех километров. Тут наступала Латвийская дивизия.

На душе камень. Какие потери! И сколько ведь таких дорог…

Бородино за глубоким оврагом. Позиция для врага идеальная. Дымятся свежие пепелища. Бродят бойцы. На обгорелом срубе сидит рыжеусый человек в белой рубахе, в белых штанах. Глаза отсутствующие. Он еще не пришел в себя после боя. Подсаживаюсь, заговариваю. Он — ярославский текстильщик.

Немцев убитых почти не видно. Говорят, уходя, фашисты либо сжигают, либо захватывают с собой своих убитых. Лишь поодаль валяется один.

На восковой руке на пальце блестит обручальное кольцо. Автоматчик. Тут же над оврагом сложенное из снежных кирпичей его гнездо.

По дороге в Бородино врезался мне в память такой эпизод. Над телом красноармейца, буквально вбитым в снег, стоял боец и вертел в руках новенькие ботинки, очевидно, снятые с трупа. Толстое лицо крестьянина, совершенно заплывшие, слепые щелки глаз, под носом висит зеленая сопля.

— Кароши? Новые? — спросил он нас на ломаном языке. Латыш.

Идем дальше по оврагу. Деревня Ширяево — там штаб бывшего 1-го полка. На скате убитый обер-ефрейтор. Голова повязана черным платком, обут в валенки. Лежит ничком, закрыл лицо руками. В нескольких шагах от него мертвая старуха. Полы овчинного кожуха задрались, ноги раскинулись, будто бежит.

В Ширяеве мы знакомимся с командиром полка Батюком и комиссаром Винокуром и останавливаемся на двое суток.

Обстановка такова. Полк, развивая наступление, ведет яростные атаки на сильно укрепленный район. Опорный пункт противника — деревня Сыроежкино. Подступы к нему на-

ходятся под тройным перекрестным огнем. Три раза батальоны бросались в атаку и все три раза должны были отойти назад. Раз удалось ворваться в деревню, но немцы выбили оттуда. У нас большие потери.

— Воюют, как испанцы, — говорит о красноармейцах Батюк, красный, красивый здоровяк с сиплым голосом. — Не хотят маскироваться. Это про испанцев сказано, что умирают стоя?

«Раиса»[16] дала залп по Сыроежкину. Перелет. Второй залп. Недолет. Третий залп. В штабе переполох, телефонные звонки. «Раиса» ошиблась на несколько сотен метров и задела наш батальон. Хороша ошибка!

Всю ночь под окнами штаба визг полозьев, шелест сена и стоны тяжелораненых. «Умираю!» — стонет кто-то. Везут, везут. Выйдешь на улицу — яркие звезды, стукотня пулеметов, темные фигуры людей, лошади, запряженные в сани.

В самой штабной избе толчея, теснота, спящие в углах, на полу, командиры. Попискивает полевой телефон, тускло светит коптилка. Тревожное настроение. Ожидают, что немцы перейдут в контратаку. Я забираюсь на горячую печку и, поджариваемый снизу, кое-как засыпаю.

Утро, как обычно, начинается отдаленным грохотом бомбежки. Где же наши самолеты?

***28 февраля***

Продолжаю.

Максимову нужно в 1-й батальон, за каким-то материалом для себя. Идем вместе. Выясняется, что 1-й батальон все еще в бою. По дороге густо встречаются раненые. Каждого даже имеющего легкую рану провожают не менее двух его товарищей. Тяжелораненых везут на лыжах или на салазках трое — третий сзади подталкивает штыком. На плащ-палатке протащили одного — голова вся обмотана бинтом, красная от крови. Раненый храпит — не хрипит, а именно храпит. Довезут ли?

— Вот, даже салазок нет. Правильно это? — с горечью спрашивает нас один из везущих.

Вдоль изгороди, вдоль дороги устроены немцами ячейки из снега, пол устлан соломой, сеном. Пиу! Пиу! — начинает свистеть над ухом. Все еще идет бой за Сыроежкино. Батюк в белом халате, в белом колпачке, надетом на ушанку, бегает по дороге, по полю.

— Г…ая деревушка, а взять нельзя, — говорит он нам. — Нет снарядов.

И снова куда-то уносится.

Нет ни снарядов, ни мин. Артиллерия наша молчит. Недаром немцы беспрерывно бомбят коммуникации.

Посидев некоторое время в снежном гнезде, направляемся обратно. Сейчас не до сбора материала.

— Плохо воюем, — вырывается у Максимова. Это суховатый, замкнутый, некрасивый человек в очках, ленинградец, типичный средний партийный работник. Педант. Действительно скверно воюем. Партизанщина, кустарщина.

В штаб приносят раненого комиссара 1-го батальона Шайтанова. Пулями перебита нога. Потрясающая, трогательная сцена. Не хочу повторяться — я опишу ее подробно в будущем очерке.

Когда я сижу около Шайтанова — его в это время перекладывают, он от боли стиснул мою руку, сцепил зубы — у меня, чувствую, слезы навертываются. Потом приводят арестованного начальника разведки. Он спрятался во время боя. Кроме того, по его вине в штаб армии были доставлены неверные сведения. В результате наша рота, думая, что деревня свободна от немцев, наткнулась на сильный огонь и отошла с потерями. Молодой развязный парень, врет, что

все время был в бою.

— Трус! Мерзавец! — кричит комиссар Винокур, замахиваясь. — Я расстреляю тебя!

— Пожалуйста, — нелепо отвечает арестованный.

Его уводят. Комиссар на прощание дает ему по шее. Через пять минут в избу входит начальник штаба, капитан Уткин, кладет на стол кобуру с револьвером и ремнями и совершенно спокойно заявляет:

— Истратил один патрон.

— ???

— Расстрелял. Сам.

Вот и все. Просто и быстро.

Я целюсь на наган расстрелянного. Все равно оружие, о котором я давно мечтаю, свободно.

На печке кто-то спит, видны только валенки. Его будят, дергают за ногу — никакого внимания. Начальник штаба вынимает пистолет, лезет на печь и стреляет над самым ухом неизвестного. Тот же результат. Сначала смех, потом опасение: может быть, мертвый? Человека стаскивают за ноги, и только тогда он приходит в себя, усаживается, мутно глядит на нас. Это офицер связи. На него набрасываются — как он смеет отсыпаться здесь и не передавать приказания на батарею?

Немедленно идти! Выполняйте приказ!

— Есть выполнять приказ, — отвечает офицер связи и не трогается с места. Человек выбился из сил. Сколько ночей он не спал?

Потом, выйдя в сени, я увидел его. Он стоял, прислоняясь к столбу, и спал.

И весь этот калейдоскоп событий, смесь трогательного, страшного, смешного на протяжении часа, не больше.

Положение напряженное. Уже нет людских резервов, в штабе собирают писарей, поваров, санитаров, обозников и, оставив лишь самых необходимых, направляют на передовую линию. Снова сообщение, что немцы вышли из Сыроежкина в поле, окопались и, по-видимому, готовятся к контратаке. Спешно организуется заградительный отряд: останавливать тех, кто дрогнет, побежит назад. Начальник штаба дает мне револьвер расстрелянного. Так, впервые за шесть месяцев фронтовой жизни, я получаю личное оружие. Тема для новеллы.

— Кажется, мы с вами попали в переплет, — шепчет Максимов.

Все политработники брошены на передовую. Штаб опустел. Стало тихо. Только начальник штаба возится у двух пулеметов, притащенных

сюда, — проверяет. Я помогаю бойцам набивать пулеметные ленты патронами. Ну что ж, если нужно, буду отстреливаться до последнего.

Но все кончилось благополучно.

Мы задержались в 1-м полку, желая дождаться результатов боя и дать в газету свежую информацию. Но дело затягивается, положение неопределенное, и мы решаем отправиться в соседний 2-й (518-й) полк. Он отсюда в нескольких километрах.

Над оврагом зенитно-противотанковая батарея. Четыре орудия, выкрашенных белой краской. Хлесткие удары, снаряды с шипением проносятся над головой. То, что было деревней Трохово, — пепелища, обгорелые деревья, окоченелые трупы. Уцелело два-три сарая. В крохотной избушке находится штаб полка. Топится печурка. Тепло, несмотря на то что окно совершенно открыто. Комиссар Ибрагимов, культурный татарин. Знакомлюсь с переводчиком Канном.

Юноша, москвич, малоформист. Красивое лицо закопчено. По совету комиссара иду в соседнее Бабье, где стоят артиллеристы — замечательные ребята, как мне говорят. Канн вызывается проводить.

До Бабьего километра полтора, дорога все тем

же извилистым бесконечным оврагом по льду. Солнечный день, белый снег, жесткое синее небо, непрерывно гудящее, как струна. Немец господствует в воздухе. Мы идем с Канном и ведем странный и дикий среди окружающей обстановки разговор в стиле Клуба писателей.

Уже видны первые сараи деревни, когда появляется немецкий самолет, идет к нам. Ложимся. Мы лежим на горбе дороги, кругом голое снежное поле. Мы отчетливо, наверное, видны сверху — два темных пятнышка на белом фоне. И спрятаться негде! Треск пулемета, знакомое вжиканье над ухом. Одиночек на дороге обстреливают, сволочи! Лежу, уткнувшись носом в снег. Отвратительное, подлое чувство беспомощности. Может, через секунду будешь валяться, как сотни уже виденных мною, как падаль, пока не сволокут тебя за ноги и не зароют в сугроб. Немцы — те хоть по всем правилам хоронят своих. Самолет скрылся. Поднимаемся, идем к деревне. Второй раз я уже под пулеметным обстрелом с воздуха.

Долго мне будет помниться Бабье! А каким отрадным было первое впечатление. Чудом сохранившаяся деревенька, даже стекла в домах почти не выбиты. Все население немцы угнали с собой, остался только полуживой старый дед на

печке. На задах лежат десять мертвых немцев. Все в зеленых мундирах и штанах, в новеньких, подбитых гвоздями сапогах. Под куртками с полдюжины шерстяных джемперов и фуфаек. У одного белая каска обмотана женской горжеткой. Все они стащены в общую кучу — очевидно, немцы что-то хотели сделать со своими убитыми, но не успели.

Артиллеристы действительно славные ребята! Все молодежь. Командир Холькин томится: нет снарядов, батарея бездействует. Артиллеристы действуют как пехотинцы. Формируется добровольческий отряд для глубокого рейда в тыл врага, занять какой-то важный пункт. Однако отряд постигла неудача: заблудились в темноте и тумане и должны были вернуться ни с чем.

Ночуем у артиллеристов. Приводят раненого командира орудия — башкира Кагирова. Просит не отправлять его в госпиталь, оставить тут.

На другой день немцы начинают обстреливать Бабье из минометов. Сидим в штабе, слушаем свист и хлопанье рвущихся мин. Все ближе и ближе. Сообщение: загорелся дом. Грохот совсем рядом, вылетают стекла в окне, около которого я сижу, на двери шкафа свежая дырка. Осколок мины пролетел в нескольких сантиметрах от ме-

ня. Становится как-то неуютно. Новый, еще более оглушительный взрыв. Вылетает второе окно, комната темнеет от дыма: мина угодила в крышу нашего дома. Легко ранены красноармеец и лошадь — находились снаружи. Максимов сидит в углу под образами — самое безопасное место — и читает или делает вид, что читает газету. Во всяком случае человек владеет собой. В комнату входит холод.

Наконец минометный огонь прекращается. Теперь начинается другое. Недалеко от нас ярко полыхают два дома. Около них стояли пушка и грузовик с боеприпасами. Все это взрывается в огне. Мы сидим под лестницей — тут же конюшня — и прислушиваемся к трескотне патронов и визгу разрывающихся снарядов. Сверху доносится знакомое гудение. Теперь еще парочка-другая авиабомб — и все будет в порядке.

Очевидно, нервы Максимова не выдержали. Он выходит на улицу и бежит мимо пылающих домов. Я за ним. Мы пробегаем среди треска и грохота. Вот когда я проклял свои огромные неуклюжие валенки! Удалось благополучно миновать опасное место.

Помню потом наш обед. Переживания не отражаются на нашем чисто фронтовом аппетите.

Полевая комендантская кухня стоит, дымясь, в узком закоулке между двумя амбарами. С одной стороны кухни лежит, запрокинув позеленевшее лицо, убитый красноармеец, с другой — мерзлая кровь. Повар разливает бойцам суп. Мы получаем котелок пшенного супа с мясом, забираемся в какую-то избу, брошенную разбежавшимися бойцами, и обедаем. Решаем отправиться в соседнюю деревушку Хорошево — в штаб 3-го полка. Когда мы сидим у сарая, к нам в сопровождении конного офицера подъезжает всадник в бекеше, плотный, величественный.

— Кто вы такой? — спрашивает Максимова, картинно указывая на него нагайкой. Мой спутник представляется.

— А я начальник штаба дивизии. Да, хреново воюем. Ну, работайте, работайте.

И, тронув коня, поехал дальше.

Хорошево тоже подверглось только что обстрелу, не только минами, но и артиллерийским огнем. Знакомимся с комиссаром дивизии — бригадный комиссар Кабичкин. Большой, массивный, с курносым бабьим лицом, с синими глазками. Душа-парень. Сразу с нами устанавливает простой, дружеский и откровенный тон. Потом мы встретились с ним на улице, когда над

деревней кружились «юнкерсы».

— Ведь обидно, ребята. Как у себя дома, как на параде, — с горечью говорил он, следя за небом.

Был момент, когда мы с ним, втроем, полезли в щель, вырытую на обрыве под заиндевелым деревом. Но тройка самолетов прошла над нами, не причинив неприятностей.

— Вот о ком надо писать, о тех, кто по двое суток лежит на снегу, на морозе, — говорил Кабичкин потом, сидя в штабе.

— Не о них, — указывал он на штабных работников. — Конечно, они тоже работают, но это не то.

И тут же:

— А все-таки, ребята, мы «ему» диктуем, вот что самое важное. Мерзнем, голодаем, потери несем, а все-таки диктуем. Все-таки «он» не знает, откуда и как мы ударим.

Общее положение на данном участке фронта Кабичкин охарактеризовал так:

— Наверху поторопились с наступлением. Еще бы два дня подготовки…

В 3-м полку та же картина. Тут свое Сыроежкино — деревня Щетинино (может быть, Фелистово). Я уже несколько путаюсь в этой стратегической мешанине, в этом потоке впечатлений.)

Опять отсутствие взаимодействия родов войск, излишние, ненужные потери, дезорганизованность, кустарщина. Собирают последние силы, бросают на линию огня писарей и кашеваров, расстреливают на месте дезертиров. Да, воюем хреновато.

А люди по двое суток лежат в снегу под убийственным огнем, лежат голодные, холодные — и, несмотря ни на что, дерутся. Серые герои. Русский солдат остается русским солдатом.

Ночуем в штабе на печке вместе с Кабичкиным. Снова и снова люди идут в атаку. Откуда у них силы берутся?

— Еще одна атака — и саперов не останется, — слышу я, будучи у саперов. Они тоже действуют как пехота. С винтовками против минометов и автоматов. Было их около семидесяти человек, осталось не больше тридцати.

Узнаем, что у 1-го полка успех: решили обойти проклятое Сыроежкино и, оставив его позади, вклинились глубоко в расположение противника. Какой ценой достался этот успех?

В Хорошево за избами вижу одиннадцать мертвых красноармейцев. Все расстреляны — очевидно, были в плену. Раны в голову и в лицо разрывными пулями. В нескольких шагах от этой

кучи замерзших трупов под завалинкой избы валяется немец. Как у многих из виденных мною убитых немцев, штаны с него сняты, а кальсоны расстегнуты. Рядом разрезанные сапоги на гвоздях. Штаны стащил свой, даже сапоги разрезал, чтобы легче снять, а заголили убитого наши. Ненависть к врагу, даже к мертвому: пусть валяется во всем сраме!

Последнюю ночь проводим снова в Бабьем и тут переживаем новое приключение. Устроились в доме, занятом связистами. Просторно, сравнительно тепло, и к тому же пол завален снопами соломы. Эта свежая солома больше всего привлекла нас. Топилась железная печурка, вместо лампы горел подвешенный к потолку провод, окна заткнуты куделью и сеном. На соломе, оказалось, спать холодно — перебрались на печку.

Я проснулся оттого, что в горле было горько и душно. Все в густом дыму. Суета, переполох.

— Всем выходить, горим.

В полутьме лихорадочно шарю на печке, собирая шарф, противогаз, шинель шапку. Куда девалась моя ушанка? Случайно ее нахожу и выскакиваю последним. Вся крыша пылает. Очевидно, пожар начался оттого, что ночевавшие в нижнем этаже дезертиры разложили костер и

нечаянно подожгли.

Третий дом сгорает в Бабьем дотла за время нашего пребывания. Это не считая разбитых машин.

Можно думать о возвращении в редакцию. Восемь дней я провел среди пожарищ, развалин и мерзлых трупов под пулями и минами. Дорого нам будет стоить победа над Гитлером.

Назад возвращаемся сравнительно удачно — большей частью едем на санях либо на машине. Дорога от Бородина до Соколова очищена от трупов — не так тягостно ехать по ней. Навстречу колонной тянутся подкрепления. Молодые ребята в касках. «Пушечное мясо», — думаю я. Вернее, минометное. Подсев на розвальни, мы едем вдоль колонны, и в это время в небе появляются «юнкерсы» и начинают обстреливать нас. Лесная дорога мгновенно пустеет — бойцы прячутся в придорожных канавах. Я лежу, уткнувшись лицом в солому на санях, и жду пули. Третий обстрел с воздуха.

За то время, какое мы провели на передовой линии, политотдел продвинулся вперед, так же как и редакция.

Как странно и дико, после всего пережитого, очутиться в теплой чистой избе, где целы все

окна, приветливый самовар и, мало того, парикмахер в настоящем белом халате, устроившись около русской печи, стрижет и бреет политотдельцев.

Тут же Ковалевский у стола со своей «Историей», томный от дизентерии, которой жестоко страдает.

Совершенно другой мир.

Я с наслаждением стригусь и бреюсь. Получив пропуск в столовую Военторга, я ем обед из четырех блюд: лапша, холодец, рисовая каша с маслом, стакан компота. Мне рассказывают, как немец бомбил Давыдово, где еще находился политотдел. Были жертвы.

Я привез трофеи: наган, плащ-палатку (валялась около одного из десяти убитых немцев), сумку от противогаза, немецкую пилотку (принадлежала обер-ефрейтору) в Ширяево и пряжку от солдатского пояса с надписью: «С нами Бог».

***28 февраля***

Редакция в деревушке Князево. Занимаем три дома. В одном — высшее начальство, в другом — все начальники отделов и сотрудники, в третьем — типография. Теснота невообразимая, раздражающая. Меня и еще одного-двух сотрудников переселили в Малые Горбы, где помещается

политотдел, — километров восемь от Князева. Живем вместе с зенитчиками. Славные, компанейские ребята. Живем в тесноте, но не в обиде. Я отдыхаю тут от редакционной обстановки. Все-таки до сих пор чувствую холодок, скрытую неприязнь и недоброжелательность. Очевидно, все армейские газеты в этом отношении похожи одна на другую. Мне тягостно и одиноко. Ищу верного тона по отношению к моим сотоварищам и не могу найти. В редакции крупное событие. Получен приказ Мехлиса[17], указывающий на плохое состояние газеты. Ведерник на волоске. Вчера было редакционное совещание — первое за все время моего пребывания. Критиковали работу газеты, говорили об отсутствии руководства. Досталось и писателям — то есть фактически мне. Очевидно, вся эта публика ждала от нас шедевров. На меня пахнуло знакомым лещинеровским духом. Максимов оказался подловатой личностью. Доложил собранию, что я говорил в беседе с ним о наших больших потерях и что все виденное мною, по моим словам, материал не для армейской газеты, а для крупных вещей. Я должен был взять слово. Говорил прилично, спокойно, почти не заикаясь. Ведерник в заключительном слове похвалил мое выступление.

Решено вытягивать газету. Вытянем ли?

Получил три письма от мамы, от Митрофанова и два от Берты. Очень обрадовался. Митрофанов прислал рекомендацию (просимую мной) в партию. Сомневаюсь, удастся ли мне вступить в партию в нашем коллективе. Отношение, чувствую, неважное. Мои «товарищи» рады будут подложить мне свинью.

Оргвыводы из совещания. Длительные командировки (на 10 дней) отменены, так как себя не оправдали. Мне Ведерник поручил возглавить отдел юмора. В помощь даны другие товарищи.

Военсовет отклонил посланный в свое время редакционный список из 12 человек, кандидатов на правительственную награду. Многозначительно.

## Март

***2 марта***

Живу на недавно организованном при 1-м эшелоне корреспондентском пункте.

Кроме нас, двух-трех, состав которых постоянно меняется, тут находятся представители фронтовой газеты и зенитчики. Теснота. Товарищи из фронтовой газеты — славные, культурные, ост-

роумные ребята, не чета армейской «кобылке». Один — Л. Плескачевский, был в тылу, у партизан и представлен к ордену. Другой — М. Гроссман[18], несколько месяцев жил в Риге. Зенитчики сильно мешают нам работать, но ссориться с ними не хочется — уж очень народ симпатичный. Снабжают их прекрасно. Почти каждый день пьем водку. Государство кормит их недаром. Ежедневно начинают скрипуче стрекотать совсем рядом крупнокалиберные пулеметы, щелкать зенитки. Немцы все время вьются над нами. На днях бросили у Малых Горбов штук двенадцать бомб. Большинство из них не взорвалось. За два дня наши зенитчики сбили четыре-пять самолетов. Ходили очень гордые. Выжить их из квартиры, которая фактически предоставлена только корреспондентам, было очень трудно. Только после того как приехал Ведерник и крупно с ними поговорил, они стали рассасываться по другим домам.

Работаю над «юмором», как будто получается.

***4 марта***

Впервые читал сегодня политдонесение. Общее положение все то же. Пока что наша армия ничем, кроме больших потерь, себя не проявляет. Наши соседи заканчивают окружение Старой Рус-

сы, а мы по-прежнему толчемся на месте. Немцы отчаянно сопротивляются. Дьявольский народ. Сыроежкино, Щетинино, Фелистово все еще у них в руках. Почти все те командиры и политработники, с которыми я познакомился на передовой, выбыли из строя. Долговязый Канн — с ним мы разговаривали о московских малоформистах и вместе лежали под обстрелом с воздуха, ранен, видимо, тяжело и погиб, если бы какой-то красноармеец не вытащил его с поля боя.

Ранены командир б. 3-го полка Андреев, военком Печников, начальник штаба подполковник Нижегородов, ответственный секретарь Курганов — громадный, горячий, непосредственный. Помню, как сокрушался он сильными нашими потерями.

Это высший комсостав. Что же говорить о низшем, о рядовых бойцах?

Когда я покидал этих людей, у меня было чувство, что я оставляю обреченных на смерть.

Наш маленький командарм не жалеет советской крови.

***12 марта***

Середина марта, а весной и не пахнет. Вьюжная февральская погода. Впрочем, это хорошо. Весна и распутица сулят мало хорошего. Скорей бы

выбраться из здешних болот! Старая Русса все еще в руках немцев.

Трупами будет пахнуть нынешняя весна. Трупный запах в лесах и полях.

С «фронтовиками» М. Гроссманом, Плескачевским и приехавшим тоже из фронтовой газеты писателем К.Горбуновым[19] — побывал на фанерном заводе.

От Князева, где наша редакция, километров восемь-десять. Фанерный завод недавно занят нашими. От заводских корпусов остались только стены. Поселок уцелел, более или менее. Подходя к поселку, мы видели проволочные заграждения, занесенные снегом дзоты, построенные с немецкой добросовестностью. Сейчас на заводе расположено четыре лазарета. Мы побывали в одном. Тяжелая картина. Госпиталь расположен в трехэтажном новом здании школы и битком набит ранеными. Лежат в коридорах, кто на нарах, кто на полу. Врачи с ног сбились. Вместо двухсот раненых, на которых рассчитан госпиталь, тут их семьсот-восемьсот. Такое же положение и в других госпиталях.

Эти серые и желтые лица, эти бинты и повязки, воспаленные глаза, стоны…

Не дай Бог попасть сюда!

Приняли нас по-царски. Симпатичный комиссар госпиталя. Хорошее энергичное лицо. Мы спали на настоящей кровати, на чистых простынях, прекрасно питались, пили водку, побывали в великолепной бане (при госпитале), причем обменяли свое грязное белье на чистое, вымытое мылом против паразитов. Это было кстати: я обнаружил у себя, после длительного перерыва, вшей.

Мы пробыли в этом санатории около суток, и все время не оставляло меня чувство внутренней неловкости и смутного стыда, когда я вспоминал то, что видел в госпитале. За что страдают эти хорошие люди? А что они хорошие, я имел достаточно случаев убедиться за время пребывания на фронте.

Главной целью моего и Гроссмана путешествия на фанерный завод был раненый (вернее, обмороженный) герой-танкист, восемь суток просидевший в подбитом танке. Но оказалось, что танкиста эвакуировали отсюда еще дальше в тыл. Путешествие наше оказалось неудачным.

Вышла первая страничка юмора, организованная мною. Кажется, ничего. В дальнейшем страничка будет выходить каждый четверг. Очень нравятся всем мои «Старые песни на но-

вый лад». Наборщики и печатники напевают: «Жил отважный генерал» — мою переделку известной песенки Паганеля из кинофильма «Дети капитана Гранта». Что ж, буду работать за поэта. Некий красноармеец, прочитав мою заметку «Одиннадцать» (об одиннадцати расстрелянных в Хорошеве бойцах), прислал написанные по этому поводу неплохие стихи. Приятно.

Были с Гроссманом в 254-й дивизии. Зимний лес, сосны, заваленные снегом шалаши и землянки, лошади, сани, грузовики. Дымки из-под снега, стук топоров, гул и треск падающих деревьев — строят новые блиндажи. Тишина, только изредка хлопнет вдали вражеский миномет. Дивизия держит оборону, позиционная война.

И тут рассказы о страшных потерях. Армия, страна истекают кровью. У кого скорее иссякнут людские резервы — у Гитлера или у нас?

Две ночи в блиндаже связистов. Стены и потолок из розоватых сосновых бревен, потолок частью затянут плащ-палатками. Круглые сутки топится железная печурка. Ночью жарынь такая, что дышать нечем. Я просыпаюсь и вылезаю наружу глотнуть свежего воздуха.

В блиндаже начальника политотдела — крохотная электрическая лампочка над столом,

пишущая машинка, за которой сидит маленькая стриженая девочка в гимнастерке, в глубине широкая никелированная кровать.

Столовая: бревенчатый сруб, где помещается кухня, а к нему пристроен большой шалаш. Длинный стол из двух-трех обтесанных сосен, такие же скамейки. Обед из одного-двух блюд, даже котлеты. К обеду белый хлеб. Давно я его не ел!

Попали мы удачно. Как раз происходило награждение орденами отличившихся бойцов и командиров. Было их человек около тридцати. Материал, который мне нужен. Облюбовал для себя пять человек. Пять очерков. Ведерник очень доволен: требуются герои.

Встречали нас приветливо. На второй день нашего пребывания начальник политотдела угощал в своем блиндаже водкой. Тут же в лесу, под открытом небом показывали фильм «Дело Артамоновых». Я не пошел, спать хотелось. Темень, хоть глаз выколи, лес, пляшущие над землей красные искры из жестяных труб, вспыхивающие фонарики, которыми освещают путь снующие по снежным тропкам местные жители, негромкие оклики невидимых в темноте часовых: «Кто идет?» — а поодаль, за черными деревьями, мерцающий экран. Как многообразен фронт!

Назад я возвращался один. Мне дали легкие санки, на которых с удовольствием проехался. Лошадью правил ординарец начдива Василюк, разбитной и, похоже, плутоватый парень из-под Житомира.

Всю дорогу он развлекал меня рассказами о своем колхозе, где коров «было немного» — всего 500, овец «тоже немного» — 700, кур «совсем мало» — 2000. Вообще, цифры приводились астрономические. Рассказывал, какой хороший у них был клуб, и как они организовали духовой оркестр своими силами и на свои деньги, и как бородатые дядьки приходили поиграть в домино, почитать свежую литературу.

— Расстрелял Гитлер нашу Украину…

И затем, с уверенностью:

— Ну, шесть, семь лет — и оживет Украина.

***14 марта***

Сильный мороз, жгучий ветер. Оконные рамы, одинарные, заросли седым инеем, клубами валит холод. Вот тебе и весна!

Служебная неприятность. Ко дню 8 Марта я написал очерк о героинях связистках и напутал: экспедитора Сушкову (маленькая и миленькая девушка) изобразил как радиотелеграфиста. Пря-

мой моей вины нет — мне отрекомендовали ее именно как радиотелеграфиста, в действительности же оказалось другое. Начальник связи и комиссар части послали заявление в политотдел Лисицыну и опровержение в редакцию.

Пришлось мне писать рапорт редактору с объяснением произошедшего. Сейчас очень щепетильно относятся к точности информации, помещаемой в армейских газетах, — был соответствующий приказ свыше.

Письмо от Верцмана. Работает в политуправлении какой-то армии, очевидно, переводчиком, одновременно в немецкой газете. Пишет, что изнемогает от работы. Приходится даже самому набирать газету. Живет под беспрерывной бомбежкой. Лещинеровскую нашу эпоху называет «золотым веком», нынешнюю свою жизнь — «железным веком». Подчеркивает, что зачислил меня в число своих друзей. Милый, смешной Верцман! Приятно было получить весть от него.

Наша армия вдалась длинным узким клином в расположение противника. Временами и справа, и слева слышна далекая канонада. Еле слышные перекаты, огненные искры, повисающие в ночном небе, — работает «катюша».

Скорей бы выбраться из этих гиблых весною мест! Скорей бы пала Старая Русса. Кажется, на днях двинемся дальше.

***18 марта***

Получил за свою оплошность выговор в приказе по редакции. Первый случай в моей газетной практике. Армия!

Письмо от Берты. Страстная любовь, тоска по мне, желание во что бы то ни стало приехать сюда, жить и работать со мной. Даже нарочно стала учиться печатать на машинке.

Вчера, будучи вызван в Князево, говорил с Ведерником относительно приезда Берты. Предложение мое было принято очень охотно — редакции нужна вторая машинистка. Тут же вручили мне соответствующее удостоверение для Берты.

Однако пока не послал. Очень колеблюсь, стоит ли ей выезжать. Трудности и тяготы фронтовой жизни, бомбежки, новый и ненужный источник моего беспокойства, наконец, отношение коллектива.

Меня и так, неизвестно почему, недолюбливают, а тут и вовсе волком смотреть будут. Все-таки отношение к женщине на фронте специфическое.

Говорил по этому поводу с Гроссманом. Мы с ним подружились. Опытный человек — несколько лет службы в армии, Прибалтика, Финский фронт. Категорически возражает против такого шага. Меня и самого что-то сосет — не делать этого. А предчувствиям я верю. Пожалуй, воздержусь. Пусть скучает и томится, бедняжка, зато спокойнее и для нее, и для меня.

Продолжаем топтаться на месте. Наша армия врезалась узким клином между старорусской и демянской группировками противника и пытается двигаться не на запад, а на юг. Пожалуй, потом свернем и на восток. Ситуация со стратегической точки зрения оригинальная. Теоретически не исключена возможность, что мы можем очутиться в «мешке».

Весной, если армия не выберется из здешних болотистых мест, могут быть большие неприятности для нас. Хорошо, что пока морозы, днем лишь чуть-чуть оттаивает.

Ударная армия — армия, предназначенная для наступления, — и такая бедная техника! Добиваемся кое-каких успехов лишь кровью, мясом. Незачем сейчас приезжать Берте.

Познакомили нас с секретным приказом,

подписанным Колесниковым и Лисицыным. Говорится о пораженческих настроениях, имеющих место в армии, о мордобое и самосудах, о пьянстве. Тех командиров, которые самочинно расстреливали и рукоприкладствовали, отдают под суд. Интересно, передадут ли суду того начальника штаба, который дал мне наган?

***20 марта***

Вчера получил сразу четыре письма: два от Берты, одно — от папы, одно — от Ади. Радостная новость. Адя на свободе, в Архангельске, работает по-прежнему военным врачом. Полностью реабилитирован. Настрадался, бедняга! Я предвидел, что так и будет.

Берта усиленно работает на машинке. Живет мечтой быть со мной на фронте. Жалко ее разочаровывать, а ничего не поделаешь. Окончательно решил не вызывать. Чувствуется, что для нее мои письма, одно мое ласковое слово — все.

Видимо, все-таки Ведерника снимут.

Вчера вечером к нам явились люди из политуправления фронта; полковой комиссар, батальонный и старший политрук. Вызвали всех сотрудников из Князева. Исповедовали каждого. Тут же был и Ведерник. Интересовались работой

газеты, мерами, какие принимаются к ее улучшению, нашим мнением о газете и пр. Я высказался откровенно. Это уже вторая комиссия.

Гроссмана срочно вызвала редакция. Едет в Валдай. Мне грустно с ним расставаться. Единственно яркий человек среди окружающей серятины и посредственности. Умный, злой на язык, культурный, нервный, остроумный. Высокий, красивый, с черными усиками, слегка грассирующий, он ничем не напоминает еврея.

С утра массированный налет немецкой авиации, над лесом дымки разрывов, мгла. Нервно бьют зенитки. Не то двенадцать, не то двадцать самолетов. Это немцы мстят нашим зенитчикам, сбившим за последние два дня восемь Ю-52 и «мессершмитов».

На всех фронтах затухание. Стабилизация. «Ничего существенного не произошло». Что-то даст нам весна? В отношении нашего участка не предвижу ничего хорошего.

Максимов получил сообщение, что у него умерла жена. Они недавно поженились, и он, видимо, по-настоящему ее любил и уважал. Она жила в Ленинграде, недавно как-то сумела выбраться,

но уже поздно — силы у нее были подорваны голодовкой. Жаль Максимова…

Жива ли тетя Валя? От нее давно нет никаких известий.

Да, осрамилась 1-я Ударная. Не только не выручили ленинградцев, но и сами засели где-то в болотах.

Наши зенитчики и летчики часто сбивают Ю-52, поддерживающие связь с осажденной 16-й армией. Один такой «юнкерс» я видел. В лесу. Лежит на полянке, прямо на брюхе, трехмоторная гофрированная громадина. Внутри могут поместиться человек двадцать — двадцать пять.

Уцелевших летчиков и пассажиров держат в наших Малых Бобрах, допрашивают. Большинство сначала не желают отвечать, держатся вызывающе. На второй или третий день у них развязываются языки. Начинают говорить откровенно и обо всем. Такой откровенности предшествуют две-три хороших оплеухи или угроза расстрела. Ковалевский, которому удалось присутствовать на таком допросе, ходил потом совсем расстроенный. «Страшная ночь!» Я не так чувствителен и мягкосердечен, как он. Дряблые, гнилые душонки. Они привыкли наслаждаться мучениями других. Вся их спесь и наглое чван-

ство бесследно исчезают после хорошего удара по морде. В этом весь фашизм, вся его суть. Впрочем, по словам Ковалевского, «физические методы воздействия» не являются чем-то возведенным, как у немцев, в хладнокровную, садистскую систему. Делается это по-русски: сгоряча, в сердцах, с тайной, про себя, виноватостью.

Как-то я зашел в баню, где сидели под стражей шестеро пленных летчиков. Снаружи стоял часовой, второй находился внутри, вместе с немцами. Двое при моем появлении встали — нижние чины. Третий демонстративно остался сидеть, не вынимая из зубов трубки. Худой, неприятное треугольное лицо, синий комбинезон. (Я потом долго жалел, что не догадался заставить его встать.) На полу, на носилках лежал под одеялом тяжелораненый немец. Двое других раненых помещались на носилках, спиной к свету. Я задал несколько вопросов молоденькому пареньку, вставшему навытяжку. Он прилично говорил по-русски — по его словам, выучился у наших пленных.

— Камрад, — сказал раненый, лежавший на койке. — Лазарет… Шнель… Камрад… — Глаза у него были воспалены, казалось, он бредил. Теперь мы для него стали «камрадами».

На обратном пути сопровождавший меня в

качестве переводчика еврей-парикмахер беспокоился за судьбу раненого немца. Почему не оказывают ему медицинской помощи?

О, добрая, незлобливая еврейская душа!.. Лично меня вопрос о том, отправят или нет раненого гитлеровца в лазарет, интересовал меньше всего.

***21 марта***

С утра до поздней ночи гул и звенящий стон немецких самолетов, сопровождаемый непрерывным грохотом бомбежки. Дома трясутся, все дребезжит, хоть бомбят сравнительно далеко. Такого массированного налета еще не бывало. Когда самолет проносится совсем низко над деревней, начинают скрипеть наши зенитные пулеметы.

Настроение тревожное, подавленное. Политотдел не работает, упаковывает бумаги. Слухи о готовящемся наступлении немцев. Эта яростная бомбежка, очевидно, является прелюдией к чему-то серьезному.

И, как обычно, именно тогда, когда она нужна, наша истребительная авиация отсутствует.

Под этот непрерывный грохот идет допрос пленных немецких летчиков, на котором я присутствую. Их человек десять — с двух сбитых Ю-52. Интересно, что один из самолетов был сбит выстрелами из винтовок.

Передо мной прошли трое пленных — майор, лейтенант и унтер-офицер. Странно и жутко видеть перед собой так близко своих врагов. Существа с другой планеты. У них и мозги устроены не так, как у нас. Целый день я провел на допросе вместе с работниками политотдела — переводчиками.

Майор — молодой, лет тридцати пяти, летчик-наблюдатель. Худое, острое, загорелое лицо, характерная прическа «бокс», светлые стеклянные глаза. Стремительный взгляд, одет в теплое, серое пальто с меховым воротником, валенки, полученные им уже в плену, взамен сапог, сгоревших при посадке. Шапка тоже сгорела — повязывает голову теплым шарфом. Держится непринужденно. Внешне очень словоохотлив, улыбается. Но эта словоохотливость обманчива. На скользкие вопросы отвечает незнанием либо дает выгодные для германской армии ответы. Врет, но временами проговаривается. Когда ему сказали, что не верят ответам, — заметно покраснел.

В общем, сволочь.

Лейтенант — молоденький темноглазый мальчик в коричневом теплом комбинезоне с карманами на коленях и бесчисленными застеж-

ками-молниями. Голова тоже повязана шарфом. Рука забинтована, левая нога без сапога, в теплом чулке — прихрамывает. У него усталое лицо и удивительная улыбка. Доверчивая, покорная, какая-то детская, она в то же время говорит: «ну что же, делайте со мной что хотите, я в вашей власти, я готов ко всему». А вместе с тем таится что-то свое, упрямое. Он сказал, что удивлен, почему до сих пор его не расстреляли. Русские не только расстреливают пленных, но и отрезают у них конечности. По его словам, в момент пленения он хотел застрелиться, но пистолет дал осечку. Когда ему сказали, что могут его отпустить назад с тем, чтобы он рассказал товарищам всю правду о том, как с ним обращались в плену, мальчик удивленно ответил, что тогда ведь он должен рассказать и о вооружении, которое у нас видел.

Нафарширован геббельсовской демагогией. Россия готовилась напасть на Германию и расчленить ее. Германия защищается, главные виновники войны — Америка и Англия.

Честный, хороший, наверное, мальчик, вконец исковерканный гитлеровской пропагандой. На войне таких расстреливают.

Самый интересный экземпляр — унтер-офицер. Сухой, горбоносый, с длинным лицом, бывший

наборщик, берлинец. Серый комбинезон — спина порвана в клочья, — на голове русская ушанка. Начал с того, что он солдат, маленький человек и не имеет своего мнения (обычный трафарет). Однако оказалось, что парень может думать и думает. У него есть здравый смысл, способность логически рассуждать, какие-то проблески критической мысли. Мои политотдельцы вцепились в него. О чем только они с ним не беседовали! И о расовой теории, и об антисемитизме, и о литературе, и о перспективах войны, и о духовной силе русского народа…

Или я ничего не понимаю в людях, или эта беседа несомненно произвела на парня сильное впечатление, заставила задуматься. Прощаясь с нами, он держался совсем иначе, нежели в первые минуты.

Этот может стать нашим.

Общее впечатление от всех трех, от их показаний. Немцы не потеряли надежду нас победить. Неудача под Москвой — это результат зимы. Отход вызван тактическими и стратегическими соображениями. Да, Гитлер недооценил силу России, но теперь этот промах учтен и уже исправляется. Продовольственное положение Германии приличное. Немцы не будут голодать.

Да, народ утомлен войной, но верит своему правительству. Наши данные о потерях германской армии сильно преувеличены.

Демянская группировка вполне обеспечена продовольствием. Даже созданы запасы.

Если это даже не очковтирательство, то все же нужно помнить, кто так говорит: представители привилегированной касты, не испытавшие на себе тяжесть войны, — летчики-транспортники. Они не связаны с солдатской массой.

А все-таки не переоцениваем ли мы свои успехи?

***22 марта***

Третий день с самого утра неистовая бомбежка. Над лесом десятки самолетов, стелется дым, небо гудит. Грохот взрывов похож на стрельбу автоматических пушек — непрерывный. Наши Малые Горбы немцы пока не трогают, но где гарантия, что и на нас не посыплются бомбы? Красноармейцы жмутся к стенам, выглядывают из-за углов. Политотдельцы забрались в блиндаж, вырытый на огороде.

Немцы взбесились. Окруженная 6-я армия рвется на соединение со старорусской группировкой. Тогда мы будем в окружении. Бои идут в шести километрах отсюда. Бабье, Хорошево,

Трохово, Ширяево, Бородино, Соколово — все эти памятные для меня места снова в руках немцев. Я собрал и упаковал свои вещи, мои товарищи тоже. Наши хозяйки собрали барахло в огромные мешки и, чуть стало светать, пошли закапывать. По улице проходят «вольные», неся на спине узлы и чемоданы. Знакомая картина — до боли знакомая! Немец наступает. Неужели здесь опять будут эти, со стеклянными глазами, с голыми затылками? Совестно смотреть в глаза нашим веселым, радушным, услужливым женщинам. Чувствуешь себя невольным предателем.

Сегодня ночью постучался в дверь раненный в руку боец:

— Разрешите побыть до утра. Полтора месяца у костра, не видел хаты.

Все спали. Конечно, я разрешил. Он уселся у лежанки, попросил у хозяйки воды.

— Что делает!.. Все смешал с грязью… Отступаем…

Редактор нервничает. Запросили Лисицына, какое положение. Ответ: сидеть по-прежнему на месте. Меры приняты.

Это спокойствие действует ободряюще. Утром мимо окон промчался грузовик с какой-то огромной, прикрытой брезентом наклонной плоско-

стью. «Раиса». Спустя несколько минут вторая, потом третья. Насчитал семь машин. Отрадно!

Неужели все-таки придется отступать? Обидно, больно… Нужно отдать им справедливость, они выбрали удачный момент для контрнаступления. Наше наступление выдохлось, дивизии и бригады измотаны, обескровлены, понесли огромные потери, боеприпасов не хватает.

Все вьются, проклятые. Голубой воздух гудит, гудит…

— Как саранча, — говорят бойцы и командиры, выглядывая из-под навесов.

— Эх, десятка бы два наших «ястребков»! Они дали бы жизни.

Нет наших «ястребков».

Когда немецкие самолеты приближаются к деревне, в поле, точно маленькие вулканы, начинают огнем и дымом бить вверх зенитки, скрипуче трещат пулеметы. Кое-как отгоняют.

Один «стервятник» совсем низко пронесся над крышами и прострочил деревню из пулемета. Сидя в комнате, я отчетливо слышал визг пуль за окном.

Это подлое чувство беспомощности и покорной обреченности… Как оно знакомо!

Иллюстрация к тому, как у нас хранят военную тайну. О том, что в Малых Горбах были «раисы», знают все здешние мальчишки. Спрашиваем сынишку одной из наших хозяек:

— Кто тебе сказал?

— Боец. Он при «катюше», сам говорил.

***24 марта***

Прощай, наше уютное житье в Малых Горбах! Второй день с Белкиным живем в лесу, в блиндажах. Сюда, километра за три от Малых Горбов, перебрался политотдел, весь 1-й эшелон и мы, корреспонденты. Немцы выгнали нас на холод, в лес. Пятый день не прекращается бомбежка. От зари и до зари, с перерывом на час-два (немецкие летчики в это время обедают) в воздухе беспрерывный гул, звон, вой, визг, сопровождаемый грохотом взрывов. Этот дьявольский джаз-банд вызывает скуку. Не страх, а именно скуку. Надоедает монотонность этой дикой разрушительной какофонии, скучно делается. Мне лично под бомбежку хорошо спится. Это не фраза.

22-го под вечер метрах в двухстах от нашего дома упала крупная бомба. Снежное поле черно от земли. У нас вылетела рама со стеклами. Хозяйки тут же заделали окно фанерой. Вдали, в соседних деревнях разгораются три ярких огонька — по-

жары. В Малых Горбах повылетали все стекла. Очередь доходила и до нашей деревеньки — нужно было выбираться отсюда. Ночь мы провели на старом месте, а утром простились с нашими гостеприимными хозяйками.

— Совсем уходите? — спрашивали они нас с тревогой и тоской.

Наш уход означал для них вообще уход своих, Красной армии.

— Только и пожили спокойно месяц, — горько говорили бедные женщины.

Мы простились с ними. Уцелеет ли этот дом? Что ждет людей, с которыми мы успели подружиться?.. Шура, сестра хозяйки, веселая, разбитная женщина лет тридцати, с нехваткой зубов во рту, в свое время работавшая в столовой, переживала особенно сильно. Не вынося бомбежки, весь день она провела в соседней деревеньке у знакомых. Вечером, когда стало тихо, вернулась молчаливая, на себя непохожая. Села, уставилась в одну точку. Ночью я слышал ее всхлипывания. Под утро за ней явился красноармеец из АХО. Оказалось, уезжавшие аховцы брали ее с собой.

— Нет, нет, не останусь, — говорила она, прощаясь, — я одна, ребят нет, лучше погибну со своими, а не с немцами. Не останусь.

Она целовала своих.

— Я вернусь, я вернусь, — повторяла она истерически. Сестра ее, держа на руках ребенка, сидела и молча плакала, не вытирая слез.

Господи, сколько вокруг горя!

Ведерник велел нам с Белкиным остаться пока при политотделе и держать связь с редакцией по телефону. Двое других сотрудников отправлены в 254-ю дивизию. Сейчас там жарко.

Раннее хмурое утро. Тянутся военные обозы, едут машины, бредут бойцы — и все в одном направлении, с фронта. Отходим. Пришел связист, снял телефон и унес с собой. Скверно и горько на душе.

Переехав в лес, политотдел разместился в большом блиндаже. Перекрытия крепкие, в четыре наката. Электричество. Выкрашенная белой краской дверь. Но у самого порога глубокая лужа, куда непременно попадает, промачивая валенки, всякий вновь вошедший. С бревенчатого потолка непрерывно капает. Под нарами накопилась родниковая вода. Ее черпают прямо кружкой, пьют и похваливают. Квартира с удобствами — электричество и водопровод…

Народу здесь столько, что не протолкнуться. Однако вскоре застучали две машинки, люди раз-

ложили на коленях папки, бумаги. Политотдел начал работать как обычно.

Люди предусмотрительные, мы с Белкиным запаслись хлебом, топленым маслом и флягой приличного портвейна. Уселись под соснами на санях, устланных сеном, и пообедали.

Вечером с одним из переводчиков решили вернуться в Малые Горбы, чтобы поужинать по-настоящему и, если удастся, переночевать на старой квартире. Были сведения, что столовая еще не эвакуировалась.

По дорогам можно двигаться только в темноте. Днем движение почти замирает. Германская авиация делает свое дело. Мы с трудом брели по дороге, размолотой обозами. Снег, сыпучий, как песок, глубокие ухабы. Пока доплелись до деревни, стали совершенно мокрыми и выбились из сил. Навстречу ползли, застревая в рытвинах, груженые возы, машины, группами и в одиночку, шагали темные угрюмые фигуры. Отход продолжался. Посреди дороги остановились сани. Понуро стоит лошадь, на возу полулежит человек, не шевелится. Живой ли, мертвый? На земле валяется другая лошадь, иногда взбрыкивает ногами. Еще жива. Я хотел было ее пристрелить. Канонада совсем близко. Фиолетовые зарницы

освещают дорогу. Впереди, за черными силуэтами мертвых изб багровеет большое зарево.

Столовая Военторга застряла в ожидании машин. Подавальщицы укладывали посуду в корзины с соломой. С трудом удалось нам уговорить заведующего накормить нас. Получили чай, сахар, хлеб, много сливочного масла.

Подкрепившись и отдохнув, двинулись обратно. Ночевать здесь нам в политотделе отсоветовали: могут прорваться лыжники-финны. Да, перспектива не из приятных.

Ах, эта обреченная тишина, эта черная пустынная деревня, эта ночь отхода…

Но нет, не все потеряно. Я замечаю иной поток движения — в обратную сторону, на фронт. Движутся прикрепленные к тракторам и грузовикам тяжелые орудия, подразделения пехоты, лыжники. Проехали два пушечных броневика.

Мелочь, крохи, но все-таки какое-то подкрепление истекающему кровью фронту.

Когда мы приближаемся к темнеющему лесу, снова вспышки света, характерный удар, свист проносящейся над нами мины и справа — треск разрыва.

Немцы обстреливают лес, где расположился 1-й эшелон.

Весь день над верхушками сосен кружат и кружат самолеты. Теперь они занялись нашим лесом. То и дело отрывистое «т-рр, т-рр». Прочесывают пулеметами по три, четыре, по десятку «юнкерсов». «Он» сконцентрировал на нашем участке сотни самолетов. Я никогда не видел такой интенсивной, настойчивой бомбежки. Если бы у нас была авиация! Говорят, что появились и наши «ястребки», но это, если и правда, капля в море. Впрочем, эффект от этой дьявольской бомбежки главным образом психологический. Гораздо хуже, что движение по коммуникациям днем почти парализовано.

То и дело над головой вой сирен. Новая немецкая выдумка — самолеты с сиренами. Пугают, но нам не страшно.

Бои на переднем крае с переменным успехом. Общий вывод: мы оказываем упорное сопротивление, но немцы медленно упорно нас теснят.

Сегодня первый по-настоящему мартовский день — оттепель, туманное небо. Весна. Дорого она нам будет стоить.

Из блиндажа политотдела мы, в том числе Ковалевский, перебрались в другой. Там были связисты. Ни двери, ни печурки, груды бутылок в углах. Грохот бомб все ближе, с бревенчатого

потолка сыплется песок, наша землянка выдерживает.

— Неуютная жизнь, — тихо и задумчиво говорит Ковалевский, сидя в углу.

Никто не обращает особенного внимания на свистопляску в воздухе. Снуют по талым тропинкам между сосен, каждый занят своим делом. Разве станут на минуту под деревом, когда гул над самой головой. Однако многие политотдельцы чувствуют себя неспокойно.

Деталь. Под елями в ямках, вырытых в снегу, лежат двое бойцов. Один громко:

— Так или иначе, не жить нам на этой даче.

Действительно, не жить.

Под вечер мы находим роскошный блиндаж, хозяева которого собираются его покинуть, — теплый, высокий, с электричеством, с огромной печью, сделанной из немецкой печки. В полном восторге мы собираемся занять новую жилплощадь, и в этот момент приходит приказ: немедленно грузиться по машинам.

В несколько минут мы на машине. Уже смеркается. Нужно признаться, мы покидаем этот сосновый бор, гремящий взрывами, без особого сожаления.

Несколько раз издали доносится длинная гро-

мовая гамма. Могучие перекаты. У всех светлеют лица.

— «Катюша» заиграла!

Несколько секунд тишины, напряженного ожидания, и вот снова повторяется та же раскатистая мажорная гамма, лишь заглушенная более отдаленным расстоянием. Первый раз залп, второй — результаты его.

Но удачны ли эти залпы? Мне вспоминаются дни, проведенные в 129-й дивизии.

…Мы отъезжаем на несколько километров назад и ночью останавливаемся в какой-то деревушке. Я, по обыкновению, залезаю на горячую печь, на какой-то подозрительный тюфяк. Возможность обзавестись вшами не пугает меня. Да, кажется, они уже завелись. Ах, баню бы! Между прочим, здешние крестьяне вместо «баня» говорят «байна». Здешний говор на «о». Выражения: «горазд», «ой, тошнехонько», «ушодцы», «пришодцы» (вместо «ушел», «пришел»).

Где редакция — не знаем. Очевидно, тоже покинула Князево. Связь с нею пока потеряна. Начинается нечто, хоть отдаленно, но напоминающее октябрьские дни, наш драп из-под Вязьмы.

Вот оно, пресловутое весеннее наступление немцев!

Ночью, под утро, я час дневалю. Густой туман, движутся, вспыхивая, на минуту фарами машины. Иногда грохот, воющий свист мины — впечатление такое, что близко. У самого крыльца, слегка огороженная, лежит неразорвавшаяся мина.

Старуха во время бомбежки сидит в избе.

— Вот, птицы небесные летают! Их не надо ругать. Кому суждено, убьет, кому не суждено — не убьет.

Рассказывает о сыне, погибшем прошлым летом. Служил в армии, «в теплых краях», города она не помнит. Пришел домой. Выпив, лег на печку, заснул. Зажигательная бомба упала на крышу, на печку, убила его и сожгла дом.

— Одни косточки остались… Собрала… Головушку кирпичом придавило — осталась головушка с волосиками. Значит, так суждено ему, дома помер.

Когда писал, снаружи крик:

— Падает, падает!

На крыльце тесно столпились политотдельцы, лица радостные. Из-за кромки леса тающий хвост черного дыма. Только что наши зенитки сбили бомбардировщик. При падении взорвался на

своих минах.

Вскоре выяснилось: зенитчики сбили наш, советский самолет, погибло четыре человека. А немцы, несмотря на туман, нагло вертятся над головой, и им хоть бы что!.. Впечатление от этого случая убийственное.

Вторую ночь приходится дежурить по полтора часа. Деревни, где я недавно бывал, уже оставлены нашими. В Малых Горбах немцы. Фронт катится за нами.

Ночь. Внезапно разбуженные начальником, мы торопливо уложили на машину вещи, затем вернулись в избу и сидели одетые, в полушубках и шинелях. Ждем. Чего? Неизвестно. Тускло светит висящая на крюке лампа под щитком. Полумрак. Многие спят прямо на полу, другие дремлют, сидя на стульях, скамьях. За окном перекаты орудийных выстрелов. Завывает и свистит ветер, отвечая настроению.

Эта обстановка почти нарочита. Точно театральная постановка.

***26 марта***

За восемь месяцев фронтов я достаточно обогащен как писатель. Я сыт войной. Я не имею ничего

против того, чтобы сидеть где-нибудь в Ташкенте и спокойно, по-человечески заниматься своим основным делом — писать очерки, повесть, пьесу о виденном и пережитом. Но сейчас моя судьба связана с судьбой армии. Я в колесах чудовищной военной машины. Вырвусь ли? И когда?

Для меня ясно одно: война будет затяжной, суровой, выматывающей. Может быть, придется пережить еще одну фронтовую зиму. С нашими порядками, с нашей системой и отсутствием нужной техники не так-то легко победить немцев. Еще не научились мы воевать как нужно. Впереди тяжелые испытания, горькие минуты, кровавые жертвы. Что ж, будем терпеть и продолжать непосильную борьбу. Это единственное, что нам остается.

***28 марта***

Сегодня первый день отдыха. Нет ни рева моторов над головой, ни грохота взрывов. Мы в новой деревушке, километра два от предыдущей. Вечером двинемся дальше. Связь с редакцией потеряна. Как будто она километрах в тридцати отсюда. Идти мне туда? Есть приказ Ведерника оставаться при 1-м эшелоне. Кроме того, политотдел еще не нашел для себя прочной базы. Белкин нервничает.

Вьюга, косой снег, но тепло. Со страхом думаю, как я буду в валенках. Сапоги мои далеко — в редакции. Все время сушу промокшие валенки.

Встретил вернувшегося сюда Плескачевского. Опять все трое вместе организовали корреспондентский пункт. Встретили и нашу Шуру. Говорит, что Малых Горбов больше не существует: «катюша» дала по ним залп. О судьбе своих очень спокойно говорит, что, наверное, погибли. Если они даже и переселились в землянку, то оттуда их выгнали немцы — под огонь «катюши». Дом тоже уничтожен.

Громовые раскаты «катюши» слышны то и дело. Только здесь, в деревне, не менее четырех машин.

Приехал командующий фронтом Курочкин[21]. Общее положение: контрнаступление немцев выдыхается. Ценой больших потерь они добились незначительных, в сущности, успехов. «Катюши» держат на себе весь участок фронта. Не пехота, — пехоты почти не осталось. Мне рассказывали случай, когда 90 человек держат оборону на протяжении двух-трех километров. Наши дерутся героически, но нет людей. У немцев авиация, у нас «раисы».

Впрочем, сейчас враг перебросил авиацию на

другой, более угрожаемый для него участок фронта. Как будто мы готовим удар с другой стороны. Есть надежда, что положение восстановится, и, может быть, в более выгодную для нас сторону.

Тишина, отдых. Нет ни гула орудий, напоминающего морской прибой, ни бомбежки. Небо пусто и свободно, лишь иногда пронесется в нем наш «ястребок» с красными звездами.

Как легко, благостно дышится!

Сегодня были у эрэсовцев — я и Плескачевский, — беседовали. На улице проезжали «катюши», становились к сараям. Временами слышался могучий грохот и спустя минуту повторялся отдаленным и ослабленным эхом. Все прислушивались с облегчением, радостным вниманием.

— Заиграла «катерина»! Дает жизни!

***29 марта***

Наконец-то связались с редакцией, совершенно случайно. В доме, где мы квартируем, вчера вечером разместился филиал полевой почты. Оттуда посылали человека за корреспонденцией в то место, где находится сейчас редакция. Отправили кучу материалов. Под утро гонец вернулся с запиской от Ведерника. Записка очень теплая, начальство нами довольно.

На передовой линии наметился сдвиг к лучше-

му. Некоторые деревни снова захвачены нашими. Политотдел пока не собирается переезжать — это симптоматично. Сегодня летная погода, в небе просинь — и снова слышен вверху отвратительный вой. Но все это далеко не в таких размерах, как недавно. Говорят, что наша авиация по ночам бомбит немецкие аэродромы, и весьма успешно. В открытый воздушный бой наши не вступают. Особенно активно работают «уточки» — безобидные У-2, «короли ночи», как их называют. Чуть темнеет — летит такая тихоходная трещотка, нагруженная бомбами, в немецкий тыл и начинает бомбить. Применяют снаряды от «раисы». В сводках эти допотопные фанерные машины звучно именуются легкой бомбардировочной авиацией.

Неважные у нас дела, если приходится прибегать к помощи таких самолетов.

Шура — веселая, розовая, чувствует себя в АХО как дома. Больше заботится о судьбе одеяла одного из зенитчиков (явно к нему неравнодушна), чем о своей сестре и знакомых. Мало того:

— Хорошо, если Мария погибла. И ребятишки.

— ???

— А куда она с ребятами пойдет?

Это говорится совершенно спокойно. От такого спокойствия мороз по коже.

Плескачевский сегодня ночью, лежа со мной на голых досках кровати, рассказал, как он расстрелял пятерых пленных немцев. Сначала трех, потом двух. Встретил их в январе на дороге — вышли из лесу с поднятыми руками. Плескачевский повел их. Дошли до одной деревни — военных, которым можно было сдать немцев, там не оказалось. В соседнем поселке та же картина. Куда вести?

Да и надоело водить. Кроме того, опасно: ночью, во время сна, немцы могли прикончить своего конвоира. Плескачевский (он шел сзади) выстрелил в затылок ближайшему, потом в двух остальных. Один был ранен. Его он пристрелил.

Такой же участи подверглись и два других пленных, которых Плескачевский захватил немного позже. Один из них был поляк.

— Мне его было жалко, но оставить в живых я не мог. Рассказал бы…

Неприятный был этот ночной рассказ.

Мы призываем в своих листовках немецких солдат сдаваться в плен. Я сам на днях написал для политотдела такую листовку. А работники 7-го отдела жаловались мне, что расстрелы пленных продолжаются, несмотря на приказ Сталина.

— Срывают нам всю работу. Понятно, немцы боятся сдаваться в плен и дерутся до последней капли крови.

***30 марта***

28-го вечером политотдел неожиданно погрузился на машины и двинулся дальше километров за сорок, к югу. Что происходит — никто толком не знает. Ходят слухи о каких-то готовящихся нами ударах, о резкой перегруппировке сил. Для меня — писателя, присланного сюда ПУРом, — места на машине не оказалось. Добирайся как знаешь. Плескачевский был глубоко этим возмущен. Я не стал скандалить и решил ехать в противоположную сторону, в редакцию, которая находилась сейчас тоже за сорок километров. Кстати, подвернулась машина, которая туда направлялась, — везла листовки для немецких солдат. В полученных здесь «Известиях» я нашел свой очерк о Кагирове. Эта приятная новость скрасила для меня неприятные переживания. Два месяца не печатали в «Известиях» моих корреспонденций. Ехал я для того, чтобы наладить непосредственную связь с оторвавшейся редакцией, доставить материал, а заодно узнать судьбу своих вещей.

Ночь лунная, светлая, мороз — не менее трид-

цати градусов. Мы ехали часов пять, я сидел на ветру и прозяб как никогда, кажется. Когда только кончится эта проклятая зима! Сожженные деревушки, от которых остались лишь обгорелые деревья, остатки изгородей да пара-другая мертвых, полуразрушенных домишек. Наскучил мне этот мрачный пейзаж. Неужели где-то есть другая жизнь?

Редакцию я нашел где-то за фанерным заводом, в большом хвойном лесу, в «немецком городке». Немцы выстроили здесь десятки бараков и хибарок из необструганных сосновых бревен, все это наполовину врыто в землю и внутри обшито фанерой. Здесь расположился 2-й эшелон.

Редакция и типография занимали большой барак, отделанный внутри с претензией на изящество. Стены отделаны переплетенными в шахматном порядке полосками фанеры, внизу панель, дощатый пол. Зато холод собачий, несмотря на две сложенные из кирпичей печурки, на которых варилась пища в котелках и сушились валенки. У касс стояли наборщики, стрекотала редакционная машинка, за длинным столом трудились сотрудники, многие спали — кто на нарах, кто на полу. Горело электричество.

Ведерник встретил меня расспросами о поло-

жении. Ничего не знал, совершенно оторванный от 1-го эшелона, тревожился, нервничал. Что говорят о газете в политотделе? Какая обстановка? Чувствуется, у человека земля горит под ногами, и он это понимает. Думаю, что, когда все более или менее войдет в колею, моему начальству не поздоровится. Припомнят ему бездейственность его, растерянность, то, что в самое горячее время газета не выходила. Что ж, скатертью дорога!

На другой день приехавшая кинопередвижка угостила нас фильмом «Дело Артамоновых». Каким далеким, мелким и убогим было то, что проходило перед нашими глазами! Импровизированный киноэкран находился тут же, в нашем помещении. Культработа! Организовали бы лучше баню для нас. Снова я обнаружил на себе вшей. Да и как может быть иначе? Спишь, совершенно не раздеваясь, ночуешь черт знает как и где. На полу, на крестьянских печках, на грязном тряпье, бок о бок с такими же грязными людьми. Скоро я буду чесаться, как фриц.

Сегодня вечером укладываемся и уезжаем. Очевидно, поближе к 1-му эшелону. Мечтаю о том, чтобы снова вырваться из редакции на наш корреспондентский пункт.

## Апрель

***1 апреля***

30 марта погрузились и тронулись в дорогу. Едем на юг, ближе к 1-му эшелону, от Старой Руссы к Холму. Километров восемьдесят пути. Ехали всю ночь. Луна, мороз. То и дело пробки — стоим, ждем. В темноте крики, неистовый мат, треск моторов. Ведерник бежит вперед, сам помогает растаскивать машины, ликвидировать пробки. Специальность регулировщика ему более подходит, нежели редакторство. Не по тому пути пошел человек. К утру мы сделали половину пути. День проводим в лесу под открытым небом, на морозе. Небо полно гуда, надоевший отдаленный грохот. По десять, по двадцать самолетов то и дело проходят над нами. Большей частью транспортные — в Демянск, в осажденную 16-ю армию.

В разных углах леса хлопают ружейные выстрелы, стрекочут пулеметы. Контрастно! Часа полтора кружились над нами бомбардировщики, бомбили, прочесывали лес пулеметным огнем. Пришлось мне полежать под нашим грузовиком. Потом на целый день нас оставили в покое. Спасибо и на этом!

Ведерник со своей неофициальной женой,

пожилой машинисткой (несимпатичная женщина), как забрались в щель, так и просидели там весь день, не вылезая. Храбростью этот огромный мужчина с тремя «шпалами» не блещет.

Погрыз ржаных сухарей. Ведерник потом пригласил меня и художника Сайчука пообедать. Сидя на соломе около щели, среди сосен, мы выпили водки, съели немного грудинки, мясных консервов, хлеба с маслом. Это походило на пикник. Вверху проносилась стая немецких самолетов. В это время наши зенитки сбили бомбардировщик. Какой радостный крик раздался в лесу!

Охваченный пламенем, «юнкерс» еще некоторое время продолжал лететь, потом круто пошел книзу. Еще в воздухе он рассыпался на горящие обломки, они падали, дымились. Пылающее крыло опускалось кружась, как осенний лист.

Под вечер, когда выплыла розовая луна, мы покинули нашу стоянку и двинулись дальше. Остальные машины с походной типографией застряли где-то по дороге, в лесу.

Чем мерзнуть целый день на холоде, разумнее было бы остановиться нам в деревне и провести день в тепле. Но, по мнению осторожного нашего редактора, в лесу было безопаснее. Между

прочим, немцы как раз главным образом бомбят леса и дороги.

Глухой ночью, приехав в деревушку, я с удивлением увидел тут оставленных мною Белкина и заместителя редактора Лысова. Зашли в избу, около которой приткнулась наша машина. При свете коптилки на полу я увидел Плескачевского и двух недавно прикомандированных к газете писателей-латышей. Корреспондентский пункт. В чем дело? Что произошло?

До места назначения нужно было еще ехать и доехать.

Оказывается, мы неожиданно попали в наш 1-й эшелон, который изменил свой маршрут. Что ж, тем приятнее сюрприз. Какое наслаждение после более чем суточного пребывания на холоде очутиться в тепле!

Мы грузим часть поклажи на снег и пешком отправляемся в ближайшую деревню, где уже разместилась редакция, — километра за три.

Деревня целехонькая — странно, дико видеть. Даже петухи поют. Она в стороне от больших дорог.

Чистая теплая квартира, радушная хозяйка с тремя ребятишками, отдых, уют. Да будет благословенна судьба, посылающая иногда и свои

милости: у хозяйки лошадь, корова, козы, куры. Жизнь еще сохранилась, оказывается.

Неужели и эту деревню постигнет участь Бабьего и Малых Горбов?

В последний вечер нашего пребывания в «немецком городке» я шепнул Люсе, что хочу с ней выпить. Мы только что получили вино, по кружке на брата. Девушка приняла это предложение с энтузиазмом. Мы встретились снаружи, в тени навеса. Черные сосны и ели, залитый луной зеленоватый снег, редкие тени. Мы пили вино из моей походной фляги и закусывали печеньем. Потом я обнял Люсю, стал целовать. Это не любовь, не страсть, это было просто желание отдохнуть от грубой и суровой монотонности войны. Она красотой не блистает, эта девушка из Загорска, но она своеобразна и мила, у нее египетские и рассеянные глаза, она очень музыкальна и все время напевает, ей двадцать лет.

Высвобождаясь из моих рук (без особого неудовольствия), она сказала, что, хотя я ей нравлюсь, но она просит меня этого больше не делать, целоваться не любит. Потом, указывая на группу черневших вблизи сосен, спросила:

— Видели, что там лежит на снегу?

— Что?

— Человеческая рука. Мы все видели. Как страшно!

***2 апреля***

Редакция растерялась. Где отставшие в пути наши четыре машины — неизвестно. На поиски посланы несколько партий литсотрудников. Здешняя школа, намеченная квартирьерами под типографию, захвачена прокурором армии. Мужчина серьезный, как и полагается прокурору, он попросту не захотел разговаривать с редактором, когда тот явился к нему объясняться. Есть проект поместить наборный цех в занимаемой нами квартире, а нас, сотрудников, всех вместе запихать в крошечную избу. Постараюсь перебраться на корпункт. И там не сахар, но хоть народ более симпатичный.

Получили сапоги, в том числе и я. Низ кожаный, голенища из кирзы. «Кирзац-сапоги». Вся наша кожа, вся обувь захвачена немцами во время отступления армии из-под Брянска, Калуги, Орла.

По приезде сюда я получил индивидуальную посылку. Все наши получили такие посылки. От челябинских рабочих. Хорошая колбаса, грудинка, сыр, печенье (все в небольших дозах), четвертинка водки, два куска мыла, флакончик духов, полотенце, два носовых платка, кисет,

катушка ниток.

Вечером в компании с писателями-латышами я отдал должное подарку. Спасибо челябинцам!

Баню нашей хозяйки, где мы собирались мыться, ночью заняли под жилье какие-то бойцы. Я не мог больше терпеть. Утром я попросил хозяйку согреть большой чугун воды, завесил вход в кухню, разделся догола и вымылся прямо в кухне. Переменил белье. Сейчас чувствую себя обновленным, свежим, хорошим.

Бои на Западном фронте, на Калининском, не говоря уже о нашем. Немцы начали свое пресловутое весеннее наступление.

Что происходит на нашем участке, мы не знаем, оторвавшись от жизни. (Знакомая картина: октябрьские дни.) Однако, судя по общему настроению, нет ничего угрожающего.

***7 апреля***

Попытка немцев прорваться к своим в Демянске кончилась провалом. Теперь это видно. Ценой больших потерь им удалось захватить десятка полтора деревень, и на этом наступление выдохлось. Правда, и нам это дорого обошлось. Потери огромные. Во 2-й гвардейской бригаде осталось шесть человек во главе с командиром Безверховым и полковым знаменем. Омская и Латвийская

дивизии потеряли почти всех людей.

Отдельные деревни переходят из рук в руки.

Газета печатается регулярно.

С Березниченко двинулись вечером километров за шесть-восемь в артиллерийскую часть. Приказ самого Лисицына: хорошо дрались, нужно отметить в печати. Днем тает, с крыш капель, дороги стали темно-рыжими. Вечером подмораживает — идти легче. Видели северное сияние. Длинная беловатая полоса протянулась по небу, и от нее — то в одном, то в другом месте встают вертикальные лучи, похожие на прожектора. Гаснут, вспыхивают снова.

— У нас в народе поверье: если северное сияние на небе, значит — война. Эти лучи напоминают мечи, — сказал сопровождавший нас латышский писатель Ю. Ванагс. Он хорошо говорит по-русски.

В 361-м артполку приняли нас прекрасно. Утром, едва сели завтракать, — за окном нарастающий визг бомбы, затем — «трах, трах, трах», оконные стекла вылетели. Все повскакали, даже я. За деревней, над замерзшей рекой, по которой проходила дорога, метрах в ста — ста пятидесяти клубился беловатый дым. Немец подкрался незаметно, мы даже гул мотора не слышали.

Весь день недалеко от нас шла бомбежка, дом дрожал. Командиры во главе с майором Поповым то и дело ныряли в щель, вырытую тут же, в хлеву. Я оставался сидеть в избе. Березниченко, очень нервничающий при каждом появлении немецкого самолета, потом, вернувшись в редакцию, рассказывал о моем бесстрашии и о том, что я удивил этим даже боевого командира полка.

К майору приехала погостить его молодая жена, машинистка Артуправления, живущая при 1-м эшелоне. Стройная, хорошенькая, с энергичным подбородком. Ей двадцать два года, ему сорок. Познакомились и поженились на фронте. Прежняя семейная жизнь у майора была нескладной: прожил с женой 20 лет, она не раз ему изменяла, и в последний раз, приехав с фронта, он застал у жены любовника. Майор не скрывал своей любви к новой жене, да и она, кажется, любит его по-настоящему. Березняченко рассказывал, как, сидя во время бомбежки в щели, он слышал в темноте поцелуи. Любовь на фронте. Трогательно и грустно. Тема для романа!

У майора орден Красного Знамени.

Водкой нас поили так, что мне стало нехорошо. Потом я лег спать — проспал весь вечер и ночь. На следующий день в легковой машине майора

— выкрашенная в белый цвет «эмка» — поехал на батарею. Березниченко был поражен моей «храбростью» — поехал днем, когда немцы бомбят чуть ли не каждую машину. Движение происходит только по ночам.

Батарея расположилась в редком осиновом лесу. Пушки на грузовиках, одинаково пригодные в качестве и противотанковой, и полевой, и зенитной артиллерии. Работают действительно хорошо, однако ничего зацепившего меня как писателя я здесь не нашел. О романтической истории майора я, конечно, не говорю.

Назад нас доставили (почти до самых наших Вязков) на той же «эмке». Давно я так не ездил!

Вернувшись, обнаружил у себя на воротнике гимнастерки вшей. Этого еще со мной не бывало. Осмотрев нижнюю сорочку, нашел еще с десяток. А ведь всего пять дней назад я вымылся и переменил белье.

Что ж можно сказать о моих товарищах, которые не знаю когда мылись и меняли белье?

Все стонут и вздыхают о бане, но никто практически не займется этим вопросом. При желании можно было бы организовать коллективное мытье.

Мы кричим о «вшивых фрицах», а сами?.. Ведь

мы, газетные работники, находимся в гораздо более привилегированном положении. А каково тем, кто живет в блиндажах, в лесных шалашах, в окопах? Они по два, по три месяца не мылись.

***8 апреля***

Я устал. Не столько от войны, сколько от серой, скучной работы, от той жизни, какую веду, от людей, которые меня окружают. Перспектив для себя я не вижу. Продвижение по работе, по службе? Весьма сомнительно.

Работая в этой газете, я никогда не выдвинусь. Единственная ставка — на корреспонденции в центральную печать. Последние дни все чаще приступы апатии, безразличия ко всему. Отношения с редактором более или менее прохладные. Я не подхалим и, видимо, не умею скрывать своего отношения к людям.

Одиночество. Скука. Фронт давно потерял для меня прелесть остроты и новизны. Больше ничем не удивишь — все видено и пережито. Правда, кроме ранения.

Мучительно завидую Ковалевскому. Он общается с другими людьми, он и сейчас работает как писатель. Завидую тем писателям, которые печатаются на страницах «Правды» и «Красной звезды», издают свои книги, живут полнокровной

жизнью. Что касается меня — снова положение литературного поденщика, рабочей клячи, чувство неудовлетворенности, тайной горечи.

Обещанную Дедюхиным вторую «шпалу» так до сего времени и не получил. А уж четвертый месяц пошел. Напомнить ему письмом, конечно, неудобно. Перебраться во фронтовую газету? Там перенаселение писателей.

Нужно что-то делать самому, как-то выдвигаться, что-то придумать.

***21 апреля***

Весна, весна! Наступила она дружно и сразу, снег стаял быстро и как-то незаметно. Ожидаемого наводнения не было. Но мосты на Ловати и других реках снесены. Армия голодает — нет подвоза. В частях выдают по 100, по 50 гр. сухарей. У нас в редакции настроение пониженное — народ голодный, хмурый. Делят сухарные крошки между всеми. Переходим на самозаготовки — берем у населения картошку и мясо, где за деньги, где так. Части только этим и живут. Последние дни стали нам подбрасывать продовольствие на У-2. Сбрасывают без парашютов — мы получаем сухари, превращенные в крошки, концентраты, смешанные с сахарным песком, мятые банки консервов. Сравниваешь ежедневные регуляр-

ные, по графику рейсы Ю-52 над нашей головой — и злость, и горечь на душе.

Ах, Расея!

Армия перешла к обороне. Узнал: был одно время проект реформировать 1-ю Ударную. Провалился!..

Сейчас бы наступать, отрезать немецкие клинья — и нет сил. Людей нет. Некому воевать. Так ли велики наши резервы, о которых мы кричим? В Латвийской дивизии новые пополнения состоят из уголовников, досрочно выпущенных из тюрем. На фронте можно встретить все возрасты, от 18 до 45 лет.

Сибиряки давно уже дерутся.

Семь дней пробыл в частях и отдохнул душой после редакции. Двинулись вчетвером — зам. редактора Лысов, маленький Чебулаев, фоторепортер Дмитриев (помесь чеховского телеграфиста Ятя со Смердяковым) и я. По дороге все рассосались, и остался один я.

Время разъездов на машине давным-давно миновало. Способ передвижения — на своих двоих.

Из нашего Векшина двинулись километров за двенадцать. Местами непролазная грязь, местами сухо. Хорошо еще, что дорога шоссейная — соединяет Холм и Старую Руссу. Лес уже весен-

ний, красное весеннее солнце дрожит в багровых озерцах и болотах. Жаворонки заливаются весь день как сумасшедшие. Хорошо!..

В Севрикове нашли 44-ю бригаду. Нас встретили приветливо, накормили. Однако ночью мы были внезапно разбужены: бригада спешно снималась, уходила с фронта. Куда? Почему? Неужели снова отступление?

Мне вспомнились заготовленные и заложенные чурбаками ящики для мин, которые я видел на шоссе. Тревожный признак.

Однако выяснилось, что 44-я перебрасывается в район деревни Борисово, где накапливаются немцы, а на смену придет 47-я бригада. Мы остались ночевать в опустевшей деревне, а рано утром по холодку, в рассуждении «чего бы покушать», отправились в соседнее Медведево, меньше чем за километр, в медсанроту. У медиков хорошо кормят, подсказывал старый фронтовой опыт.

Действительно, завтрак нам предложили роскошный: мясной суп с картошкой и макаронами, холодец, копченый лещ и компот, правда, без сахара.

Собрав здесь кое-какой материал, наша бригада потопала назад, в Севриково. Там уже были новые жители: приткнувшись к избам, замаски-

рованные соломой, стояли «катюши». Помощник начальника дивизиона капитан Кузьмин и военком Вакштейн, нарочно отпустившие себе усы (гвардейцы!), оказались славными ребятами. Кузьмин, в прошлом горный инженер, сибиряк, совсем смахивал на Чапаева. Оба очень гордились званием гвардейцев. Жили «катюшисты» незнатно. Ледоход и у них чувствовался. Нас угощали мучной похлебкой с клецками из ржаной муки и сухарями.

Зато вечером я получил большое удовольствие. Я добился согласия капитана присутствовать при залпе «катюши». Пришел приказ сделать огневой налет. Как все закипело, засуетилось! Буквально через несколько минут, с быстротой пожарной команды, мы уже мчались по шоссе на передовую линию. Я сидел в кабине рядом с шофером, снаружи, на подножке, держась за дверку, стоял Кузьмин — весь азарт и нетерпение. Наша шестиколесная машина неслась по ухабистому шоссе, мимо мелькали деревушки, у домов стояли, глядя на нас, бойцы, девчата, мальчишки — все знали, что едут «катюши». Закат был зловещий: красно-лиловое небо, косой огненный свет. На окраине последней деревни (километров шесть от Севрикова) обе машины остановились,

одна рядом с другой. Впереди находилось занятое немцами Соколово — то самое, где я когда-то ночевал у латышей. Теперь от него осталось пустое, выжженное место.

Номера проворно скинули брезентовые чехлы с машин. Я увидел странные, затейливо-простые, какие-то марсианские конструкции: восемь наклонно расположенных своеобразных рельсов, идущих снизу вверх. На конце каждой такой рельсы, вверху и внизу, находились длинные серые, похожие на рыб, снаряды с черным хвостовым оперением. Итого шестнадцать снарядов. Две машины — залп в 32 снаряда.

Один из бойцов установил в стороне трехногую буссоль, что-то вычислял, примерялся. Все отбежали метров на десять от машин. Отошел по совету капитана и я.

— Тридцать восемь — пятьдесят! — крикнул кто-то.

— Сейчас заиграет! Даст жару! — переговаривались бойцы, и лица у всех были оживленные, веселые, радостные, будто в предвкушении чего-то очень приятного.

— Готово! Внимание!.. По фашистам — огонь!..

Я закрыл уши. Но даже сквозь ладони меня оглушил длинный раскатистый рев. «Катюша»

заревела, загрохотала, заполыхала огнями. Струи белого пламени с чудовищной быстротой пронеслись перед глазами. Высоко в воздухе мелькали огненные снаряды. Казалось, они на секунду неподвижно повисли, чтобы затем исчезнуть. Потом все смолкло. С той же лихорадочной быстротой «минометчики» повернули назад, натянули чехлы, повскакали на машины и понеслись обратно. Следом за нами на дорогу и на деревню стали ложиться мины. Местность была давно пристреляна немцами, но мы мчались все дальше от опасного места.

— «Он» хочет нашу тактику разгадать, — сказал шофер, ловко крутя баранку. — Черта с два разгадаешь. Мы ребята склизкие.

Необычайное увлечение своим делом, боевой азарт, дружная, ловкая и быстрая работа — вот что бросилось мне в глаза при знакомстве с эрэсовцами. Крепкий, спаянный коллектив.

Вся эта операция — выезд на позицию, залп, обратная дорога — заняла не более получаса времени. Наблюдатели после донесли: залп был удачным. Огнем накрыли немецкие танки и машины.

На следующий день Лысов, у которого разболелась нога, так и не дождавшись вызванной

им машины, отправился пешком назад в Векшино. Это оказалось мне на руку. Я намеревался, пользуясь удобным случаем, пройти в первый эшелон, в Козлово, перепечатать на машинке заготовленный рапорт, вручить его Лисицыну и поговорить с ним лично. В рапорте я указывал на то, что меня используют как писателя недостаточно, просил разрешить мне жить постоянно при корреспондентском пункте при политотделе, пользоваться политотдельскими материалами для корреспондирования в центральные газеты, а также дать возможность связаться с партизанами. Цель моя была — вырваться из душной редакционной атмосферы и не чувствовать на себе солдафонскую лапу Ведерника.

До Козлова от Севрикова было километров семь. Оставшись один, я зашагал в Козлово, переночевал там и с перепечатанным рапортом в кармане утром направился в соседнее Веревкино, где расположился штаб армии. Впускали туда лишь по особым пропускам, входить разрешалось не по дороге, а стороной, по берегу реки. Боязнь немецких самолетов.

Лисицын там жил.

Часа полтора я и знакомый батальонный комиссар дожидались, пока Лисицын проснется.

Накануне он работал до пяти часов утра. Мы сидели сначала на завалинке, рядом с часовым, потом вошли в дом, в кухоньку, за перегородкой тикали деревенские ходики. Время шло! Но вот наметились признаки пробуждения начальства: адъютант, политрук, понес чистить сапоги комиссара, пришла молодая женщина, неся завернутый в полотенце завтрак. Я увидел белый хлеб и вспомнил бойцов, получающих в окопах по сто граммов ржаных сухарей. Наконец вышел Лисицын в синей фуфайке, заспанный, поздоровался с нами, умылся над кадкой — адъютант ему поливал воду на руки, и пригласил к себе в комнату первым батальонного. Затем наступила моя очередь. Лисицын внимательно прочел мой рапорт и первым делом спросил, знаком ли с ним редактор. Узнав, что нет, бригадный комиссар мягко объяснил мне, что в армии существует такой порядок: со всяким рапортом нужно обращаться к непосредственному и прямому начальству. (Это я знал и без него). Затем он коснулся принципиального, по его словам вопроса: что такое «большие» и «маленькие» темы? Все темы важны и нужны. Он привел в пример Маяковского, писавшего рекламы для Моссельпрома.

— Товарищ бригадный комиссар, — сказал я. — Вы позволите быть откровенным?

— Пожалуйста.

— Очень трудно работать с Ведерником. Я бы мог многое рассказать о нем, о газете, о внутриредакционной обстановке.

Но Лисицын, видимо, не желал таких откровений. Он благодушно заметил, что работа редактора очень напряженная, с него взыскивают, а он, естественно, в свою очередь взыскивает с сотрудников, что он если и ругает, то, наверное, иногда и хвалит.

— Меня он только однажды похвалил — сказал я не без яда. И рассказал, как Ведерник хотел пожать мне руку за тот раешник, который потом так жестоко раскритиковал Лисицын. Бригадный комиссар захохотал.

— Ну, обжегшись на молоке, он теперь на воду дует. А вы знаете, как ему попало за это? Куда больше, чем вам.

Затем он сказал, что предоставит мне полную возможность пользоваться материалами политотдела (нынешняя отдаленность 1-го эшелона от редакции — явление, конечно, временное), что я вполне могу корреспондировать в центральные газеты. Относительно моего участия в «Истории

1-й Ударной», чего я осторожно коснулся, мне было сказано, что Военным советом решено эту работу возложить на политработников, не отрывая писателей от армейской газеты. С партизанами я могу связаться.

— Я еще раз прочту ваш рапорт, потом обсудим с редактором, — закончил бригадный. — А в следующий раз в таких случаях обращайтесь по инструкции, как полагается в армии.

Я откозырял, повернулся и ушел несолоно хлебавши. Разговор, по форме приятный и корректный, практически не дал ничего. Я возвращался уверенный в том, что Ведерник, узнав о моем рапорте, влепит мне вторичный выговор — теперь уже за нарушение субординации.

И все же совсем безрезультативным этот разговор назвать нельзя. Я подал голос, я напомнил Лисицыну о своем существовании и о своей писательской индивидуальности. Наконец, и сам Ведерник, по натуре трус, будет считаться со мной, убедившись, что я способен говорить через голову.

Из Козлова я снова направился в Севриково, в надежде на то, что 47-я уже пришла туда.

Мост у Красного Ефремова, который я накануне переходил, теперь был снесен ледоходом.

На том берегу под кручей лежали бревна, звонко стучали топоры. В одном месте образовался затор, бойцы переходили реку по сгрудившимся льдинам. Перешел и я.

47-я действительно была в Севрикове. Я узнал, что сюда же пришли двое моих коллег, политрук Аристов и младший сержант Комовников. О том, что я, по договоренности с Лысовым, направился в 47-ю бригаду, они ничего не знали.

Приняли нас в штабе бригады хорошо.

Собрав нужный материал, я зашагал в соседнее Медведево к знакомым уже медикам, обосновался тут и два дня жил, «как у Христа за пазухой». Гостеприимные врачи угощали меня вкусными обедами, чудесной своей выпечкой, свежим хлебом, какого я давно не едал, компотами. Я постригся, побрился, сделал по настоянию начсанбрига прививку себе от дизентерии, брюшняка, паратифа и столбняка — все это одновременно. Мы подружились с начсанбригом Либефортом. Высокий, с белокурыми вьющимися волосами, в очках, умный мальчик чуть ли не влюбился в меня. Он говорил мне комплименты, был чрезвычайно предупредителен и ни за что не хотел отпускать меня назад: «Ну побудьте еще денек».

Он ироничен, начитан, любит литературу, но

по молодости лет не прочь поиграть в строгого начальника перед подчиненными, такими же мальчишками, как и он сам. Мы рассказывали друг другу анекдоты и философствовали о войне, лежа на ворохе соломы под голубым весенним небом. Мне понятно, почему Либефорт так жадно кинулся на меня. На фронте культурный человек с особой остротой испытывает потребность в собеседнике, равном ему по интеллектуальному уровню.

Между прочим, в бригаде было обнаружено несколько больных сыпняком. Это, кажется, первый случай. Либефорт ходил озабоченный, отдавал строгие распоряжения профилактического характера. Я спросил его, какова причина этой вспышки.

— Весна, — улыбнулся он. — Ничего не поделаешь. Как ни боремся, какие карантины ни устанавливаем, ничего не помогает. Бойцы общаются с местным населением. Близкое знакомство с вшивыми девицами — и вот вам результаты. Весна!

Я пробыл в командировке ровно неделю. Назад в свое Векшино шел по совершенно сухой дороге. Половину пути проделал пешком, затем, к счастью, нагнала меня повозка, где сидел военный,

согласившийся меня подвезти. Он ездил заготовлять картошку и мясо. Дорога шла лесом, за елями и голым осинником пылало низкое вечернее солнце, кругом было тихо — ни стрельбы, ни проклятого гудения в вышине. Проехали мимо нескольких бойцов на опушке, один из них, сидя на пне, играл на баяне. Ничто не напоминало фронта, войны.

— В мирное время тут бы теперь что было! — сказал мой попутчик. — Пташки поют, девки поют, цветы цветут. Эх!..

Вернувшись в редакцию, я сразу попал на совещание. Важное событие: по приказу ЦК партии формат армейских газет сокращается вдвое. Вместо четырех полос мы будем выходить на двух. Недостаток бумаги. Это означает предстоящее сокращение штатов.

Ведерник, правда, успокоил сотрудников, что о сокращении пока нет речи и вообще кадры должны быть сохранены, но вряд ли так будет. Во всяком случае, мне, писателю, теперь в газете делать нечего. Очевидно, дни дальнейшего моего пребывания в редакции сочтены. Я думаю об этом не без удовольствия. Что-то пошлет судьба? Куда теперь меня бросят? Редактор очень сух со мной. Похоже, за то время, которое я провел в команди-

ровке, он видел Лисицына и тот говорил обо мне. Будет второй выговор или нет? Интересно.

Почта не работает. Ни писем, ни газет. Мы отрезаны от мира. Хотел послать старичкам продовольственную посылку, деньги — и не могу.

Подписался на новый заем — на 1800 р. — полуторный оклад (от основного). Это значит, что в будущем месяце, если я еще сумею получить зарплату, то лишь смогу с трудом выделить деньги на содержание семьи. Мой оклад — 1200 р. основных, плюс 50 % гвардейских, плюс 25 % полевых. В общем, 2250 р. в месяц. 1250 р. посылаю родным и Берте.

***23 апреля***

Мы перешли к «активной обороне». Вероятно, и на других фронтах та же картина. Наше зимнее наступление выдохлось. Мы отбросили врага, но дальше Можайска так и не продвинулись, а здесь, под Ленинградом, неся огромные потери, почти два месяца топчемся на месте. Настроение у меня пониженное. Я не вижу перспектив. Очевидно, война в затяжку, на измор.

Наши доморощенные стратеги рассуждают так: сейчас основная задача — перемолоть весенние резервы Гитлера, сорвать его пресловутое весен-

нее наступление, а там мы покажем.

Не знаю. Посмотрим.

В 47-й бригаде я познакомился с командиром бригады полковником Лысенковым. Колоритная фигура. Бывший моряк. Когда мы с Аристовым вошли в избу, где он жил, полковник только что пообедал и, очевидно, выпил. Мы долго сидели у него, беседовали. Он держался просто, говорил с нами откровенно, чувствовалось — уважает представителей печати, человек интеллигентный. У него привлекательное лицо — умное, волевое, энергичное, с серьезными глазами. Нас он несколько стеснялся. Речь выразительная, любит крепкое словцо, говорят, великий матерщинник. Пожаловался, что его обходят наградами и орденами.

— Воюешь, воюешь, и, кажется, неплохо, а вот до сих пор ни одного ордена: впрочем, — спохватился тут же, — карьеристом я никогда не был. Выполняю свой долг.

Действительно, на груди у него лишь одна медаль за 20-летнюю службу в армии.

Он не прочь похвастать.

— Я выучил немцев. Огня не открывают. Они из ручного пулемета, я — двумя станковыми. Они — минометом, я — десятью. Они из пушки, я — це-

лой батареей: шелковые стали. По деревне у них на глазах разгуливают бойцы, а они молчат, ни гу-гу. А сейчас у меня народ блиндажи строит.

Говорят, блиндажи и укрепления у Лысенкова действительно строятся на совесть.

Он боевой, храбрый, энергичный командир, человек горячего нрава, крутой, бешеный. Либефорт рассказывал мне, что Лысенков застрелил собственной рукой у себя в комнате какого-то командира. Жена полковника с ним вместе. Пожилая худощавая женщина в синем берете, с медалью на груди, кажется, фельдшер. Она рассказывала нам, как по приказанию мужа под сильным огнем вывозила раненых.

Комиссар бригады Рахинштейн, новый тут человек, знает много о газете. Сдержанный, неглупый. Я спросил, какого он мнения о моих очерках.

— Замечательно, — ответил он.

Не привык я к таким похвалам. В редакции меня в этом отношении не балуют.

47-я пробыла в районе Севриково всего два, три дня, а сейчас вновь переброшена куда-то. Что ж, мы, значит, оголяем фронт на этом участке?

Немцы, побывавшие в этих краях, вели особую политику. Население не обижали, старались

жить в ладу. Здесь и петушиный крик услышишь, и поросенка, и кур, коз увидишь. Зверств не было. Мне рассказывали бабы, как жившие у них немцы угощали их колбасой, вином, кофе. Питались хорошо. Многие крестьянские девушки вышли замуж за немецких солдат и, когда те отступали, ушли вместе с мужьями. Говорят, потом на дорогах наши находили трупы расстрелянных девушек. И все же, несмотря на немецкое миролюбие, население радовалось приходу Красной армии:

— Хоть мы зла от немцев не видели, а все-таки не свои, чужие.

Однако отношение к нам не такое гостеприимное и приветливое, как в других районах, освобожденных от оккупации. Жмутся, берегут свои запасы. «Родный, родный», — а картошку выпросишь с трудом.

В Севрикове эрэсовцы говорили мне, что недавно была задержана подозрительная старуха. Созналась, что ее завербовали немцы в Демянске. Всего послали двенадцать женщин и мужчин собирать шпионские сведения.

При мне там же был задержан человек, служивший у немцев полицейским. Сообщила в особый отдел местная комсомолка. Я видел его. Молодой,

здоровый парень в полувоенной одежде. Круглая красная рожа, голубые наглые, таящие что-то свое глаза, рыжая, нарочно отпущенная бородка. Держался очень спокойно. При первом беглом обыске нашли у него записку, где каракулями было записано, что и где зарыто — мука, сапоги, «барахло» и пр. Все это мешками. Чье? Его или других?

Когда его вели по деревне, здешние жители подходили к нему, давали прикуривать, дружелюбно, по-свойски разговаривали.

***24 апреля***

Явился к нам по пути на корреспондентский пункт Плескачевский. Идет из Валдая, из своей редакции пятый день. Прошел сто тридцать километров пешком. По его словам, о положении на фронте там ничего не знают. Долго сидели на бревнах за избой, беседовали по душам. До сих пор мосты не построены, мы отрезаны от мира. На чем держится фронт, лишенный продовольствия и боеприпасов?

Плескачевский указал на вены на своей руке:

— На жилах.

Самый тяжелый из всех фронтов — наш, Северо-Западный.

Будь немцы здесь поактивнее — мы бы попали

в знатную передрягу!

Человек смелый и отчасти авантюристического склада, Плескачевский признался мне, что хочет перебраться к себе на Украину, в немецкий тыл. Опыт у него уже есть. Намекал на какие-то грандиозные предприятия, в которых будет участвовать. Это попахивает Майн Ридом.

На 1 Мая он хочет побывать у знакомых партизан и пригласил меня. Оказывается, сам Ведерник в разговоре с ним предложил это сделать. Значит, была беседа с Лисициным!

Вечером, зайдя по делу к редактору, я в этом убедился. Тихим голосом Ведерник сказал мне, что читал мою докладную записку, что не одобряет ее, что я не прав, гнушаясь черной работы. В сущности, сказал он, что такого особенного, капитального, запоминающегося написал я, работая в газете?

Я ответил, что на протяжении ста строк (размер очерка) трудно создать капитальное произведение. Что же касается качества моей продукции, то лучший показатель то, что некоторые очерки перепечатывают центральные газеты. И вообще, понимающие меня люди хвалят мои очерки. Я бы мог сказать больше, но воздержался.

Тогда шеф заговорил о присвоении мне очеред-

ного звания. Пора уже! Пусть я зайду в политотделе в отдел кадров.

— Тридцатого вы с Плескачевским пойдете к партизанам.

Я попросил разрешения перейти фронт и провести в партизанском отряде недели две. Ведерник согласился.

— Только недели две, не больше. Все-таки вы работаете в газете.

Итак, расчет мой оказался правильным. Рапорт возымел свое действие. Даже о второй «шпале» заговорил мой начальник!.. Людишки!..

Почему я решился на такое рискованное предприятие, как путешествие в немецкий тыл?

Во-первых, от скуки. Я истомился здесь. Если старик Бляхин и Плескачевский были у партизан, почему я не могу сделать то же самое?

Во-вторых, личное знакомство с партизанами и их жизнью должно восполнить важный пробел в моих писательских впечатлениях от фронта. Партизаны, пожалуй, более заманчивая тема, нежели жизнь действующей армии.

В-третьих, что греха таить, поддерживает меня некоторое тщеславие. «Был у партизан, в немецком тылу» — это звучит гордо. Очерки в «Известиях» на такую тему будут иметь успех.

Надеюсь, голову не сложу. А сложу — что ж поделаешь, такая, значит, судьба!

О своем намерении в редакции, конечно, никому не говорю. Не знаю, кто из моих коллег, всех этих военных людей, панически боящихся бомбежек, сам, по своей воле захотел бы пойти к немцам!

Если что случится со мной, жаль старичков и Берту.

Для них это будет большим горем.

***25 апреля***

Несколько дней не видел не только хлеба, но и сухарей.

Вчера наш художник Сайчук, повязав голову платком, пек в русской печи хлебцы из сухарной пыли, картошки, гороха и еще чего-то. Получилось вкусно. Варим картошку с мясом или суп из пшена, картошки и консервов. Едим без хлеба. Питаемся два раза в день: обед и ужин. Дороги и мосты до сих пор не правлены, и, когда это будет, известно лишь Аллаху.

***27 апреля***

Со слов одного раненого майора: наши два раза врывались в Старую Руссу и всякий раз должны были отойти, не получая вовремя обещанных

подкреплений.

Взаимодействие!

Березниченко, вернувшийся с передовых из-под Ожедова, рассказывает, как работают немцы. По часам — буквально. С двух до трех часов ночи — минометный огонь. Ровно час. Затем все стихает. С 10 до 11 утра — ураганный артиллерийский обстрел. Березниченко за этот час насчитал 117 выстрелов. Наши потери в результате такого огня? Двое легкораненых. Всего-навсего! Рассказывают об успешных действиях нашей авиации. Новейшие бомбардировщики (не У-2) систематически бомбят немецкий передний край. Говорит, успешно.

Мне что-то не приходилось за все время видеть в воздухе нашу авиацию, если не считать «уточек». Ходят слухи, что 1-я Ударная, измотанная, потерявшая много людской силы и техники, будет отведена в глубокий тыл — к Москве или даже к Горькому на отдых и укомплектование.

В сводках стереотипная формула:

— На фронте ничего существенного не произошло.

Изо дня в день.

Ах, если бы сейчас второй фронт!

***28 апреля***

Утром увидели в окна снег, покрывший землю. Холодно, мокро — апрель или ноябрь? Только что после долгого перерыва получил письмо от Берты. Хорошее, доброе. Пишет, что больше всего боится быть для меня обузой на фронте. Молодец у меня жена! Пишет, что у них тепло, все зеленеет.

Живем впроголодь. О хлебе забыли. Получаем по 75 гр. сухарей, и то не каждый день. Противная ежедневная процедура дележа аптекарских доз получаемого продовольствия. С трудом достаем картошку. Я напираю на махорку — все не так хочется есть.

Наш корректор, очень симпатичный, едет в Москву. Освобожден по болезни от фронта. Хочу отправить с ним немного продовольствия старикам. Голодают. Выдержат ли они эту войну?

Отправляю заодно и свои дневники.

***29 апреля***

Настроение убийственное. С нетерпением жду Плескачевского, чтобы двинуться к партизанам. Может быть, это встряхнет меня. Серьезно подумываю о том, чтобы перебраться в Москву — писать и работать по-настоящему. А прежде всего отдохнуть от фронта. Хорошо бы стать специальным корреспондентом «Известий». Очевидно, в

связи с сокращением армейских газет писателям дадут какую-то иную работу.

Снова хвалю себя за то, что не выписал Берту. В каком бы глупом положении мы с ней сейчас оказались!

Вчера и сегодня немцы сбрасывали листовки. Зеленый листок с портретом Гитлера. Обращение к «братьям-крестьянам», которых Гитлер «избавляет» от колхозного ига. Впрочем, прочесть листовку не дали. Мы ревностно охраняем друг у друга политическую девственность. А вдруг, прочтя дурацкую фашистскую листовку, советский писатель начнет разлагаться!

Вчера сразу получил от Берты три письма и открытку. Почта начала функционировать.

Сегодня вернулась наша экспедиция, посланная за картошкой. Привезла несколько мешков. Поделили между всеми отделами редакции и издательства, но один мешок наш отдел припрятал для себя — сунули в подпол.

Кажется, наша десятидневная голодовка кончилась.

Упорно говорят, что 1-я Ударная на днях двинется в глубокий тыл. Как быть с моей экспедицией к партизанам? Я говорю о переходе фронта. Где и

как я потом найду свою армию?

Слышал, что для гвардейцев вводятся погоны и новая форма. Итак, «погон российский» ровно через четверть века вновь возрождается. Неужели это так нужно?

После войны (конечно, я говорю о победоносной) мы будем милитаристической страной. Если мы захлебывались от восторга и бряцали оружием, отвоевав две сотки у озера Хасан, то что будет после победы над гитлеровской Германией?

А победит немцев не регулярная армия — она была разгромлена в первые месяцы войны, — а весь русский народ. За это ему честь, любовь и слава!

Берта пишет о докладе приехавшего в Ташкент писателя Б. Горбатова[20а], который обещал летом разгромить немцев. Его бы устами… Берта верит, даже по тону письма видно — успокоилась. К чему разочаровывать бедняжку. Как мало они знают там, в тылу!

Сотрудники, побывавшие на передовой в районе деревни Рамушево (самый тяжелый участок), рассказывают: половина деревни наша, половина — немецкая. Сидят, стреляют. Для наступления нет людей ни у тех, ни у других. Мы перемололи

наступающие немецкие полки, но и сами достаточно перемолоты.

В лесах появились «зеленые» — банды дезертиров. Нападают на командиров. Рановато!

***30 апреля***

Сижу в тихой деревушке Непятчино в районной типографии, за моей спиной белобрысый мальчик, стоя за кассой, набирает крохотную газетку. Единственный наборщик. В одной маленькой комнате — и редакция, и типография, и жилье. Весь штат, включая редактора, три человека.

Новый для меня мирок, в котором я отдыхаю. Даже военных гимнастерок нет.

Большие события произошли. (Конечно, в нашем редакционном масштабе.)

Во-первых, приехал к нам работать новый писатель Бялик[23], перешедший сюда из фронтовой газеты. Литературовед, батальонный комиссар, с медалью за финскую кампанию. Небольшой изящный человек с темными женскими глазами, нервный, желчный, остроумный. Наш убогий быт и среда, в которую он попал, ошеломили его. То, что мы спим на грязном полу, привело его в возбужденное состояние. Он привык спать либо в купе поезда походной редакции, либо, на худой

конец, на сеннике. В первый же день у него на этой почве произошла стычка с Ведерником. Долго здесь Бялик не пробудет. Да он и сам мне откровенно заявил, что сейчас у него одно желание — бежать отсюда. Только вопрос в том, как это поприличнее сделать.

Во-вторых, вместо бездельника Лысова зам. редактора будет некто Кононихин, а на место начальника издательства Гольдмана, отвратительного старого еврея с трубкой, крикуна, пустобреха, подхалима и мелкого жулика, назначен Чичеров. Он москвич, знает меня. Энергичный, разбитной бородач. Он уже прибыл и работает. Ведерник пока на месте. Это удивляет и меня, и Плескачевского. Чем объясняется такая неполная смена власти? Плескачевский даже называл фамилию кандидата на пост Ведерника. Однако Лисицын, видимо, отстоял (или отстаивает) Ведерника. Надолго ли?

В-третьих, в моей унылой и серой жизни, похоже, намечается какой-то просвет. Бялик подал мне блестящую мысль: получить через ПУРККА творческий отпуск в Москву для того, чтобы работать над книгой. По его словам, это вполне реально. Заманчивая перспектива, что и говорить! Но я пока воздержался. Вырвавшись в

Козлово, я узнал здесь, что меня, по-видимому, все-таки хотят перевести в 1-й эшелон. (Все же мой рапорт Лисицыну возымел свое действие.) Затем я узнал, что мной заинтересовался отдел кадров — вызывает. Я, конечно, явился. Начальник отдела, глядя на лежащий перед ним на столе мой рапорт (все тот же самый), расспросил меня, давно ли я на фронте, где служил и проч. Речь, видимо, шла о второй «шпале». Затем стал выяснять, почему я недоволен работой в редакции и на что претендую.

Побеседовали.

Итак, что-то меняется в моей судьбе. Даже возможность вырваться из этой душной казармы, именуемой армейским отделом, для меня счастье. Что же говорить о большем, о Москве, о работе над очерками, о возможности выписать туда Берту!

Но я не тороплюсь. Нет, я уйду отсюда лишь после того, как побываю у партизан. Ни один человек не осмелится тогда меня обвинить в моральном дезертирстве, в трусости, в лентяйстве — мало ли что можно еще придумать в связи с моим уходом. Я уйду с гордо поднятой головой.

Первые шаги в этом направлении мною уже сделаны. Во-первых, Ведерник дал свое принци-

пиальное согласие (авось я там, в немецком тылу, сломаю себе шею). Во-вторых, начальник отдела по работе среди партизан Майоров посвящен в мою «тайну» и окажет всяческое содействие. В-третьих, добравшись сюда, в Поддорье, я договорился с секретарем райкома Ермаковым, местным партизанским руководителем, о практических способах отправки в отряд. 8-го отсюда выступает отряд. Идут километров за восемьдесят, к партизанам, занимающим линию обороны. Я пойду с отрядом. Там переберусь в партизанскую бригаду Васильева. Здесь и останусь — может быть, на месяц, может, и на больший срок. Немного, признаться, жутковато. Все-таки это сложнее и опаснее пребывания в регулярной армии. И лишений больше. Один этот 80-километровый марш уже чего стоит. Но, черт возьми, в жизни все нужно испытать! Не каждый год бывает такая война, как эта. Правда, Бялик пытался меня отговорить от моего намерения, уверяя, что романтика партизанщины хороша только издали, что я скоро разочаруюсь, попав туда, что вообще партизаны не тема. Однако я подозреваю, что он и сам не прочь был бы пуститься на такую авантюру. Это проскользнуло у него между строк.

Сейчас, после первомайского приказа Сталина, партизанское движение, несомненно, оживится. Партизанам будут ставить большие стратегические задачи, вплоть до освобождения целых районов.

Кстати, о приказе. Первая его половина — агитационная, обращенная к немецким солдатам (разоблачение национал-социализма как орудия германских банкиров и плутократов). Вторая — констатация того факта, что мы все еще не научились воевать. Этот вывод давно уже был мною сделан. Да и не одним лишь мною — многими. «Хреново воюем…» Перспективы? Никаких, кроме указания, что немцы должны быть разбиты в 42-м году. «Должны!..»

Если я вернусь от партизан, сразу же перебираюсь в Москву. На время, пока не напишу того, что хочется.

Связь с партизанами — на самолетах. Где-то к тому времени будет 1-я Ударная?

Другой риторический вопрос: не сорвется ли мое предприятие? Я привык к неприятным сюрпризам, которые преподносит мне судьба.

## Май

***4 мая***

Просто что-то фатальное. Стоит мне сказать о чем-либо предполагаемом и желаемом как об окончательном, решенном факте — и выйдет все наоборот. Не раз я в этом убеждался. Вот и сейчас. Стоило мне договориться в Поддорье с партизанами относительно способа и сроков моего путешествия в немецкий тыл — как все с треском лопнуло и провалилось.

Сегодня, вернувшись в редакцию, я узнал, что откомандирован в распоряжение фронта — в отдел кадров. Ведерник предвосхитил события. Последовала соответствующая беседа. Он сказал мне, что таково распоряжение Лисицына, что, в связи с приездом Бялика, двум писателям в газете нечего делать, и очень любезно предложил мне воспользоваться машиной, которая как раз идет в Валдай — в штаб округа. Не терпится человеку сплавить меня поскорей!

На что я сказал, что я в принципе не возражаю против своего ухода, но для меня неясен вопрос о партизанах. Поэтому я отправлюсь в Козлово для личного объяснения с Лисицыным. Относительно двух писателей сказал, что Бялик все равно

тут долго не пробудет.

— Почему?

— Потому что он не привык к тем условиям, в каких мы работаем.

Ведерника покоробило. Пробормотал, что не держит своих работников за шиворот.

В общем, сегодня вечером я получу соответствующий приказ. Между прочим, редактор бросил такую фразу; «Возможно, и я скоро уйду. Или меня уйдут».

Теперь нужно думать о дальнейшей своей судьбе.

Попасть снова в армейскую газету не хочется. Сыт по горло, спасибо! Одно из двух: отправиться к партизанам, а потом в Москву, или же ехать прямо в Москву, в ПУРККА. Одно я решил твердо. Забираю вещи и завтра на нашей машине еду в Козлово. Там располагаюсь на корпункте в ожидании дальнейшего. Добьюсь свидания с Лисицыным, выясню все окончательно, побываю в здешнем отделе кадров, а там будет видно.

Во фронтовой газете орденом Красной Звезды, помимо Плескачевского, награждены писатели Матусовский и Исаков… А мне даже вторую «шпалу» до сих пор не могут дать.

Неужели я и на самом деле никчемный, беста-

ланный человек?

Но ведь даже Лещинер признавал за мной как за армейским литератором известные достоинства. Даже он хорошо охарактеризовал меня.

Получил сегодня шесть писем: три от Ксаны, от Кирочки, от Ади и от Веры Карп[24]. Будь у меня другое состояние, как приятно бы это было!

Холодно. Днем летали снежинки.

***5 мая***

Сегодня с утра на редакционной машине, развозящей газеты, отправился в Козлово для беседы с Лисицыным. В отделе кадров уже все знали. Заявили, что направят меня в Валдай — в распоряжение фронта. Что делать с безработным писателем, сами они не знают. Подтвердили, что писатели находятся в распоряжении ПУРККА, но направить меня непосредственно туда они не имеют права, это может сделать лишь фронт. Начальник хотел тут же приготовить мне соответствующее направление, но я попросил обождать до беседы с Лисицыным. Не знаю, может быть, тем самым я сделал тактическую ошибку. О эти военно-ведомственные дебри! Не только ногу, шею тут себе сломаешь.

Затем знакомый путь в соседнее Веревкино,

вдоль берега реки (для маскировки) мимо часовых, требующих особый письменный пропуск сюда, затем опять знакомая «избушка», как здесь говорят. Нудное и, признаться, унизительное ожидание в передней, у печи, затем снова появление заспанного высокого Лисицына. Заранее наметил план своей речи. Так и сделал. Начал с партизан, с моего намерения побыть в тылу немцев, с того, что практически все мною для этого уже подготовлено. И — вдруг неожиданный приказ о моем откомандировании. Как же теперь мне быть? Что подумают обо мне те, с кем я договорился, — не сочтут ли трусом или, чего доброго, шпионом?

Ответ Лисицына — выслушал он все это внимательно — сводился к следующему: политотдел имеет с партизанами постоянную связь, и поэтому мои опасения за свою репутацию совершенно напрасны. А что касается самой экспедиции, то я могу возбудить этот вопрос во фронте! (Ага! Значит, я поеду в Валдай.)

Бригадный ответил, что это решение, в сущности, исходит от фронта (?).

Впрочем, прибавил Лисицын, пока еще приказа относительно меня нет.

Туман. Сплошной туман. Я так перенервничал

и переволновался за эти дни, что сам теряюсь и не знаю, что лучше и чего мне добиваться. И к партизанам хочется, и в Москву тянет…

Вернулась зима. Все кругом бело — снег.

5 июля прошлого года я поступил добровольцем в ополчение.

5 августа был назначен в армейскую газету «За Советскую родину».

5 января — мое назначение в 1-ю Ударную.

5 мая меня отправляют в тыл, в Валдай.

Занятно.

На душе горечь. Ко Дню печати, к 5 мая, десятки, сотни военных журналистов награждены орденами и медалями. А я оказался «за штатом» и выброшен из редакции… Буду добиваться отправки в Москву. Пора работать по-настоящему. Армейский газетчик из меня не получится. Да я к этому и не стремлюсь. Кроме того, пора продвигаться дальше, выше.

Экспедиция к партизанам при сложившейся ситуации — авантюризм. Никто меня не поддержал, никому это не нужно. Может быть, Бялик и прав. А рисковать только ради риска — для этого я уже стар.

***9 мая***

Вот я и в дороге. В данную минуту сижу в г. Осташкове, на берегу озера Селигер. Два года тому назад я с мамой и Ксаной чудесно проводил здесь время на туристской базе. Думалось ли мне, при каких обстоятельствах я снова попаду в эти края?

Выехал 6-го, сразу же после того, как вернулся от Лисицына. Из отдела снабжения отправлялась машина в Осташков — нельзя было пренебрегать таким случаем.

Ехать в Валдай старым путем, каким мы сюда добирались — на север, вдоль озера Ильмень, — уже нельзя. Путь перерезан немцами. Все-таки, кажется, старорусская группировка почти соединилась с 16-й армией. Сообщение с Валдаем и Москвой происходит в южном направлении через Осташков. Путь огибает Демянскую группу противника. Мне предстоит сделать на машине свыше пятисот километров.

Бялик снабдил меня письмами в редакцию «За Родину» и в политуправление фронта. Рассказывает в них о положении в редакции и о том, что Ведерника необходимо снять, что со мной произошло возмутительное недоразумение, меня необходимо «реабилитировать». Все равно я в свою редакцию не вернусь.

Я пожал на прощание руки своим коллегам. Ведерника не было — уехал. Все равно я бы не зашел к нему проститься. Когда мои товарищи прощались, чувствовалось, что они завидуют мне: еду в Валдай, а может быть, и в Москву!

Чирков и Бялик помогли донести вещи до машины. Бялику, видно, неприятно, что так случилось и что он является формально виновником моего ухода. Конечно, это не так, я прекрасно понимаю. Он славный малый. Здесь темная игра Ведерника.

Итак, в путь…

Под вечер, в желтом свете заката мимо меня пронеслись мертвые дома разбитого, опустелого Поддорья. Прощай, Поддорье! Прощайте, партизаны! Не суждено мне было пойти с вами…

Едем не останавливаясь, едем весь вечер и всю ночь. Дорога отвратительная. Бьет, мотает, внутренности выворачивает. Северный ветер, идет то мелкий снежок, то ледяная крупа. Май это или ноябрь? Под утро, на рассвете, я просыпаюсь оттого, что ноги у меня совершенно закоченели. Не помогли две пары теплых портянок, сапоги мокрые. Утром в какой-то роще грузовик заезжает под старую сосну (маскировка). Привал. Едущий в кабине молодой военный инженер с трубкой в

зубах дает мне кусок хлеба, кусок колбасы и стаканчик водки. Этот завтрак, особенно водка, как нельзя кстати: продуктов у меня в обрез. Машина отправлялась так спешно, что у меня не было времени получить продовольственный аттестат и продукты к нему. Затем снова в путь.

В середине дня в какой-то деревне инженер предлагает мне перегрузиться на другую, как раз идущую в Осташков машину. Сам он дальше не поедет — вышел бензин. Так это или нет, но приходится пересаживаться. Новая машина принадлежит какой-то хозяйственной военной организации. Едем дальше. То и дело пробки — простаиваем часами. Хорошо, что не слышно гудения немецких самолетов. Вязнем в трясине всерьез и надолго. Новый мой спутник, воентехник, вместе с водителем работают по колено в грязи, подкладывают под колеса колья, бревна, поднимают машину при помощи домкрата, наконец обматывают колеса цепями. На ночь останавливаемся в деревне в доме, где живут две очень приветливые женщины. Чисто, хорошо. Нам с воентехником предлагают хозяйскую постель. Давно я не спал на мягкой кровати. Выпив два стакана горячего чая и сняв грязные сапоги, заваливаюсь на перину и сплю как уби-

тый. Сколько времени я не снимал своих ватных штанов?

Следующий день — уже 8 мая — весь проходит на пляшущей по ухабам машине, на ветру, на холоде. Местами все кругом бело от снега. Второй день я питаюсь только сухарями и черным хлебом. Я с головой закутался своей трофейной плащ-палаткой — так куда теплее, только ноги стынут, и грызу сухарики.

В каком-то лесном овраге, где на дороге сбились десятки машин, мимо нас с громом, один за другим, проходят шестнадцать крупных танков, как будто «КВ». Им такая грязь нипочем! Дальше по пути я вижу еще два. У нас я танков не встречал.

Поток машин — автоцистерны с горючим, ящики со снарядами, авиабомбы. Бойцы встречаются в касках. На дорогах все время видны работающие саперы и мобилизационная молодежь: мостят дорогу бревнами, укладывают… Бесконечным кажется этот путь до Осташкова. Серое небо, грязь, голые сучья деревьев, холод, редкие снежинки в воздухе… Все кругом отвратительно. Но вот в стороне показалась свинцовая широкая гладь. Озеро Селигер. У берегов белеет лед. Озеро то скрывается за сосняком, то снова показывается. Едем, едем… По моим подсчетам, мы должны

были приехать в Осташков часа в три дня. Вместо этого приезжаем в девять вечера.

Снова меня сбрасывают с машины: она идет дальше в деревню за десять километров. Мой спутник показывает домик, стоящий на углу, и говорит, что здесь расположена армейская база, отсюда ежедневно идут машины на Валдай (до Валдая, кажется, еще километров двести). Выгружаюсь, иду, навьюченный багажом, к указанному домику и тут узнаю, что никакой армейской базы тут нет, а живут двое бойцов, состоящие при столовой. Народ, между прочим, нахальный. Со скандалом вселяюсь. Очевидно, воентехник наврал, желая скорее меня сплавить. Черт с ним, доберусь и так! Но пока нужно поесть и переночевать. Случайно узнаю, что на такой-то улице есть питательный пункт. Спешу туда. Поздние сумерки, пустые улицы городка. Нахожу пункт, но у меня нет аттестата, а кормят тут только по аттестатам. Все же начальник пункта, вняв моим мольбам и предъявленным документам, приказывает накормить меня. Не без добрых душ на свете!

Сидя в пустой полутемной столовой, я ем мясной суп и жирную пшенную кашицу. Все давно остыло, но кажется мне чудесным обедом. Однако

я так устал, так изголодался, что ем без аппетита. Ночь я провожу, вытянувшись на узенькой лавке, прикрывшись верхней своей шинелью. Она даже прожжена в одном месте — настоящая фронтовая шинель.

Две заботы преследуют меня в Осташкове: дальнейшее питание и машина до Валдая. Путь отсюда мне предстоит далеко не столь простой, как я предполагал. Прямого сообщения с Валдаем нет, машины ходят редко, а ехать на перекладных — означает перспективу пешего хождения на каких-то участках. Это бы ничего, но мой багаж! У меня рюкзак, чемодан и тючок!..

Первым делом направляюсь к коменданту города. Представляюсь, рассказываю свою историю и прошу обеспечить меня продовольствием, для красного словца прибавив, что вторые сутки ничего не ел. Комендант дает мне записку к регулировщику, с тем чтобы он посадил меня на попутную машину, а в отношении харча направляет к заместителю начальника гарнизона по продовольственной части. Тот тоже ничего не может сделать (нет аттестата) и посылает меня еще куда-то. В общем, все утро проходит в хождении по инстанциям, из улицы в улицу, из дома в дом. Везде я рассказываю, почему очутился

без аттестата, и везде получаю ответ, что ничем помочь мне не могут. Положение становится угрожающим. Но — слава богам! — наконец я натыкаюсь на знакомый след. Батальонный комиссар Конников. Он из моей армии, какой-то продовольственный начальник, он знает меня. Нахожу его квартиру. Как раз Конников готовится обедать. Сквозь полуоткрытую дверь в соседнюю комнатку я вижу на столе тарелку с красными, аппетитно нарезанными помидорами. Когда я их ел в последний раз? Два года назад, не иначе. Умеют хозяйственники роскошно жить.

Я сообщаю Конникову последние редакционные новости (в столовую, к помидорам, он меня не пускает, беседуем на кухне), затем перехожу к делу. Следует нотация, в связи с отсутствием у меня аттестата упоминается суд, который грозит хозяйственникам, совершающим незаконные поступки, но все это кончается тем, что я получаю право обедать в столовой плюс дополнительный паек (сахар, масло, табак), плюс получу сухой паек на дорогу.

Да здравствует Конников!

В дальнейшем мне будет выписан аттестат. Все встало на свои рельсы.

Хорошо еще, что все эти хозяйственные ор-

ганизации расположены тут же, в городке, в нескольких шагах одна от другой. И вот я сижу в столовой. От русской печи пышет жаром, передо мной длинный деревянный стол с миской супа, на столике у стены патефон и пластинки. Обед: жирный на мясе гороховый суп, на второе — нечто вроде пельменей, к этому всему — свежий хлеб. Я определенно задержусь в Осташкове на лишние день-два, благо торопиться мне нечего: в моем документе не указан точный день явки.

«В обороне первое дело — харч», — как сказал Ворошилов[24a]. Золотое слово, но не только в обороне.

До фронта я никогда не был чревоугодником. Теперь мне ясно, почему на войне пища имеет такое большое значение для бойца. Это одна из немногих фронтовых радостей. У меня выработалась чисто солдатская психология: никогда не упускай возможности поесть вкусно и сытно, если только представляется такой случай. Судьба не слишком часто балует подобной возможностью.

В лесах по берегам Селигера шли бои. Я видел проволочные заграждения, воронки, вырытые в песчаной почве окопы и пустые блиндажи. На левой стороне дороги валялся изуродованный

немецкий танк. В самом Осташкове немцы не были, но часто бомбили город с воздуха. Вокзал разрушен. Жители получают 400 гр. хлеба и больше ничего. Когда я угостил стариков, которые живут в доме, где я остановился, сахаром и соленой рыбой — это было принято как величайшее лакомство. Меня взамен отблагодарили тарелкой постного грибного супа. Обе стороны остались вполне довольны взаимообменом.

***10 мая***

Второй день сижу в Осташкове. Скука зеленая. Решил завтра же ехать во что бы то ни стало. Хватит бездельничать. Но как ехать? До Валдая машины не ходят. Меня сбросят по дороге, не доезжая до этого пункта. Мало приятного. Решил ехать поездом до Бологого, хотя немцы регулярно бомбят этот участок. Сегодня ходил на станцию. Все разбито, мертвые остовы домов, вид удручающий. У коменданта выяснил, что путь ремонтируется после очередного налета. Бологое — Валдай — пятьдесят километров, тут и машины ходят, и железнодорожное сообщение есть. Признаться, надоело уже трястись и мерзнуть на машине, хочется ехать поездом, хотя бы и товарным.

Как страшно живут здесь люди! У крестьянина хоть есть картошка, есть молоко. А жители таких захолустных городков — чем они питаются? Картофельная шелуха считается лакомством. Ее мнут, толкут, сушат, варят — не знаю, что еще. Впрочем, и в Векшине наши старухи-хозяйки прибавляли в хлеб картофельную кожуру. Об этой кожуре писала мне и мама. Десять месяцев войны — и во что превратилась жизнь! Будь тысячу раз проклята Германия!

***11 мая***

Утром получил продукты на пять дней, аттестат и, нагруженный как верблюд, двинулся на станцию. Как раз отправлялся товарный, совсем пустой. Я забрался в теплушку, где сидело семеро бойцов. Их дело — сопровождать грузы. Тронулись наконец. Едем с ежеминутными остановками, в час делаем километров десять, но как приятно ехать поездом после мучительной мотни на грузовиках!

День теплый, временами солнце, но под вечер начинает накрапывать дождь.

Бойцы говорят о бомбежках, о том, что на станциях вредители — немцы прилетают бомбить именно тогда, когда стоят поезда с боеприпасами и продовольствием.

На одной из станций (Горовастице) долго стоим. Вдруг позади нас громовой взрыв. Взорвалась бомба замедленного действия. Свыше суток лежала, притаившись. Через некоторое время другой взрыв — подальше. Вовремя проехали!

В теплушке споры, что лучше во время налета — бежать или оставаться на месте.

Часу в седьмом вечера гудение. Два «юнкерса» приближаются к составу. Бойцы хватают винтовки, мешки. «Пошли, ребята, сейчас пикировать будет… Заходит, разворачивается». Состав пустеет. Кто лезет под вагоны, кто бежит в ближайший кустарник. Крепкая ругань. Почему бегут, демаскируют? Немцы вьются над нами, высматривают. Гул моторов то затихает в облачном небе, то опять приближается. «Заходит, заходит… Прямо по эшелону идет».

Я лежу под вагоном на сырых шпалах, потом перебираюсь под тендер, который стоит на соседнем пути, как раз напортив нашей теплушки. Тут надежнее. Под тендером уже четверо бойцов.

Громкий клекот пулемета, свист падающей бомбы. Все-таки налетел, сволочь. Был ли взрыв? Трудно сказать, никто не заметил. Какой-то гул был, но слабый. Затем появляются два наших «ястребка». Бойцы вылезают повеселевшие. Сно-

ва спор: пробьет ли осколок скат тендера или не пробьет?

Становится спокойно. Немцы улетели. Наверху проносится эскадрилья бомбардировщиков. Все снова настораживаются, затем успокаиваются: наши.

Станция, как и все, что было на пути, разбита, расщеплена, ободрана. У домиков поселка такой вид, будто их приплюснула гигантская ладонь, все сплющено и покривилось. Под пылью груды железного лома, опрокинутые скаты, горелые доски и дрова, пробитые каски, снаряды. И тут же рыжая от огня швейная машинка.

***12 мая***

Почти всю ночь стоим в Горовастице: впереди исправляют разрушения. До Бологого еще километров шестьдесят. Сплю скверно. Последнее время совсем не могу спать на жестком. Ломят бока, спина, поясница. Поднимаюсь с трудом, кряхтя, морщась от боли, совершенно разбитый. Я подвержен мышечному ревматизму. Меня беспокоит, как я буду в дальнейшем. О тюфяках на фронте говорить не приходится.

Кровавая бестолочь. Вспоминаю наше крикливое довоенное бахвальство (ворошиловское)

— «война малой кровью», «война на чужой территории». Ах, как зло посмеялась над нами реальная действительность. Едва ли мы сможем своими силами нанести Германии решающий удар. Идет война на измор. Последнее слово, как в ту войну, скажет Америка.

***13 мая***

Последний этап пути Бологое — Валдай, который я считал самым легким, оказался наиболее тяжелым. Приходилось пересаживаться с машины на машину, брести пешком по два-три километра, изнемогая под своим грузом, наконец, часами бесплодно и унизительно ждать у дороги грузовика. Шоферы лихо проносились мимо, не обращая внимания на мои умоляющие знаки. Это было в Едрове, километров двадцать, двадцать пять от Валдая. Черно-белая кошка перешла шоссе. Нехорошая примета! Действительно, тщетно прождав часа два у дороги, я плюнул и поплелся со своим проклятым багажом на здешнюю станцию. К счастью, как раз отходил воинский эшелон. С ним я и доехал до Валдая быстро и хорошо.

## Октябрь

***4 октября***

Наши бодрячки с многозначительным видом все еще говорят о каких-то решающих операциях в скором времени, о выходе в Прибалтику. Оптимизм до обалдения.

Предстоит война на измор — длинная, затяжная, тяжелая. Мы хорошо деремся, но воевать не умеем. 25 лет бряцанья оружием, бахвальство, самолюбование — и позволили немцу дойти до Волги и до Кавказа. «Выдюжим», — писал А. Толстой. Выдюжить-то выдюжим, Россия всегда была двужильной, но какой ценой?

## Ноябрь

***7 ноября***

25 лет Октября. Четверть века. Как непохожа сегодня Москва на праздничную. Серо. Буднично. Речь Сталина: квинтэссенция ее — второй фронт. Подтекст: «Пора выручать». Речь предназначена для англичан.

Кто ответит за смерть, за глупое, тупое истребление работников литературы? Людей, совершенно необученных, не приспособленных

к строю, погнали на заведомую гибель. На убой. Это было в порядке вещей. Они даже стрелять не умели. Помню нашего полковника — тупого бурбона и скотину.

История Краснопресненской ополченской дивизии, 8-й стрелковой, темным пятном лежит на ССП. И это пятно не смоют никакие «благовонья аравийские».

***23 ноября***

Негодующие статьи в нашей прессе о германской системе заложников. Мы возмущаемся. Насколько мне не изменяет память, мы еще в восемнадцатом году применяли точь-в-точь такую систему в отношении буржуазии.

Усиленные слухи о введении погон для комсостава. Для поднятия авторитета командиров. Двадцать пять лет назад революция срывала погоны с офицеров. Теперь она сама возлагает на плечи офицеров погоны. Круг завершен.

Плохо, если мы вынуждены поднимать авторитет командиров таким механическим путем. Да еще в самый разгар тяжелейшей войны. Авторитет командира создается десятилетиями, веками военной и общей культуры. А этого-то как раз у нас нет.

# 1943 год

## Январь

***6 января***

Несколько дней провел в госпитале № 2202 у добряка Милославского. Госпиталь от нас в шести километрах. Я пришел 31-го, под Новый год, но скоро понял, что о новогоднем вечере здесь и не думают! Спешно заканчивались работы по оборудованию армейского Дома отдыха, завтра должна была прибыть первая партия отдыхающих.

Я вспомнил о приглашении друзей своих из 7-го отдела и пошел туда, километра за три. Было неплохо, как в приличных московских домах. Умеренное количество водки и вина, патефон, танцы, даже елка, увешанная самодельными украшениями. Александров развлекал публику юмористическими номерами. Ничто не напоминало фронт. Две девушки — Галя и обслуживающая отдел местная жительница. Танцевали. Галя настойчиво приглашала меня танцевать с ней, но я отказался. Вероятно, мы были бы карикатурной парой. Пришел Пантелеев, побыл немного и вернулся в редакцию принимать радио.

Утром на рассвете я вернулся в госпиталь.

Милославский, военврач 1-го ранга, орденоносец, старый харьковский хирург. Неугомонный, подвижный старик, вечно на бегу, вечно озабоченный. Прекрасный организатор, ловкий хозяйственник, добряк. Госпиталь его для тяжелораненых, которых нельзя транспортировать в тыл. И, несмотря на это, процент смертности здесь только 0,9. Милославский и его врачи делают чудеса, возвращают в строй умирающих. Основное — уход и питание.

В бревенчатых бараках, раскиданных по лесу, проведено электричество. Столбы обвиты гирляндами хвои, украшены цветами, сделанными из деревянных стружек. Делали сандружинницы. Мелочь, но очень характерная.

Эти дни я жил как бог. Поселился в маленькой уютной землянке Милославского. Электричество, отдельная койка с чистым бельем. Обедать нам приносили. Горячий завтрак и ужин с кофе, обед из трех блюд, хлеб не черный, а серый. Три раза в день, садясь за стол, пили то водку, настоянную на дубовом листе, то вино. Отказаться от приглашения радушного хозяина не было возможности. Милославский рассказывал много интересного из своей практики. То и дело срывался, летел

куда-то по делам. Милейший старик.

Между прочим, предложил устроить у себя Берту, даже хотел послать ей официальный вызов на должность сестры-хозяйки. Это было бы замечательно, но, боюсь, Берта с ее неряшливостью, неумением создать уют и порядок вряд ли подойдет на такую работу. Вот мама — это другое дело. Если бы не то, что она должна будет бросить беспомощного отца, — непременно бы ее вызвал. Такая работа — мамина стихия.

В новогоднем номере напечатан мой «Осиновый кол». В номере от 3 января — рассказ «Знамя». Адульский сделал к нему клишированный заголовок на линолиуме. В следующем номере, от 4-го, — мой фельетон «Вековой враг». Меня вдруг начали густо печатать. Очевидно, высокое начальство похвалило.

На открытие Дома отдыха прискакал сам Горохов[25], ныне генерал-майор. Старик Милославский сменил свою синюю ватную куртку на английскую шинель, затянулся с моей помощью в боевые доспехи и побежал дежурить к воротам в ожидании машины большого начальства. Сильно волновался, нервничал. Зато, проводив Горохова, вернулся сияющий, успокоенный: ге-

нерал остался доволен всем виденным. Между прочим, он рассказал мне, что сообщил Горохову о моем пребывании здесь. «А, это хорошо, — сказал генерал. — Что он сейчас делает?» — «Сидит, пишет. Прикажете позвать?» — «Нет, нет, пусть работает». Я до сих пор лично с Гороховым незнаком.

Госпиталь рассчитан на 500 коек. Дом отдыха — на 100. Соорудили Дом отдыха — шесть комнат — в течение всего-навсего двух недель. Строили главным образом сами работники госпиталя. Бревенчатые стены палат обиты чистыми простынями. Белоснежное белье, уют, порядок. Питание изумительное: творог, сливочное масло, сгущенное молоко, рис, свежая баранина, сладости.

Молодые командиры — лыжники и эрэсовцы, вероятно, даже растерялись, попав в такую обстановку.

— С первых дней войны не спали на такой постели, — сказал мне один из них.

Я несколько раз заходил к ним в палату. Шутки, смех, заигрывание с молоденькими санитарками. Веселое, жизнерадостное настроение. А в нескольких шагах отсюда, в других бараках, бредят тяжело раненные, кто-то стонет и уми-

рает от менингита, в операционной происходит ампутация ноги.

Жизнь. Война.

Между прочим, к ампутации Милославский прибегает лишь в самых исключительных случаях. Здесь стараются сохранить раненому не только жизнь, но и руку, ногу. А какая тяжелая работа у военного врача!

Живя здесь, встретил Галю и Морица. У Морица был недавно приступ аппендицита, несколько дней он пролежал в госпитале и теперь в сопровождении Гали явился получить справки. Смеялись, острили по поводу того, что я здесь так акклиматизировался и чувствую себя хозяином. Мориц испытывает нечто вроде нежности ко мне. В новогодний вечер он, подвыпив, прижимался ко мне и все спрашивал: «Ведь у вас мог быть такой сын, правда?» Галя со мной очень приветлива.

Начальник здешнего продотдела Громов, молодой парень, москвич, инженер, работавший в Наркомтяжпроме, сам предложил обменять мой полушубок. Действительно, вид у меня невзрачный. Громов притащил полушубок вместо моего кожуха. Правда, полушубок БУ — бывший в употреблении, но зато это все-таки полушубок, с

воротником, и мне впору. Вместо своих заплатанных ватных штанов я получил другие, тоже поношенные, тесные, но по крайней мере целые. Меховые свои рукавицы, вместо белых, вскоре ставших темно-серыми, я тут же сменил на новые — зеленые. В общем, Громов меня экипировал. Теперь остается получить суконную гимнастерку и такие же галифе. Но на мой рост пока нет, просто беда!

Как живут старики? До сих пор не могу отправить им посылку.

От Берты ни звука. Срок ее прибытия давно миновал.

***9 января***

Указ о введении погон. Только и разговоров что о кантах, просветах, звездочках. Уже появляются выражения «офицерская честь», «честь мундира». После войны будет всеобщее увлечение военщиной.

На нашем участке перегруппировка частей. Одни дивизии уходят, другие прибывают вновь. Подготовка к наступлению? Не похоже.

***10 января***

Много говорим о перспективах войны, о сроках

окончательной победы. Большинство редакционных стратегов считают, что война кончится к зиме нынешнего года, некоторые называют даже 44-й год. Общий отзыв о немцах:

— Умеют воевать!

Я полагаю, что при условии энергичных действий союзников война закончится не раньше чем через десять месяцев.

Когда настанет мир — никто не захочет читать о войне. Интерес к нынешней войне вспыхнет спустя несколько лет. Вот к этому-то времени должен быть готов мой большой роман. Героями его будут герои «Родной земли» и «Снегов Финляндии». Хочется написать такую книгу, которая бы пережила меня, явилась бы итогом целой жизни. Пора подумать об этом. Ведь мне уже пятый десяток пошел.

***17 января***

В московских газетах — образцы новых мундиров. Почти полностью восстановлена форма царской армии. Некрасивые, чиновничьи какие-то мундиры. Почему бы не позаимствовать у англичан их элегантные френчи и бриджи? Германская форма — и та красивей.

***18 января***

Несколько дней провел с Москвитиным в 250-й. Она занимает сейчас то место, которое занимала 235-я, ныне отведенная в тыл, а еще раньше — 130-я.

Знакомые места. Приняли меня как старого знакомого. Новый командир дивизии, герой Полново-Селигера — полковник Мизицкий[26], переведен из 241-й дивизии на место генерала Степаненко, который сейчас командует гвардейским корпусом и воюет на другом участке. Комиссар прежний — радушный и словоохотливый Рожков.

В трехкомнатном блиндаже полковника, не уступавшем иной московской квартире, мы беседовали о взятии Полново-Селигера. Полковник показал карту, где была нанесена операция. Крепкий, с наголо бритой головой, с помидорным румянцем, из категории обиженных: все второстепенные участники операции получили ордена, только ему отказали. Почему — непонятно. Полново-Селигер — единственный успех, которого добилась наша 53-я почти за целый год своего существования, причем операция была проведена очень успешно и малой кровью. Отзывы о Степаненко: не жалеет людей.

Выпили немного, была хорошая закуска. Пода-

вала девушка в красном беретике, в платьице с декольте и в валенках. Глазки скромно опущены. Видала девушка виды!

Жить устроились в клубе, в Мокшее. Спали на составленных скамейках.

С утра до ночи в клубе происходили совещания, семинары, собрания. Сколько болтовни, сколько водолейства — и все это в нескольких километрах от переднего края. Немцы не болтают — действуют. А у нас сплошной местком.

Приехал Горохов. Сделал доклад о подготовке к предстоящему наступлению. Я впервые увидел Горохова. Средних лет, круглолицый, вид довольно плебейский. Говорит культурно, умно, обнаруживает хорошее знание психологии бойца. На психологию вообще напирает. То и дело откашливается.

На санках нас отвезли в полк — 922-й. Старые знакомые. Был на переднем крае, ходил по траншеям. Мороз, молочный туман, деревья в густом инее, кружевные. Траншеи проходят через Большое Врагово, занятое летом. От деревни остались всего две-три развалины. В одной из этих руин копошился снайпер в грязно-белом халате: пользуясь туманом, пробивал в каменной стене бойницу. Немцы, слыша стук, время от времени

давали нервные очереди из автоматов. Глубокая, извилистая, занесенная снегом траншея, где почти не видно людей. Это все, что отгораживает нас от врага. Будь у немцев побольше сил, будь танки — как легко прорвать эту жиденькую оборону!

Темные звериные нары блиндажей. Освещение — огонь в печурке либо лучина. И так живут месяцами. Скука, наверное, отчаянная. Здесь рады всякому свежему человеку. Приезд писателя армии — целое событие.

Между прочим, узнал о смерти генерала Шевчука[27]. Нелепая смерть.

Разъезжая верхом, наскочил на мину. Взрывом оторвало Шевчуку обе ноги.

Быт у нас в Мокшее был неуютный — вокзальный, и поэтому, собрав материал, я предложил двинуться к старику Милославскому. Здесь нас ждал, конечно, самый радушный прием. (Накануне появилась моя статейка о Доме отдыха и о Милославском.) Баня, чистое белье, парикмахерская, чистая постель, великолепное питание, водка перед каждым «принятием пищи». Мы пришли под вечер, переночевали и на другой день после отдыха двинулись дальше. Москвитин был потрясен тем раем, куда он попал, приемом,

который нам оказали.

К слову сказать, за то время, что я не был в 2202-м госпитале, Милославский успел соорудить большой клуб, двухкомнатный дом для приезжающих и еще что-то. Энергия этого человека просто поражает. Чудесный старикан!

Он сообщил, что получен приказ приготовить 300 запасных коек. Подтверждение слов Горохова — готовилось серьезное дело. Похоже, доходит очередь и до нашего захолустного фронта.

Сделав крюк в несколько километров через Игнашовку, вернулись домой. До Игнашовки доехали на розвальнях — дал Милославский. Заглянули в 7-е отделение. Фрадкин уехал в Москву, захватив посылку, которую я приготовил для своих. Галя сидела скучная, злая, серая. Показалась мне постаревшей. Она рвется в Москву — устала, нужен отдых, но ее не отпускают. Жаловалась мне как-то. При виде меня немного оживилась.

В отделе шла работа вовсю: готовились к предстоящей радиопередаче. Мориц, сидя за машинкой, мучился над переводом листовки на немецкий язык. Мы с Москвитиным познакомились с содержанием папок: переводы писем, выдержки из приказов, из речей Гитлера и Геббельса. Много интересного.

Привезли недавно захваченного немца, накануне его допрашивал Александров. На допросе фриц расплакался — когда ему сказали, что он вернется только в ту Германию, которая уже не будет гитлеровской. Невысокий юнец в белом маскировочном костюме, похож на нашего мельника. Костюм теплый и может выворачиваться наизнанку. Немецкая практичность — мы до этого не додумались. Новое зимнее обмундирование наших врагов. Голова у немца забинтована, рука тоже — обморозил. Вошел он в избу, сопровождаемый автоматчиком. Держался непринужденно.

Работа 7-го отдела мне кажется переливанием из пустого в порожнее. Практических результатов немного. Лучшая пропаганда среди войск противника — это то, что делает Красная армия под Сталинградом и на Северном Кавказе. С немцами нужно разговаривать ящиком снарядов. Только это они понимают.

Блокада Ленинграда наконец прорвана. Волховский фронт перешел в наступление. Жуков[28] получил звание маршала, как все и предполагали. Самый талантливый наш полководец. Война рождает героев. Легендарные полководцы, выдвинутые революцией, потускнели и стушевались. Ворошилов, Буденный[30], Кулик[31], даже

Тимошенко[32] не выдержали испытания временем. Другая эпоха, другие требования. А сколько вреда принесло бахвальство Ворошилова, его теория войны малой кровью, на чужой территории. За это бахвальство мы заплатили половиной России.

Окруженные под Сталинградом немцы жрут конскую падаль, умирают ежедневно сотнями и все-таки не сдаются. Не люди, а дьяволы. А мы их называем «фрицами».

Инициатива в наших руках, и это самое радостное. Мы бьем немцев на всем огромном фронте, то там, то здесь. Все новые и новые удары. Неужели мы не возьмем на днях Демянск?

***19 января***

Почти все отправились на передний фронт, остались только я да Москвитин, не считая начальства. Вероятно, через два-три дня и я двинусь. Разговоры о трофеях, парабеллумах, французском коньяке. Общее ожидание решительных событий.

Не пишется. Работать на холостой ход надоело. Писателю нужно поощрение, а его-то я и не вижу. Говорю о московской прессе. Книжка моя повисла в воздухе. Мама — мой поверенный в

литературных делах — ничего не пишет. Очевидно, и в Воениздате неудача. Неужели, черт побери, я такая бездарность, что не заслуживаю права напечататься? Обидно и больно. В чем же дело? Кому нужны мои очерки после войны? Ни одной собаке.

Писать пьесу, будучи на фронте, — заниматься онанизмом. Кто ее будет устраивать в Москве? Мама? Пора пожалеть старушку, и так достаточно у нее хлопот и забот. Даже «За Родину» не балует меня. Послал два очерка — и не печатают. Новый редактор!

Временами руки опускаются.

Наконец письмо от мамы. Сплошные литературные неудачи. Новая установка? Отказ от очерков и требование «монументальных произведений». Глупость! Не время сейчас писать романы. Да и грош им цена.

Берта получила документ, хлопочет, оформляет свой выезд. Старики живут в холоде и голоде. Печурка не согревает комнату. Мама готовит обеды на олифе (!). Касторки, пишет мне, уже не достать. А мы тут на фронте обжираемся, да еще недовольны, ворчим. Выдержат ли старики еще один год войны?

Часу в первом ночи, когда мы развлекались притащенным откуда-то патефоном, явился неожиданно Горохов с целой свитой — Шмелев, его зам., полковник Чванкин, начальник АХО Плеушенко (плут редкостный) и Карлов. Растерянность и неловкость. Никто не скомандовал: «Встать», не отрапортовал. Губарев смутился чуть ли не больше всех.

Член Военного совета нашел наше помещение недостаточно уютным и посоветовал оклеить стены бумагой. Приказал Плеушенко снабдить всех одеялами и постельными принадлежностями. Одеть меня в зимнее — сшить, если нужно, гимнастерку из двух-трех. Настанет ли время, когда не нужно будет стоять перед генералами навытяжку?

***21 января***

Вчера Губарев рассказывал нам о первых днях войны. Его часть была в Литве, он редактировал дивизионную газету.

Страшный, внезапный удар немцев. Все растерялись, оглоушены. Хаос. Дивизия окружена, генерал, командовавший частью, убит, комиссар и начподив исчезли неизвестно куда. В лесу, в овраге все собрались — что делать? Куда идти? Какой-то капитан берет на себя командование

дивизией, инструктор по информации вызывается стать комиссаром. Идут по шоссе. Кругом все горит, пожары. Брошенные машины, орудия, конские трупы. Пятая колонна: то и дело ракеты, бросают откуда-то гранаты в машины. Двух неизвестных мужчин поймали и расстреляли тут же на месте. Бомбежка. Парашютные десанты. Люди рыдают, сходят с ума. Сумасшедший врач — ему кажется, что он уже в плену. Пришли наши танки и моточасти — веселые, уверенные, танкисты с гармошками. Двинулись навстречу немцам и полегли все до одного.

Ночью переправа через бурную реку. Пушки на руках. Вода уносит людей, лошадей, каждый заботится сам о себе. Переправились на тот берег — и дивизия растаяла. Совершенно голые бойцы, кто пешком, кто на лошади — белье их унесло водой.

И все же, несмотря на панику, уверенность в победе не покидала людей. «Ну, еще немного отойдем, соберемся с силами — а там будем наступать».

Об этом непременно надо писать. Крушение иллюзий, горькое и тяжелое похмелье, и возникновение новой армии, новой России, решившей бороться за свое существование. Великий перелом.

Письмо от Кирочки с новогодним поздравлением. Только сегодня получил. Пишет, что ее хотели отправить на фронт, но сейчас получила бронь. Очень хорошо. В армии слишком много девушек. Сплошной бардак. Молоденькой девушке не место на фронте среди солдатни. А все-таки дочка у меня неплохая!

Газета наша по-прежнему сера и скучна. Печать провинциализма. Карлов боится улыбки и живого слова. Отдел юмора (это по ведомству Москвитина) появляется очень редко. Мои «эренбурговские» фельетоны печатаются нехотя.

***23 января***

В свободные часы, в перерывах между солдатскими анекдотами и такого же рода остротами, говорим о перспективах войны. Настроение приподнятое. Мы уже избаловались: каждый вечер ждали «последнего часа» — сообщения о новых взятых нами городах и крупных пунктах.

Рассуждения о будущем устройстве Европы. Возможна ли социальная революция? Я первый высказал предположение, что сейчас не исключена возможность своеобразной диффузии — каких-то новых форм государственного устройства, постепенного перерастания западноевропейской

демократии в советские республики. Два года назад эта точка зрения была бы расценена как контрреволюционная ересь. Сейчас наши редакционные политики вполне согласились со мной.

Что осталось от большевистской доктрины? Рожки да ножки. Мне кажется, что партия, выполнив историческую роль, теперь должна сойти со сцены. И сходит уже. Мавр сделал свое дело. Война ведется во имя общенациональной, русской, а не партийной идеи. Армия сражается за родину, за Россию, а не за коммунизм. Вождь и народ, Сталин и Россия. Вот что мы видим. Коммунисты всего-навсего организующее начало. Стоит ли вступать в партию?

Полное затишье. Даже артиллерии не слышно. Зима стоит мягкая, легкие морозы.

Наше однообразное существование было вчера нарушено приездом артистов из Свердловска. Выступали у политотдельцев. Просторная изба была битком набита. Артисты едва могли повернуться. Скетчи, пенье под аккордеон, литмонтаж. Потом по всей Баталовщине только и было разговоров. Особенно большое впечатление произвела безголосая, но хорошенькая и пикантная опереточная певица. Все в нее влюбились.

Рокотянский, вернувшись из лыжного батальона, сообщил, что оттуда перебежали к немцам пять человек, во главе с младшим командиром. Бывшие спецпереселенцы, раскулаченные. Значит, немцы осведомлены о перемене дислокации войск, а возможно, и о готовящемся наступлении.

***25 января***

Все то же затишье. Похоже, что наступление отменяется. Вчера зашел капитан из танковой бригады. Бригада в составе 1-й Ударной сражалась по ту сторону Демянска. Итог: все 48 танков погибли. Одни расстреляны, другие завязли в болотах. Мы подбили всего четыре немецких танка. Сейчас бригада совершенно лишилась материальной части.

Такая же судьба постигла другую танковую бригаду. Танкисты, по словам капитана, сражались геройски, но не поддержала пехота. Обычная картина.

Вопреки обыкновению, совсем не было видно немецкой авиации. У нас, кроме танков и дальнобойной артиллерии, были и «катюши», и новые машины того же типа, но еще более эффективные. Они уже получили кличку «борис» и «иван».

И тем не менее разгром двух бригад и срыв

наступления.

А этот удар, говорят, был связан и с наступлением нашей армии.

Заколдованное место наш Северо-Запад. На других фронтах окружаем целые армии, берем город за городом, под Ленинградом прорвали линию железобетонных дзотов, а здесь целый год топтание перед каким-то Демянском. В чем дело? Бездарное командование.

А у бойцов уже создалось впечатление неприступности Демянска. Апатия, безнадежность. Все равно, дескать, ничего не выйдет, нечего и требовать.

Мы в редакции горько острим:

— За что нас хлебом кормят?

Чего доброго, могут расформировать армии Северо-Западного фронта как не отвечающие своему назначению.

Москвитин горячо советует мне писать роман, темой которого явится мой первый брак, судьба Киры и четы Савченко.

В самом деле, над этим нужно подумать.

А после, если буду жив и здоров, приступить к работе над романом специально о войне — продолжением «Родной земли».

***26 января***

Наступление на нашем участке отменено. Про Короткого, нового командующего, говорят, что он бережет людей, зря в огонь не лезет. Редкая у нас черта.

Баталовщину редакция покидать не собирается. Цитрон занялся грандиозным строительством в нашей избе: сооружает двухъярусные койки.

А ведь еще на днях было распоряжение держать свои вещи наготове.

Волшебные лунные ночи. Сине-белые шапки изб, искрящийся снег, редкие тени. Звон и скрип снега под ногами, полозьями саней, лыжами. В такую ночь калядовали гоголевские парубки и девчата.

Каждый вечер мы с нетерпеньем ждем «последнего часа», а затем толпимся перед большой картой, висящей в нашем доме. (Он получил название дзота № 2.) Заключаем пари, какой город завтра будет взят. Вся страна сейчас с таким же нетерпением ждет сообщений Совинформбюро. Главное командование применяет немецкую тактику: клещи, клинья, обход и окружение больших городов. Но глядишь на карту — и страшно становится. Впереди еще сотни и сотни населен-

ных пунктов, и каждый приходится вырывать с кровью. Сколько, наверное, жертв! Немцы сопротивляются, как дьяволы.

А все-таки придет время, когда мы будем гнать их как баранов.

Спорим, вступят наши в Берлин или нет. Я думаю, что до этого дело не дойдет.

Получил наконец брюки моего размера. Предмет общей зависти. Гимнастерку мошенник Плеушенко пока отказывается шить, ссылаясь на особый якобы приказ: не производить пошивок, пока не будет выяснено, шить обмундирование по старому или по новому образцу. Врет, конечно, отрез ему нужен для каких-то жульнических махинаций.

***27 января***

Кажется, я ошибся. Наступление — генеральное — все же будет. Прибыли крупные пополнения: две бригады, несколько полков и, самое главное, 1-я Московская гвардейская минометная дивизия. Говорят, залп этой дивизии страшен: 1000 мин в минуту. Скорее всего, это не «катюши», а «борисы» — мины фугасного действия оставляют громадные воронки.

Да, не завидую демянским немцам.

Всю ночь под окнами нашей избы хруст шагов, визг и свист полозьев, лыж. Откроешь картонный щит, которым замаскировано окно, — темные силуэты бойцов, возы, пушки, тягачи.

Войска идут на фронт.

Ребятам, посланным на передний край, приказано сидеть там, хотя бы пришлось ждать месяц. Я, Москвитин и Рокотянский — резервная группа. Надеюсь, когда начнутся решающие события, и я попаду в самую гущу.

А пока договорились с Карловым относительно посещения летчиков. Они расположены далеко от нас, надоело писать только о пехоте.

Ликвидация Сталинградской группировки закончена. Из 220 тысяч осталось лишь 12, которые еще сопротивляются.

Последнее сообщение: истреблено 40 000, взято в плен 28 000. Одних танков захвачено 1300.

Сталинград стал для немцев, итальянцев и румын гигантской могилой. Они получили то, чего добивались. Это настоящие, блестяще осуществленные Канны.

Поколение немцев запомнит нашу Волгу и наш Сталинград.

***29 января***

По ночам через Баталовщину густо движутся войска. 241-я с крайнего правого перемещается на крайний левый фланг. Днем белая пустынность и тишина. Но немцы все же что-то чуют. Опять появились воздушные разведчики. Мы уже отвыкли от завывания моторов.

Послал сегодня Берте вызов на работу (в госпиталь 2202) и литер. Вчера специально ходил к Милославскому. Литер он организовал тут же, в пять минут. Старик, как всегда, был очарователен. Баня, обед вдвоем, стопка рябиновки.

Вернулся милый Фрадкин из Москвы. Привез мне письмо от мамы. Тяжело читать письма стариков. От посылки в восторге, трогательно благодарят. Я послал концентраты (пшено), копченую колбасу, сливочное масло, две банки консервов, немного сахару, печенье, пачку табаку. Мама пишет, что «полакомились» кашкой — сварили, но только раз, а в дальнейшем будут делать из пшена суп. (Нам эта каша почти опротивела.) Из колбасы делают котлеты, примешивая картофельную кожуру. Изобретательность нищеты. Но ни слова жалобы на тяжелую жизнь. Героические у меня старики.

Здоровье у обоих подорвано. Мама то и дело

прихварывает. Папа уже не работник. Последствия цинги у него не проходят. Фраза в письме: «Если мы переживем эту зиму».

В Москве тридцатиградусные морозы. Цены на рынке: хлеб — 100 руб., картошка — 70, масло — 120 (!). Послал дополнительно 500 руб. на масло, но ведь это капля в море. Написал заявление в ССП и письмо Скосыреву, чтобы дали старикам право пользоваться иждивенческими обедами. Это гнусное учреждение, помесь лавочки, богадельни и борделя, должно наконец проявить внимание к писателю-фронтовику.

Когда читаешь письма стариков, стыдно становится. Ведь мы на фронте буквально заелись.

Отдел пропаганды (кажется, инициатива Шмелева) поручил мне организовать у Милославского для отдыхающих командиров литературный вечер, а также литературно-художественный журнал.

Что ж, займемся.

***30 января***

Немецкий шестиствольный миномет бойцы прозвали «дурило». У нас в редакции в ходу словцо «нюанс»: «Сварим нюанс (кашу или суп)», «Это нюанс» (по поводу сообщения о новом занятии города).

Неистово материмся. После войны трудно будет отвыкать.

Работы мало. Будь у меня готовый план большого произведения — можно было бы начать писать. Но еще не созрело. Да и лень вымучивать из себя.

В мирное время я работал куда больше и усерднее. Правда, и обстановка для работы была не та: шум, толчея, вечно на людях, на виду. Трудно даже сосредоточиться.

Окружаем, бьем, захватываем в плен десятки тысяч. Даже немцы — и те стали сами сдаваться батальонами. Удары по всему фронту. Это начало конца, но вопрос в том, сколько потребуется времени.

Гитлеровская шайка будет защищаться отчаянно.

## Февраль

***1 февраля***

Литературный вечер не состоялся. Его заменил вечер танкистов. Тем не менее Милославский прислал за нами с Москвитиным лошадь. Мы попали на настоящий довоенный банкет. Столовая вся была занята столиками, за которыми

густо сидели молодые здоровые ребята. Шмелев держал речь.

Это была та самая бригада, которую недавно разгромили. Часть танкистов находилась в Доме отдыха, и Шмелев приехал сюда награждать. Ордена и медали получили 40 живых и 20 мертвых.

Милославский блеснул. Ужин был роскошным. Водка с закуской: украинское сало, американская колбаса, капуста с клюквой. Суп, мясо с вермишелью, чай. Пили в меру, но настроение сильно поднялось. Командир танковой бригады подполковник Пшенецкий, высокий, веселый, краснощекий украинец, взял роль тамады, острил, и довольно неплохо. Пели хором — вся столовая гремела, в табачном дыму расхаживали и размахивали руками добровольные дирижеры. Было хорошо, весело, дружно. Вспоминали павших товарищей, но как-то спокойно, без особой грусти. Когда Пшенецкий объявил, что бригада получает материальную часть, притом отечественные танки, и скоро снова пойдет в бой, — слова эти были встречены овацией. Главное, наши танки, а не английские «валентины».

Мне было очень хорошо среди этих бесхитростных, лихих и славных ребят. Настоящая дружеская, боевая атмосфера. После войны,

наверное, я буду скучать, когда вернусь в литературную среду. Насколько эта обстановка и эти люди были мне ближе и роднее! Свои ребята.

Да и меня знали здесь. Со мной здоровались, заговаривали, и я только после с трудом вспоминал, где и при каких обстоятельствах познакомился с данным человеком.

Комиссар бригады подполковник Витрук крикнул мне, сидя за ближайшим столиком:

— Присоединяйтесь к нам, товарищ Фибих! У нас столько для вас материалов.

Подошел добрейший Милославский, сказал, что он пьян, и с отеческой нежностью обнял и поцеловал в голову юного Зингермана, который тоже с нами приехал. Зингермана он видел первый раз. Потом я видел неутомимого старика среди сидящих — обнимал, похлопывал по плечу молодых командиров. Все это шло от души, от большого его сердца. Зингерман, крепко выпивши, потом все время твердил, что он влюбился в Милославского.

И все же я не мог отделаться от мысли, тяжелой и горькой: вряд ли следовало всем этим людям так веселиться после того, что произошло с ними. Не я один так думал. Москвитин, сидя рядом, шептал мне:

— Самое страшное — это то, что они героически погубили все свои танки, а немцы, дрожа от страха, уничтожили их материальную часть: и еще страшнее то, что сейчас где-то в другом месте тоже пьют и говорят об этом, и веселятся — и с гораздо большим правом.

Да, чувство внутренней глухой неловкости не оставляло меня.

Хотелось понять, почему они забыли то, что произошло с их бригадой, как могут так беззаботно веселиться. Можно подумать — торжество победителей. Что это — русская беспечность? Или настолько велика уверенность в победе, что даже такой страшный разгром воспринимается как нечто мимолетное, случайное?

Потом в недавно отстроенном клубе выступала агитбригада. Пение, декламация, скрипка, губная гармошка, ритмические танцы, коротенькая пьеска, лезгинка и азербайджанская пляска, два циркача: акробат и жонглер. С каким живейшим удовольствием принимали это зрители, какой детский смех прокатывался в тесно наполненном доме! Рядом со мной сидел здоровый курносый дядя в темном от грязи полушубке. Он переживал происходившее на сцене (угол зала, отгороженный самодельной занавесью) с непо-

средственностью ребенка.

***2 февраля***

Узнал очень неприятную новость. Наступление сорвано. Оно должно было начаться этими днями, но все секретные приказы и планы попали в руки врага. Произошло это так.

Какой-то майор, работающий в штабе армии, приехал на передний край. В то время когда майор ходил по передовой линии, на него напала группа немецких разведчиков, находившаяся в засаде, и живым утащила к себе. Попытки отбить его ни к чему не привели. У злополучного майора находились все секретные бумаги. Спрашивается, случайно ли это произошло? Весьма возможно, что немцы заранее знали о приезде майора. Шпионаж у них превосходный. А немецкие разведчики, к слову сказать, действуют не хуже, если не лучше наших. То и дело забирают живьем бойцов и командиров, пулеметы.

Теперь в руках немцев все наши планы, вся дислокация. Из майора, захваченного в плен, они сумеют выжать все что нужно — в этом сомневаться не приходится. Предстоит полная перестройка плана наступления. Это лишний месяц-два. А там подоспеет весна, распутица. Фатально не везет Северо-Западному фронту.

Ночью у нас было ЧП. Часа в три ночи вбежал старшина с криком:

— Тревога!

Горела баня, единственная на всю деревню. Выскочили, быстро оделись, побежали к месту пожара. Огонь только разгорался. Розовый свет, клубы дыма, летучее пламя, вырывающееся из-под застрех, из двери. Сбежалась вся поднятая на ноги Баталовщина. Забрасывали огонь снегом, заливали ведрами воды, растаскивали примитивными баграми крышу. Цитрон распоряжался, командовал, «функционировал». Отстоять баню, конечно, не удалось.

***13 февраля***

Десять дней был в командировке. Вместо летчиков по приказу начальства попал в только что пришедшую к нам 348-ю дивизию. Дивизия была в боях подо Ржевом. Формировалась в Чкаловской области. Общее впечатление — серость. Рокотянский, которого послали со мной, хорошо сказал:

— Мужики воюют.

Под деревней Урдом положили чуть ли не 80 % личного состава. Сейчас на 80 % дивизия состоит из киргизов, казахов, узбеков. Беда с ними. По-русски не знают, воевать не умеют. Их здесь называют «курсаки». (Курсак — живот

по-киргизски.) Рассказывают, что во время боя проголодавшийся киргиз хватается за живот и кричит:

— Курсак совсем пропал!

В 74-м полку, где мы были, за несколько дней стоявшие на посту курсаки подстрелили двух своих командиров.

В 72-м полку немцы ночью сделали налет и увели пятерых (!) бойцов. Говорят, это были националы.

В том же 74-м расстреляны за членовредительство трое курсаков.

Ночью, когда мы были в 1-м батальоне, случилась тревога. В блиндаж вошел начштаба и сказал добродушному пожилому украинцу Палянице — нашему повару:

— Давай винтовку, нападение на «Дуб».

Взял, помчался.

«Дуб» было боевое охранение. Утром я узнал: несколько немецких разведчиков подползли к нашей траншее, но были замечены. Сержант отбил нападение гранатами.

— Одной рукой бросал гранаты, — рассказывают про него, — другой бил по головам курсаков. Уткнулись в землю, не хотели выходить.

А не будь этого сержанта?.. Снова убеждаюсь,

как легко немцам прорвать нашу оборону.

Нападение отбили. Пострадал пулеметчик — ранен в руку.

Несколько дней прожили мы в 1-м батальоне. Командир — капитан Зорин. Здоровый мужик, короткий вздернутый нос, глаза тупые и шалые. Полуграмотный. По его словам, до войны был директором швейной фабрики в Смоленске. Другие говорят — шофером. Последнее более вероятно. Маленький Чапаев, взявший от Чапаева все отрицательное. Человек храбрый, но храбрость дурацкая. Под Урдомом положил почти весь свой батальон. На своего заместителя по политчасти, который сказал ему, что командир должен руководить боем, а не лезть вперед, донес, что тот трус. Собственноручно избивает в кровь и расстреливает красноармейцев. Хотели отдать его под суд, но, к сожалению, не сделали этого.

Новый, назначенный при мне начальник штаба — темноглазый старший лейтенант, совсем мальчишка, не по годам только, а по всему внутреннему складу.

Не завидую я бедным курсакам.

Дивизия стояла за Молвотицами, на месте ушедших отсюда 166-й и 241-й. Нашей штабквартирой мы с Рокотянским избрали знакомое,

полуразрушенное сейчас Б. Заселье. Но какой дом выбрать? Сначала решили было обосноваться в клубе, переночевали вместе с дивизионными музыкантами; однако, когда вернулись назад, клуб оказался переполненным всяким народом. Пришлось искать другое пристанище. Таким оказалась крайняя избенка, где я раньше останавливался с Москвитиным. Там и сейчас жили двое патрульных — военная власть и гарнизон Заселья, — пожилые добродушные «славяне», — но эти патрульные были уже новые. Документов наших они не проверили. Приняли радушно. Стряпали для нас и охотно делились мороженой картошкой. Понятно, и мы в долгу не оставались. Я в таких случаях щепетилен.

Мое возвращение на КП дивизии немцы приветствовали артиллерийским салютом. Только что, усталые, доплелись мы до леса и вошли в переполненный народом блиндаж, как рядом стали ложиться снаряды.

Немцы обстреливали КП из дальнобойных пушек. Нащупали! Этого раньше никогда не было. Вот он, результат похищения майора с секретными документами! Рокотянский присел на корточки под стеной. Я не двигался, сидел по-прежнему.

— Отойдите от окошка, — посоветовали мне.

Неприятные это минуты, нужно признаться. Короткий воющий свист, затем оглушительный, прокатывающийся по лесу треск. Ждешь: следующий снаряд ударит именно сюда. Зато какое облегчение, когда разрывы начинают удаляться — немцы перенесли прицел. А каково бойцам, лежащим в цепи на открытом поле, по которым бьют такие снаряды?

Фашисты дали 10–12 выстрелов, и обстрел прекратился. Несколько снарядов не разорвалось — только земля вздрагивала. Вошел боец.

— Лошадь убило.

Это и были все потери.

Лошадь с вырванным животом лежала метрах в тридцати от блиндажа. Ее прирезали. После наши хозяева-«славяне» варили у себя в избе конину. Предложили и нам, но мы отказались.

В Заселье я встретил Фрадкина и работников из 7-го отдела. Около клуба стояла их звукоустановка — зеленый шестиколесный автобус с двумя рупорами на крыше. Фрадкин приехал давать «концерт». Тяжелая и опасная работа. Как правило, немцы выслушивают радиопередачу спокойно, но затем начинают неистово обстреливать. Как я узнал впоследствии, после

этой передачи они выпустили до сотни тяжелых снарядов. Однако накрыть звукоустановку им ни разу еще не удалось.

Фрадкин сообщил, что Галя вместе с Зингерманом уехала на несколько дней в Москву. Девушка добилась все-таки своего.

Несколько дней прожили в Заселье, посещая КП дивизии — главным образом, чтобы узнать, какие города еще взяты, и получить продукты в АХЧ[33]. Я дал по телеграфу Губареву пять, шесть заметок, конечно, не считая материала, собранного по заказным темам. Странная и своеобразная, если посмотреть со стороны, это была жизнь. Маленькая, бедная избенка, одно окно забито досками, другое сплошь из осколков — пропускает мутный свет. В углу покосившийся двойной образ. Половицы ходят под ногой, точно клавиши. Печь растрескалась — когда топят ее, дым ест глаза. Вечером «славянин» маскирует единственное окно немецкой плащ-палаткой и зажигает тусклую коптилку. От копоти и дыма в комнате густая мгла.

Спишь на русской печке, постелив овчинный полушубок. Десять дней я не раздевался. За окном завывает февральская вьюга. Ветер насквозь продувает старую, щелястую избу — сколько ни

топи, холод собачий. Скука, тоска.

От нечего делать зайдешь в клуб. Там репетиция. Агитбригада разучивает песни, с которыми будут выступать. Мужской или женский голос без конца под баян твердит одну и ту же музыкальную фразу. Из-за стены — в соседнем помещении находится музвзвод — доносится валторна или тромбон.

В двухэтажном бревенчатом доме, одном из немногих уцелевших, расположилось оставшееся от ушедшей 241-й дивизии хозяйственное подразделение. Сидели, ждали, когда за ними приедут. Раза два мы там побывали. Рокотянского привлекали девчата-прачки. Их там было пятеро, почти все из Демянска. Жили с бойцами в общей большой комнате на втором этаже. Спали на общих нарах. Не через одни мужские руки пройдут эти девчата. Принимали нас радушно. На фронте бойцы всегда рады свежему, запросто зашедшему к ним человеку, в особенности если этот человек старший командир. Засыпали нас вопросами о событиях на фронте. Жарко топилась печь, сделанная из железной бочки из-под горючего, на столе тускло мерцала коптилка. Мы сидели у огня и беседовали. Хозяйственники — первые политики. Оно понятно — газеты первым делом

попадают к ним. До тех, кто в траншеях, большей частью не доходят.

В следующий наш приход были устроены танцы. Появился баян. Девушки сначала жеманились, потом выскочила самая бойкая, маленькая, в черном свитере, пошла по кругу, топоча валенками и пронзительно выкрикивая частушки. За ней и другие. Мне понравилась двадцатилетняя синеглазая Женя, самая, несмотря на миловидность, кажется, скромная из всех. Очень долго не хотела танцевать.

— Да у меня не выйдет.

Потом разохотилась, стала танцевать с подругой. Плясал и Рокотянский, подцепив одну из девушек.

История Жени. Из Демянска, отца нет, мать осталась у немцев. Жили в колхозе. Работает прачкой, в надежде на то, что вот-вот освободят Демянск и она вернется к матери.

— Так всю войну и простираю, — сказала девушка с грустью в голосе. Я посоветовал ей бросить это занятие, поступив в госпиталь, учиться, стать сестрой или фельдшером. Вероятно, впервые так с ней говорили.

Здесь мы получили чистое белье в обмен на свое грязное. «Славяне» организовали баню — мы

неплохо помылись. Сложная банная проблема была разрешена. И вовремя — осматривая сорочку, я нашел двух «автоматчиков» явно инородного происхождения.

На наш «корреспондентский пункт», стоявший у дороги, на краю деревни, то и дело заглядывал прохожий и проезжий люд. Погреться, а то и переночевать. Две ночи провели с нами двое лейтенантов. Только что окончили Лепельскую военно-пехотную школу и впервые на этом фронте. Серьезные, подтянутые ребята.

— Самое страшное — это как я буду вести людей в бой, — несколько раз бросил один из них. Эти — не чета Зорину. Командиры совсем другой складки.

С ними едва не сыграли скверную штуку. Командир их подразделения пустил лейтенантов не только без провожатого, но и дал неправильный маршрут, и в довершение всего указал деревню, давным-давно занятую немцами. Если бы не случайный прохожий, встретившийся им у самого переднего края, лейтенанты, совершенно безоружные, сами бы явились к немцам.

Возмутительная русская беспечность и безответственность. Один из этих славных ребят — фамилия его Овчинников, в прошлом он ди-

ректор средней школы, туляк — скромно сказал, что на фронте впервые. Однако оказалось, этот скромник долгое время работал диверсантом в немецком тылу, в брянских лесах. Рассказывал нам массу интересного о своей работе, о технике взрывов железнодорожных путей, о немцах, среди которых жил, ежеминутно рискуя жизнью. Книгу можно писать о таком человеке. Прощаясь, я дал ему свой адрес и просил держать со мной связь. Думаю, что это останется гласом вопиющего в пустыне.

Потом заночевал у нас боец, потерявший свою часть. Курносый, сиволапый. Из Кировской (Вятской) области. Неграмотен. Кто такой Сталин, чего хочет Гитлер — не мог нам ответить. О событиях под Сталинградом ничего не знает. Рокотянский — наивная душа и человек глубоко штатский — был поражен, что у нас есть еще такие бойцы, и негодовал по поводу плохой политработы в этом подразделении. Мне этот «славянин» показался подозрительным, и я спросил у него документы. Их не оказалось — сдал, по его словам, старшине. Какой полк? «Славянин» не знал. Он не знал ни своей части, ни фамилии ротного командира, ни пункта, куда они направлялись, ни знаков различий. Глухая деревня! В лучшем случае это

был дезертир.

Тогда я приказал одному из патрульных отвести его в соседнее Пупово, километра за три, и сдать коменданту. Подозрительного парня повели.

Прошел час, другой, третий — патрульный не возвращался. Стало смеркаться — то же самое. Мы забеспокоились. По времени наш хозяин давно уже должен был, сдав арестованного, вернуться домой. Кто знает, может быть, по дороге этот подозрительный малый хватил его прикладом своей винтовки и скрылся? Сильно волновался и товарищ патрульного.

Вечером мы пошли в музвзвод, и я, вызвав начальника, распорядился, чтобы тот немедленно послал двух бойцов в Пупово — проверить у коменданта, приводили к нему арестованного или нет. Мой музыкант нехотя, со всякими оговорками, наконец выполнил приказание.

Часа через два мы узнали, что все обстоит благополучно. Патрульный жив и невредим — просто задержался в Пупове. Арестованный действительно потерял свою часть, и она как раз остановилась в этой деревне. Комендант просил передать нам благодарность за заботу о его бойце.

Мы вздохнули с облегченьем.

На обратном пути видели много войск. По шоссе, ведущему за Молвотицы, в район действий 1-й Ударной, непрерывно везли орудия разных калибров, то в конной упряжи, то прицепленные к американским шестиколесным автофургонам. Грузовики с пехотой и с минометчиками, санные обозы, броневики, даже танки. Мы с Рокотянским радостно переглядывались: наступление все же готовится. Впервые увидели двух командиров с погонами.

Часть была, видно, совсем новая. Большинство — молодежь. Никакой воинской выправки. Никто за все время этого пути не приветствовал нас. Двух-трех бойцов, проходивших мимо, засунув руки в карманы, мы остановили и сделали замечание.

Большую часть пути, от Молвотиц до села Рвеницы, удалось сделать на машине. В Рвеницах слезли, пошли пешком. Погода омерзительная: ветер, талый снег, то дождь, то колючая снежная крупа. На дороге лужи. Валенки у нас промокли насквозь.

Зайдя в Игнашовке в 7-й отдел, узнали от успевшего уже вернуться Фрадкина важные новости. Армия наша готовится к наступлению, но только

с другого участка. Будет драться совместно с 1-й Ударной. Туда, за Демянск, уже выехали командующий, почти весь политотдел, хозяйственники. Редакция тоже было собиралась выехать, уже погрузились на машины, но после решение это было отменено. Пока по-старому в Баталовщине. На нашем фронте три маршала: Тимошенко, Жуков и Воронов[34].

Ничего мы этого не знали, сидя в Заселье.

Как обычно, в редакции меня ждали неприятности. Во-первых, уехавший в Москву Зингерман «забыл» взять приготовленную для него посылку. Когда-то сумею я теперь подбросить старикам продовольствие!

Во-вторых, мне и Рокотянскому вручили приказ с выговором от Карлова, за отрыв от редакции, за неповоротливость и за отсутствие информации о захвате «языка». Справедливым в этих обвинениях было лишь то, что мы действительно не держали с редакцией телефонной связи. Что же касается «языка» (событие!), то вина падает не столько на нас, сколько на тупоголовых дивизионных политотдельцев, даже и не подумавших нас об этом информировать!

А в общем, если бы только знал наш «военачальник» (у нас его так называют все — и не без

иронии), как я равнодушен и к его милости, и к его гневу и как смешны мне эти выговоры! Куда более волновала меня боязнь, что в связи с переменой дислокации госпиталь Милославского тоже снимется с места, что редакции придется уехать отсюда за сотню километров и что, в связи со всем этим, путь Берты, готовой вот-вот приехать, становится еще более длинным и сложным. Как-то она будет теперь добираться? Губарев встретил меня с лисьей приветливостью. Конечно, выговор в значительной степени дело его рук.

Снова, после очень долгого перерыва, в небе появились немецкие самолеты. Враг чует недоброе и нервничает. Будучи в 74-м полку, ночью я слышал бомбежку — бомбы три сбросил немец где-то поблизости. Бомбил дороги.

Игнашовка и Баталовщина были обстреляны с воздуха из пулемета.

***14 февраля***

Очень тянет писать настоящее. Работа в убогой нашей газетке никак не может меня удовлетворить. Но что писать? Роман или пьесу? Еще не решил. Пока напишу цикл «Фронтовые новеллы».

***15 февраля***

За один день взяли Ростов и Ворошиловград. Северный Кавказ очищен, за исключением Новороссийска. Харьков в клещах. Падение его — вопрос двух-трех дней.

Дела на фронте блестящие.

Гитлер спешно мобилизует резервы. Что-то покажет лето? Во всяком случае, к концу этого года война кончится.

Кажется, сегодня начинается генеральное наступление, и у нас Карлов вылетает на аэроплане в район операции. Москвитин, Бахшиев, Денисюк, Прокофьев, а также Пантелеев и Весеньев давно уже находятся там. Ждут. Эта идиотская командировка в 348-ю задержала меня здесь. Я не увижу самого интересного.

Вчера вечером некоторые из товарищей получили наконец погоны. Произошло это буднично — просто Карлов вызвал их к себе и вручил. Вообще, переход армии к погонам смазан. На три четверти эта реформа теряет свой смысл и значение. Разумнее было бы приурочить это к 1 Мая, к выдаче нового летнего обмундирования или хотя бы к 25-летней годовщине Красной армии. Ненужная суетливость и спешка.

Губарев и Эпштейн целый вечер мучились пришивкой погонов к гимнастеркам. А надев их — сразу превратились в деникинцев.

Цитрон убит, говорит с дрожью в голосе. Полагающиеся ему (так же как и мне) интендантские погоны, во-первых, еще не получены, а во-вторых, имеют довольно невзрачный вид. Человек действительно переживает. Детское тщеславие этого плута поистине трогательно.

Вообще, погоны вызывают в армии чисто ребяческое любопытство. Новые цацки! Недоумевают лишь старые солдаты:

— В семнадцатом году мы срывали с офицеров, а теперь надеваем?

***16 февраля***

Вчера началось наступление нашей армии. Телеграмма от Прокофьева: продвинулись на несколько километров, взяли две деревни. 41 пленный, в том числе офицер. Наступление продолжается.

По нашим масштабам, не так уж плохо. Очевидно, на сей раз дело пойдет успешнее.

Немного досадно, что я сижу здесь, а не там, в центре событий. Если б не приезд Берты, отпросился бы у Карлова тоже поехать.

Специальный номер нашей газеты посвящен

наступлению. Мне поручили написать передовицу. Это вторая по счету моя передовица. Карлов, как и полагается армейскому редактору, ни разу не написал. Передовицы пишут все, кроме того, кому полагается их писать. Странная традиция.

Письма от папы, мамы, Берты, Ксаны, Киры, Ади, Веры. Вера и Ксана, будто сговорившись, просят устроить их работать на фронте. Жизнь в тылу все тяжелее. Папа пишет: «Если бы не дети, такие благородные, внимательные и исключительно честные, то старички твои не дожили бы до конца войны».

Доживут ли еще?.. Трогательно утешает меня в связи с литературными неудачами. Заканчивает: «Молюсь за тебя ежедневно».

Я послал заявление по поводу своей книги в ЦК партии Александрову. Впрочем, особенно надежд не возлагаю.

От Ади теплое письмо! Видно, тронут был тем, что я ему писал. На Юго-Западном фронте работает ординатором. Рвется на передовые.

***17 февраля***

Взят Харьков.

Завтра еду на передовые.

Произошло это быстро. Попросил в разговоре

Карлова направить меня туда. «В такое время — и сидеть здесь!» «Преступление», — подтвердило начальство и тут же распорядилось, чтобы я ехал.

Километров полтораста придется сделать. Говорят, туда все время идут машины. Жизнь в лесу, в шалашах. Наше наступление развивается. Продвинувшись на 15 км, заняли всего девять населенных пунктов. Линия обороны прорвана. Если дальше так пойдет, скоро, чего доброго, покончим с демянским гнойником. А там Старая Русса, Псков, Новгород и выход в Прибалтику.

## Март

***4 марта***

Умер папа. Он не пережил войны и не дождался полной победы. Сбылись мои опасения. Точечное кровоизлияние в мозг, артериосклероз. Умер тихо, по-видимому, во время сна, в 5 часов утра. Я перечитываю последнее его письмо. Сколько нежности и благодарности ко мне! Он утешал меня по поводу моих литературных неудач. Он верил непоколебимо в мое литературное будущее. Не дождался.

Страшный, проклятый закон природы — смерть. Сердце человеческое никак не может

примириться с уходом из жизни самых родных, самых близких существ. Нет больше доброго, ласкового, любящего моего папы. Последний раз я его видел ночью, на перроне вокзала — он провожал меня. Мог ли я предполагать, что вижу его в последний раз, что жить осталось ему только три месяца?

Это был вечный труженик, человек кристальной честности, исключительного благородства, неисправимый оптимист. «А может, это и к лучшему», — говорил он всегда, даже в самую тяжелую минуту.

Ровно три года назад мы хоронили бабусю. Был лютый мороз, сквозь березы кладбища желтел ледяной закат. Стоя у свежей могилы, отец сказал задумчиво и печально:

— Чья теперь очередь?

Не забыть мне этих слов.

Уходят мои дорогие старички. Нет больше бабуси. Нет теперь папы. Одна бедняжка мама осталась. Каково сейчас ей?

О смерти отца сообщил Витя[35]. Он настоял на том, чтобы из Свердловска его перевели в Москву. Цель его была реальная помощь родителям.

«Прибывши в Москву, — пишет он, — и с радостным волненьем открывая дверь родительского

дома, я увидел дорогого отца — на столе, а рядом с ним убитую горем маму».

Папа скончался 17 февраля.

Счастье, что именно в этот трагический момент на помощь к маме подоспел Витя. Иначе я бы места себе отныне не находил от тоски и беспокойства за мать.

Это было первое письмо от брата за все время войны и первое же после долгого молчания моих стариков. Впервые так откровенно, по родному, так тепло писал мне Витя — необычайно замкнутый и скрытный обычно человек.

В юности я не ладил с отцом. Одной из основных причин этого была разница в наших политических убеждениях. С годами становишься объективнее и даешь более трезвую оценку людям. Только в зрелом возрасте я по-настоящему оценил отца и понял, какой это замечательный, редкий человек. Кстати, война окончательно примирила его с существующим положением и сделала поклонником Сталина.

А как он жил моими интересами, как гордился успехами своего сына! Как втайне мучило его мое заикание. Он верил, что с годами оно пройдет.

С каким живым интересом следил за всеми перипетиями рождения «Снегов Финляндии».

Как гордился премьерой (серой и незаметной премьерой, к слову сказать). С какой гордостью в первый мой приезд с фронта сказал, видя на мне «шпалы»:

— Капитан!

Никогда я не забуду своего дорогого отца. Пусть порукой этому будут слезы, залившие стол в блиндаже, где я сейчас пишу эти строки.

Трудно писать в данную минуту о чем-нибудь ином, кроме того, что неотвязно стоит в голове. Но записать нужно, иначе забуду много важного.

Несколько дней назад вернулся с передовой.

Наступление в разгаре. Мы на новом месте. Демянск в наших руках. Но эта победа — условная победа. По существу, немцы сами очистили весь демянский плацдарм, опасаясь повторения Сталинградского разгрома и стремясь увести 16-ю армию за Ловать. Что им и удалось. Попытки нашей 53-й, 1-й Ударной, 34-й и, кажется, 11-й армий перерезать проклятую горловину и полностью окрутить немцев привели лишь к тому, что нам, ценой величайших потерь, удалось взять несколько совершенно сожженных деревушек. Основные силы немцы успели увести.

КП армии перебралось ближе к месту боев. Редакция послала меня туда. Предстояло сделать

путь свыше ста километров. Мне повезло. До Игнашовки подбросила редакционная машина, а там, прождав час около будки регулировщика, я уселся на машину, везущую снаряды, и доехал почти до самого места. На дорогах масса войск, артиллерии, танки. Все двигалось на фронт. Шофер, нескладный парень, заехал в сугроб и завяз. Это было в Молвотицах. Я обратился за помощью к танкистам — с горы, от разрушенной церкви, спускалась как раз колонна тяжелых танков. К нам задним ходом подошел танк, взял на буксир и мгновенно вытащил машину на дорогу.

КП расположилось в глубоком овраге, на дне которого подо льдом протекала Средняя Робья. Землянки, домишки, палатки. Знакомые лица. Жуткий жилищный кризис — негде ночевать. Корреспондент «За Родину» Златопольский, приехавшие кинооператоры. Говорят, тут же Кулик, экс-маршал. Генералов вообще много. Я, как и другие мои товарищи, поступил в распоряжение Прокофьева, начальника корпункта.

Москвитин, похудевший и почерневший, ходил героем. Командование танкового полка, где он был, представило его к награде за участие в танковой атаке. Участие заключалось в следующем: Москвитин вскочил в сани, привязанные

к танку, идущему в последних рядах, доехал до деревни Извоз, уже занятой нами, там соскочил и стал бродить по немецким блиндажам. Захватил кофе, лимоны, эрзац-бритву, еще какие-то трофеи. Танки тем временем прошли дальше — там попали под артиллерийский огонь. Сидя в траншее, Москвитин переждал обстрел, затем двинулся назад и сообщил командованию о положении. Вот и все. Он сам с подкупающей искренностью рассказывал нам обо всем.

— Чтобы я еще раз пошел в атаку? Нет, хватит.

Смесь авантюризма и расчета. Но тем не менее на груди у него блестит медаль «За отвагу». Хотели было представить даже к Красной Звезде, но армия не дала. На глазах Москвитина один за другим загорались подбитые немецкими снарядами танки. Очень много выведено из строя.

Свыше шестидесяти пленных взято. То-то работы 7-му отделу! Я присутствовал на допросе, который вел Фрадкин. Мы сидели в палатке, обогреваемой немецкой печкой, на КП. Немец в зеленой блузе с напуском, в штанах, спущенных на валенки, шапки нет, вокруг головы намотан зеленый шарф. Рыжеватая бородка, лицо открытое. Ничего специфически «фрицевского». Жил в Силезии, знает немного русский и польский. В

прошлом продавец магазина. Сначала назвался беспартийным, потом сам сказал, что член национал-социалистской партии. Вынужден был, дескать, вступить в нее. Как сдался в плен? Очень просто!

— Подошел русский танк. Высунулся из люка танкист, машет рукой и кричит: «Давай, давай». Я бросил винтовку и пошел. Иначе он бы меня застрелил.

Действительно, танкисты несколько человек взяли в плен таким несложным способом.

Интереснее был другой пленный, вернее, перебежчик, но на допросе присутствовать не удалось. Он австриец, коммунист. Принес письмо секретаря комсомольской организации к Дмитрову. Таких перебежчиков было двое. По распоряжению Горохова для них соорудили отдельную землянку. Ровно через час после моего прибытия на КП явился сюда Карлов. Краткое совещание. Военачальник похвалил Прокофьева за работу, выразил свое недовольство Пантелеевым, даже приказал ему вернуться назад в редакцию, а мне поручил дать серию очерков о героях.

Прокофьев направил меня в только что прибывшую нашу армию, 32-ю бригаду. Она была на Волховском фронте, дралась под Синявином.

Большего хаоса и беспорядка, чем в этой бригаде, я не видел. Тылы остались далеко позади, не было боеприпасов и продовольствия, а командование армии требовало немедленно вступить в бой. Все же на день отложили наступление. Тем временем подтащили боеприпасы. Новое горе: никак не могли наладить связь. Бились с этим почти сутки. Комбриг, подполковник Сухоребров, принявший, к слову сказать, меня очень приветливо, ходил мрачный, нервничал, волновался. Командарм крепко распек его, пригрозил даже расстрелом. Все здесь не клеилось и не ладилось. Придали бригаде танки — они сбились с маршрута, стали беспорядочно крутиться и фактически ничего не сделали. Подразделение бригады на поле боя смешалось с боевыми отрядами соседней 380-й дивизии, нарушили систему и порядок, все спутали.

Бойцы по два, по три дня не получали горячей пищи. Уже возвращаясь назад на КП, я встретил на лесной дороге прокурора этой бригады. Трясясь от негодования, он рассказывал о безобразиях в их медсанбате. На поле боя не было видно санитаров, раненые по многу часов валялись, истекая кровью. Прокурор грозился отдать под суд начсандива. Ленинградский писатель

Уксусов, с которым я познакомился здесь, рассказывал, что привезенным тяжелораненым целую ночь не оказывали медпомощи. Мы сидели с ним в палатке, среди раненых — они лежали на земляных нарах, как были, в валенках, шинелях, ушанках. Уксусов, симпатичный человек, служит в бригаде простым бойцом и специально пишет историю части. Не завидую я своему собрату.

Питался я эти дни кое-как. Сухоребров, угостивший меня в первый вечер салом, селедкой и стаканчиком водки, сразу же забыл о моем существовании. Конечно, человеку было не до того. Я болтался как неприкаянный, с чувством своей ненужности. Никто из политсостава не обращал на меня внимания. Две ночи я провел в шалаше, где жили бойцы комендантского взвода. Спал на снегу, у костра. Ничего, спать можно, только ноги стынут, даже в валенках! Во время сна сжег рукавицу, которой прикрывал от жара лицо. Рукавицы принадлежали Рокотянскому. Отсюда перебросили меня в 380-ю дивизию, тоже впервые влившуюся в нашу армию.

Предварительно, вернувшись на КП, побывал на совещании политработников! С докладом о задачах пропагандистов выступил приехавший с фронта Кульбакин. Со мной встретился привет-

ливо. Относительно книжки сказал, что она до сих пор находится в ГлавПУРККа, который ее маринует, несмотря на запросы ПУ. Снова похвалил мои очерки. Пригласили меня на совещание.

Совещание происходило в столовой. Председательствовал Шмелев. Потом приехал Горохов.

Характер пропаганды и агитации в данный момент: воспитание воинственности, борьба со всякими «лирическими настроениями», внедрение уверенности в том, что мы справимся с немцами и без второго фронта. Последнее показательно.

Крепко досталось на совещании злополучной 32-й бригаде. Представитель ее, подполковник Гельфанд, начальник политотдела, сухой, надменный, присутствовал тут же. Кажется, сейчас его сняли с работы.

380-я дралась под Ржевом. Вся из алтайцев. Сейчас, конечно, на 80 процентов обновлена. О ней писал Эренбург, чем здесь очень гордятся. Удивительно, до чего отличаются иные «хозяйства» одно от другого. По сравнению с 32-й я попал в иной мир. И здесь были горячие, трудные дни, и здесь люди ходили с воспаленными лицами и красными от бессонницы глазами, но в то же время не было и намека на ту панику и расхля-

банность, что я видел в 32-й бригаде. Во всем чувствовалась организованность, налаженность, все делалось как-то само собой, без криков, беготни, истерики. А положение было нелегкое. Зам. командира политчасти полковник Кокорин, когда я сказал, что намерен отправиться в батальоны, буркнул угрюмо:

— Нет батальонов. Никого не осталось.

Действительно, от полков оставались десятки штыков. И с такими силами приходилось штурмовать укрепленные рубежи. Потери, потери без конца… Если такой ценой достаются нам победы и на других фронтах — надолго ли хватит резервов?

Кокорин — в пенсне, с тяжелыми крупными чертами лица — сидел красный, расстроенный. Меня тем не менее принял радушно. Сказался культурный человек, знающий цену печатному слову. Да и весь руководящий состав части произвел впечатление культурных и приятных людей.

Определили меня в блиндаж начальника политотдела подполковника Гликина. В углу стоял кумачовый флаг. С такими флагами лучшие бойцы шли в атаку. Первые дни столовался вместе с Гликиным и руководящим комсоставом, лакомясь блинчиками и пирожками, затем сам, по

своей инициативе перешел на более скромный общекомандирский стол. Оперативную информацию передавал Прокофьеву по телефону, который стоял тут же. Дозвониться было мучением.

Хорошее впечатление произвел на меня и командир дивизии полк. Смирнов — выдержанный, спокойный, любезный. Хоть с трудом, но дивизия выполнила поставленную задачу: заняли деревни Залучье, Пустошка, Шумилкина и после ожесточенного боя — Великое Село, выйдя на магистраль. Лицо Кокорина прояснилось.

Нет ничего труднее в работе армейского журналиста, как добывать материал во время наступления. Все движется, все ежечасно меняет свои места. Люди, с которыми нужно побеседовать, находятся под огнем, ведут бой. Если ты даже и доберешься до них, тебя попросту «обложат», и будут правы: не путайся под ногами, когда идет тяжелая, трудная, кровавая работа. Вообще, в полках от тебя в этот момент отмахиваются.

Я был на КП двух полков в момент боя. Люди сидели в дырявых палатках, в шалашиках, скудно обогревались железными печурками и напряженно прислушивались к сообщениям полевого телефона. Мутные, воспаленные глаза, нервы, натянутые до предела. Вблизи с завыванием и

треском падали мины. Немцы били трехслойным огнем: обстреливали из минометов наступающие подразделения и КП полков, а дальнобойной артиллерией накрывали дорогу. Только что я прошел по ней.

Стояла оттепель, пахло весной. Сильный, совсем мартовский ветер. На дорогах выступила вода. Я делал по десять, пятнадцать, если не больше, километров в день, шлепая в валенках по лужам. Навсегда останется у меня это ощущение ходьбы в отяжелевших, насквозь мокрых валенках. Сапоги мои остались за сто километров в Баталовщине, к тому же в сапожной мастерской.

Покидая дивизию, я попросил снабдить меня взамен валенок сапогами. Сирнов и Кокорин тотчас же позвонили на ДОП[36]. По дороге на КП армии я туда заглянул. Начальник ДОП капитан Масловский оказался сверхпредупредительным. Меня угостили вкусным завтраком с водкой, я получил на дорогу пачку табаку, банку консервов, начатую пачку хороших «Дели», а самое главное — желанные сапоги. К счастью, нашлись на мою ногу — поношенные, кирзовые, но крепкие. Я надел их и почувствовал себя счастливым человеком. Взамен промокших рваных портянок я получил новые. Мало того, Масловский дал свою

легковую машину, на ней я и добрался до армии, находящейся километрах в восьми отсюда.

Как на грех, по дороге меня встретила наша редакционная автоколонна, переезжавшая на новое место. Я ее даже не заметил, зато меня заметили. Фибих на легковой машине! Это произвело фурор. Карлов потом не мог мне этого простить и раза два, как бы невзначай, упомянул о легковой машине.

— Вы думаете, — сказал я, — что мне приходится разъезжать по фронту только на легковых машинах? Гораздо больше я хожу пешком по грязи, в валенках.

Я был в Пустошках, отбитых у немцев. Местность здесь плоская, ровная — сплошные болота. И помина нет о валдайских горах и оврагах. Вот передний край немецкой обороны: снежный вал, протянувшийся вдоль опушки соснового бора, впереди несколько рядов проволочных заграждений. Я представлял себе неприятельскую оборону чем-то вроде линии Маннергейма. На самом деле все было гораздо проще и скромнее. Все держалось лишь на системе огня. Пересекая вал, в лес уходит грязный разъезженный большак. По нему тянутся вереницы с ящиками снарядов, железными печурками, станковыми

пулеметами, автомашины с прицепленными пушками, упряжки с собаками-санитарами, везущими лодки-волокуши. Идут бойцы, здоровые и раненые, одетые кое-как. Грязные, оборванные, лица как у трубочистов, вид вахлацкий. Погоны, как и следовало ожидать, ничего не переменили. «Святая серая скотинка, — как говорил генерал Драгомиров[37], — мученица и страстотерпица, сиволапая, немытая наша пехота, героическое пушечное мясо». То и дело пятна крови на грязном снегу. Густо полита кровью эта отвоеванная земля. Доносятся раскаты артиллерии, грохот отдаленной бомбежки. Собаки-санитары жмутся, в глазах тоска. Проносятся по небу наши «лаги» и «миги». Лица бойцов светлеют:

— Наши. Сейчас дадут «им» жизни.

Авиация наша на сей раз работает энергично и неплохо.

Я хотел попасть в Годилово, занятое соседней 241-й дивизией, но сбился с пути, попал в какие-то чуть прикрытые снегом болота, повернул назад и только случайно вышел на дорогу, ведущую в Пустошки. Грустный вид у этой опустошенной, такой ценой доставшейся нам земли. Черный от разрывов мин снег, залитые водой воронки, глинистые рвы, обожженные деревья, трупы. Я

насчитал тринадцать — и все наши. Валяются, бедняги, ждут, пока их стащат в яму и закопают. Желтые и зеленые голые ступни — проходящий стащил валенки.

От Пустошки остались только горелые деревья да десяток немецких землянок. Вот и все. Таково большинство захваченных нами населенных пунктов. «Населенные пункты» — горькая ирония!

В немецких блиндажах уже разместилась какая-то чужая часть. Перед ними валяются темные каски с фашистским орлом сбоку, зеленые шинели и пилотки, противогазы, пакетики с порошком против вшей, что-то кровавое — не то бинты, не то клочья мяса. Где же трупы немцев? Артиллерист у орудия, прикрытого сверху сеткой, равнодушно кивает в сторону:

— Вон валяется один, сволочь.

У воронки, среди комьев глины, лежит навзничь молодой немец в маскировочном белом костюме. Говорят, в Пустошках восемь убитых немцев. Я видел одного. Сравниваешь невольно: 13 и 1. Говорят, немцы увозят своих убитых. Если так, то откуда же такая точность в подсчете вражеских потерь, какую дают нам сводки Совинформбюро?.. Кажется, Бисмарк сказал: «Нигде

так не врут, как на охоте и во время войны».

И все же настроение хорошее.

На обратном пути попался мне раненый, идущий в тыл. Локоть перебит осколком, забинтован. Боец шел и покуривал. Разговорились.

— Бежит немец. Дуром бежит. Сапоги бросает, чешет босиком.

Лев Толстой правильно отметил, что раненый солдат обычно видит все в мрачном свете. «Наших бьют, положили тыщи, все пропало». Тем характернее слова моего попутчика.

Итак, Демянский плацдарм очищен. Победа? Как будто. И все-таки ни у кого нет ощущения настоящей полноценной победы.

Бахшиев, впервые видящий настоящие бои, ходит подавленный потерями.

Живем в лесу, в блиндажах, оставшихся от какого-то медсанбата. Блиндажи приличные. Питаемся сухарями и ячменной кашей. Для меня места не оказалось, две ночи я провел в землянке, которая не отапливалась. Товарищи мои, деликатно выставив меня из помещения, которое заняли, не позаботились о том, как и где я устроился. Не интересовался этим и Губарев. Наконец вмешались Смирнов и Цитрон, сделали перегруппировку, и я сейчас в общем блиндаже,

на месте Адульского. Здесь хоть тепло. Есть стол и светильник, устроенный из гильзы снаряда, — можно работать.

Вероятно, на днях переедем на новое место. Мирный баталовский период кончился.

***5 марта***

Хорошо, что папа умер вдали от меня, не на глазах. Мне уже пришлось видеть смерть другого дорогого для меня существа — бабушки, самому хоронить ее, и ни за что на свете не хотел бы я вновь все это пережить. Мертвым легче, чем живым.

Расстояние притупляет душевную боль.

Я зондировал через Смирнова почву: не отпустит ли меня военачальник на несколько дней в Москву. Получил ответ от Карлова:

— Сейчас никак нельзя.

Сегодня под вечер меня с Бахшиевым гонят в 166-ю дивизию.

Бездушная сволочь. Когда наконец я сброшу с плеч гимнастерку и вновь почувствую себя свободным, ни от кого не зависящим? Когда кончится эта собачья жизнь?

Тоска. Места себе не нахожу. Будто вырван кусок сердца. Живо представляю себе душевное

состояние бедной мамы. Одна, совсем одна, в огромной, мрачной, холодной комнате около тела папы — человека, с которым прожила свыше сорока лет. Два таких дня. Представляю себе тот страшный удар, который испытал только что приехавший Витя, открыв дверь квартиры и увидев мертвого отца. И все как-то еще не верится.

***13 марта***

Все дальше на северо-запад. КП армии переехал, политотдел и редакция тоже. Деревни сожжены. Размещаемся в лесах, в землянках, оставшихся от прошедших здесь частей. Равнины, болота. Снег тает. Сильные ветры — по ночам лес гудит.

Правый берег Ловати очищен от врага. Несколько дивизий дерутся уже на левом берегу. Пять дней пробыл в командировке — на этот раз с Пантелеевым. Отношения у нас вполне мирные. На редкость нескладная и утомительная командировка. Все время на ногах — в день делал по пятнадцать, двадцать, а то и больше километров. Ночлег — сложная проблема. Одну ночь провели в блиндаже редакции 348-й дивизии. Славные ребята. Встретили нас приветливо. Вторую ночь у полковых хозяйственников. Зам. командира полка по хозяйственной части капитан Власов, москвич, работник Госплана, был очень дово-

лен, когда мы, газетчики, решили заглянуть к нему, и принял по-царски. Угостил невиданным ужином: холодец и трофейный кофе с молоком. Была и водочка. На следующий день вымылись в бане, сменили белье и позавтракали: мятая картошка, кружка молока и чай. Спали в огромной землянке, оставшейся от какого-то медсанбата, где разместилось человек сорок. Баня была оригинальная: отличный шалаш, посреди печка из железной бочки с вставленным сверху котлом. Изобретение самого Власова. С другой стороны поставили железную печурку. Стоя между этими двумя источниками тепла, вполне можно мыться. Но чистое белье, которое мне дали, оказалось зараженным гнидами, и через день-два я это почувствовал. Сейчас веду упорную борьбу с вшами.

Две ночи провели в дымном логове связистов из чужой дивизии. Пустили нас из милости. Хороший народ наши красноармейцы. Я люблю у них ночевать. Оба связиста пожилые, оба из Казахстана, русские. Один старик с трубочкой, матерщинник неистовый, до армии был поваром. О Гитлере:

— Говорит «вы плохо живете». Плохо живем мы, а не ты. Просили мы тебя помочь, язви тебя в

рот? Благодетель нашелся!

129-я дивизия дралась на левом берегу Ловати. Мы пошли в полк. Глубокое русло, красные, обнажившиеся из-под снега кручи берегов. Река широкая. Мы перешли ее по льду. На противоположном берегу, под кручей, в единственной землянке, где не повернуться, КП полка. Спят здесь сидя. Снаружи миномет. Резкий ветер, пустынность, надоевший треск мин, рокот пулеметов. До чего же все уныло кругом, печально и безотрадно! Высовываться над краем оврага не рекомендуется — немецкие пулеметы. Бой идет метрах в семистах отсюда. Остатки полка залегли на равнине перед проволочными заграждениями и снежным валом и лежат так уже вторые сутки. Наши минометы выбили немцев из-за вала. Но всякие попытки продвинуться дальше сейчас же ликвидируются бешеным пулеметным огнем. Местность голая, как ладонь.

Настроение у всех мрачное, подавленное, безнадежное. Пехота перебита. Бросают под огонь поваров, санитаров и писарей — все, что можно наскрести в тылах. Сплошная мясорубка. Потери, потери!..

Соседняя 166-я дивизия дерется еще хуже. От нее остались десятки штыков.

Мы искали героев, яркие боевые эпизоды. Нет ни того ни другого. Молча, покорно и буднично гибнут наши под минами и пулями.

Ночью мы возвращались назад с Власовым и красноармейцем-связистом. Брели по скользкому льду Ловати, освещаемому зарницами орудийных выстрелов. Зеленые трассирующие пули над головой. Вдали шарит по небу наш прожектор, взлетают ракеты, то в одиночку, то целыми гроздьями. Чьи? Не разберешь. Весь горизонт в тревожных вспышках. Общее стратегическое положение на нашем участке. Соседняя 1-я Ударная наносит главные удары с юга, 53-я сковывает действие противника — ее роль вспомогательная. Но и 1-я Ударная успехами не может похвастать. Немцы крепко сопротивляются. Все же им удалось уйти за Ловать. Проклятый, кровавый северо-запад.

Направляясь на передовую, на КП я заглянул к Шмелеву. Попросил дать мне отпуск дней на пять-шесть в Москву. Мотивировка: в связи с последними событиями книга моя требует доработки. Кроме того, у меня умер отец, осталась мать — беспомощная и одинокая, которая нуждается в моей помощи.

— В пять дней вы не управитесь, — сказал Шме-

лев, и в тоне его было искреннее сочувствие. — А дать отпуск на больший срок никак нельзя.

Договорились так: когда пройдет наиболее острый момент боев, Шмелев сам даст мне отпуск. Я от души поблагодарил его и вышел.

Пантелеев, узнав, что я беседовал с Шмелевым, почувствовал ко мне уважение. Вслед за мной и он заглянул к нему.

— Почему у вас газета такая плохая, деляческая? — спросил его Шмелев. Пантелеев объяснил это отсутствием творческой обстановки.

О Карлове он сейчас говорит с пеной у рта. Ярко доказывает, что тот никогда не благоволил к нему. Всех восстановил против себя наш военачальник, даже такого, как Пантелеев.

Все находилось в движении, в переездах. От встречных знакомых мы узнали, что редакция тоже переехала, но куда именно — никто не знал. Мы бродили по лесам и полям, фронтовые бродяги, не зная, куда голову приклонить.

Нашли наконец перебравшееся на новое место ВПУ — вспомогательный пункт управления. Пантелеев предложил зайти к Горохову.

Скромный, чистенький блиндаж. Горохов сидел за столом. Три ордена. Я представился ему, вслед за Пантелеевым, но Горохов прервал тоном

человека, хорошо меня знавшего.

— Садитесь, товарищ Фибих, — сказал он просто.

Предлогом для нашего посещения было желание получить указание члена Военсовета. Поговорили о положении в дивизиях, где мы были, о тех вопросах, которые нужно сейчас поднимать, об общей обстановке на нашем фронте. Затем заговорили о редакционных делах. Я давно уже слышал, что Горохов не любит Карлова и тот перед ним трепещет. Сейчас мы были с Пантелеевым единодушны. Горохов очень внимательно слушал нас и сказал, чтобы в будущем мы держали с ним непосредственную связь и в случае чего обращались бы прямо к нему. Между прочим я сказал:

— Редакция — все-таки редакция, а не казарма.

Затем я спросил Горохова, какого он мнения о моей работе в газете.

— Самого положительного. Я слежу за тем, что вы печатаете у нас и в центральной прессе, и впечатление у меня самое хорошее. Вы и Пантелеев — это лицо газеты, это основное ядро.

Это было приятной новостью. До сих пор у меня было мнение, в результате намеков Карлова, что Горохов недоволен мною.

Мы ушли обласканные и окрыленные. Такого приема у высокого начальства я никак не ожидал.

— Накапали военачальнику, — злорадствовал Пантелеев.

Не знаю, в результате ли нашей беседы или помимо нас, но, вернувшись наконец в редакцию, я узнал, что Карлов получил от Горохова нагоняй.

Явившись доложить о своем прибытии редактору, мы нашли его в блиндаже его друга Чванкина. Здесь же были наши корректорши Лида и Катя. Карлов не расстается с ними. Пантелеев говорит, что он живет с Катей.

Карлов накинулся на нас. Куда мы пропали, почему не сообщали, где находимся, вообще, живы ли мы? Он, Карлов, сильно за нас беспокоился. Может быть, мы попали под бомбежку?.. Он хотел даже влепить нам выговор.

Такое непривычное внимание со стороны редактора к нашей участи было для меня совершеннейшей новостью. Карлов не отличается этим. Трогательная забота о своих работниках объяснялась присутствием начальства — полковника Чванкина. Лицемерное ничтожество.

Когда Пантелеев упомянул о нашем свидании с Гороховым, редактор как бы шутя сказал:

— А, вот чем объясняется головомойка, которую я от него получил.

Помимо головомойки, военачальник получил также выговор. Предлогом была опечатка в газете: вместо занятого нами Чертолино у нас напечатали «Чертовино». Это уже второй выговор, полученный редактором за последнее время.

В редакции мы узнали тяжелую новость: застрелился начальник 7-го отдела капитан Александров. Серьезный, сдержанный, умный, культурный. В чем дело? В письмах, оставшихся после него, говорится о тяжелой нервной болезни, о состоянии депрессии. Он называет себя лишним человеком.

Всего два-три дня назад, на лесной дороге, мы с Пантелеевым встретили Александрова. Его «звуковка» стояла в ближайшей деревне. Он был по-обычному сдержан и молчалив, но ничего особенного в нем не замечалось. Нелепая смерть. Самоубийство на фронте!

На Украине немцы перешли в контрнаступление.

Оставлены Лозовая, Лисичанск, Павлоград — всего восемь городов.

Конца-краю не видно войне.

Деталь: разговаривая с Карловым, мы все время

стояли. Землянка настолько низенькая, что даже Пантелееву приходилось стоять согнувшись. От неудобного положения скоро спину у меня стало нестерпимо ломить. Тем не менее наш заботливый начальник даже не подумал предложить сесть, хотя видел наши согбенные позы. Пустяк, но характерный.

Получили посылки к 25-летию Красной армии. Знаешь, как тяжело живется в тылу, — чувство неловкости: зачем они нам шлют то, в чем мы не нуждаемся? Ведь отрывают от себя.

Конечно, лучшие посылки, прежде чем дойти до нас, «отсеялись». Нам достались огрызки. В одних посылках была водка и всякие мелочишки, в других — продукты. Мне достался пакет, где было сливочное масло, колбаса, печенье, помазок для бритья, катушка ниток, старое полотенце, фитиль, кремень и стальное кресало. Другие получили, кроме того, носовые платки, конверты, открытки, папиросную бумагу.

Пантелеев сегодня снисходительно похвалил меня за смелость. Я, дескать, хорошо держался под обстрелом. Обстрел? Я его даже не замечал. Очевидно, речь идет о трассирующих пулях под Ловатью. Все это так привычно, так буднично.

Москвитин передавал, что Златопольский, на правах дружбы с Гороховым, говорил обо мне — пора-де меня наградить. Златопольский знает меня сравнительно давно. Горохов пожал плечами. Как он может это сделать, если представлять к награде должен сам Карлов? Он, Горохов, только утверждает.

Не таков военачальник, чтобы выдвигать своих работников. Москвитин рассказывал, что, когда его наградили, Карлов встретил это как личное оскорбление.

А время для наград сейчас самое подходящее. Наступление. Хоть с грехом пополам, но задача, поставленная перед нашей армией, выполнена. Так или иначе, Демянский котел ликвидирован.

Вероятно, скоро бои закончатся. Не с кем воевать. Возможно, что нашу армию либо расформируют, либо перебросят на новое место. Сейчас на узком плацдарме топчутся пять армий: 53, 1-я Ударная, 34, 11, 27-я.

Только бы не сидеть снова в обороне. Здесь, в унылых этих болотах. Я устал на время войны от русской природы. Я сыт ею по горло. И так все.

А папы-то больше нет.

***14 марта***

Маршал Жуков недоволен действиями нашего

фронта. Бранил за плохую разведку, за скверную работу артиллерии. Упрекал комсостав в трусости. Нужно беречь людской состав — страна не наготовится на нас резервов. Поменьше кричать о доблести нашей армии.

Об этом сообщил Карлов на совещании. Я сделал доклад о своей работе в связи с наступлением. Началась проработка меня — мало дал очерков. Выступали Прокофьев, Смирнов, Губарев. Чувствовалась невидимая рука военачальника. Губарев, по обыкновению, передергивал — сказал, что я ничего не дал (я это тут же опроверг). Далее упомянул о хлебе и деньгах, которые дают мне за то, чтобы писал о героях. В выступлениях двух последних промелькнул намек на то, что я отсиживался якобы во время боев на КП дивизий. И это говорят те, кто за все время ни разу не покинули редакцию!

В заключительном слове я дал отпор Губареву. Вмешался Карлов, смягчил слова Губарева — о хлебе, дескать, было сказано вообще, а не по моему адресу, напрасно я так болезненно это принял. Тон военачальника был вообще мягкий. Я чувствовал незримо витающую тень Горохова.

У нас ажиотаж. Карлов представляет к наградам.

В общем, я довольно равнодушно отношусь к медалям. Конечно, я ее заслужил, хотя бы двумя годами работы на фронте, под пулями и бомбами, но если не дадут — хрен с ней. Я знаю, как дают награды.

Наступление возобновляется. 241-я, 166-я и, кажется, 129-я пополнены свежими силами. Сегодня срочно отправились в командировку Москвитин, Рокотянский, Денисюк и — небывалый случай — сам Губарев. За его спиной саркастические улыбки: товарищ отправился зарабатывать медаль. Среди каких мелких людишек, в какой зловонной грязи приходится мне жить! И, наверно, долго еще…

Видел сон: нахожусь на старой пензенской квартире, вокруг незнакомые люди. Вдруг резкий звонок. Я иду в прихожую, но меня опережает Ксана и открывает дверь. Входит папа. Он молодо выглядит, будто лет 45 назад, бодр и оживлен.

— Что, Данечка приехал? — спрашивает он Ксану, как бы не замечая меня. — Я так его дожидался.

Ксана, не ответив, вышла в другую комнату.

— Папа! — воскликнул я, бросаясь к нему, и тут вспомнил, что он умер, и что нельзя в таких

случаях откликаться на зов, и что это значит, что я скоро умру. И тогда я отвернулся и зарыдал.

Проснулся с чувством внутренней дрожи и щемящей тоски. Говорят, нехороший сон.

Что ж, смерть особенно меня не пугает. Жалко и обидно только, если не удается написать то большое и настоящее, что я мечтаю создать после войны. Бесцельно прожита жизнь.

***15 марта***

На наш фронт прибыли донские армии, в том числе знаменитая 62-я, защищавшая Сталинград. Готовится что-то большое. У нас не все еще это знают, а немецкие самолеты уже разбрасывают листовки, где говорится о 62-й армии. Дьявольский шпионаж.

Нашей 53-й отводится весьма скромная роль в предстоящих событиях. Часть соединений вновь передана 1-й Ударной, в том числе 380-я дивизия, где я был. Упорные слухи о том, что нас отводят в резерв для переформирования.

В нашем блиндаже идет жесткая критика работы 53-й. Ругают бездарных генералов и командиров, загубивших зря целые дивизии. Великое Село, на которое наступали 380-я дивизия и часть 47-й бригады и где шел двухдневный бой,

оказывается, защищали… 15–20 немецких солдат. Вместо того чтобы гнать на убой целые полки, гораздо более успешного результата можно было добиться, действуя мелкими группами. Только теперь у нас это поняли.

Черт знает, до чего ж бездарно мы воевали!

Никакой Демянской крепости нет и не было. Немцы создали миф, а мы в него поверили. Все держалось главным образом на великолепно построенной системе огня. И в этом огне растаяли и продолжают таять армии Северо-Западного фронта.

Сегодня с утра непрерывно молотит наша артиллерия. Раскаты «катюш», скрежет «борисов», огонь, вероятно, страшный. Говорят, весь фронт перешел в наступление. Но что дает это наступление? У нас, в редакции, почти все стали скептиками.

Живем все — оба отдела — в большой землянке с двускатной крышей. Сверху капает, под ногами хлюпает. Посредине дым. Дырявая печурка, сырые дрова. Растопить печи — мука мученическая. Мат в это время стоит неистовый. Я не выношу едкого дыма, выскакиваю наружу, утирая слезу и ругаясь, как пьяный сапожник. Благо, что снаружи пригревает мартовское солнышко. А

у нас сыро, холодно, тесно, грязно, погано. День и ночь горит керосиновая лампочка, при ней и работаем.

О Баталовщине вспоминаем с нежностью.

Плохо с питанием. 250 гр. сухарей на день, едим вместо трех — два раза в день, обед из одного блюда. В скором будущем станет еще хуже. Подкрепляемся концентратами, которые приносят с собой вернувшиеся из командировок. Варим и едим сообща. Но сегодня и это уже кончилось.

Опальный Балашов, чью пьесу я разругал, проявил себя героем. Его батальон залег под жестким огнем. Балашов поднялся во весь рост и крикнул:

— Смотрите, я коммунист и я иду первым!

Поднялись, пошли вперед.

Балашову повезло: в этом бою он отделался контузией и сейчас направлен в тыл. «Красная звезда».

***16 марта***

Немцы снова взяли Харьков. На Украине у нас дела неважные. Неужели это только начало? Такая кадриль может продолжаться и два, и три года. Выдержим ли?..

Практика войны разрушила много теорий и

иллюзий. Боюсь, что наша уверенность в невозможности для Германии вести длительную войну может оказаться зданием на песке. Ведь за тактикой Гитлера вся Европа.

Снова возникает угроза Москве. Зимнее наступление обескровило и истощило нас. Немцы могут взять теперь реванш.

На второй фронт у нас в редакции уже махнули рукой. Лишь оптимист Прокофьев верен себе. Доказывает, что в мае-июне «союзники» должны начать действовать.

Кто и что уцелеет после этой страшной, мучительной бойни?

На северо-западе армии с трудом, но продвигаются вперед. Бои на западном берегу Ловати. Попытка немцев закрепиться на этом рубеже сорвалась. Бои под Старой Руссой. По-видимому, враг ее оставит.

Наконец-то письмо от Берты. Приехала в Москву, счастлива. Рвется ко мне. Куда я ее сейчас устрою? Болела целый месяц — почти.

Два письма от Кирочки. Первое — вопль. Просит вырвать ее из башкирской глуши, где даром теряет время. Хочет учиться во что бы то ни стало. Молодец девочка. Сильно изменилась к лучшему. Но что я могу практически сделать? Второе

— непривычно нежное. Она и Ксана знают уже о смерти папы. Послала бабушке (маме) денег. Трогательно.

Пишу «смерть», а все еще не верится сердцем, все еще не привык к этой мысли. Грустной и горькой будет моя поездка в Москву — если поеду.

***20 марта***

В нашей 53–й остались всего две дивизии. Остальные переданы 1-й Ударной. Их, как мяч, перебрасывают между двумя этими армиями. Наши дивизии перешли к обороне. Осталось по 20–30 штыков. В дивизии! Если мы воюем бездарно, то и немцы недалеко от нас ушли. Они могли бы легко прорвать наш фронт, голыми руками взять штаб дивизий, а то и армий. Или и у них нет сил?

По-видимому, главная задача все же падает на соседние соединения. До сих пор не введены в дело сталинградские армии. План командования для меня неясен. Что-то намечалось важное — недаром здесь Жуков. Но наступать такими силами? 53-я обескровлена. То же говорят и о 1-й Ударной.

Карлов представил к награде Смирнова, Губарева, Цитрона, Бахшиева, Денисюка, Лиду и

Катю. Последнюю — к денежной награде. Военсовет всем отказал, кроме Бахшиева и Денисюка. Первому — медаль «За боевые заслуги», второму — «За отвагу». Фитиль военачальнику.

Златопольский, неизвестно почему, все хлопочет о медали для меня. Говорил на эту тему вторично с Гороховым и со Шмелевым. По секрету сообщил мне, что обещали «не забыть». Горохов подробно расспрашивал о моей работе.

Очевидно, дни Карлова сочтены. Редактором намечается Златопольский. Вопрос в том, отпустит ли его непосредственное начальство. Боюсь, что нет. А если бы произошла смена кабинета, легче стало бы и работать, и жить. Златопольский — типичный газетчик; киевский журналист, окончил Академию авиационных инженеров. Наша убогая газетка при нем стала бы совершенно иной.

Уехал в Москву в командировку Смирнов. Всучил ему маленькую посылку: сливочное масло, немного сахару, пачка табаку. Хорошо, что хоть это взял.

Когда же конец всему этому? Когда можно будет забыть о ежеутренней охоте на вшей, когда я вновь усядусь за свой письменный стол и при-

мусь писать настоящую вещь? Когда кончится звериная, лесная жизнь в темных серых норах, где под ногой хлюпает вода? Когда глаза не будут больше видеть лишь выгоревшие дотла деревни и валяющиеся на снегу трупы?

Когда? Когда?

***22 марта***

Переезжаем на новое место, очевидно, на новый фронт. Куда? Конечно, никто толком не знает. Слухи, догадки, предположения. Пока известно только, что едем машинами до ст. Пено, там грузимся в вагоны. 53-я, от которой остался только штаб да политотдел, уходит на переформирование. Я это предвидел.

Все рады. Впереди — отдых в тылу. Да и жизнь в лесных болотах всем надоела. Через недели две здесь будет ужасно. До чего ж опротивел северо-запад! Видимо, мы сюда не вернемся. Куда теперь меня швырнет изменчивая военная судьба?

Единственно, о чем жалею, это о том, что Карлов уцелел. Ему повезло. Если Горохов уйдет (а такие слухи есть), то Карлов снова будет в седле.

Самое главное — отдых, отдых! Сумею поработать и для себя. Как хорошо, что Берта задержалась. Говорят, госпиталь Милославского передан 1-й Ударной. Мы с женой могли оказаться в раз-

ных концах России.

***25 марта***

Сижу в поселке Пено. Доносятся гудки паровозов, кудахтанье кур, петушиные голоса. Тыл! Другая жизнь, по которой мы все истосковались. Мы наслаждаемся после жизни в мокрых темных землянках, откуда приходилось вычерпывать по 40, по 60 ведер воды, настоящими светлыми теплыми комнатами, где остановились. Приветливые хозяйки, ребятишки, кипящий самовар на столе. Человеческая жизнь. Под окнами дома Волга, еще неширокая, искрящаяся под солнцем. Местами на ней белеет лед. Ждем погрузки в эшелон. Когда? Может быть, сегодня ночью, может — завтра.

До сих пор неизвестно, куда и зачем мы едем. Всякие предположения. Очевидно, будем проезжать Москву. Все волнуются, особенно те, у кого там семьи, — отпустят ли нас побывать дома. Мало вероятности. Говорят, что едем в Среднюю Азию, в Казахстан. Наиболее увлекающиеся мечтают об Иране. Одно очевидно — на северо-запад мы в ближайшее время не вернемся.

До Пено мы ехали на своих машинах, колонной — около двухсот километров покрыли. Ехали сутки. Выехали 22-го, поздно вечером. Дорога

приличная. В последний момент перед отъездом редакция была взбудоражена сенсацией: Горохов (сам Горохов, независимо от редактора) представил меня к правительственной награде. Очевидно, медаль.

Вещи уже были сложены, мы сидели в одной из землянок, когда вошел Цитрон и сказал:

— Интересный нюанс. — И ко мне, протягивая руку: — Ну, поздравляю.

Выяснилось, что только что ему сообщили об этом работники политотдела. Я долгое время не верил, но поздравления сыпались со всех сторон. В искренности их приходилось очень и очень сомневаться. В особенности со стороны Цитрона и Губарева, которые так и не получили награды. У Цитрона настроение надолго было испорчено. Все злорадствовали по адресу Карлова:

— Вот это «фитиль»!

«Фитиль» действительно был большой. Сам член Военсовета решил наградить меня, чье имя ни разу не упоминалось в представляемых редактором списках. Златопольский сдержал свое слово.

Тут же Губарев, переговорив с Карловым, не глядя на меня, сказал, чтобы я сходил в отдел кадров за бланками наградных листов, которые

нужно заполнить и тут же сдать в армию.

Где находился отдел кадров — я точно не знал. Уже вечерело, наши машины были готовы к путешествию. Отъезд задержался из-за меня.

Несколько часов носился я по лесам и болотам, разыскивая отдел кадров. Взошла полная луна. Лесные дороги были пустынны. Редко попадался навстречу боец или командир. Никто не знал, где находится отдел кадров, либо давали противоречивые и неточные указания. Лица все незнакомые — наша армия ушла, а на смену ей уже явилась новая, незнакомая. Очевидно, 68-я, Сталинградская. Я лазил вниз и вверх по оврагам, сбивался с пути, описывал круги, как заяц, и вновь возвращался на старое место, попадал в болота. Тонкий лед трещал, я проваливался по колено в воду.

Совершенно измученный, вспотевший до того, что гимнастерку хоть выжимай, я вернулся наконец в редакцию, так и не найдя проклятого отдела кадров. Тут узнал, что, в сущности, незачем было меня гонять. Бланки наградных листов отыскались в самой редакции. С ними послали в отдел кадров Денисюка.

Хорошо, что в самый последний момент все же удалось оформить мое представление к награде.

И все-таки до сих пор я не уверен, получу ли.

Москвитин говорит, что я имею полное право на Красную Звезду, и что если бы в наградном листе, отправленном редакцией, стояла именно такая награда, Горохов подписал бы не задумываясь. Но наградной лист заполнял Губарев (не Карлов), и, конечно, мне не приходится рассчитывать на такую «щедрость» с его стороны.

А на Красную Звезду, пожалуй, я имею полное моральное право.

***26 марта***

Все еще в Пено, ждем погрузки.

В свое время тут были немцы. Сейчас здесь глубокий тыл. Поселок, разделенный Волгой, вполне сохранился. Лишь два-три дома пострадали от бомбежек. Парикмахерша в городской парикмахерской, где я стригся, рассказывала: они живут в доме, под которым находится невзорвавшаяся авиабомба. Живут уже второй год на бомбе. И ничего! Быт войны. А скорее — русская беспечность.

Недалеко от Пено (Совинформбюро именовало его в свое время городом) находится деревня Кста. Мы проезжали ее. Деревня совершенно невредима. Население, от мала до велика, поголовно расстреляно немцами — якобы за связь с

партизанами.

Ночью глухое завывание в небе, ожесточенный лай зениток, отблески орудийных вспышек. Третью ночь подряд прилетают немцы и пытаются бомбить где-то поблизости.

Говорят, вокзал в Бологом разбит. В последний раз, когда я проезжал Бологое, он был совершенно цел — огромное благоустроенное здание.

***27 марта***

Все еще в ожидании. Очевидно, нас перебрасывают на Брянский фронт. Колеблюсь, брать ли с собой Берту или нет. Москвитин яростно возражает — советует не делать такой глупости. Во многом он прав. Самое страшное на фронте не бомбы, а скука и зависимость от тупых и ограниченных людей. Если бы было место в 7-м отделе — я бы не задумывался. Хорошие, культурные ребята, интересная работа. Но машинистка там уже есть.

***28 марта***

По-прежнему бездельничаем. Поставили радиоприемник, слушаем музыку и сводки. Иногда врывается немецкая (на русском языке) пропаганда. Она довольно убога, но на дураков может подействовать. Споры на литературные и по-

литические темы, анекдоты, вечером хоровые песни. Вчера устроили блины — взяли подболточную муку — пекла хозяйка. Сидели за самоваром, даже варенье из клюквы было, правда, без сахара. В соседнем «дзоте», где разместились Денисюк, Эпштейн, Бахшиев и др., яростно «забивают козла» — режутся в домино. Этот «дзот» прозвали «забойным». «Забойщики».

Почти у каждого из нас прозвища. Пантелеева зовут Великим, Весеньева — Интеллигентом, Прокофьева неизвестно почему окрестили Бурбоном, Левитанского — Мальцом, Эпштейна — Добрым Поселянином, Бахшиева — Могучим Стариком, Рокотянского — Ладожским Дьяком. Последнее прозвище удачно — в нем действительно что-то от дьякона. Я, с легкой руки Прокофьева, именуюсь Дед Данила. Всех, вплоть до Губарева и Цитрона, объединяет ненависть к редактору. Мы изощряемся в солдатском остроумии по поводу его взаимоотношений с Катей. Особенно неутомим великий остряк и трепач Москвитин. У него злой и острый язык, но человек он сердечный, добрый и отзывчивый.

***29 марта***

Кажется, мы застряли всерьез. Нет вагонов. С Пено должны отойти четыре эшелона. Всего под

нашу армию отведено девятнадцать составов. Генералитет уехал в Москву на машинах.

Скучаем. Я хотел было писать свои фронтовые новеллы, но очень трудно. Отвлекает вечная толчея, разговоры, анекдоты. Трудно сосредоточиться. Да, признаться, и сама работа в армейской газете развратила меня как писателя. Еще год такой жизни — и совсем дисквалифицируюсь. Грустно, но факт.

Здесь, в деревне Издешково, где мы живем (Пено находится за мостом, на той стороне Волги), была расстреляна немцами известная партизанка Лиза Чайкина.

Эфир наполнен германской пропагандой. На всех языках — на французском, польском, эстонском, финском, украинском, русском, не говоря уж о немецком. Странно слышать чистый русский язык, на котором говорится о победах германской армии. Дикторы и дикторши — чистокровные русские, это чувствуется. Кто эти люди? Что заставило их работать на Гитлера, так нагло и хладнокровно лгать, опутывать, дурачить своих же?

Немецкая пропаганда сильна своей элементарностью и конкретностью. То, чего нам недостает. Мы, материалисты, по своей сущности больше

идеалисты. Парадоксально, но факт. Геббельс знает, на что бить.

Мы учимся у немцев искусству воевать. Неплохо было бы поучиться у них и искусству пропаганды.

***30 марта***

Вчера получили посылки из тыла (ко Дню Красной армии). Одна пришлась на двух. Нам с Рокотянским достались: четвертинка водки, кусок жареного мяса, зачерствелые пряники и печенье, полотенце, вышитый носовой платок, самодельные конверты и бумага. Прислала домохозяйка Зубова из Челябинской обл. Ответили на ее письмо. Помимо чувства патриотизма, Зубовой, похоже, руководил и практический расчет. Пишет, что у нее четыре дочери, и просит поддерживать переписку. Женихи нужны.

И все же ощущение неловкости: зачем они шлют нам, отрывая от себя, еду? Ведь они живут голодней нашего.

Москвитин с Весеньевым ухитрились раздобыть в сельпо водку — четыре литра на всех. Вечером была попойка. По-русски грубо, скандально, нехорошо. Более всех были пьяны и шумели Прокофьев и Весеньев. Первый — обычно

сдержанный, сердечный, добродушный и прямой человек — во хмелю оказался задирой и скандалистом. Сцепился сначала с Губаревым, потом с Весеньевым. Взаимный мат и оскорбления, обещание набить морду, и тут же пьяные объятья и поцелуи. Все истинно по-русски. Из соседнего «дзота» прибежал юный наш поэт Левитанский, с пьяными слезами на глазах стал рассказывать, что в Ташкенте пухнут от голода его старики, и клялся, если умрет мать — застрелит Карлова. Поведение редактора действительно возмутительное. Левитанский работает у нас восьмой месяц, в звании красноармейца, только на днях получил звание лейтенанта, но денег ему до сих пор не выплачивают. Мальчик совершенно лишен возможности помочь своим родителям хотя бы деньгами. Как поэт он подает надежды. Умный, острый, развитой, талантливый, хороший паренек.

Имя редактора произносилось со скрежетом зубовным. Пьяные Прокофьев и Губарев договорились, едва прибудут на новый фронт, поставить перед командованием вопрос о Карлове.

(Утром, конечно, об этом уже и речи не было.) До чего ж восстановил этот человек против себя буквально всех!

Пришла машинистка Елизавета Ивановна — пожилая, некрасивая, остро нуждающаяся в мужчине, довольно-таки нахальная, неумная, несчастная и жалкая, в сущности, женщина, которую все терпеть не могут. Скандал с Рокотянским. Он стал ее выгонять, она дала пощечину. Дьяк ответил тем же. Русские офицеры!

У нас совершенно атрофировано чувство уважения к женщине. В глазах советского человека женщина либо товарищ по работе (и тут пропадают все отличия и особенности, вызванные полом), либо самка. Рыцарство, даже в самой элементарной форме, неизвестно нам. Помочь женщине? Уступить ей место? Поднять оброненный платок? Для нас это странно, непонятно, дико.

Орали, матерились, бегали блевать. Раза два появилась хозяйка — простая женщина, пытаясь успокоить загулявших «начальников».

Я выпил немного — и вообще небольшой охотник до водки.

Сколько еще в нас азиатчины! За четверть века советской власти хамство стало всеобщим, коренным явлением.

Губарев, под пьяную руку, рассказал мне, что Карлов произносит мое имя, скрипя зубами и

матерясь. Я вырос в собственных глазах. Приятно, когда враг так тебя ненавидит и в то же время чувствует свое бессилие. На днях у меня с ним произошла стычка. Мы с Адульским намеревались помыться в бане. Первым мылся сам Карлов. Но когда мы явились, оказалось, что после военачальника будет мыться его Катя. Переговоры с Карловым велись через запертую изнутри дверь бани и были весьма далеки от соблюдения субординации.

— Значит, старшие командиры должны уступать место вольнонаемным? — сказал я Карлову. — Безобразие! — И отошел, взбешенный.

Впервые я разговаривал с ним таким тоном. И впервые, вероятно, с Карловым так разговаривали его подчиненные.

Уже неделю сидим в Издешкове и не можем погрузиться в эшелоны. Не думаю, чтобы немцы такими темпами перебрасывали свои армии. Как скверно мы воюем!

Летом будут страшные решающие бои за Москву. Опасность для нее не ликвидирована. Судьба войны должна решиться летом 43-го года. Пора кончать.

## Апрель

***8 апреля***

Простился с северо-западом. Надеюсь, навсегда. Новое место, иной пейзаж.

Восемь суток пробыли в Пено, дожидаясь погрузки эшелона. Последний вечер отпраздновали общим банкетом. Получили новые посылки — в каждой четвертинка, сыр, колбаса, луковица, — выложили на общий стол. Оба «дзота» соединились вместе. На сей раз вечер прошел без споров, ругани, матерщины. (Заранее условились.) Было приятно. Но неожиданный приказ грузиться испортил вечер.

Рано утром 1 апреля мы были на вокзале. От него ничего не осталось, кроме путей. Половинка ржавого паровоза — будка машиниста оторвана. Вблизи огромная воронка. Остатки исковерканных вагонов и паровозов. На путях бесконечные составы, около них серые толпы бойцов, лошади, грузовики.

Оборудовали предоставленную нам теплушку. Устроили нары, поставили железную бочку с трубой. Пантелеев, взобравшись на крышу, прорубил отверстие для трубы, натаскали дров. Все в одной теплушке — 14 человек. Редактор с двумя

девушками устроился в автобусе, поставленном на платформу. Наборщики, печатники, шофера — тоже в машинах, установленных на платформах. Дедюра со своей кухней занял половину большого пульмановского вагона.

В нашей теплушке радиоприемник. Над вагоном антенна. Наконец тронулись, поехали. Все веселы, оживленны. Минуем Осташков, Бологое. Ура! Эшелон поворачивает на Москву. Вагон взволнован: объявлен приказ никому не отлучаться из эшелона. Десятки планов, как уведомить родных и вызвать их к поезду, как передать им приготовленные посылки. Неужели, будучи в Москве, так и не увидим жен, детей, матерей?

Цитрон с Москвитиным отправляются к Карлову. Возвращаются гордые, сияющие. Москвитин, оказывается, прямо заявил редактору:

— Если вы не хотите вызвать общую ненависть к себе сотрудников, вы отпустите нас в Москву. Иначе вы ставите себя под удар всего коллектива.

И Карлов струсил, согласился. Начал он с категорического отказа. («Я не желаю нарушить приказ. Отпустить? Ни за что!») А кончил тем, что стал жаловаться на отношение к нему Горо-

хова, рассказывал, что однажды упал в обморок на глазах генерала. В результате Москвитин и Цитрон получили разрешение побывать дома. Их нагрузили адресами: пусть сообщат родным оставшихся и привезут их на вокзал.

Утром 3-го показалась Москва. Эшелон остановился на ст. Ховрино. Вскоре оттуда нас передали на ст. Лихоборы. Москвитин отправился к Прокофьеву и Рокотянскому. Появился Смирнов, дожидавшийся в Москве приезда редакции. Я получил от него письмо из дома. Мама наконец подробно рассказала о последних днях жизни отца. Тяжело было читать.

Накануне папа получил урок в школе, 16-го он пошел на первое свое занятие. Будто предчувствуя недоброе, мама пошла его провожать. На улице папа вдруг схватился за сердце и упал. С помощью прохожих мама подняла его и довела до квартиры. Там он слег. Начал терять слух и дар речи. 17-го, в 5 часов утра, тихо скончался — заснул. Измученная мама не заметила момента его смерти — спала, сидя около папиной постели и положив голову на его подушку. Когда проснулась — отец был уже мертв.

«Не уберегла дорогого», — пишет мама. Сколько кроткой, покорной горечи в этих словах!

Последние папины слова:

— Как мы счастливы, что у нас такие дети.

Пишет мама, что сейчас она живой труп, третьей военной зимы не переживет.

Совершенно подавленный, ожидал я приезда своих. Они не приехали — Москвитин что-то напутал. Тем временем остальные сотрудники один за другим получали от Карлова увольнительные записки в город и, обрадованные, покидали вагон. То же самое происходило в других вагонах. Эшелон быстро опустел. Почти весь день провел я в ожидании мамы и Берты. Только под вечер решил наконец пойти к Карлову, заранее готовый к отказу. Первым его вопросом было:

— Почему раньше мне об этом не заявили?

Я объяснил, что все время ждал приезда родных на вокзал и боялся разминуться с ними.

— Ну хорошо, — внезапно смилостивился военачальник. — Езжайте.

Увольнительная записка до 10 часов утра следующего дня в кармане. Снова знакомые московские улицы, трамвай, метро. Но при мысли о том, что сейчас войду в опустевшую комнату и увижу бедную, убитую горем маму, у меня сердце сжималось болью и острой тоской.

Вот и она сама — высохшая, сгорбленная, совсем

старенькая старушка. Увидев меня, залепетала что-то несвязное о папе, заплакала. Одна, совсем одна в огромной, холодной, мрачной зале. Витя был на дежурстве.

Когда мы сидели, беседуя, за столом, вошла Берта. Я в первый момент ее не узнал — такой она стала тоненькой. Лишь глаза да губы остались на лице. Но выглядела она лучше, чем я предполагал, и худоба к ней шла.

На столе появился знакомый синий графинчик с водкой, настоянной на апельсиновой корке (мама припасла для меня), я распаковал свою посылку, поделил ее на три доли — маме, Берте и брату. Закусили. Бедные проголодавшиеся москвичи.

Коротким и грустным было свиданье. Я простился с мамочкой, не зная, увижу ли ее снова, и отправился с женой на ее квартиру. Берта жила у матери. Все они переехали. Меня рассматривали как экзотическое существо. Провел ночь с женой. Полтора года мы не виделись. Она истосковалась по моей ласке и, как всегда, была очень нежной. Я не мог отвечать ей тем же чувством — не то занимало голову и сердце, — но, кажется, она осталась довольна мной как мужчиной.

Не было времени поговорить обо всем. Косну-

лись лишь самого главного. Берта настаивает, чтобы я перебирался в Москву — работать над серьезной вещью. Она права — достаточно я кормил вшей на фронте. Пропавшая матвеевская посылка нашлась — правда, не сама посылка, а лишь дневники мои, которые в нее были вложены. Но это самое главное.

— Я прочла твой дневник, — призналась Берта, — и после того мне как-то расхотелось ехать на фронт.

Итак, этот сложный вопрос решился сам собой. Все к лучшему. Хорошо, что Берта задержалась с приездом на фронт.

Рано утром я снова поехал к своим, чтобы повидать брата. На этот раз застал его. Он похудел, осунулся, был полон сосредоточенной грусти. Было видно, что еще не оправился от потрясения, вызванного смертью отца. Работает в Наркомате, начальником сектора. Имеет бронь, но она скоро кончается, и не исключена возможность, что брата заберут в армию. Только бы не это! Мама тогда погибнет.

Витя поехал провожать меня. По дороге, позвонив из автомата на станции метро жене Прокофьева, я узнал, что наш эшелон переехал на Павелецкий вокзал. На площади Ногина мы

распрощались с братом.

— Береги маму, — сказал я Вите.

На Павелецком вокзале в военной комендатуре мне сообщили, что эшелон стоит на ст. Канатчиково, дальнейший путь следования — Бирюлево. То на трамвае, то пешком, по каким-то незнакомым трущобам добираюсь до Канатчиково на Окружной ж. д. Моего эшелона нет. Где он? Говорят, что на Воробьевых горах. Сколько будет стоять? Неизвестно.

Рассуждаю так: пока я поеду на Воробьевы горы — эшелон может уйти на Бирюлево. Лучше я прямо поеду на Бирюлево и буду там дожидаться своего поезда. Вскакиваю на отходящий товарный состав. До Бирюлева отсюда километров пятнадцать. Добравшись туда, схожу и начинаю дожидаться поезда. Проходит час, другой…

Не буду описывать весь этот сумасшедший день. Я метался по Москве, разыскивая пропавший свой эшелон. Прыгал с товарных составов на воинские, оттуда на пассажирские, затем на трамвай, с трамвая снова на поезда. Никто не мог сказать точно, где именно находится эшелон. Целый день я ничего не ел, только утром меня угостила теща тарелочкой вареного риса, привезенного из Ташкента, и пиалой кофе без сахара.

Хуже всего была неприятная перспектива, ожидавшая того, кто отстал от эшелона. Перед тем нам прочли приказ Сталина, гласивший следующее: бойцы и командиры, отставшие от своего эшелона, направляются в распоряжение коменданта гор. Москвы, а тот отправляет их в штрафной батальон. Действительно, комендант ст. Лихоборы, которому по моей просьбе позвонили из Канатчикова, осведомляясь, стоит ли такой-то состав, прямо предложил сдать меня коменданту города.

Конечно, в штрафной батальон меня, писателя, находившегося в распоряжении ГлавПУРККА, не отправили бы. Я боялся другого. Я представлял себе, как добираюсь наконец до своего эшелона и как военачальник приказывает сдать меня коменданту. До Шмелева и Горохова — далеко. А пока я скандалю в комендатуре — эшелон уходит неизвестно куда. Я остаюсь в Москве. Прощай, моя медаль! Карлов торжествует: он с треском выставил меня из редакции, из 53-й армии. И самое главное, формально он целиком прав. Он выполняет приказ наркома. Мне передавали, что на днях он сказал:

— Пусть бы Фибих отстал.

Вдруг я вспомнил, что сегодня как раз 5-е чис-

ло, роковой для меня день, — и больше уже не сомневался, что именно так и произойдет.

Уже темнело, когда, стоя в ожидании трамвая у Крестьянской заставы, я увидел жену Цитрона и сестру Москвитина. Они сообщили, что эшелон находится не на Воробьевых горах и не в Угрешах, а в Люблино. Мчусь на Курский вокзал, сажусь без билета в электричку, добираюсь до Люблино и там схожу. Тьма кромешная, бесчисленные пути, составы. С трудом, чуть не ощупью, нахожу помещение коменданта. Девочка, сидящая там, сообщает, что эшелон № 12574 недавно ушел.

— Куда? В Бирюлево?

— Нет. К месту назначения. В Тулу.

В Тулу! У меня обрывается сердце. Все кончено.

— Помогите мне, посоветуйте, что делать, — говорю я молоденькому лейтенанту в серебряных погонах — помощнику коменданта. Он только что кончил говорить по телефону.

— Идите в соседнюю комнату, — говорит лейтенант, выслушав меня. — Там сидят ваши товарищи. Они в таком же положении.

Действительно, в соседней комнате я вижу фоторепортера Пархоменко и человек пять командиров — все они, как и я, отстали от нашего эшелона. Мне становится легче — теперь все-та-

ки я не один в таком положении.

Мы сидим и мирно беседуем о создавшемся положении с седоусым симпатичным комендантом. И вдруг — я не верю глазам — на пороге вырастает сам Карлов. Он тоже ищет эшелон. Он тоже отстал. С ним и его Катя.

У меня камень с души сваливается. Ну, теперь мы все в одинаковом положении. Выясняется, что по крайней мере человек десять редакционных работников, во главе с нашим редактором, не попали на поезд.

Часа через полтора подходит пассажирский поезд, идущий на Тулу. Получив разрешение коменданта, мы врываемся в вагон. Все битком набито. Пассажиры — штатские, приличная публика. С трудом нахожу место и, сидя, кое-как коротаю ночь. Утром мы в Туле. Выходя из вагона, сразу же вижу на перроне Прокофьева, Пантелеева, Адульского, Зингермана, Весеньева. Оказывается, ехали в нашем поезде. Эшелон ушел из Тулы всего полчаса тому назад — на Горбачево. Садимся в попутный воинский эшелон и продолжаем догонять. Вторые сутки все мы ничего не ели. Однако я лично голода не испытываю, может быть, потому что много курю. Начальник эшелона великодушно отпускает нам бумажный

мешок сухарей. Грызем сухари и едем дальше. Прибыв в Горбачево, узнаем, что наш эшелон двинулся дальше, на Валово. Погоня продолжается. Но путь впереди забит, состав, в котором мы едем, простоит в Горбачеве неизвестно сколько часов. Чего доброго, так и не нагоним наших. Карлов договаривается относительно автодрезины. С эшелоном установлена наконец связь по телефону — стоит где-то на промежуточной станции перед Валово. Простоит, видимо, долго.

Мы рассаживаемся в автовагончике на прицепленной к нему платформе и мчимся дальше по рельсам. Часа через два-три автодрезина подлетает к полуразрушенной станции, мы узнаем издали стоящий на пути наш эшелон и вздыхаем облегченно.

Сейчас состав наш вторые сутки уже стоит в голой степи, перед каменным полуразрушенным зданием. Говорят, простоит еще несколько суток. Мы негодуем: какого черта сорвались из Москвы? Чем стоять вот так среди степи, разумнее было бы дожидаться в Москве, пока освободится путь. Все проклинают начальника нашего эшелона, вздыхают о потерянных возможностях. Цитрон горюет: была возможность получить в Москве новое прекрасное обмундирование.

Прокофьев, Эпштейн и Москвитин заболели дизентерией. Обвиняют Дедюру в том, что пища недоброкачественная и чай недоварен. Вообще, вокруг вопроса о питании, как всегда, разгораются яростные дискуссии. Цитрону приходится отражать ожесточенные атаки — все обвиняют его в том, что он выдает неполный паек. Ругань, мат. Выясняется, что запасов хлеба и сухарей вместо полагающихся двенадцати хватит только на семь дней. Бурное обсуждение вопроса, куда и как мог быть израсходован хлеб. Приходим к выводу, что объедают вольнонаемные, на которых не полагается пайка. Их у нас человек пять, шесть. Немедленно уволить их, а прежде всего — Катьку! Фаворитку нашего начальника все ненавидят лютой ненавистью. Кто-то предлагает поставить вопрос о продовольственном положении на ближайшем партийном собрании. По-партийному, по-большевистски! Что, в сущности, может сделать Карлов? Лишить медали?.. Отстранить от работы?.. Ни того ни другого он сделать не может. Я уверен, что все это болтовня и показывание кулака в кармане. Смешно, грустно и противно наблюдать своих товарищей. Ни у кого из этих принципиальных коммунистов не хватает духа смело и открыто выступить против начальства,

глубоко ими презираемого и ненавидимого. Они храбры лишь на словах. Исключение — один только Москвитин.

Редактор более или менее осведомлен об отношении к нему коллектива — не раз намекал на это. Очевидно, среди нас доносчик. Подозреваем Губарева, хоть он и не отстает от общего хора.

Еще Тульская область, но вокруг уже лежат чисто украинские степи. Где вы, зубчатые хвойные леса, голубые озера, валдайские горы? Теперь я начинаю испытывать нечто вроде грусти и сожаления, вспоминая о них. Голые бурые поля, где лишь кое-где белеет полосами снег. Ряды голых верб. Белые мазанки и кирпичные дома, крытые соломой. Отсутствие лесов мы уже чувствуем на себе: приходится экономить топливо для нашей печки. Скоро почувствуем еще больше. Здесь негде маскироваться — все на виду. Полный простор для немецких летчиков. По этим равнинам могут свободно разгуливать стада танков. Нет, воевать тут приходится иначе, нежели на северо-западе.

Очевидно, ближайший, но не конечный пункт нашего продвижения — Елец. Затем мы едем дальше. Донбасс? Украина? Кубань? А может быть, тыл?..

Сейчас мне хочется заново переделать книжку о северо-западе.

Вчера устроили литературное выступление. Бойцов из других вагонов построили, повели. Одна из теплушек была превращена в эстраду, на которой мы выступали. Слушатели собрались перед вагоном — стоя, сидя.

Выступали Левитанский со стихами, я, Пантелеев, Эпштейн и Москвитин, читавшие главу из своей сатирической повести, Весеньев, с отрывком из своего научно-фантастического романа. Публика серая — типичные «славяне». Сомневаюсь, чтобы что-нибудь до них дошло.

За меня читал Эпштейн — мой рассказ «Знамя».

***10 апреля***

Все стоим среди степи. Четвертые, кажется, сутки. Благодаря идиоту — начальнику эшелона мы вырвались вперед, вышли из графика и теперь должны ждать, пока пропустим все остальные составы. Кроме 53-й, с северо-запада переброшены 34-я, 11-я и 1-я Ударная. Неужели и немцы перебрасывают свои армии такими темпами? Сомневаюсь.

Все скучают, злятся. Утро в теплушке начина-

ется с ругани. Вчера сутки шел дождь. Туман, прохладно. Поговариваем о возможности бомбежки. Хорошо, что погода пока нелетная.

В Москве я сменил белье. Через две ночи обнаружил на себе восемь вшей. Каждое утро, проверяя белье, снимаю несколько штук. Рядом со мной на нарах спит Весеньев. Изысканный интеллигент все время скребется. Это он награждает меня «автоматчиками». Есть вши и у других.

Летом будут ожесточеннейшие битвы. Нам предстоят горячие дни. Воевать на этих полевых просторах нелегко — это не тихий северо-запад с позиционной войной. Работа военного журналиста сопряжена с большой опасностью.

Прокофьев и Эпштейн с попутным эшелоном уехали в Москву. Оба больные. У первого конъюнктивит, второй мучается дизентерией. Военачальник очень охотно дал им разрешение отправиться в госпиталь. Оба на положении оппозиционеров — в особенности ядовитый и острый на язык Эпштейн. Мы сердечно простились с ними — расцеловались. Все уверены, что назад к нам они не вернутся. Эпштейн, прощаясь, просил информировать его, снят ли Карлов. Если снят, то он, Эпштейн, вернется в редакцию. Хочет

поговорить в ГлавПУРе с Дедюхиным относительно Карлова.

***11 апреля***

Двинулись наконец дальше на Волово — Ефремово — Елец. Эшелон вытянулся чуть ли не на километр. Кроме нас здесь АХО, полк связи, летчики, еще какие-то подразделения. На разъездах бабы и девчонки продают молоко, яйца. На северо-западе этого не увидишь. Главным образом меняют на соль. Молоко — литр 30–40 р., яйца — десяток 150 р. Снега лежат только в тени да в оврагах. Сухо. Солнышко пригревает почти по-летнему.

Все время разговоры о предстоящих бомбежках. Противно. Трусоватая публика — мои коллеги.

Вспоминаю свою встречу с Бертой. Новое что-то в ней — женски-голодное. И сердечности меньше, чем ожидал. Такое впечатление, будто немного отвыкла от меня, присматривается, проверяет, каким я стал, не изменился ли по отношению к ней. Вот с этого начинается измена оставшихся в тылу жен своим мужьям-фронтовикам. Критический момент.

Признаться, и я отвык от нее. И с ней был сдержан. На первом месте была у меня мать и горькие

грустные думы о папе.

Непременно нужно выбраться в Москву. Получу медаль, деньги за февраль, летнее обмундирование и пойду к Шмелеву.

А мамочка у меня молодец. Сказала мне:

— Нет, ты уж заканчивай войну, будь на фронте до конца. Так и папа хотел.

Настоящая русская женщина.

Когда я, утешая ее, спросил, разве плохие у нее сыновья, она сказала задумчиво, убежденно и серьезно:

— Богатыри.

И снова повторила, качая головой:

— Богатыри.

***12 апреля***

Все пути загажены. Загажена вся Россия.

Чем больше нахожусь я на войне, тем все меньше уважаю армию, ее людей, обиход, порядки. Да и за что уважать ее? Наши победы, наше двухлетнее сопротивление фашистской Европе — заслуга не армии как таковой, а героической России, простого русского человека, решившего умереть за Родину. И умирающего сотнями тысяч, безропотно и буднично.

***15 апреля***

Итак, на новом фронте. Район Касторной. Путешествие наше продолжалось двадцать два дня.

Повсюду в полях и на дорогах, точно дохлые раки, разбросаны немецкие автобусы, грузовики, танки, орудия, фуры. Кое-где до сих пор валяются убитые фрицы. Следы недавних боев.

Выгрузились на ст. Касторная и своим ходом, автоколонной, двинулись в с. Семеновку, километров за пятнадцать. Здесь уже политотдел и АХО. Дорога сухая, лишь местами наша тяжелая печатная машина застревала в грязи. Приходилось вылезать и подталкивать. Черноземная полоса. Земля иссиня-черная, жирная, липкая. Малейший дождь — и не проедешь.

Деревни и села раскиданы в беспорядке. Белые мазанки стоят, окруженные кучами навоза и соломы. Никаких дворовых пристроек. Внутри хат земляные полы. Здесь же, в хате, живут козы, куры, телята. О банях тут не знают. Грязь. Это не бревенчатые добротные избы Калининской и Ленинградской областей, с крытыми дворами. Ребята щеголяют в пиджаках, перешитых из немецких мундиров, и в юбчонках из немецких плащ-палаток. Немцы стояли тут семь месяцев. Кроме германцев были мадьяры и украинцы.

В Семеновке помещались человек двести украинцев — тыловое подразделение, механики, специалисты. Большинство были уверены в том, что Красная армия уничтожена. Про себя говорили: «Мы — солдаты». Среди них лейтенанты и капитаны Красной армии. Перейдя к немцам, они сохранили свои звания. Немцы им покровительствовали — разрешали даже украинцам жениться на немках, а немцам — на украинках! (Тоже арийцы!) Мне хозяйка рассказывала, что только раз был случай перехода к нашим. Четверо украинцев, сговорившись, ушли. После этого немцы установили строгий надзор за украинцами.

Нашего наступления никто не ждал. Среди немцев началась паника. Эвакуировались так поспешно, что не успели уничтожить деревни.

Жителям давали 300 гр. хлеба, нетрудоспособным — 150. Остальное забирали. Впрочем, отнимали не так, как на северо-западе — у крестьян оставались и коровы, и овцы, и даже куры. Повесили пять стариков, якобы за связь с партизанами, и бежавшего из плена красноармейца. Вешали его на березе. Сук обломился, повесили вторично. Многих угнали в рабство. Хозяйка показала открытку, полученную от дочери. Живет

«за Берлином», работает, получает 300 гр. хлеба.

Судя по рассказам крестьян, за это время с немцами установились более или менее добрососедские отношения, вплоть до споров на военно-политические темы. Немцы не только грабители, убийцы, садисты. Человеческое не чуждо им. Детям, случалось, сунут конфетку, приласкают. Но психология их проста и прямолинейна: я завоевал вашу землю, значит, имею право распоряжаться вами и вашим добром как желаю. Они не шутя считали себя освободителями:

— Мы сняли с вас хомут — колхоз. У вас будет барин, вы будете жить хорошо, все будет хорошо. Молодые станут работать на барина, старые будут отдыхать. Хорошие земли — барину, похуже — крестьянам. Хорошо будете жить.

Молодая крестьянка, рассказывавшая нам, ответила на это:

— Вы сняли такой хомут (показала руками), а надели такой (показала вдвое больше).

С помощью жестов, исковерканных русских и немецких слов обе стороны не только разговаривали, но и понимали друг друга. Особенно живо улавливали немецкую речь, как это всегда бывает, ребятишки.

Но всякая попытка сопротивления подавлялась немцами с холодной, обдуманной, бесчеловечной жестокостью. Ненависть к ним со стороны населения велика. Совместное сожительство только усилило эту ненависть.

Здесь сеют свеклу. Недалеко от Касторной сахарный завод. Все окружающие деревни гонят из свеклы самогон. Литр — 130, 150, 200 — до 300 руб.

Наша армия в расположении фронта резерва. Прежние дивизии и бригады отобраны от нас, вместо них дали семь новых, в том числе одну гвардейскую и три авиационных дивизии. Это интересно.

Очевидно, нас готовят для будущих решающих ударов. Говорят, простоим в резерве с месяц.

Местный говор. Украинское «нехай», «балакать». «Табе, сабе» — тебе, себе. «Анчихристы» (немцы). Немецкие слова: «киндры» — дети, «на хавус» — домой, «сайже» — шайзе, дерьмо. «Хронт, хронтовик». Немецкое словечко «прима» (первый сорт). Обращение к немцам «пан». Немцы употребляют много польских слов — «пан», «матка», «зимно», «маленьки». Очевидно, на их взгляд, нет особой разницы между поляком и

русским. Одно и то же славянское быдло.

После войны в русской простонародной речи останется и будет бытовать немало немецких слов.

***16 апреля***

Колхоз, где я живу, готовится к севу. Лошадей нет — будут пахать на коровах. Идут тракторы, но когда их получат — вопрос. Прислали первосортные семена. Состав был разбит во время бомбежки станции. Прислали снова. Однако таким количеством можно будет засеять не больше одной пятой посевной площади.

С завтрашнего дня вводится обучение для работников политотдела и редакции. Приказ Щербакова. В сентябре и октябре будут сдаваться зачеты. Главным образом изучение нового боевого устава и оружия. Отдыхать нам не пришлось.

Сегодня построили нас всех (с политотдельцами) в мертвом саду, под погибшими от мороза яблонями. Шмелев провел беседу! План учебы, задачи политработников. Сказал, что сроки нашего пребывания здесь очень сжаты. Изучение войны в степной местности. Впервые заговорил о создании истории армии. Выждав удобный момент, я подошел к Шмелеву и предложил свою

кандидатуру на должность «историка».

— Обязательно, — сказал Шмелев.

Работа спокойная, мне по духу и на глазах «начальства». Чем подчиняться Карловым и Губаревым, лучше уж быть под началом Шмелева. Впрочем, ходят слухи, что его отзывают из армии на более почетную работу. Жаль!

С вручением медали волокита. Отдел кадров отсюда за шесть, семь километров. Самому являться, напоминать — не совсем удобно. К тому же говорят, нет медалей. Политотдельцы получили, а мы, газетчики, как всегда, в тени. К тому же не вполне ясно, подписан ли Гороховым приказ относительно меня.

О Карлове говорят, что он на днях едет за новым назначением. На его месте, очевидно, хотя бы временно, будет Губарев. Хрен редьки не слаще.

Приказ командарма: всех вольнонаемных либо уволить, либо зачислить в красноармейцы. Как хорошо, что я не взял сюда Берту.

Три авиадесантные дивизии в нашей армии — это «нюанс». Армия прорыва, наступления?

***18 апреля***

Вчера был день моего рождения. 44 года. Уже 44 года, а как обидно мало сделано. И жить уж

осталось недолго…

Второй день занятия. Маршируем, учимся печатать шаг, изучаем ручной пулемет, тактику: отделение в бою. Вчера под руководством Чванкина изучали материальную часть ручного пулемета. Сегодня сдавали зачеты. На старости лет снова пришлось чувствовать себя школьником. Не думал, что придется быть в таком идиотском положении. Сегодня же первый раз в жизни стрелял из ручного пулемета. Два боевых патрона. Попал в мишень, но не в черное.

Чванкин и Губарев (командир нашего отделения) сидели в хате, за столом. На столе полуразобранный пулемет. Сдающие зачет редакционные работники и политотдельцы толпились в сенях, у закрытой двери, в ожидании вызова. Тут же длиннорогая коза. Вызвали меня. Чванкин спросил устройство частей (мелких) пулемета. Последнее я не знал. Получил «удовлетворительно», но зачет должен сдавать сызнова. Смешно.

Газетеночка не выходит — только бюллетени. Информбюро, телеграммы из-за границы. Вероятно, дня через два начнет выходить регулярно.

Мне становится скучно. Заниматься шагистикой и спусковыми рамами? Благодарю покорно. Я начинаю знакомиться на личном опыте с жиз-

нью армии в тылу. Вероятно, пробудем здесь все же довольно долго. Перспектива казарменной муштры никак меня не вдохновляет. Нужно подумать о Москве.

Об «Истории» пока ничего не слышно. Неужели снова сорвется, как и в 1-й Ударной?

***19 апреля***

Газетка наша будет все внимание уделять боевой подготовке. Скука зеленая. Если я не стану придворным историографом, во что бы то ни стало буду в Москве.

Предварительно выясняю вопрос с наградой, затем с переаттестацией, получу деньги за февраль и летнее обмундирование. Все это займет месяц, не меньше. А к тому времени, смотришь, нас бросят на фронт.

Живу в хате с Рокотянским и Левитанским. Беленые стены, от которых вечно ходишь в мелу, земляной пол. В хате живет наседка, окруженная цыплятами. Другая курица сидит в лукошке на яйцах. Хозяева — добродушный старик с рыжеседой бородой и двумя огромными шишками на лысине, жена его и девочка лет тринадцати- четырнадцати. Сыновья в армии, один был эвакуирован немцами, но бежал. Вчера мать,

узнав, что он находится в Касторной — мобилизованный уже, — ходила туда, однако не нашла сына. Его «угнали» дальше. Дочь тоже увели с собой немцы.

Живут бедно. Едят заплесневелый, пополам с картошкой хлеб, картошку, молоко. (Есть корова.) По утрам хозяйка, молча, ставит нам на стол либо кружку молока, либо «черепейники». Это лепешки из растертой мерзлой картошки, поджаренные в печке. Довольно съедобно. Конечно, мы тоже не остаемся в долгу — делимся чем можем. Здесь очень нуждаются в соли.

На днях я отдал хозяевам свое второе от обеда: пшеничную кашу с мясом, густо залитую жиром.

— Отродясь такой каши не ел, — сказал старик. А старуха заявила, что теперь она будет спокойна за сыновей: вот как, оказывается, кормят в Красной армии.

Недавно мы с Весеньевым и Рокотянским пили самогон, закусывая черным хлебом с солью. Первый раз в жизни попробовал. Слабее водки и, пожалуй, приятнее на вкус. Самогон владеет умами всех военных. Даже наш военачальник, известный до сих пор как великий трезвенник и пуританин, ни капли спиртного якобы не берущий в рот, признался, что ему нужен самогон

— где бы найти?

Длинный, сухой, молчаливый и замкнутый Рокотянский явно исходит половой истомой и трется около разбитных здешних девчат и молодых бабенок. Они тоже не прочь «пидгулять». Два года войны сказываются. Женщины откровенно говорят, что скучают без «мужиков».

Говорят, семьдесят процентов здешнего населения заражено бытовым сифилисом.

Вчера поссорился с Левитанским. Мальчик давно уже взял по отношению ко мне какой-то задиристо-иронический тон. Каждое мое высказывание на литературные темы немедленно им оспаривалось, то и дело он отпускал по моему адресу всякие шуточки. Ему нельзя отказать в остроумии. Вчера в столовой, в присутствии всех, я сказал ему, что мне наконец надоели его плоские остроты, что я немного старше его и годами, и званием, и пусть он ведет себя прилично. Юнец, конечно, ощетинился. Тогда я хладнокровно предупредил его, что надеру ему уши. Мальчик был уничтожен. Теперь мы не разговариваем.

***21 апреля***

Газета выходит — уже второй номер. Мы освобождены от строевых занятий.

Колеблюсь, стоит ли мне добиваться быть «ис-

ториком». Не прикует ли это меня к армии?

Богатейшие земли, чернозем, пашни как черный бархат, — и такая бедность кругом, грязь и бескультурье. Хаты на юру, никаких дворовых пристроек, ни изгороди, ни плетня — голое поле вокруг. В хатах, вместе с людьми, живут телята, козы, домашняя птица. Что такое баня, здесь не знают. Бытовой сифилис. Смотришь — и зло берет. Зло и обида. Четверть века советской власти! Пусти того же немца на такую землю — он бы через несколько лет устроил тут рай земной. А наш ходит по золоту в своих «чунях» и живет, как скотина, как триста лет назад.

Четырех человек послали в новые «хозяйства». Хотели было послать и меня, хотя накануне на совещании со Смирновым и Губаревым я договорился, что буду писать большую повесть с продолжением (единственное, что может оживить сейчас газету). Затем мою командировку отложили до возвращения фотографа Пархоменко. Сегодня, вместо Пархоменко, мне дают Рокотянского и посылают в 55-ю дивизию.

Таков стиль нашей работы. Дерганье, хаотичность, принцип семи пятниц на неделе. Главное — разогнать всех, чтоб глаза не мозолили. А самое

главное — опять-таки использование меня не по прямому назначению, разменивание на мелочи.

У меня сейчас знакомое уже состояние, предшествующее какой-то перемене в личной судьбе. Такое чувство, будто доживаю последние дни в редакции. Что принесет мне 5 мая? Лишь бы удалось сделать те дела, которые наметил.

А там расстанусь с «Родиной» не без удовольствия. На время или совсем — покажет будущее. Впрочем, к моменту решающих боев я не прочь был бы снова вернуться в 53-ю.

Странное дело, несмотря ни на что, все-таки я привык к этой армии и к пестрой фронтовой жизни. Не представляю себе, как буду жить в Москве, в мирном тылу. Разве только писать большую вещь.

## Май

***5 мая***

Двенадцать дней пробыл в командировке. Маршрут: 18 км до ст. Ново-Касторная (на попутной машине), оттуда 12 км поездом до Суковкина, там пешком в деревню Бычех — км 15, на машине. Итого 45 км. По железной дороге ехали с эшелоном авиадесантников — тоже из нашей

армии. Вечером, в теплушке, в томительном ожидании отправки, коротали время в разговорах с заместителем комдива. Подполковник Богдасаров, окруженец, пожилой, неглупый армянин, рассказывал замечательные истории из своей боевой практики: о молодом красноармейце — как он впервые заколол немца, — о шпионке-учительнице, о старосте, посланном к нам немцами и вместо того приведшим наш отряд в свое село. Я не пожалел, что потратил время. Готовый материал для рассказов, для эпизодов будущего романа.

55-я дивизия была в 11-й армии, пробивала «горловину» с севера, старясь соединиться с нашим бывшим соседом 1-й Ударной. Конечно, вся полегла. Теперь ждала пополнений. Командир, полковник Заиюльев, получивший за Финляндию звание Героя Советского Союза, принял нас радушно. Мы — я, Рокотянский и Пархоменко — были окружены вниманием. Нам отвели чуть ли не лучший дом в деревне. Продукты доставляли на дом. Для переброски в отдаленный полк дали грузовик. (Несмотря на экономию горючего.) В другом полку, когда мы двинулись назад в штаб дивизии, нам дали верховых лошадей, в сопровождении двух бойцов. Шестнадцать лет, после

Дагестана, не садился я в седло. Однако ничего — проехал не без лихости.

Штабы полков расположены в деревнях. Подразделения разместились в оврагах — в соломенных шалашах. Роют для себя землянки. Основной вид маскировки здесь — солома.

Дни стали сухие, даже жаркие, все начинало постепенно зеленеть. Степь не казалась уже такой голой и скучной. Население очень приветливое. Наша хозяйка, добродушная, белозубая, моложавая, несмотря на все свои 52 года, буквально заливала нас молоком во всяких видах — и сырым, и кипяченым, и топленым, и кислым. Я никогда в своей жизни не пил столько молока, как сейчас. На Пасху «разговелись» крашеными яйцами. Раза три за эту командировку выпил по стаканчику самогона. Самогон тут льется рекой.

Виды на урожай неважные. Не хватает семян, тягловой силы. Пашут на коровах, кое-где трактором. Большую помощь оказывает колхозникам Красная армия, давая лошадей для полевых работ.

Здесь очень бойкие и развязные молодухи и девчата. Говорят, большинство их «гуляло» с немцами. Это похоже на правду. То и дело слышишь такие рассказы. Вообще, предстоит еще крепкая

чистка населения. Воображаю, что придется делать на Украине и Белоруссии, где немцы пробыли не семь месяцев, как здесь, а куда больше. А пока что на посту председателей сельсоветов и колхозов часто стоят люди, работавшие у гитлеровцев. Мне рассказывали: в одном сельсовете председателем женщина, которая путалась с немецкими офицерами, каталась с ними на машинах, мало того, была специально ими подослана в концлагерь, где находились наши пленные.

Говорят, есть приказ о том, чтобы шпионов и немецких наймитов не расстреливать, а вешать. При особых отделах созданы специальные отряды ССШ — «Смерть, смерть шпионам» (!). Вводятся военно-полевые суды.

В полку, где я находился, при мне задержали немецкого полицейского. Двое бойцов с винтовками провели за хату, под соломенный навес, молодого паренька, по виду красноармейца. Стали обыскивать. Я подошел. Стройный мальчик, лет семнадцати-восемнадцати. Одет в вылинявшее летнее обмундирование (все еще ходят в зимней), на голове фуражка с красным околышем (на фронте такие не носят). Явно — переодет. Лицо тонкое, умное. Держался спокойно. Допрос шел

коллективно — я принял в нем участие. Мальчик не скрывал, что был полицейским. Назначили якобы на созванном собрании сами немцы. Он убежал домой — за ним пришли, дали пощечин и заставили служить. Что он делал? Охранял мост и следил за порядком.

— Почему же ты не убежал к партизанам? — спросил замполит полка.

— А где тут партизаны? У нас нет.

Но его тут же опровергли, указав, что партизаны действовали в километре отсюда.

Когда пришли наши, он очутился в Красной армии. По его словам, эшелон с его частью находится недалеко отсюда, он отпросился у командира заглянуть домой. Однако ни увольнительной записки, ни документов при нем не оказалось. Парень врал. Ясно было только одно: накануне он пришел к матери, живущей в этой деревне, переночевал, а на другой день крестьяне сообщили о нем командиру полка. Большой деревенский мешок, сверху заваленный темными калеными яйцами, стоял у ног парня — видно, мать готовила сына в дальний путь. Она все время кружилась около — высокая, сухая, с расширенными глазами, — следя, что будет дальше.

— Никакой я не предатель, — упрямо повторял

парень, когда его обвиняли в предательстве. Похоже было, он и действительно не понимал всей тяжести своего преступления. Характерная деталь: он не говорил «пришли наши», а «пришли русские».

— Когда пришли русские…

Красная армия была для него столь же чужда, как и германская. А может быть, еще более. И этому отщепенцу восемнадцать лет! И он родился и вырос в эпоху советских школ, колхозов, тракторов, комсомола! Его посадили в хлев, около двери стал часовой. Мать не уходила. Под вечер пригнали стадо, хозяйка хаты попросила освободить хлев для своей коровы. Двое красноармейцев вывели арестованного и вместе с ним пошли на зады, в овраг, где находилась яма — старый немецкий блиндаж. Я услышал дикие, истошные крики. Мать глядела вслед тем, кто с винтовками вел в овраг ее сына, и кричала. Мы подошли к ней, стали успокаивать, говоря, что никто и не собирается его расстреливать. Она и верила, и не верила этому. Я никогда не видел, чтобы так трясло человека. Согнутая ее рука моталась перед животом, ноги дрожали, подгибались.

— Ведь он же совсем еще деточка! Ведь он ничего не понимает! Ой, начальнички! Ведь он

деточка, — твердила она, как в бреду.

Кто-то сказал угрюмо:

— Ничего не понимает… Деточка… Этот деточка не одного человека загубил.

На несчастную женщину прикрикнули, отослали домой.

Не знаю, огрубел я, что ли, но, право, ни одна струнка не дрогнула бы у меня в душе, если б на моих глазах расстреляли этого парня.

Командиром другого полка был генерал-майор Розанов. Наголо бритая голова, золотые кованые погоны, красные лампасы. Лицо грубое, энергичное и властное. Острый волевой взгляд. Свыше тридцати лет в строю, старый служака, типа Шевчука, но, видно, умнее и развитее его. (Кстати, покойный Шевчук был первым командиром этой дивизии. Говорят, крепко пил.)

Генерал — и командир полка! Явно командир был из категории опальных. Впрочем, он этого не скрывал от нас — чуть ли не с первых слов сам упомянул о своей опале. Посмеялся над этим. Вообще, Розанов, похоже, принадлежал к типу генералов-балагуров.

Кроме него, в комнате находилась молодая женщина в голубой кофточке. Она сидела с ногами на кровати, держа перед собой книжку. Лицо

бледное и недоброе. Это была врач, фронтовая жена Розанова. Генеральские жены на фронте обычно врачи.

На столике стоял патефон. Розанов показал мне одну из пластинок. На бумажном чехле была надпись карандашом: «Otto, не забывай свою Нину».

Пониже: «Otto, du mein lieber».

— Тут пропущено «bist», — сказал генерал. — Нужно: «du bist meu lieber».

— Кто это писал?

Розанов усмехнулся:

— Ну, тот, кто писал, уже больше не гуляет.

Я был потом на его докладе, посвященном Сталинградской операции. Командиры и политработники собрались в овраге, сидели на траве. Генерал пришел со своей подругой. Он был в папахе с алым верхом. «Генеральша» надела военную форму, штаны.

Доклад, живой и короткий, показал культуру и эрудицию автора, умение владеть словом.

В тот же день мы узнали, что генерал расстается с полком и уезжает в Москву. Опала кончилась. Перед тем Розанов командовал дивизией и получил понижение за неудачно проведенную операцию. Полк расставался с ним с искренним сожалением.

Пробыв три-четыре дня, Рокотянский и Пархоменко вернулись в редакцию. Я остался один, впредь до вызова. Это была, конечно, ссылка. Впрочем, против такой ссылки я нисколько не возражал. В свободные часы — а их было немало — я начал писать одну из задуманных фронтовых новелл. Писалось очень туго, тяжело. Со страхом я чувствовал, как развратила и дисквалифицировала меня как писателя затянувшаяся армейская поденщина. А писать по-настоящему очень хочется. Уже пора. Уже чувствую долгожданный творческий зуд. Буду добиваться во что бы то ни стало перевода в Москву, в резерв.

Через несколько дней я узнал новость: дивизия снимается и уходит в распоряжение другой армии. Итак, весь собранный для газеты материал можно было выбросить. Дальнейшее мое пребывание делалось бессмысленным. Утром 3 мая в армию как раз шла машина. Я отказался от нее. Дело в том, что накануне, будучи в одном полку, я позабыл там свой мундштук — японский, слоновой кости. Жаль было его потерять, да и вообще мундштук — на фронте ценность. В эту минуту я понял Тараса Бульбу, рисковавшего собой ради потерянной люльки. Между тем машина шла по другому маршруту.

На машине я через два часа был бы дома. Но я отказался от соблазнительной перспективы и решил добираться своими силами. Решил по пути заглянуть в наградной отдел — выяснить о медали — в финчасть, относительно зарплаты за два месяца, и, возможно, к Горохову.

Как назло, погода резко переменилась. Серое небо, холодный ветер, мелкий осенний дождь. Под этим дождем, в густой черноземной грязи, прошагал я километров шесть. Дойдя до деревни, где был штаб полка, убедился, что мундштук исчез. Никто его здесь не видел. Итак, напрасно я мучился. Ничего не поделаешь, нужно было продолжать путь. За деревней, на дороге, стояло с полдюжины застрявших машин. Шофера возились в грязи, я имел случай убедиться, что курские дороги не уступают северозападным. Забравшись в кабину, терпеливо просидел несколько часов, дожидаясь, пока машины двинутся наконец. К вечеру выяснилось, что ехать нет возможности — авось завтра погода улучшится и дорога немного подсохнет. Хорошо, что здесь деревни расположены одна за другой.

Я зашел в ближайшую хату и переночевал там. Дождь лил не переставая весь день и ночь. Но завтра погода прояснилась, выглянуло солн-

це. Старики-хозяева угостили меня блинами с вареньем. Семилетняя курносенькая Светлана расспрашивала о Москве, «где живет Сталин», и была потрясена моим рассказом о метро. Москва, Кремль и Сталин сливались в ее представлении в одно целое. Она из Воронежа, отец рабочий, на фронте, мать погибла, наскочив на мину. Старики-колхозники взяли сиротку на воспитание и ласково относятся к ней, славные люди. Отец не знает, где его дочь, дочь — где отец. Сколько таких растерявших друг друга семей будет после войны!

Машины все еще стояли на черном большаке, перед тонким бревенчатым мостком. Я решил не дожидаться, пока они выкарабкаются из грязи, и двинулся дальше пешком. Еще восемь километров по грязи. В Суковкине мне повезло: на Касторную как раз отходили два паровоза. Я уселся в прицепленный сзади вагон и через полчаса сошел в Ново-Касторной. Еще два километра до сахарного завода, оттуда двенадцать до Семеновки.

У коменданта гарнизона я узнал, что финчасть нашей армии находится километрах в шестивосьми отсюда, притом совсем в другой стороне. Нечего делать, опять месил грязь, фронтовой

бродяга.

Километра три удалось проехать на подводе. Тут снова заволокло небо, начал стегать косой, с ветром и градом, леденящий дождь. Добрался до совхоза, весь мокрый забежал я в ближайшую хатку и переждал, пока проглянет солнце, стихнет ливень. Хозяйка рассказывала о немцах, падчерица ее толкла в деревянной дикарской ступе просо, пришедшие мальчишки в серых немецких мундирах с увлечением вспоминали бой, который видели. Разбитной мальчуган с ямками на щеках, смеясь, говорил:

— Едут немцы на подводе, нахлестывают почем зря. «Рус солдат — ком, германский солдат — трай-трай-трай». Так и говорили. Будь автомат или пулемет — всех бы тут скосил!

Последние восемь километров до Семеновки удалось сделать на машине, идущей как раз в политотдел. Отдел наград находился в стороне от Семеновки. И от этого намерения я отказался.

Солнце висело совсем над горизонтом, когда я добрался до дому. Писем от мамы и Берты не было. Целый месяц!

Когда я вошел к Губареву, Москвитин шутя скомандовал:

— Встать!

Мне сообщили, что получили приказ о награждении и даже медаль. Хорош бы я был, если б отправился в отдел наград! Тут же выяснил, что в Семеновке, под боком, организовано отделение финчасти.

Все дивизии, вошедшие было в нашу армию, уходят от нас. 53-й дают новые укомплектованные части.

Сегодня, в День печати, получил медаль «За боевые заслуги». После обеда мы построились перед каменной школой — ныне там наша типография. Я, как всегда, правофланговый. Военачальник прочел перед строем выписку из приказа о награждении меня и Бахшиева. Нам вручили по коробочке с медалями.

Кажется, на днях будут награждены Губарев и Смирнов. По случаю Дня печати Цитрон угощал нас праздничным обедом: суп из гороховых концентратов, селедка с картофельным пюре и тушеная капуста с мясом. Лихорадочные поиски самогона ни к чему не привели.

***7 мая***

Получил извещение, что сборничек, который должен был выпустить СЗФ, — забракован ГлавПУРом. Мотивировка — газетность, по-

верхностность и отсутствие бумаги. Основное, конечно, последнее.

Кульбакин включил сюда три очерка: о Зите Ганиевой, о Хандогине и о Соне Кулешовой.

Итак, и здесь неудача.

Поверхностность?.. Можно подумать, фронтовые издательства печатают только Чехова и Мопассана. Сколько бездарной белиберды было выпущено в 41-м и 42-м годах. Очевидно, теперь спохватились. Мне везет: всегда попадаю не в точку! Оргвыводы: то, что я написал и напечатал за эти два года, утильсырье. Кое-что годно для перепечатки. Но нужно писать заново и по-настоящему.

Из случайно попавших сюда номеров «Литературы и искусства» узнал о творческом совещании в ССП. Обычное словоблудие. Собрались окопавшиеся в тылу литературные охотники за пайками и всласть потрепались. О нас, фронтовых чернорабочих, вскользь упомянул один Эренбург.

И все же нечем хвастать нашей литературе. И все же настоящие книги о войне будут написаны потом. То, что сейчас появилось — «Радуга» Василевской, «Народ бессмертен» Гроссмана, «Фронт» Корнейчука и др., — все это полуфабрикат, однодневки, сырое. Но иначе и не может быть!

***8 мая***

Тунис и Безерта взяты союзниками. С Северной Африкой покончено. На очереди Италия. Кажется, второй фронт становится реальной вещью.

Все еще бездельничаем, хотя газета и выходит. Прежние дивизии ушли, новые еще не пришли. Фронт от нас в двухстах километрах.

И все-таки летом здесь будут страшные битвы. Может быть, судьба войны решится именно в этих степях.

Вернулись Зингерман и, чего никто не ожидал, Эпштейн. Оказывается, не мог устроиться на новом месте: Дедюхин уехал в Среднюю Азию и вернется только в июне. Прокофьев получил новое назначение, очевидно, редактором армейской газеты. Хорошо бы работать у него!

Эпштейн, поздравляя меня с наградой, расцеловался со мной. Как ни странно, Карлов и его представил к медали. Что случилось с военачальником? Губарев и Смирнов — кандидаты на Красную Звезду. Относительно всех этих наград вопрос как будто решен. Вся наша редакция скоро будет в орденах и медалях.

Один только Цитрон черней тучи: ему отказали в награде. Впрочем, этот мелкий жулик нашел

утешение в новой, выписанной им из Москвы секретарше. Молоденькая девушка, довольно смазливая. Живет вместе с ним в одной избе, вполне открыто. Числится красноармейцем.

Эпштейн, будучи в Москве, вращался в журналистских, литературных и театральных кругах. Интересно рассказывает. Москва о войне и не думает. Все устроились более или менее хорошо, заняты пайками, имеют литерные столовые. Мышиная суета.

Я все еще не решил окончательно для себя вопрос, уходить ли мне совсем из нашей газеты или не уходить. И хочется, и колется. Конечно, если я категорически заявлю Шмелеву или Горохову, что не могу работать с Карловым и требую отправки меня в распоряжение ГлавПУРа, они отпустят. Но что это даст? В лучшем случае месяц-другой пребывание в Москве, в резерве, а затем отправка в новую армейскую часть. Здесь хоть, в 53-й, меня знают и привыкли, Шмелев и Горохов относятся хорошо, товарищеский коллектив, в общем, неплохой. А что меня ждет на новом месте, в незнакомой среде?

С другой стороны, кратковременное пребывание в Москве (а иным оно и не может быть) не даст мне возможности работать над крупной ве-

щью. Да и вообще эту работу нужно отложить на послевоенные годы. И еще вопрос: как я буду себя чувствовать, сидя в Москве, если начнутся решительные бои, в которых примет участие наша армия? Я уже отравлен фронтом, ничего не поделаешь. Эпштейн хорошо сказал, что, находясь в тылу, чувствовал себя отрезанным ломтем.

Дело не в карловых, хотя люди такого сорта могут отравить жизнь. Дело в том большом, участником чего и я являюсь. Карловы уходят и приходят, писатели остаются. Пребывание на фронте уже дало мне как литератору очень много, а даст еще больше. В сущности, работать по-настоящему я и здесь могу — правда, урывками. Я сейчас пишу одну из задуманных новелл. Что мне мешает делать это и в дальнейшем?

Получил деньги за 2 месяца. Послал 1000 руб. маме, 1000 руб. — Берте, 600 руб. — Кире. На днях получу летнее обмундирование, и тогда моя программа-минимум будет выполнена.

Все-таки думаю переделать и расширить книжку о северо-западе.

***12 мая***

Получил наконец летнюю гимнастерку. Дал перешить, а также прикрепить погоны. Теперь

приобрету более приличный вид.

Вчера были на докладе Горохова о военном и международном положении. Пришлось пойти километра за три под вечер. Всем не хотелось, все ворчали, но ничего не поделаешь. Доклад безобразно затянулся. Под конец слушали в темноте. Сидели на склоне горы, в зеленом кустарнике. Серп молодого месяца в небе, вблизи, в кустах щелкает соловей, стонет поодаль кукушка. Золотые зарницы. Вечер теплый, чудесный. И где-то глухое урчание немецкого бомбардировщика.

Тон доклада оптимистический. Открытие второго фронта — вопрос ближайшего времени. Этот год — решающий. (Все это и так известно.)

Из 25 имеющихся танковых дивизий немцы сосредоточили на Центральном, Воронежском и Юго-Западном фронтах 17. На нашем участке против нас находятся шесть танковых и 15 пехотных дивизий.

Мы на решающем участке. Жаркое предстоит лето.

***13 мая***

Совсем летние дни. Жара, начинают цвести черемуха, вишни, яблони. Робко пощелкивает в кустах соловей. По вечерам на окраине деревни

гармонь, визгливые голоса девчат, распевающих «Страдание». Около них трутся бойцы и лейтенанты.

Губарев получил Красную Звезду. Награды Смирнову и Эпштейну пока задержали почему-то. Сделавшись орденоносцем, Губарев окончательно обнаглел: целыми днями ничего не делает. Передовицы, порученные ему, пишут все сотрудники отдела.

Приезжал к нам Шмелев, провел беседу. Мы собрались в овраге, на травке и при его появлении отдали честь. В строю этого делать не полагается. Шмелев укоризненно сказал сопровождавшему его Карлову, что мы все еще не умеем себя держать по-военному.

Беседа об учебе. Он умен, обладает юмором и умеет говорить. Все-таки от строевых и тактических занятий нам не увильнуть. Будем заниматься, несмотря на командировки и текущую работу.

Спросил, почему я без погон и почему давно не появляюсь в газете. Об истории армии — ни звука.

Сегодня я закончил рассказ о шпионке.

Вчера всем нам делали прививки против

брюшного тифа, паратифа и столбняка. Дозы лошадиные. Довольно болезненно. После укола все зеленели и впадали в полуобморочное состояние. Рокотянский, вернувшись к себе в хату, потерял сознание. У Левитанского ночью начался сильный жар, бред, никого не узнавал. Для меня все ограничилось холодным потом, мгновенно выступившем на теле. Через десять дней снова будут колоть.

Получил наконец письмо от Берты — первое письмо от своих с того дня, как покинул Москву. По-обычному нежное, любящее. Пишет, что и она тоже мучилась после сознанием, что не была достаточно нежной и ласковой со мной. Говорит о «родстве душ».

За все время войны я ни разу не изменил ей. Мои фронтовые «романы» — гимназическая платоника.

***15 мая***

Вчера получил летнюю гимнастерку — давал ее перешить. Впервые надел погоны. Странно и непривычно.

Ночью была давно забытая «иллюминация». Гудение немецких тяжелых бомбардировщиков, целые гирлянды и созвездия сброшенных ими ра-

кет, бледные лучи прожекторов, красные узоры трассирующих пуль, острые блестки шрапнельных разрывов и в довершение — слабое зарево пожара. Все это происходило где-то далеко — лай зениток чуть доносился. Не подготовка ли к наступлению?

Крестьяне высыпали из хат, наблюдали с тревогой.

— Свет-конец! — сокрушенно повторяли бабы, а девчонки, бегая по хатам, им вторили:

— Свет-конец.

Нота Молотова[38] о массовом насильственном уводе наших людей в немецкое рабство. Карлов получил выговор за то, что мы задержались с опубликованием ее. Произошло это потому, что очень трудно принять весь текст по радио. Да еще и не переврать.

Меня, в числе других, послали за «откликами» в инженерный батальон — километров за семь. Вместо того я отправился в деревушку в километре отсюда — в загрядотряд. (Не все ли равно? Да к тому же практика меня убедила, что такой материал далеко не всегда идет.)

Подразделения находились в поле, на занятиях. Я поговорил с командиром — он лежал на пригорке. Вскоре подошли два вызванных им взвода. Все

с автоматами, большинство в орденах и медалях. Прекрасная выправка. Многие из них были под Сталинградом. Митинг. Командир (орден Красного Знамени) прочел вслух принесенную мной газету с текстом ноты. Слушали равнодушно, скучно, да и чтец, кстати сказать, был не Яхонтов. Потом выступление замполита. Казенные, штампованные, серые слова. Как не умели мы говорить! Какая низкая словесная культура! Двадцать пять лет Россия говорит с трибуны — и все еще не вышла за пределы месткома. Сплошной всероссийский местком. Ни одного оратора не появилось за эти четверть века, кроме ныне покойных Луначарского[40], Троцкого[41] и Кирова[42].

А ведь чувствовать можем. И как еще чувствуем! А выразить свои чувства и мысли: оо, толстовский Аким с его «тае, тае»!..

***17 мая***

Второй день занятий. Утром, к 9 часам, собираемся в саду перед хатой, где общий отдел Помарма. Строимся вместе с политотдельцами. Это в полукилометре от нашего Воложанчика. Командует нами Чванкин — рослый, упитанный, красивый. Кругом цветут яблони.

Вчера от девяти до часу занимались фортификацией пехоты. Промаршировали за Семеновку,

в так называемый инженерный городок. Там в открытом поле сделаны траншеи и всякого рода заграждения. Нам объясняли, как сооружаются они. Тема: стрелковый взвод в обороне. Четыре часа под палящим, совсем июльским солнцем, в степи, где ни деревца, ни кустика. Я истекал потом. Хоть бы кусочек тени! Счастье, что нас не заставили самих работать лопатой — а сначала ведь так и предполагалось. Двухчасовой перерыв. Вернулись к себе, в Волжанчик, усталые, покрытые пылью, мокрые от пота, черные от грязи и загара. Обед, отдых! С трех до девяти — изучение связи и знакомство с пистолетом ТТ. Это было куда приятнее. Занимались в саду общего отдела, лежа на траве, под белыми, как невесты, яблонями! Нам показывали устройство и работу полевых телефонов — фонического и индукторного, — и раций РБ и РБМ. Сами настраивали на определенную волну. Отдельные группы переговаривались между собой.

Изучение ТТ происходило совсем по-домашнему. Собрались в овраге, на травке, около нашей типографии. Карлов был тут же, в качестве такого же ученика. Вообще занимаются капитаны, майоры, подполковники. Сегодня в девять утра знакомились с химзащитой. Снова яблоневый

сад, но другой — около АХО. Химики были в восторге, что у них нашлось столько слушателей. Первым делом всем раздали противогазы. Я тоже получил — третий по счету за время войны. На противогазы на фронте смотрят как на ненужную обузу, и легче всего с ним расстаться.

Демонстрировали нам иприт, надевание и снятие противоипритного костюма, производили опыты с хлор-пикрином. В колбе, куда пустили газ, билась и умирала мышь — все смотрели с любопытством. Потом появилась застекленная клетка, откуда мирно поглядывала на толпу красивая тигровая кошка, не подозревая, что ее ждет. Пустили газ. Скоро кошка понурила голову, с усов ее свесились нити слюны и слез. Кошка истекала слезами. Послышались голоса, требующие прекратить жестокий опыт и даровать смертнице жизнь. Лектор пошел навстречу, как он сказал, «требованию масс», и кошка осталась жива.

Доброе русское сердце.

Цветущие фарфоровые яблони, синее небо, яркая зелень, солнечный зной — весна, май, жизнь, — и на этом фоне мертвенно-белые уродливые хари противогазов, речь о ядовитых газах, страданиях, смерти; но все это спокойно, даже весело, с остротами, со смехом.

Потом, построившись цепочкой, мы надели противогазы и вошли в палатку, наполненную парами хлор-пикрина. По команде на несколько секунд сняли маски, зажмурив глаза и задержав дыхание. Через 35 секунд я судорожно опять натянул противогаз: нестерпимая резь в глазах, в носу, кашель. Обычная норма — 40 секунд.

Демонстрировали нам немецкие средства химической войны и защиты.

Я не верю в возможность применения немцами ОВ. Палка о двух концах. Английская, да и наша авиация показали, что с этим шутки плохи. Понадобится — мы зальем всю Германию ипритом. Да кроме того, немцы должны хорошо знать, что мы прекрасно подготовлены к химической войне.

Затем скучнейший урок — структура дивизии, полка, батальона, роты, взвода, их состав, их вооружение. После обеденного перерыва — топография. На этот раз мы собрались в школе, ныне нашей типографии. Снова, как в гимназические годы, я сидел за партой и записывал слова преподавателя.

Познакомив нас в общих чертах с принципами и основой топографии, лектор повел всех в овраг и предложил сделать план местности: пересекающая овраг дорога, ближайшие кусты, деревня,

хаты, возвышенности. Кое-как набросали кроки.

Все это интересно и полезно, все это нужно и командиру, и военному летчику. Скверно только то, что нужно будет сдавать зачеты. Зачеты по всей программе будут в октябре. Сколько должен знать современный командир!

Думаю все же, что к октябрю разыграются такие события, такие бои, что никто и не подумает о зачетах. Мы живем кампаниями. Не до того тогда будет.

Сейчас, когда я пишу, поздний вечер. Хозяева хаты и Рокотянский давно спят. В сенях чешется и шумно вздыхает корова. Дремотно чирикают — совсем по-диккенсовски — сверчки за печкой, испуганно притихая на несколько минут, когда дом дрожит и звякает стеклами от глухих далеких ударов. Немцы бомбят Касторную. Затем, осмелев, сверчки опять заливаются. Пролетел в облачном небе, угрюмо рыча, немец — его не видно, только мотор слышен. Два прожектора на горизонте, точно белой кости, мажут ночные тучи.

***19 мая***

Погода резко изменилась. После палящего зноя — резкий холодный ветер, дожди. Сегодня отправляюсь в поход.

Вчера занимались изучением ротного 50 мм миномета, шагистикой, основами наступательного боя и дисциплинарным уставом. 25-го уже первый зачет по последнему предмету. В течение лета все время будут зачеты. Принимает специальная комиссия. Программа колоссальная. Достаточно сказать, что, не говоря уже о всех прочих дисциплинах, политработники должны знать матчасть и стрелять из противотанкового ружья, легкого и станкового пулеметов, из минометов двух видов — ротного и батальонного, а также из пушки. Следующие занятия 29, 30 и 31 мая. 1-го зачеты по уставам гарнизонной и внутренней службы.

Ох!..

***27 мая***

Новая перемена в моей фронтовой жизни. Сегодня, только что вернувшись из 299-й дивизии, я узнал, что должен срочно «убыть» в распоряжение округа. Сообщили мне об этом в отделе кадров. Любопытно, что даже в редакции ничего не знали. Горохов сам звонил в отдел кадров. Еще вчера оттуда прибегал за мной человек. В чем дело — не знаю. Если вздумают перебросить в другую армейскую газету, категорически потребую отправки в распоряжение ГлавПУРа.

Вообще, нас — меня, Бахшиева и Адульского — ждали в редакции большие новости.

Карлова нет. Уехал со своей Катей на курсы политработников. Горохов, очевидно, своего добился. Редактором — Губарев. На груди у него Красная Звезда. За какие заслуги — неизвестно. Он мягок, просветлен и демократичен. На его место назначен Бахшиев[39]. Я рад за Мишу. Честный, добросовестный, трудолюбивый, способный человек и прекрасный товарищ. У нас с ним по-настоящему были весь этот год дружеские отношения. Весеньев в госпитале, очевидно, попадет в Москву — грудная жаба. Старый забулдыга неплохо устраивает свою жизнь. Когда ему как рядовому грозил призыв в действующую армию, в строй, он через своего приятеля Смирнова устроился у нас, был здесь аттестован на лейтенанта административной службы и теперь может спокойно отправиться в резерв. В строй он больше не попадет.

Да, не думали мы еще утром, отдыхая в широкой безлюдной степи у скирды необмолоченной пшеницы и слушая беспечную трель жаворонка, что нас ждут такие новости. И меня, и Бахшиева.

Дивизия, где пробыли неделю, — боевая, Сталинградская. На три четверти, конечно, истреб-

лена. Пополнение почти сплошь узбеки. Слабая дисциплина. Разболтанность. Познакомились с начальником штаба полка, старшим лейтенантом Конниковым. Интересное и славное лицо. Он был раньше в Московской Коммунистической (130-й), хорошо знает Пантелеева, Зибу Ганиеву, Фрадкина. Доброволец. Молодой режиссер, работал в Театре Ленинского комсомола и Театре Красной армии. Ранен и тяжело контужен. Рассказывал много интересного о последних днях сталинградских боев.

Вечером у нас в хате мы отвели душу. Он слышал о моих «Снегах Финляндии». Так же, как и я, отметил ужасающе низкий культурный уровень нашего офицерства.

— Война развращает, — сказал он. Мои слова.

Был партизаном в студенческом отряде. Захватил в плен штаб немецкой дивизии. Представлен к ордену Ленина, но ранение, скитание по госпиталям, потом переброска на другой фронт прервали связь с дивизией. Так орден и повис в воздухе.

Это один из последних могикан эпохи добровольчества, первых героических месяцев войны. Теперь уже почти не осталось этих юношей и девушек. Перебиты. И народ в армии сейчас со-

всем не тот.

Документы и толстый пакет с характеристикой на руках. Дополнительные сведения: Горохов был в округе, вернувшись, затребовал мое личное дело. Состав литработников окружной газеты далеко не укомплектован.

***28 мая***

В ожидании машины, которая должна меня подбросить на ст. Касторное. В 11 вечера оттуда идет рабочий поезд до Воронежа. Приеду часа в 3 ночи. Мучительные предстоят сутки.

Что-то меня ждет?

Будучи в командировке, прочел в газете постановление о ликвидации Коминтерна. Давно пора. Мертворожденная, провалившаяся организация. Она оказалась бессильной и перед фашизмом, и перед мировой войной. Жизнь беспощадно ломает книжные теории. Но вместе с тем что теперь остается от коммунистической программы?

Роспуск Коминтерна — устранение последней преграды, мешающей открытию второго фронта. Черчилль и Рузвельт могут теперь спать спокойно.

Вчера было сухо и тепло. Сегодня всю ночь и

почти весь день сеял мелкий, как пыль, дождь. Машины не ходят. Не пошла и редакционная машина, которая должна была доставить меня до Касторной.

Срок явки 28-го, а я еще и с места не сдвинулся. Утром, в дождь и грязь, ходил в Семеновку, к Горохову, попрощаться. Адъютант-майор, доложив обо мне, вернулся с ответом, что Горохов очень торопится — уезжает в дивизию и принять меня не может. Действительно, возле хаты стоял трофейный вездеходик, шофер сидел и покуривал. Я попросил передать, что приходил проститься, и поплелся назад. Долг элементарной вежливости был соблюден, а прочее меня не касается.

Под вечер засинело возле туч, выглянуло закатное солнце. Хоть бы завтра не было дождя!

Видел окружную газету «Суворовский натиск». Серая слепая печать, бедность шрифтов, ни одного клише. И содержание под стать внешнему виду. Дарованиями редакция, видно, не блещет. Зато четыре полосы.

Материал главным образом посвящен боевой подготовке. Скука зеленая. Никакого сравнения с газетой «За Родину». Моя задача — так или иначе побывать в Москве. Ведь я даже и на могиле папы не был. Если назначат в окружную газету,

буду просить об отпуске, хоть бы на два-три дня. Если в армейскую — об отправке в распоряжение ГлавПУРа.

Конечно, в случае наступления окружная газета станет фронтовой и примет другой характер. Между прочим, член Военного совета округа — Мехлис. Старый газетчик, обращающий много внимания на работу литераторов. Гроза генералов всех родов службы.

***30 мая***

События принимают фантастический оборот. Но нужно по порядку.

Вчера, в солнечную погоду, по быстро подсыхающей дороге, машина доставила меня до Касторной-Восточной. (Как волновался я, что опять зарядит дождь и опять вынужден я буду сидеть буквально в ожидании погоды!)

Прощание было теплым. С Эпштейном и Бахшиевым расцеловались. Даже хамоватый, типа средневековых молодцев, Денисюк на прощание предупредил меня об одном «нюансе»: Карлов, уезжая, сказал в беседе, что он разговаривал с приехавшим из ГлавПУРа важным лицом, генералом, и дал обо мне характеристику. Моя фамилия была подчеркнута Карловым. Я не сомневаюсь, что напоследок военачальник пытался подло-

жить мне свинью, и пребольшую.

Губарев срочно улетел куда-то дня на три — проститься не пришлось. Я не очень сокрушаюсь.

Машина ехала по редакционным делам в Касторную-Восточную. Мне нужно было в Касторную-Курскую, находящуюся рядом. Но в пути мои спутники — Пархоменко и др. — стали высчитывать, какой крюк они сделают, если «подбросят» меня, потом стали ссылаться на нехватку бензина — короче говоря, я плюнул, слез, не прощаясь, и пешком двинулся из одной Касторной в другую. Расстояние было километра два. Судьба мне улыбнулась, послав попутчиком одного старшего лейтенанта. Он был из 28-й гвардейской, бывшей знаменитой на северо-западе, Мисановской дивизии. Ехал тоже в округ, в отдел кадров. Славный и услужливый оказался парень — всю дорогу помогал мне нести проклятый чемодан, то и дело чередуясь.

Касторная-Курская — сплошные горы рыжего от ржавчины железа, бывшего вагонами, паровозами, немецкими машинами всех видов, цистернами, бочками.

Комендант помещался в отдельном маленьком заграничном вагончике с выпуклыми стенками, с дверями сбоку — прямо в купе. Он посоветовал

мне расположиться на отдых подальше — в садике, под яблонями.

— Может быть неприятность. Почти каждый день прилетают.

Кто — было понятно. Впрочем, воздушная охрана этого района поставлена неплохо. Прозрачный, вечереющий, но еще знойный воздух гудел и скрежетал нашими патрулирующими «ястребами».

Часу в восьмом подали «пассажирский» поезд — он всего несколько дней как начал регулярно ходить между Касторной и Воронежем. Телячьи, совсем голые внутри вагоны — ни нар, ничего. Перед вагончиком коменданта томились с узлами и мешками крестьянки, девушки типа сельских учительниц, всякий убогий дорожный люд (снова ожил пильняковский «Голый год»), я обратил внимание на жалкую старушонку в салопе, в невероятно стоптанных валенках, в платке поверх старомодной шляпки. Она ходила, жуя что-то, вдоль состава, из сумки торчала бутылка с французской этикеткой «Коньяк» — видно, молочка на дорогу припасла старушка. С ней была наполовину парализованная, с трудом ковыляющая женщина. Она несла перекинутый через плечо двойной мешок, а в руке, кроме то-

го, сумку. Нечего было и надеяться этим двум несчастным беспомощным женщинам забраться в товарный вагон, куда с ревом и руганью перла толпа мешочников. Я понес вещи паралитички.

— Есть еще добрые люди на свете, — сказала старушка.

Потом я подсадил их кое-как в вагон, уже набитый народом. Моя шинель и майорские погоны сыграли свою роль: никто не думал протестовать.

После, когда я заглянул в вагон, желая проверить, как устроились мои подопечные, старушка крикнула мне:

— Как ваше имя?

— А что?

— Буду молиться за вас.

Жалко мне старух — всегда вспоминается бабушка.

Мы устроились неплохо. Я притащил в теплушку две доски, мой гвардеец — охапку соломы. Соорудили пышное ложе, прикрыв его плащ-палатками.

Около двенадцати ночи поезд отошел. Впрочем, спал я плохо. Нервы гуляли. Все время мысли о том, что меня ждет, зачем меня вызывают, как действовать в той либо другой ситуации. На

остановках — кромешная тьма, снаружи крики, ругань, плач женщин, в наш вагон лезут все новые и новые — и где-то совсем рядом гремят и щелкают соловьи.

Вместо обещанных комендантом четырех часов утра в Воронеж прибыли часов в семь.

Город превратился в развалины. Руины, голые стены многоэтажных домов, сквозящие пустыми окнами, следы пожарищ с печными трубами, совсем как в Помпее, одиноко торчащие колоннады. Трамвай везет нас до нужного пункта. Но жаркое погожее утро, густая зелень уличных лип, чисто подметенный асфальт тротуаров и мостовых, оживленное движение, спокойные и деловитые лица встречных, не обращающих внимания на страшные разрушения вокруг заставляют и тебя забывать об этом. Воронеж не произвел на меня того угнетающего, тяжелого впечатления, какое производили города, даже менее пострадавшие от войны.

Великая сила жизни чувствовалась вокруг. Ничего, что развалины. А все-таки живем и будем жить!

Красивый, видно, был город.

Дальнейший мой маршрут был таков: село Новая Усмань, районный центр, где расположился

штаб округа (12–15 км), затем село Рыкань — политуправление (еще 12 км). С трудом забрались на машину, идущую до Новой Усмани. Туда вело шоссе. По нему то и дело проносились машины. Наглые тыловые шоферы не обращали ни малейшего внимания на умоляющие знаки, которые им делали напрасно ожидавшие у дороги командиры с мешками и чемоданами — мои собратья по положению. Шоферы в прифронтовом тылу предпочитают возить колхозниц-торговок. От них можно поживиться.

Вот и Новая Усмань. Этап за этапом одолеваю я новый свой путь. Нелепо растянутое на километры село не село, городок не городок. Снова (в который раз!) нужно брести со своим грузом два-три километра. Я так устал, дойдя наконец до регулировщика, что, усевшись у дороги, сознательно пропустил остановленную специально регулировщиком машину, которая шла в Рыкань. Черт с машиной, поеду на следующей. На второй, на третьей. Эта случайность сыграла в дальнейшем большую роль.

Ко мне вскоре подбежал запыхавшийся гвардеец, который в Новой Усмани отстал несколько, занятый своими делами.

— Вам не нужно ехать в Рыкань. Оставайтесь

здесь. С вами будет говорить Мехлис.

Оказалось следующее. Мой гвардеец в разговоре с начальством, к которому явился, сказал, что ехал из 53-й со мной.

— Майор Фибих? Мы его давно ждем. Догоните его, если успеете, и скажите, чтобы он дожидался приезда Мехлиса — он вернется вечером или завтра утром.

Я ничего не понимал. Сам Мехлис, перед которым все трепетало, Мехлис, в дни отступления 1941 года расстрелявший командующего 34-й армией, — интересовался моим приездом, он желал лично со мной беседовать. В Рыкань я поеду уже после знакомства с членом Военного совета округа — как триумфатор, как почетный гость. А сейчас мне нужно было явиться к секретарю Военного совета.

Мы пошли назад. Свой багаж — проклятый чемодан, рюкзак и шинель — я занес по пути в один из домов, попросив хозяйку присмотреть пока за вещами.

В комендатуре, куда я зашел, оказывается, тоже давно меня ждали — даже пропуск был заранее готов. Положительно, я был популярной фигурой в округе.

На каждом шагу, у домиков и шлагбаумов, ча-

совые. Браво приветствуют своими висящими на шее автоматами. Ребята вышколенные. Много золотых погон. Тыл!

Военный совет помещался в маленьком сером домике под деревьями, рядом с трехэтажным зданием бывшей школы. Секретарь совета капитан Ромашевский произвел впечатление симпатичного, простого и культурного человека. Рассказал о себе, о бешеной энергии и работоспособности Мехлиса, о положении писателей на Калининском фронте, где он раньше служил. Никакого сравнения с тем, в каком я находился у Лещинера, Ведерника и Карлова. Между прочим, деталь. Командующий одной из армий Калининского фронта генерал Маногаев (сейчас он командует нашим округом), когда ему представили на утверждение наградной лист писателя Смуэльсина (кажется, так — фамилию этого «писателя» слышу первый раз), первым делом спросил:

— А на передовых он бывает?

И, узнав, что бывает, — вместо полагающейся Красной Звезды дал орден Боевого Красного Знамени.

Если так, то давно уже я должен иметь это орден.

Секретарь распорядился, чтобы обеспечить

меня помещением и питанием. Дал машину для перевозки моего багажа в общежитие, куда меня направили. Предложил даже дать что-нибудь почитать.

— Мехлис прилетит завтра часов в одиннадцать-двенадцать утра. Тогда я вам сообщу. А пока отдыхайте.

Как на фронте все калейдоскопически: полчаса назад, обливаясь потом, брел я — фронтовой бродяга — по солнцепеку и тащил на себе тяжелый чемодан, тяжелый мешок и толстую шинель, с тоской мечтая о попутной машине. Сейчас я направлялся налегке в общежитие, где ждали мягкая койка и чистое белье, а позади меня шли два бойца из комендантской части и услужливо несли мои вещи. (С машиной дело оказалось сложнее, и я не стал ее дожидаться.) Впереди у меня был разговор с самим Мехлисом. Я шел по Новой Усмани, чувствуя себя победителем, знатным и уважаемым всеми лицом.

Вопрос о поездке в Москву решил временно отложить. Начинать знакомство с Мехлисом с просьбы об отпуске было бы по крайней мере бестактно. Поработаю немного в окружной газете, зарекомендую себя — тогда и о Москве можно говорить, притом не с членом Военного совета, а

с редактором.

***31 мая***

В общежитии, в скуке ожидания. Домик в несколько комнат, раньше помещалось райзо. Кроме коек, нет ничего. Постояльцев два-три. У двери часовой. Чисто.

Жаркий день, кучевые облака в синем небе. Доносится вороний грай. Иногда где-то глухо ревет немецкий мотор, и начинают хлопать зенитки. Скука.

Мехлис пока не вернулся.

Взглянув на себя в зеркало, обнаружил: за эти три дня волнений, пути, питания кое-как я заметно похудел.

## Комментарии к части II

1. *ССП* — Союз советских писателей.

1а. *Черчилль* — сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль (1874–1965), британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 гг.

2. *Адя* — Аркадий Владимирович Фибих, брат Д.В. Фибиха.

3. *Ксана* — Ксения Владимировна Калманович (Фибих), сестра Д.В. Фибиха.

4. *Кира* — Кира Леонгардт (Фибих-Савченко) (1923–1995), дочь Д.В. Фибиха от первого брака.

5. *ПУР* — Политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной армии, ПУРККА

6. *Тарковский* — Арсений Александрович Тарковский (1907–1989), русский поэт и переводчик.

7. *Бугаевский* — Владимир Бугаевский, поэт-переводчик.

8. *Чистополь* — город в Татарстане, куда были эвакуированы члены ССП из Москвы в октябре 1941 г.

9. *Швецов* — Сергей Александрович Швецов (1903–1969), поэт-сатирик, главный редактор журнала «Крокодил».

10. *ППС* — полевая почтовая станция.

11. *Кузнецов* — Федор Исидорович Кузнецов (1998–1961), генерал-полковник, командующий армией.

12. *Колесников* — Дмитрий Емельянович Колесников, генерал-лейтенант, бригадный комиссар, член Военного совета.

13. *Калинин* — Михаил Иванович Калинин (1875–1946), председатель Президиума Верховного Совета СССР.

14. *Берта* — Берта Яковлевна Карп-Фибих, жена Д.В. Фибиха.

15. *АХО* — административно-хозяйственный отдел.

15а. *Лисицын* — начальник политотдела 1-й Ударной армии полковник Федор Яковлевич Лисицын.

16. *«Рапса»* — ракетный снаряд.

17. *Мехлис* — Лев Захарович Мехлис (1989–1953), начальник Главного политического управления РККА, заместитель наркома обороны СССР.

18. *Гроссман* — Марк Соломонович Гроссман (1917–1986), поэт, прозаик.

19. *Горбунов* — Кузьма Яковлевич Горбунов (род. 1903), писатель.

20. *Верцман* — Израиль Ефимович Верцман

(род. 1906), писатель, кандидат филологических наук.

20а. *Горбатов — Борис Леонтьевич Горбатов* (1908–1954), русский советский писатель.

21. *Курочкин* — Павел Алексеевич Курочкин (1900–1989), генерал армии, Герой Советского Союза.

22. *Эрэсовцы* — так называли на фронте гвардейских минометчиков в батарее «катюши».

23. *Бялик* — Борис Аронович Бялик (1911–1988), писатель.

24. *Вера Карп* — Вера Яковлевна Карп, сестра жены Д.В. Фибиха.

24а. *Ворошилов* — Климент Ефремович Ворошилов (1881–1969), военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.

25. *Горохов* — Сергей Федорович Горохов (1901–1974), генерал-майор, член Военного совета.

26. *Мизицкий* — Владимир Иосифович Мизицкий, полковник, командир 250-й стрелковой дивизии.

27. *Шевчук* — Иван Павлович Шевчук (1892–1942), генерал-майор, командовал стрелковой дивизией на Северо-Западном фронте.

28. *Жуков* — Георгий Константинович Жуков

(1896–1974), Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза.

30. *Буденный* — Семен Михайлович Буденный (1883–1973), командующий Первой конной армией, один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза.

31. *Кулик* — Григорий Иванович Кулик (1890–1950), начальник Главного артиллерийского управления, репрессирован. В 1957 году посмертно восстановлен в звании Маршала Советского Союза.

32. *Тимошенко* — Семен Константинович Тимошенко (1895–1970), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза

33. *АХЧ* — административно-хозяйственная часть.

34. *Воронов* — Николай Николаевич Воронов (1918–1968), главный Маршал артиллерии, Герой Советского Союза.

35. *Витя* — Виктор Владимирович Фибих, брат Д.В. Фибиха.

36. *ДОП* — дивизионный обменный пункт.

37. *Драгомиров* — Михаил Иванович Драгомиров (1830–1905), военный и государственный деятель, генерал-адъютант, военный писатель.

38. *Молотов* — Вячеслав Михайлович Молотов

(настоящая фамилия Скрябин) (1890–1986), советский политический и государственный деятель, до конца своих дней остававшийся убежденным сталинистом.

39. *Бахшиев* — Миши Юсуфович Бахшиев (1910–1972), народный писатель и драматург Дагестана. После Великой Отечественной войны работал заместителем редактора в «Дагестанской газете». Издан ряд его произведений на татско-еврейском языке.

40. *Луначарский* — Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933), русский писатель, публицист, издатель и первый народный комиссар просвещения СССР (1917–1929).

41. *Троцкий* — Лев Давыдович Троцкий (настоящее имя Лейба Бронштейн) (1879–1940), советский партийный и государственный деятель, один из организаторов Октябрьской революции, один из создателей Красной армии.

42. *Киров* — Сергей Миронович Киров (настоящая фамилия Костриков) (1886–1934), деятель Коммунистической партии и Советского государства.

# Часть III. По ту сторону. Карлаг. *Воспоминания 1943–1965 гг.*

Воспоминания «По ту сторону» никогда бы не увидели свет, если бы не недавняя встреча двух ранее незнакомых женщин: внучки Д.В. Фибиха Марии Дремач и Людмилы Николаевны, вдовы писателя Ильи Кирилловича Сафонова. Семья Сафоновых познакомилась с Д.В. Фибихом в 1960 году благодаря М. Капнист и А. Тимиревой, с которыми Даниил Владимирович находился в заключении в Карлаге. После реабилитации и возвращения в Москву семья Фибихов часто навещала Сафоновых в их квартире на Плющихе. Тесное общение и взаимопонимание переросли в доверительную дружбу. В середине 1970-х годов, незадолго до своего ухода из жизни, Даниил Владимирович пригласил Сафоновых для серьезного разговора, во время которого попросил их спрятать и сохранить рукопись книги «По ту сторону». О существовании этой рукописи никому в семье Фибихов известно не было. Папка с исписанными синими чернилами страницами была спрятана среди детских книг Людмилой Николаевной вме-

сте с находившейся у нее другой запрещенной литературой. Эта папка чудом уцелела во время обыска, устроенного КГБ к квартире Сафоновых в 1983 году.

Тридцать с лишним лет хранила Людмила Николаевна эту рукопись, и только теперь, разыскав через интернет родственников Д.В. Фибиха, сочла возможным передать ее внучке писателя.

Свое повествование Д.В. Фибих начинает ровно с той даты, на которой заканчиваются его военные дневники. Как будто он предчувствовал, что когда-нибудь эти два повествования будут объединены под одной обложкой.

«По ту сторону» — это книга воспоминаний. Неизвестно, вел ли Д.В. Фибих дневник в лагере. Можно предположить, что на это он, наученный горьким опытом, не решился бы, даже если бы у него была такая возможность. Но его годами натренированная писательская память, наверное, служила своеобразной «записной книжкой». Во всяком случае, достоверность его повествования удивительна. О ее степени можно судить по тому, что описанные события, фамилии, даты и факты, приведенные в книге, полностью совпадают с теперь уже рассекреченными материалами, хранящимися в архивах ФСБ.

Здесь впервые публикуется полный текст воспоминаний. Фрагменты были напечатаны в газете «История — Первое сентября» (2010/№ 11–12). Фото и иллюстрации предоставлены из семейных архивов Фибихов и Сафоновых.

## 1

Все произошло очень просто и буднично до обиды. Меня принял в скромном своем кабинетике черноволосый, худощавый, вежливый молодой полковник, по вызову которого я сюда явился, и сразу же выдал соответствующую справку — заранее уже была заготовлена. Выдав, пожал руку и сказал, что в случае каких-либо затруднений обращаться непосредственно к нему.

Все. Можно идти.

Полученная мною официальная бумажка с подписью и круглой печатью имела такой вид:

**Военный трибунал**

**Московского военного округа**

14 сентября 1960 г.
№ н-1075/ос.

***Справка***

Дело по обвинению Фибиха Даниила Владимировича, 1899 года рождения, до ареста 2 июня 1943 года — сотрудник армейской газеты, майор интендантской службы, пересмотрено Военным трибуналом Московского военного округа 12 сентября 1960 года.

Постановление от 4 декабря 1943 года в отношении Фибиха Д.В. отменено, и дело о нем прекращено за отсутствием состава преступления.

Фибих Даниил Владимирович по данному делу реабилитирован.

***Врио зам. председателя Военного трибунала МВО полковник юстиции Я. Рохлин***

С трудом осознавая, что произошло, медленно шел я по старому, тесному, людному в этот час Арбату. Шел домой. Навстречу толпами спешили незнакомые, озабоченные своими мыслями люди, которым не было никакого дела до того, что творилось в смятенной моей душе; сквозь неясный шум уличного движения пробивалось дробное постукивание женских каблучков-шпилек; бледное осеннее солнце играло,

взблескивало на стекле, лаке и никеле несущихся автомобильных потоков. Но, весь во мгле бешено крутящихся мыслей, плохо различая дорогу перед собой, радостно оглушенный, я не замечал сентябрьского дня.

Реабилитирован! Наконец-то!.. Во внутреннем кармане пиджака у меня лежала драгоценнейшая справка за соответствующей подписью и печатью, путевка в жизнь. Реабилитирован!.. Одним человеком вошел я полчаса назад в невзрачное, затерянное среди старинных арбатских домов здание Московского военного трибунала и совершенно другим вышел оттуда обратно на улицу. Вышел человеком, перед которым с этой минуты раскрыты все двери. Человеком с поднятой головой, гражданином, а не парием, не отщепенцем. Пусть судимость с меня уже три года как была снята, все равно я продолжал оставаться недочеловеком, личностью с темным политическим прошлым.

Семнадцать лет, начиная с той страшной минуты, когда сорвали с меня зеленые фронтовые погоны с двумя просветами и звездочкой, ждал я этого дня, ждал с исступленной верой в то, что должна же когда-нибудь восторжествовать справедливость — и вот наконец дождался. Да,

дорогие товарищи, реабилитирован. Официально признан совершенно невиновным.

Так, за что же отняли у меня пятнадцать лучших лет жизни? Во имя чего были эти нравственные и физические страдания? Лагерное рабство, преддверие голодной смерти, каждодневное унижение? Горе, причиненное матери и жене?.. Почему навсегда подорвано здоровье?

Даже не извинились за «ошибку». Получай справку, поблагодари за реабилитацию и ступай на все четыре. Что ж, и впрямь можно только благодарить судьбу, что дожил до светлого дня, не погиб, как многие из многих — имена же их Ты, Господи, веси! Слышал я, будто в результате разоблачения «культа личности» реабилитировано было на советской Руси около восьми миллионов человек. Большинство — посмертно. Ну что ж, один из восьми миллионов, только и всего!

## 2

Своеобычными были обстоятельства моего ареста. Стоит рассказать о них подробнее. Ранней весной 1943 года остатки нашей многострадальной 53-й армии после тяжелых зимних боев под разрушенным Демянском (знаменитый Демян-

ский котел, о котором упомянул в одной из своих речей Сталин) были переброшены на юг. Покинув суровый северо-запад, ехали мы на заслуженный отдых и на переформирование под Воронеж на Степной фронт. Навеки запомнился мне северо-запад. Глухие леса, густые чащи поникших под снегом елок, сугробы землянок и блиндажей, над которыми струйкой вьется жилой дымок. Черные, полузанесенные вьюгой пепелища на месте сожженных деревень, о которых даже печных труб не осталось. Забытый, присыпанный поземкой деревянно-окоченелый труп немца у дороги, торчит восковая рука. Кругом мертвая белая тишина, все попряталось, затаилось, только доносятся издали глухие грозные раскаты работающей артиллерии либо слышится угрюмый волнообразный гул вражеских бомбардировщиков, перемещаемый лающим грохотом взрывов. Наших почти не слышно.

Яркая, ласковая шла навстречу нам южная весна. Помню, каким непривычно странным показался мне мирный петушиный крик, донесшийся из пристанционной деревушки, когда на заре проснулся я в вагоне. Эшелон стоял на каком-то глухом полустанке, светало, начиналось тихое розово-зеленое утро, все в теплушке спали.

Жизнь, оказывается, еще продолжалась, кричали петухи.

Редакция армейской газеты «Родина зовет», где я тогда служил, разместилась в большом, беспорядочно разбросанном на холмах воронежском селе — не помню уже, как оно звалось, быть может, если не путаю с другим, Рыкань. Возле беленьких, украинского типа чистеньких хат, сверху замаскированных соломой от немецких самолетов, приткнулись крытые машины — походная наша типография на колесах, цеха — наборный, печатный и другие. Немало исколесили они погибельных фронтовых дорог, особенно тяжких на лесистом болотистом северо-западе.

Сотрудники редакции расселились по окрестным хатам. Моими сожителями оказались московский поэт Юрий Левитанский[6в] и журналист Иван Рокотянский.

Юный Левитанский, с молодыми усиками над верхней губой, с упавшим на лоб небрежным темно-русым завитком, похожий несколько на Лермонтова, был занят своими стихами и ходил всегда с вдохновенно-сосредоточенным видом. Мы мало общались. Рокотянский держался особняком от всех, был молчалив и замкнут. Худой, сутуловатый, нескладный в военной одежде, он,

казалось, с трудом таскал на полусогнутых ногах тяжелые солдатские сапоги. Пилотка торчала на черноволосой голове точно монашеская скуфейка. Он сразу получил от товарищей кличку Дьяк. Черная католическая сутана очень пошла бы его тощей угловатой фигуре, худому непроницаемому лицу, всей осторожной, медлительно-вкрадчивой повадке. Так и представлялись при взгляде на него готические своды средневекового аббатства либо иезуитского колледжа, под которыми бесшумно скользит такая вот черная тень.

О себе Рокотянский никогда ничего не рассказывал, а я, признаться, в ту пору мало им интересовался. А зря!

Мы отдыхали после тяжелой боевой зимы, наслаждаясь непривычной тишиной и мирным окрестным пейзажем. Фронт прокатился далеко на запад, мы находились в глубоком тылу. Наступление Советской армии было здесь настолько стремительным, что фашисты при своем поспешном отходе не успели ничего взорвать или сжечь, как делали обычно, выполняя приказ Гитлера: отступая, оставлять зону пустыни.

Теперь у меня было больше свободного времени для того, чтобы вести начатый фронтовой дневник. Я рассматривал его как литературные

заготовки на будущее: вернусь, если останусь жив, домой и засяду за роман. Для меня, писателя, ставшего по доброй воле участником великой войны, имевшей всемирно-историческое значение, было бы преступно не делать таких записей.

Я писал обо всем, что видел, что происходило вокруг. О наших фронтовых успехах, о наших фронтовых неудачах. Как известно, первый период Отечественной войны был очень тяжел и неудачен. Оно естественно. Накануне ощутимо надвигающейся войны с гитлеровской Германией гениальный вождь при помощи своего подручного, кровавого карлика Ежова[1] обезглавил Красную армию, перестреляв самых талантливых, рожденных революцией полководцев, начиная с Тухачевского[2] и Блюхера[3]. Перед тем был, как известно, отвергнут проект Тухачевского, предлагавшего реорганизовать и модернизировать армию.

Теперь собственной кровью — большой кровью — учились мы у немцев, как нужно воевать по-современному.

Неудивительно, когда я писал в своем дневнике об огромных потерях, которые видел собственными глазами, буквально шагая после боя по

трупам, о неумелых военачальниках, о бестолочи и расхлябанности, порой прорывалось чувство боли, горечи.

Делал беглые свои записи преимущественно по ночам, когда в хате уже спали и никто мне не мешал. Достав толстую тетрадку в черной коленкоровой обложке из лежавшего под лавкой чемодана, я усаживался за стол, раскрывал ее перед собой и принимался писать при слабом свете каганца.

Видно, все же сожители мои заметили, что я пишу по ночам. Молчаливая, замотанная платком хозяйка говаривала мне неодобрительно:

— Все пишешь… брось писать, добра не будет. У нас на селе один мужик все писал-писал, да головы лишился.

В ответ я только отшучивался.

В последних числах мая мне вдруг сообщили, что меня срочно вызывают в политотдел фронта, причем с вещами. «Не знаете, зачем?» — спросил я знакомого работника Поармы, который передал мне этот приказ. «Не знаю», — ответил тот, но что-то в лице его говорило о неискренности ответа. Однако это не вызвало у меня и тени какого-либо подозрения или тревоги — никакой вины за собой я не чувствовал. Товарищи мои, да и я

сам в глубине души полагали, что это перевод из армейской газеты, повышение по службе. Одни намекали, другие напрямик просили меня, чтобы не забыл их, перетащил к себе во фронтовую газету, когда устроюсь на новом месте.

Недолгими были сборы. В последний момент тот же работник Поарма, от которого я узнал новость, сообщил, что у меня будет попутчик, лейтенант — тоже едет в штаб фронта. «Вы не возражаете?» Какие могли быть возражения! Пожалуйста!

Прощальные рукопожатия, дружеские улыбки, напутственные пожелания — и вот едем мы вдвоем с незнакомым мне попутчиком-лейтенантом. Едем сначала на трясучем грузовике, затем по железной дороге, затем опять на машине. Молодой курносый лейтенант в общеармейской пилотке оказался спутником весьма неразговорчивым, но услужливым до крайности. Он не отставал от меня ни на один шаг и всякий раз перехватывал мой чемодан, когда я за него брался, чтобы нести.

— Разрешите, товарищ майор, я понесу.

— Спасибо, зачем? — смущался я. — Ведь я и сам могу.

— Нет, нет, разрешите. — И нес за мной чемодан, как носильщик.

Не помню уж, как называлось то большое село (или небольшой городок), куда в конце концов привез меня услужливый мой спутник и где в то время находился штаб Степного фронта. Лейтенант по-прежнему был на высоте. Он мигом нашел для нас обоих квартиру и отправился куда-то по своим делам, обещая скоро вернуться, я же решил помыться с дороги и занялся поиском санчасти. Казалось, очутился в глубоком тылу: тишина, покой, мирная жизнь. То и дело встречались штабные офицеры в новеньких, еще не успевших пожухнуть золотых погонах, которые месяца полтора назад были вновь введены в русской армии после перерыва в четверть века. (На переднем крае мы носили защитные.) Всюду стояли вымуштрованные часовые. Когда я проходил мимо них — высокий, бравый, наивный майор в зеленых защитных погонах, с почетной медалью «За боевые заслуги» на груди, недавно полученной, — они делали своими автоматами на караул.

У себя на передовой мы, командиры-фронтовики, не привыкли к таким почестям.

Где-то на задворках села я разыскал наконец брезентовый шатер со сложной душевой установкой, в котором сейчас, стоя под холодными

струями, весело перекликаясь и покрякивая, мылись несколько раздетых догола военных мужчин. Я с удовольствием к ним присоединился и, всласть помывшись, вернулся к себе на квартиру в превосходнейшем настроении.

Совершенно неожиданная новость меня ожидала. Хозяева сообщили, что прибегал мой лейтенант и велел передать, что меня вызывает член Военного совета Степного фронта генерал Мехлис, к которому надлежит явиться с вещами в двадцать ноль-ноль. Узнав о моем отсутствии, добавили хозяева, лейтенант заметно встревожился. Несколько странным мне это показалось: почему так встревожило его мое отсутствие? Какое ему до меня дело? Но мимолетное мое недоумение тут же вытеснялось иными, более значительными мыслями. Почему вдруг заинтересовался мною сам грозный Мехлис? Совершенно непонятно.

Кто такой Мехлис, я знал. Бывший редактор «Правды», затем нарком госконтроля, член ЦК. «Лицо приближенное» — если не к императору, как ильф-петровский Киса Воробьянинов, то к самому Сталину. Рассказывали, что он даже одевался под вождя и подражал его манерам. У нас на Северо-Западном Мехлис, переброшенный туда,

сразу же завоевал зловещую известность тем, как наводил там порядок: первым делом расстрелял командующего отступавшей 34-й армией. На юге (кажется, произошло это уже позднее) приближенное лицо руководило неудачной высадкой десанта под Керчью.

Но чем могла обратить на себя внимание столь высокопоставленного и всемогущего товарища скромная моя особа?

Единственным объяснением было предположение, что Мехлису, в прошлом газетчику, понравились мои фронтовые статьи. Я никогда не был слишком высокого мнения о литературных своих произведениях, тем более нынешних, печатавшихся в маленькой армейской газетке, но, справедливости ради нужно сказать, иные из них находили самый живой отклик у читателя-красноармейца.

К восьми вечера, взволнованный, окрыленный, не ощущая тяжести оттянувшего руку потертого чемодана, направился я в политотдел фронта, чтобы предстать перед генералом Мехлисом, который пожелал лично со мной познакомиться. Состояние, в котором я тогда находился, лучше всего можно охарактеризовать глупенькими старинными стишками:

*Ходит птичка весело*
*По тропинке бедствий,*
*Не предвидя от сего*
*Гибельных последствий.*

Да, гибельных последствий я тогда не предвидел.

**3**

За небольшим письменным столом с телефонами, к которому в виде буквы «Т» был приставлен длинный стол для заседаний, плотно сидел пожилой, упитанный, сановного вида человек в военном мундире, с заметной проседью в черных курчавых волосах. На плечах лежало золото генерал-лейтенантских погон. Плохо вязались генеральские погоны и мундир с бритым мясистым лицом не то заслуженного провизора, не то старого провинциального актера.

Поставив чемодан у порога, по всем правилам военной субординации доложил я о своем прибытии.

— Садитесь, — сказал Мехлис, не вставая из-за стола и вглядываясь в меня, словно бы с любопытством.

— Скажите, вы писатель?

— Писатель, товарищ генерал-лейтенант, — ответил я, усевшись за длинный стол.

— Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к войне?

Вопрос был неожиданным и более чем странным. Что это означало? Ведь не для того же затребовал меня к себе бог весть откуда член Военного совета фронта генерал-лейтенант Мехлис, чтобы поинтересоваться моим мнением о войне.

Совершенно искренне я ответил, что считаю войну с гитлеровской Германией тяжелой, требующей от страны больших жертв, но уверен в нашей победе. Я бы мог добавить к этому, что лучше всего говорит о моем отношении к войне мое добровольство.

— Кажется, вы ведете дневник? — последовал новый, еще более неожиданный вопрос.

— Да, веду. — Я был окончательно озадачен.

Откуда это было известно Мехлису? Никогда я не говорил о своем дневнике окружающим, никому его не показывал. Дневник был глубоко личным, интимным моим делом, которое, право же, никого не касалось.

— Покажите! — приказал Мехлис и утвердил на переносице пенсне без ободков, заранее приготовившись к чтению моего дневника. Теперь

член Военного совета фронта совсем стал похож на заслуженного провизора.

Делать нечего, я открыл чемодан, извлек несколько тетрадей, подал их и опять уселся на место. Мехлис принялся читать.

За самый дневник я не беспокоился, простодушно считая, что в нем нет ничего предосудительного, но то, что сейчас происходило, казалось мне чем-то странным, нелепым и весьма неприятным. По какому праву незнакомый человек в генеральских погонах так бесцеремонно у меня на глазах читает мои интимные личные записи? Что все это значит? Откуда вообще знает он о моем дневнике?..

Комната тем временем понемногу наполнялась народом — входили какие-то генералы, какие-то полковники, молча рассаживались. Я не понимал, почему они собираются здесь, почему глядят на меня с таким суровым осуждающим любопытством. Сердце начинало сжиматься предчувствием какой-то неясной надвигающейся беды, однако ж по-прежнему ни о чем я не догадывался, совершенно не чувствуя за собой никакой вины.

Время шло, начинало уже смеркаться, хоть и долгие летние дни. Кто-то завесил окна светомас-

кировочными шторами, вспыхнуло электричество. А Мехлис все читал прилежно мой дневник, только шелестели переворачиваемые страницы в тишине, наполнившей маленький кабинет. Добросовестно читал. Порою ронял краткое замечание.

— Да, пришлось расстрелять командарма, — подтвердил, когда дошел до того места в дневнике, где я писал о 34-й армии. В тоне мне послышалось некоторое самодовольство — казалось, ему даже понравилось такое упоминание о нем. В другой раз заметил:

— Странно! То у вас попадаются сомнительные места, а то рассуждаете как настоящий советский патриот.

Уже давно напротив меня, по ту сторону стола уселся огромный плечистый полковник с лицом мясника. Богатырская грудь его вся искрилась орденами и медалями. Сидел, положив на стол красные ручищи, и не сводил с меня взгляда рыси, вот-вот готовой прыгнуть на жертву. То был, как после я узнал, начальник фронтовой контрразведки Смерш, заранее приглашенный Мехлисом. Сколько чести оказывалось моей персоне!

Название «Смерш» — «Смерть шпионам» — придумал, говорят, сам вождь.

— Та-ак! Все понятно! — вдруг проговорил Мехлис зловеще-удовлетворенным тоном, как будто нашел наконец именно то, что и хотел найти. И громко для всех собравшихся военных людей прочел:

— «Хорошими ораторами у нас были Луначарский[4], Троцкий[5] и Киров[6]».

Фраза была выдернута из записи о каком-то митинге на фронте, на котором я присутствовал. Выступали ораторы, говорившие о самом больном — наших неудачах, и говорили рыбьими словами, серо, тускло, заезженно. Вспомнились мне тогда все те речи и доклады, какие довелось слушать на своем веку, штампованные, казенные, кончающиеся неизменным славословием вождю, учителю и отцу, и обидно стало, как плохо говорят у нас на советской Руси.

— Как вы смеете ставить рядом с Троцким святое имя Кирова? Знаете, кто убил Кирова? — продолжал Мехлис, повысив голос, и снял пенсне. — Какой же вы подлец!

Все помутилось и поплыло у меня перед глазами. Никто никогда в жизни не называл меня подлецом, да еще и публично.

Не знаю, выстрелил бы я в Мехлиса, но рука инстинктивно, сама собой хватилась за висев-

шую кобуру.

— Обезоружить его! — поспешил крикнуть, изменившись в лице, Мехлис. Такая реакция на оскорбления, которые он наносил подвластным ему людям, была, вероятно, ему в новинку. Наверное, приближенное лицо привыкло к тому, что офицеры, которых он осыпал ругательствами, стояли перед ним навытяжку.

Огромный полковник, сидевший напротив меня и следивший за каждым движением, с неожиданным проворством перегнулся животом через стол и мгновенно очень умело выхватил оружие из моей кобуры. И тут я сразу обессилел и сник — будто рухнуло что-то внутри. Озаренный вдруг каким-то мрачным светом, я только теперь понял, что это начало чего-то страшного. Будто сквозь горячий душный туман увидел, как Мехлис, держа пенсне, торжественно поднялся из-за стола во весь рост — все, кто сидел вокруг, тоже поднялись. Лицо его расплывалось передо мной мутным пятном. Откуда-то издали, из какого-то потустороннего мира донесся театрально-напыщенный голос:

— Передаю вас карающему мечу революции!

Я нашел силы только сказать в ответ:

— Товарищ генерал-лейтенант, вы неправы.

— Вперед! — грубо скомандовал обезоруживший меня полковник, забирая теперь бразды правления, и я покорно пошел к двери, не понимая, что происходит, оглушенный, раздавленный.

Было понятно только, что больше уже не принадлежу себе. Ноги подгибались, все плыло, кружилось, снился дурной, кошмарный сон. То, что происходило сейчас со мною, было чудовищно нелепо, и сознание этой нелепицы, рассеять которую я был бессилен, повергало в тупой ужас.

Держа наготове отобранный у меня наган, начальник контрразведки шел за мной танцующей походкой, неправдоподобно легкой для такого большого могучего тела.

Миновали две-три освещенные комнаты, наполненные политработниками, которые во все глаза глядели на такое шествие, вышли на крыльцо. Охватило мраком, лесной прохладой, запахом свежей листвы; вокруг теснились черные высокие деревья не то парка, не то леса, вплотную подступавшего к дому. Глубокая ночь уже была.

— Вперед! — скомандовал за спиной у меня полковник.

Много лет спустя пришлось мне прочесть воспоминания генерала армии Д. Лелюшен-

ко[6а], дважды Героя Советского Союза (журнал «Москва» за 1965 год, № 5, с. 22).

«К сожалению, — писал Лелюшенко, — в то тяжелое время военных неудач подобные смещения (военачальников), да и более тяжелые наказания имели место. В этом, между прочим, особое рвение проявил Л.З. Мехлис».

**4**

История моего нагана могла бы послужить темой хорошей новеллы, эпизод этот вошел в рассказ «Третьи сутки» в сильно смягченном виде…

…И вот теперь незнакомый человек с моим наганом в руке — тем самым наганом — вел меня по ночному лесу неизвестно куда. Было полное ощущение, что ведут на расстрел. «Передаю вас карающему мечу революции»… Я прекрасно понимал, что могла означать напыщенная эта фраза во фронтовой обстановке. Сама смерть шла по пятам за мной и приказывала железным голосом: «Направо!.. Вперед!.. Налево!» Из пахучего лесного мрака лезли навстречу ветки, задевали по лицу холодной, мокрой после недавнего дождя листвой.

Суеверная мысль вспыхнула вдруг в мозгу: этот наган роковой, он приносит гибель владельцу. Из

него был убит прежний хозяин — лейтенант, теперь подошла моя очередь… Вот сейчас повалюсь с пулей в затылке и останусь валяться в темноте под этим или вон под тем неясно чернеющим кустом.

Я брел впотьмах по ночному лесу и косился через плечо, пытаясь разглядеть, не целятся ли уже мне в затылок. Но что можно было разглядеть в кромешном мраке под деревьями? Да и куда бежать? Некуда.

Можно ли назвать предсмертным ужасом то душевное состояние, в котором я тогда находился? Не знаю. Я шел, внутренне оцепенев от невыносимого напряжения, темная мгла окутывала сознание.

Но вот за деревьями впереди в темноте зачернело какое-то небольшое строение, к которому, очевидно, и вел меня полковник. Дом, жилье!.. Значит, не собираются расстреливать, буду жить… Хотя бы пока. Какое почувствовалось облегчение! Невероятной тяжести камень свалился с души.

Подошли к домику, поднялись на крылечко, распахнулась дверь. Полутемная, прилично обставленная комната, через раскрытую дверь из соседней, ярко освещенной полосой проникает

свет. На кушетке, стоящей в первой комнате у стены, развалился кто-то в свободной, непринужденной позе — ладони под затылком, нога закинута на ногу, отдыхает человек после дневных трудов.

Увидев нас, лежавший встал с кушетки, подошел, лицо осветилось, и я, больше уж ничему не изумляясь, узнал молчаливого лейтенанта, своего попутчика, такого вежливого, такого предупредительного. Он добросовестно выполнил данное ему поручение доставить опасного преступника на расправу и теперь спокойно дожидался, когда меня, уже арестованного, приведут сюда, в лесной этот домик.

Все так же, не говоря ни слова, курносый лейтенант умелыми, натренированными руками обшарил мои карманы, выкладывая все на стул. Затем сорвал у меня с плеч недавно надетые погоны, предварительно подрезав их перочинным ножичком, и снял с груди у меня боевую, тоже незадолго перед тем полученную медаль. Война для меня закончилась.

Была ночь на 2 июня 1943 года.

## 5

Ночью два как бы онемевших офицера из контрразведки посадили меня в закрытую легковую машину и повезли куда-то. Молча ехали, ехали, дымно-белый, прыгающий, незамаскированный свет фар озарял разъезженную лесную дорогу, мелькающие по сторонам стволы лип и дубов. Вновь пришлось пережить неприятные минуты, когда в глухом лесу, где вокруг ни души, машина внезапно остановилась и один из сидевших по бокам моих конвоиров вылез наружу. «Сейчас прикажут выходить и мне — и убьют. Для того и в лес привезли». Однако контрразведчик отошел в сторону для самого прозаического дела, вскоре вернулся, уселся на свое место, поехали дальше. В соседнее село, как вскоре оказалось, где находилась предназначенная для меня тюрьма. Впервые в жизни очутился я в тюрьме. Да еще какой, шутка сказать! В военно-полевой.

Вид камеры: угловая горница в крестьянской хате, совершенно голая. Беленые стены, некрашеный деревянный пол, два окна заделаны крепкими железными решетками. Даже в солнечный яркий день здесь стоит полумрак. Ни коек, ни стола, ни табуреток — сидеть и спать

приходится на голом полу. Всей мебели — вонючий, несмотря на крышку, оцинкованный бак у двери, знаменитая параша. За наглухо запертой, сколоченной из досок дверью, в которой прорезано квадратное оконце, стоит часовой.

Очевидно, раньше был это дом какого-то зажиточного колхозника. Хозяев выселили, а хату приспособили под полевую тюрьму.

Окна снаружи закрыты железными «намордниками», но тонкие листы во многих местах проржавели насквозь, и в образовавшиеся кружевные просветы прекрасно можно разглядеть окрестность. Вся в блеске жаркого летнего солнца, стелется к горизонту зреющая пшеница, теплый ветерок гонит по ней живую упругую волну, отливающую серебристо-зеленым шелком. За пшеницей раскинулось на пригорках большое село — в беспорядке белеют хатки, разбросанные среди пышной зелени садов. Высокое, голубое небо, тихо плывут по нему, непрерывно видоизменяясь, белые облака, даль синеет. Все мирное, ясное, идиллическое.

Но вот две фигуры, видные лишь по пояс, невдалеке показались среди волнующихся мохнатых колосьев, одна вслед за другой. Обе в пилотках и солдатских гимнастерках, но первая — пону-

рая, с заложенными за спину, будто связанными руками, а вторая, идущая за ней, — с автоматом наготове. Прошли по невидимой, вьющейся среди хлебов тропке и скрылись из глаз. Куда повели беднягу, товарища по несчастью? Он мне уже товарищ, этот неизвестный арестант в выгоревшей фронтовой пилотке. Наверное, на допрос повели.

Усаживаюсь на пол — больше сесть не на что — и, обхватив руками поднятые колени, уставясь в одну точку, думаю, думаю. Вспоминается — задним числом! — как настойчиво советовала хозяйка, у которой я жил, бросить писать по ночам, загадочные ее намеки на какого-то мужика, потерявшего голову. Она многое замечала, многое, наверное, видела, умная простая женщина, хотела осторожно меня предупредить, а я только смеялся.

Момент отъезда вспомнился. Когда грузовик, на котором стояли мы с курносым лейтенантом, держась за крышу кабины, отъехал от хаты, я оглянулся и увидел, что хозяйка смотрит нам вслед. Долго так стояла у ворот и все глядела, как увозят меня в неизвестность. Будто понимала, куда увозят.

Разумеется, она заметила, что в мое отсутствие, когда я отправлялся за материалом в подразде-

ления, один из двух моих сожителей залезал ко мне в чемодан, внимательно читал мой дневник, делал наиболее компрометирующие меня выписки, затем прятал дневник обратно, а выписки посылал куда полагалось. Но кто же мог заниматься таким подлым делом?

Мечтательного Юрия Левитанского, с головой погруженного в стихию рифм, я никак не мог заподозрить. Оставался Иван Рокотянский, Дьяк. С особенной яркостью всплыли в памяти непроницаемое иезуитское лицо, всегдашняя его замкнутость, обособленность от всех. Специальный человек, приставленный следить за редакцией, а в первую очередь за мной — недаром поселили нас вместе. Но чем могла так заинтересовать «органы» моя особа? Подозрительной нерусской фамилией, что ли? Немцем сочли?..

То, что сейчас произошло, представлялось мне теперь просто глупым недоразумением. Пройдет первая горячка, и люди спокойно и беспристрастно во всем разберутся. Внимательно прочтут мои дневники и убедятся, что просто смешно на основании вырванных из контекста двух-трех неудачно сформулированных фраз предъявлять человеку обвинение в противозаконном поведении, в антисоветчине. Ведь весь дневник в целом

ясно показывает, что автор его советский человек, патриот, болеющий душой за свою страну.

Наша художественная литература, наш театр, кино, газеты, радио, а впоследствии телевидение — все средства массовой информации — воспитали и продолжают рьяно воспитывать миллионы советских граждан в духе глубокого уважения к тайной полиции, к органам государственной безопасности. «Органы» не ошибаются. Там сидят суровые, но чуткие, умные, неподкупные, прекрасные знатоки человеческой психологии, закаленные, высокоидейные товарищи, умеющие различать, где друг, а где враг.

Так и я был воспитан. Разумеется, познакомившись со мной лично, следователь убедится, что перед ним свой, советский человек. Я буду разговаривать с более опытным и проницательным в политическом отношении товарищем, только и всего. С ним можно быть вполне откровенным, и, конечно, мы быстро найдем общий язык. Ведь это же свои, советские люди!

Таким вот настроением, в каком я тогда находился, и объясняется мое поведение на следствии, допущенная мною излишняя откровенность как в отношении самого себя, так и в отношении некоторых знакомых литераторов. В гестапо,

лицом к лицу с фашистами, я бы держался иначе. Но ведь тут были свои люди! Наши люди. Товарищи.

## 6

Я одиноко сидел в камере и мысленно проверял весь свой жизненный путь: не было ли в прошлом у меня чего-нибудь сомнительного с советской точки зрения. Проверял — и не находил. Нет, как будто прошлое мое было безупречно. Происхождение? Мой отец, Владимир Емельянович Фибих, никогда не имел никакой собственности и жизнь свою прожил честным, уважаемым всеми, скромным тружеником. В первые годы революции из Пензы, где он служил по акцизному ведомству, переехал в Москву, работал там сначала в Наркомфине, а потом занялся преподаванием математики в школах. Михаил Кольцов изобразил моего отца как педагога в очерке «Семь часов в классе», напечатанном в «Правде» за 1935 год. Фельетонист не упоминает фамилии, называет отца только по имени-отчеству, и тон очерка теплый, уважительный, совсем не свойственный обычному тону язвительных кольцовских фельетонов. У меня хранятся наручные часы, полученные отцом в 1939 году, накануне войны,

от Киевского РОНО с надписью: «Тов. Фибиху В.Е. за отличную работу в школе».

Он работал до последнего дня и тихо скончался, уснул — видимо, от истощения — в самый разгар войны, в 1943 году, не дожив, к счастью, нескольких месяцев до моего ареста.

В четырнадцать лет я прочел «Женщина и социализм» Августа Бебеля (помню портрет старика с седым ежиком и седой острой бородкой) и всей душой уверовал в грядущее светлое царство свободы и справедливости, в обещанный человечеству золотой век. Разыскивал повсюду книжки, где говорилось о революционерах, и с жадностью читал. В последних классах гимназии, как раз перед Февральской революцией, организовал из учащихся подпольный кружок самообразования, было в нем человек двенадцать. Писали рефераты о положении рабочего класса, о народниках и марксистах, о революционном движении в России, читали вслух, обсуждали. Кружок наш, не имевший определенного партийного лица, конечно же, распался, едва началась революция, но он имел для нас некоторое значение, соответствующее идеологической подготовке.

Мое детство и юность, начало газетно-литературной деятельности были связаны с Пензенским

краем. В Пензе двадцатилетним юношей я начал работать в большевистской газете «Красное знамя», печатал здесь статьи, очерки, первые рассказы. В 1921 году перебрался в Москву, сделался сотрудником «Известий». Десять лет работы в правительственной газете на почетном и ответственном посту очеркиста — что-нибудь да значило! Нет, политическое мое прошлое было безупречным.

Правда, позже, в начале тридцатых годов, я подвергся травле со стороны рапповцев, обнаруживших какие-то идеологические грехи в моих очерках. Но кто из беспартийных писателей, так называемых попутчиков, не подвергался в те годы подобной травле! Почти всякий раз, раскрывая свежий номер «Литературной газеты», можно было найти очередную жертву, которая всячески поносилась. Ни возражать, ни оправдываться жертва не имела права. Сталин наконец вмешался в эту литературную свистопляску, прикрыл РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей) и создал вместо нее Союз советских писателей, где не было оскорбительного деления на овец и козлищ, где воцарилась тишь, гладь и советская благодать и лев лежал рядом с ягненком.

Однако тесно становилось мне в «Известиях», душили рамки и условия газетной работы. Воспользовавшись конфликтом с начальством, новым секретарем редакции, ушел я из газеты. Не устрашился того, что обеспеченное материальное положение меняю на случайный и неверный заработок свободного литератора.

А вообще-то говоря, начальство меня всегда не любило. Слишком был я внутренне независим, и это, очевидно, чувствовалось, и далек от любезного начальственному сердцу подхалимажа. Карьеризм, в том числе и литературный, был органически мне чужд. Всякий житейски более приспособленный человек на моем месте широко бы использовал давнишнее знакомство с Сергеем Михалковым[7], ныне фактически стоящим во главе советской литературы. С молодых лет мы были на «ты». Я знавал его длинным, невероятно прыщавым, смешным юнцом в старой солдатской шинели, остроумным и обаятельным заикой, душой общества. Только-только начинал он тогда свой блистательный литературно-общественный путь (вернее, общественно-политический).

Встречались мы и на фронте, под Валдаем, где он работал в редакции фронтовой газеты. И как же велика была уже тогда разница в нашем

положении! Мы, армейские журналисты, среди которых немало было писателей, кочевали по вшивым землянкам и полуразрушенным избам, месили гибельную грязь прифронтовых дорог, большую часть времени проводили на переднем крае, то и дело попадали под бомбежки, под минные и артиллерийские обстрелы, под пули немецких снайперов, случалось, сами принимали участие в боях. Немало полегло нас, военных корреспондентов.

Михалков, к тому времени уже полковник, почему-то в форме летчика, с орденом Ленина и с Красной Звездой, вместе с другими избранными жил в поезде, оборудованном под редакцию и типографию походной газеты, и наслаждался безопасностью, чистотой и комфортом. Был там даже кинозал. Временами выезжал на машине в штаб армий, потешал собутыльников-генералов хохмами и анекдотами, которых был у него неистощимый запас, а потом, вернувшись в свое уютное купе, писал патриотические стишки. Забегая вперед, скажу, что вскоре после выхода из лагеря, еще не реабилитированный, я нелегально приехал в Москву (въезд туда был мне запрещен) и зашел в Союз писателей, где не был уже много лет. Хотелось увидеть старые места, может быть,

встретить знакомых, подышать прежним воздухом. И неожиданно наткнулся на вышедшего из кабинета Михалкова. Сразу меня узнав, хоть и нелегко это было после лагеря, он распахнул объятия: «Данила, как я рад, как я рад!..» Мы обнялись при всем честном народе.

Это было мило, даже трогательно, я признателен Михалкову за его душевный порыв, однако справедливости ради нужно заметить, что, во-первых, произошло это в дни хрущевской оттепели, когда был моден подобный либерализм, а во-вторых, Сергей Владимирович не был еще тогда знатным вельможей, в какого превратили его после. После он еле узнавал при мимолетной встрече.

Приходило на память и вступление в армию в грозные и смятенные июльские дни 41-го года. Как и все писатели, я получил тогда из Союза писателей приглашение на общегородской митинг в Доме литераторов. Пошел. Зал был переполнен. Ораторы один за другим выступали с пламенными патриотическими речами, призывали к защите Родины.

Когда выступления кончились, собравшимся всем было предложено записаться добровольцами в формируемое ополчение. Многие попы-

тались незаметно улизнуть, но оказалось, что все двери на запоре. Пришлось всем участникам митинга превратиться волей-неволей в добровольцев.

То было одно из проявлений типичного для сталинских времен метода коварных обманов и ловушек. Я подозревал, когда получил приглашение, чем может закончится такой митинг, однако все же пошел, охваченный патриотическим подъемом. А ведь мог совершенно свободно не пойти и не записываться в армию на законном основании. У меня природный астигматизм (разноглазие), и я еще в юности был признан негодным к военной службе.

Мобилизованных писателей влили в ополченческую дивизию Краснопресненского района. Всего Москва сформировала двадцать пять добровольческих дивизий — по количеству районов, — и, думаю, таким же способом, как и нас.

Целиком состоящая из московской интеллигенции — писателей, артистов, художников, архитекторов, композиторов, инженеров, — из людей, в большинстве не державших винтовку в руках, стариков и инвалидов, совершенно необученная, наша дивизия было брошена под Ельню и полегла почти вся. Немцы устроили нам здесь

мясорубку!

Помню, как теплой летней ночью под тихо мерцающими звездами шагали мы в строю по дороге, ведущей на запад, шли мерным солдатским шагом в полном молчании — только стройный, слитный, гулкий шаг людей по асфальту, — и я не мог отделаться от ощущения, что нас, пушечное мясо, необученных, неумелых, гонят просто на убой. Нет никакого сомнения, в первом же бою я бы погиб.

Помню короткий привал жарким днем у дороги, по которой, поднимая густую пыль, шли на фронт машины. Мы сидели в кружевной тени молоденьких придорожных березок, усталые, запыленные, и слушали нашего политрука, который, пользуясь подходящей минутой, решил нас хоть вкратце ознакомить с БУПом — боевым уставом пехоты. Впервые познавали мы солдатскую науку правильного боя.

Подкатил маленький проворный «виллис», остановился на дороге перед нами, высунулся какой-то полковник. «Что за подразделение?» Подбежавший политрук — рука под козырек — доложил: писатели, проходит с ними БУП. «Писатели? — донеслось до нас. — Отставить! Пущай трубы таскают». И «виллис» резво пока-

тил дальше.

Политрук вернулся к роте с хмуро-смущенным видом и, пряча глаза, передал нам полученное распоряжение переносить трубы. Они лежали тут же в поле, разбросанные как попало, громадные серые, отлитые из бетона, кольцеобразные сегменты водопроводной трубы. Очевидно, собирались ее укладывать в вырытую тут же длинную траншею, да началась война, и все работы были брошены.

Делать нечего, приказ есть приказ. Мы люди военные, солдаты. Молча принялись перетаскивать на плечах тяжелые бетонные отрезки трубы и укладывать на траве один к одному. Затем по команде построились и снова потопали по дороге на запад, все дальше и дальше от Москвы, бросив уложенную трубу на произвол судьбы.

Зачем, оторвав от изучения того, что было необходимо знать солдату, заставили нас глупо и бесцельно перетаскивать с места на место куски всеми забытой и никому не нужной сейчас водопроводной трубы? Для того чтобы тут же бросить ее к чертям? Кому понадобился наш бессмысленный мартышкин труд?.. Право, это походило на издевательство, на глумление над гнилой интеллигенцией. «Писатели? Пущай трубы таскают».

«Боже мой! — думал я, вновь шагая в строю. — Ведь такие “пущаи” скоро бросят нас в бой затыкать своими телами очередную дыру на фронте. Такие “пущаи” имеют своим противником германский генеральный штаб, завоевателей Европы».

Мерно шагали да шагали мы походной колонной по дороге, обдаваемые пылью проносившихся мимо машин, — еще не вооруженные, с голыми руками, еще даже не обмундированные по-военному, в соломенных шляпах, тюбетейках, кепках, в летних пиджаках и белых брюках, иные в сандалиях. В том виде, в каком погнали нас с митинга прямиком в какую-то школу, наспех переоборудованную под казарму. Мне все же повезло, я не пал под Ельней смертью храбрых. В походе вдруг скрутила меня малярия, начальство испугалось — тиф! — срочно повезли обратно в Москву. А там, пока болел, прошла паника первых недель войны, руководство стало выдергивать писателей из строевых частей, — тех, кому тоже повезло, и направлять на работу по специальности. Так и я попал в одну из армейских газет, чудодейственным образом из рядового солдата сразу превратившись в интенданта 3-го ранга или, впоследствии, в капитана интендантской

службы. Служил Родине честно, получил теперь звание майора, первую боевую награду.

Нет, ретроспективный огляд прошлого внушал полную уверенность в том, что досадное недоразумение рассеется и я в скором времени буду освобожден и вернусь в редакцию «Родина зовет». Снова буду на фронте.

## 7

За дверью камеры послышалась топотня нескольких человек, голоса, скрежетнул засов. На минуту дверь приоткрылась, впустив нового арестанта, и опять наглухо закрылась. Худощавый, вертлявый, быстроглазый молодой парень в коричневом шерстяном джемпере стоял передо мной. Не военный, а штатский человек.

— Добрый день!

С первого, наверное, взгляда дал он точную оценку и мне, и месту, в котором очутился.

— Добрый день! — ответил я. Он гибко уселся на пол, скрестив ноги, и осведомился деловито:

— Как насчет харчей?

— Не знаю, — сказал я. — Первый день здесь.

— Наверное, паршиво. В полевой тюрьме паршиво кормят.

«Опытный», — подумал я

— Вы не будете кушать? — заискивающе спросил коричневый джемпер, сразу углядев на подоконнике большой ржаной сухарь, дневную мою пайку. Я получил сухарь утром, отложил и больше не притронулся. Не до еды было.

— Может, разрешите?

— Пожалуйста.

Мы разговаривали друг с другом как в салоне. Коричневый джемпер прекрасно учитывал душевное состояние новичка, впервые угодившего в тюрьму. Проворно поднявшись на ноги, он схватил с подоконника беспризорный мой сухарь и, опять усевшись на место, с жадностью принялся грызть крепкими молодыми зубами. Я спросил, за что его посадили. Ответ прозвучал спокойно и просто:

— Шпион.

Я поглядел на сожителя с проснувшимся любопытством. Первый раз в жизни довелось увидеть натурального, не из детектива, шпиона.

— Как же вы сюда попали?

— Не повезло, — равнодушно пояснил коричневый джемпер. — Три раза переходил фронт, на четвертый погорел.

Нисколько не смущаясь, все так же спокойно, деловито рассказал он мне, каким образом пре-

вратился в немецкого шпиона. Жил в Харькове, работал там механиком на одном из заводов. Пришли немцы. Однажды новый, поставленный гитлеровскими властями директор завода вызвал его к себе и предложил стать немецким шпионом, работать в расположении наших войск. Механик отказался. «Подумайте хорошенько, я вас не тороплю», — сказал директор и отпустил его. Вскоре было сделано повторное предложение. Механик человек был семейный, семья голодала. Оккупационные власти выдавали жителям Харькова триста граммов, да и то лишь тем, кто работал. Механик подумал, подумал и согласился.

— И что же, немцы вам платили?

— За каждый удачный рейс пятьсот марок. Ну, иногда и семье что-нибудь подбросят.

— Что?

— Банку консервов. Кости от мяса.

— И все?

— Все.

— Что теперь с вами будет, как думаете? — спросил я после некоторого молчания. Механик хрустел сухарями, доедал.

— Шлепнут, — ответил равнодушно. — А, один конец! — вдруг вырвалось у него, и обтянутое на острых скулах бледное до зелени, нервное лицо

жалко и безнадежно сморщилось. — Все надоело. Устал!..

Со странным, непривычным чувством глядел я на него. Право, трудно было определить, что во мне сейчас преобладало: брезгливое отвращение к изменнику и предателю или невольное сочувствие к несчастному голодному человеку.

Вечером, после отбоя, улеглись спать на твердых холодных половицах. Мы лежали, по-братски прижавшись для тепла один к другому и подложив кулак под голову вместо подушки. Механик согнулся калачиком у моих ног, под согнутыми коленями, натянул на себя вместо одеяла полы длинной моей шинели. «Удивительны судьбы человеческие! — думал я, когда засыпал. — Еще вчера я сам бы арестовал этого парня, если бы заподозрил его в шпионаже. А сегодня мы греем друг друга теплом своих тел, и я прикрываю его собственной шинелью».

А самое удивительное, в глазах социалистического нашего закона мы равнозначащие: я, честный советский человек, и он, пойманный с поличным фашистский шпион. Непостижимо!..

На следующий день моего механика увели. На смену ему появились новые временные сожители, с которых, как и с меня, были сняты при аресте

погоны, звездочки с шапок и пояса, лишенные всяких чинов и званий.

Однако напрасно я предполагал, что больше уж никогда не встречусь с моим шпионом. Встретились недели через полторы. На этот раз механика не впустили ко мне в камеру, оставили за дверью, но я узнал его по голосу, когда он переговаривался со своими конвоирами. Потом они ушли, заперев узника, и тогда, припав к дощатой двери, шепотом я его окликнул. Действительно, то был харьковчанин. Через открытую дверь он сообщил, что только что состоялся суд над ним.

— Ну и как? — спросил я — сердце невольно сжалось.

В ответ из-за двери донесся радостный шепот:

— Десятка!

## 8

Настал наконец день, когда за мной пришли, чтобы вести на допрос. Первый раз в жизни. Как после стало все это тошнотворно-знакомо!

Вывели из камеры во двор, конвоир-автоматчик скомандовал за спиной: «Руки назад! Марш!» — и пошли мы с ним по узенькой тропке, мирно вьющейся между двух мохнатых волнующихся стенок пшеницы. Точно так, как ходили

те, за кем я следил из-за решетки сквозь проржавевший «намордник». После сумрака душной и вонючей камеры просто ослепили яркий солнечный свет, горячий блеск южного лета. А воздух какой! Воздух полевых просторов, чистейший озон. Пахло и свежей травкой, и нагретой землей, и сытным духом тихо зреющих хлебов.

Привели в одну из чистеньких белых хат. Похоже, все село было занято под кабинеты следователей и под тюремные камеры. Черненький, большеголовый, щуплый, немолодой уже капитан с прячущимся взглядом предложил мне занять место на стуле, стоявшем не у стола, за которым он сидел, а поодаль, у самой стены, и негромким вежливым голосом принялся задавать вопросы. Первым делом следователь хотел познакомиться со мной, узнать мое социальное происхождение, довоенное прошлое, работу в качестве литератора — все это понятно и логично. Этого я ждал. Но вслед за этим началась какая-то нудная муть, совершенно для меня непонятная. Я ожидал расспросов о дневнике. Ничего подобного. Меньше всего капитан Роговой интересовался моим дневником. Он совершенно не касался злосчастного дневника. Вместо того изо дня в день меня стали настойчиво уговаривать чистосер-

дечно сознаться, признаться в том нехорошем, что я, оказывается, совершил, обещая за такое чистосердечное признание смягчение печальной, ожидавшей меня участи. В чем именно следовало чистосердечно сознаться? — спрашивал я. Капитан Роговой на это не отвечал. Не отвечал и снова продолжал уговаривать сознаться. Я находился в полном недоумении, стараясь понять, чего же, в конце концов, от меня хотят.

Много лет спустя, уже реабилитированный, узнал я от бывшего своего сослуживца-«однополчанина», дагестанского писателя Миши Бахшиева, что предварительно Роговой опросил всех моих товарищей по редакции. Никто не сказал ничего такого, что бросило бы на меня тень в политическом отношении. Также узнал я, что ни в чем не повинная редакция «Родина зовет» была разгромлена, редактор майор Карлов снят с работы, весь личный состав раскассирован.

Мехлис свирепствовал.

Несколько раз вместе с капитаном Роговым принимал участие в допросах плотный энергичный майор с наголо бритой, круглой голубоватой головой. Блестя начищенными хромовыми сапогами, поскрипывая кожей портупеи на боку, по-военному элегантный, он нервно ходил

твердыми шагами из угла в угол и настойчиво уговаривал меня:

— Признайтесь, и вам будет легче на душе. Облегчите душу чистосердечным признанием.

Это напоминало увещевания попа, призывающего закоренелого грешника покаяться и спасти погрязшую в скверне душу свою.

Я отвечал майору, что совершенно не представляю себе, в чем я должен признаваться. Все, что можно рассказать о моей жизни — давно уже сказано. Не могу же я выдумывать то, чего не было в действительности, умышленно наговаривать на себя. «О да, конечно! — с готовностью подхватывал элегантный майор. — Не надо на себя наговаривать. Никто от вас этого и не требует. Мы желаем слышать только правду. Только чистосердечное признание в совершенном преступлении». — «Каком преступлении?!» — допытывался я, приходя в отчаяние, и не получал ответа.

Стоя передо мной на упругих ногах, припахивающий одеколоном майор с пафосом декламировал:

— Помните, вы находитесь не в застенках гестапо, а в советской контрразведке. Мы не только чекисты, но и коммунисты. Мы ученики Ленина

и Дзержинского.

В числе своих учителей он мог бы заодно назвать, если бы не забыл, также Ягóду[8], Ежова, Берию[9].

Как-то похвастался мне, что пять раз переходил линию фронта и работал в тылу противника. Этому можно было поверить, глядя на волевое его лицо и на быстрые решительные движения.

Затем, очевидно, решили применить перекрестный допрос. Появился арестовавший меня, весь в орденах и медалях, начальник контрразведки. Втроем — черненький капитан, бритоголовый майор и могучий полковник — принялись с трех сторон забрасывать меня градом вопросов, на которые я, растерянный, недоумевающий простак, едва успевал отвечать. Контрразведчики старались на чем-то меня подловить, в чем-то спутать, сбить, заставить проговориться. Но ловить-то было совершенно не в чем! Весь я был перед ними на ладони.

Вскоре допросы прекратились на продолжительное время. К лучшему это было или к худшему — тогда я не мог определить.

Впоследствии, когда я несколько поумнел, познакомившись на себе с методами следственной работы «органов», мне стала понятна подоплека

и сущность того, что творили со мной. Все дело было в одной лишь фразе в моем дневнике, злополучной, крамольной, криминальной фразе о том, что Троцкий, вместе с Луначарским и Кировым, был хорошим оратором. Примитивная следовательская фантазия под нажимом Мехлиса мгновенно создала несложную стандартно-профессиональную концепцию. Ага, троцкист! (Одобрительно отзывается о Троцком.) Несомненно связан с какой-то подпольной троцкистской организацией, которая, оказывается, работает в действующей армии. Задача: раскрыть через Фибиха эту организацию.

Я и не подозревал, какое серьезное дело шьют мне ученики Ленина и Дзержинского.

Самое интересное — никогда личность Троцкого не вызывала у меня ни малейшей симпатии. Он не интересовал и не привлекал меня ни как теоретик, ни как политический деятель, ни как человек. Я видел в нем политика авантюрного склада, героя позы, жесткого честолюбца и демагога!

А жизнь в камере, где уже находилось вместе со мной человек пять заключенных, текла своим однообразным нудным порядком. Утром через оконце в дощатой двери выдавались хлеб на весь

день и пустой кипяток вместо чая.

Впрочем, взамен хлеба выдавались сухари — 240 граммов из расчета шестидесяти процентов нормированной четырехсотграммовой пайки. В действительности же мы получали на руки едва ли больше двухсот граммов.

В обед полагалась полулитровая консервная банка горячей водички, где плавали крупные лавровые листья и с десяток — никак не больше — разварившихся крупинок пшена. Мы с жадностью выпивали эту бульонообразную жидкость, которая даже название баланды не заслуживала. К ней не требовалось ложки. Вечером выдавался точно такой же бульон. Днем можно было только сидеть на полу. Лежать, стоять, ходить по камере было запрещено. Разговаривать можно было только шепотом, вполголоса. Полагающуюся в тюрьмах ежедневную прогулку заменял вывод «на оправку».

Дважды в день, утром и вечером, выводили нас во двор «оправиться». Мы усаживались в ряд на корточки на самом краю глубокой квадратной ямы с нечистотами, рискуя туда свалиться, а напротив нас, на расстоянии десятка шагов, цепью выстраивались конвоиры, наставив дуло автоматов. Так, под дулами автоматов, и сидели

на корточках. Конвоиров было вдвое больше, чем нас, заключенных. Потом отводили в камеру — в этом и заключалась прогулка.

Таков был режим.

Я вспоминал читанные в былые времена воспоминания старых большевиков, как томились они в тюрьмах проклятого царского самодержавия, как угнетали их там. Хлебнули бы вы, дорогие товарищи ветераны, советской военно-полевой тюрьмы! — думалось мне. Испытали бы на себе наш режим! Посидели бы на пшенном бульончике!

## 9

Расставаясь со мною, капитан Роговой сообщил, что на днях меня должен вызвать прокурор.

Новость была хорошей. Наконец-то станет известно, за что меня арестовали и в чем, в сущности, обвиняют. Ведь прокурор, как известно, стоит на страже закона.

Однако день проходил за днем — монотонные, бесконечные, окаянные тюремные дни, — а к прокурору меня и не думали вести. Я видел, как ежедневно уводят к следователю моих сожителей по камере, слушал, как, воротясь, взволнованно рассказывают они о сегодняшнем допросе, и с

нетерпением ждал, когда же наконец вызовут.

А камера жила своей убогой регламентированной жизнью. Утром получали пайку. Выдавали полагающиеся нам сухари навалом, сразу на всех, ссыпая обломки и крошки, из которых они состояли, в чью-нибудь торопливо подставленную грязную засаленную телогрейку. Затем начиналось самое важное за весь день, самое серьезное и ответственное занятие: дележ полученных сухарей. Все усаживались вокруг разостланной на полу телогрейки с сухарями, и кто-нибудь начинал кропотливо распределять наваленные в нее кусочки и крошки на несколько кучек по числу едоков. Вся камера принимала в этом деятельное участие, зорко следя, чтобы кучки укладывались абсолютно равные.

Хотя после закончившейся дележки все убеждались, что холмики крошек совершенно тождественны, тем не менее кого-нибудь из зрителей усаживали спиной к другим и вопрошали:

— Кому?

Оракул, не видящий, на какую кучку показывают пальцем, наобум называл чью-нибудь фамилию.

— Кому? — вновь задавали ему вопрос, указывая на следующую кучку.

Так распределялись голодные пайки.

Благоговейно держа в ладонях полученное, каждый тут же его съедал. Слизывались языком мельчайшие крошки. О, теперь бы я не забыл на подоконнике утренний сухарь!

В жаркие дневные часы, когда в камере особенно было душно и вонюче, появлялся с ведром воды красноармеец из хозобслуги — без гимнастерки, белая сорочка заправлена в защитные галифе, морда плутоватая, толстая. Отъелся парень на уворованном у нас тюремном пайке, и без того скудном. Жизнерадостно возглашал тоном уличного торговца:

— А вот кому водички? Угощаю холодной водичкой!

Чего-чего, а воды нам не жалели. И холодной, и горячей. И сырой, и кипяченой.

Возвращаясь с «прогулки» под дулом автомата, я срывал ромашки, белеющие под ногами в зеленой траве. Конвой — ничего, разрешал. В камере я гадал на ромашках, обрывая лепестки, — так гадают девушки: любит, не любит. Только гадание мое было несколько иным. Оправдание? Ссылка? Лагерь? Расстрел?.. Оправдание? Ссылка? Лагерь? Расстрел?.. Так обрывал я один за другим узенькие белые лепестки, пока не оставалась золотая

пуговка сердцевины.

Несмотря на тогдашнюю голубую свою наивность, все же я допускал возможность общего нашего расстрела, вызванного исключительными обстоятельствами. Достаточно было, думалось мне, чтобы немцы прорвали где-нибудь поблизости фронт и возникла угроза окружения. В случае поспешного отступления тюремная администрация, конечно, не будет церемониться с врагами народа, всех тут же ликвидируют.

Тем временем дни тянулись и тянулись, а меня по-прежнему не беспокоили, я отдыхал. Отдохнуть от допросов вообще-то было неплохо, но создавалось впечатление, что я забыт, мною перестали интересоваться. Я решил объявить голодовку. Голодовка в тюрьме — чрезвычайное происшествие. Тюремщики не любят, когда заключенные объявляют голодовки.

На следующее утро, когда принесли хлеб, я заявил надзирателю, что не желаю брать пайку, пусть несут обратно. Было это в тот кратковременный период, когда вместо ржавых сухарей стали давать нам мягкий хлеб.

Через десять минут меня уже вели к начальнику тюрьмы. Я увидел высокого спокойного старшего сержанта в фуражке с голубым верхом.

— Почему вы отказались принять хлеб?

Я объяснил почему: мне обещано свидание с прокурором, давно уже обещано, а между тем до сих пор не вызывают.

— Прокурор сейчас в командировке. Вас сразу вызовут, когда он вернется, — спокойно, ровным голосом сказал начальник тюрьмы.

Объяснение казалось правдоподобным, и начальник производил впечатление приличного человека. Когда вновь принесли мне в камеру отвергнутую пайку, я принял ее.

Минуло несколько дней, и вот действительно после длительного перерыва снова явился за мной конвоир, чтобы куда-то вести. «К прокурору!» — порадовался я в душе. В самом деле, сегодня мы шли среди белых хаток несколько иным, чем раньше, путем, когда водили меня к Роговому.

Однако незнакомый молодой капитан с пышным русым чубом и с орденом Отечественной войны на груди, к которому меня привели, оказался не прокурором, а новым следователем. Следствие начиналось заново. Очевидно, начальник контрразведки, недовольный тем, как вел дело Роговой, решил передать меня другому следователю, побойчей и поретивей.

Капитан Озимин начал с того, что заинтересовался нерусской моей фамилией. Откуда я родом? Как звали моего отца? Мать? Деда? Бабку? Вообще, почему у меня такая фамилия?

Отвечая на это, что, по семейным преданиям, прадед мой был чех, выходец из Богемии, женившийся на русской и сам обрусевший, в то же время я удивлялся в душе столь повышенному интересу к чистоте моей крови. До сих пор, в течение двадцати пяти лет, мы, советские граждане, воспитывались в духе полнейшего безразличия к национальной принадлежности человека. Мы же интернационалисты. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Наконец капитан Озимин пришел, по-видимому, к выводу, что меня можно считать русским, а не немцем или евреем, и принялся за дальнейший допрос. Но от перемены следователя положение мое нисколько не изменилось. По-прежнему продолжалась та же тягостная муть. Снова я чувствовал — пока в деликатной форме — настойчивый нажим, имеющий целью заставить меня в чем-то сознаться. В чем, черт вас подери? В чем?..

— Скажите конкретно, в чем я обвиняюсь? — взывал я, поставленный в тупик, и не получал

вразумительного ответа. Продолжалась прежняя нелепая игра в жмурки. День за днем тянулись наши малоприятные, нудные и совершенно бесплодные беседы. Признаться, временами я не без опаски поглядывал на лежащие на столе увесистые кулаки молодого чубатого капитана. Наверное, крепок был парень на руку. Однако следователи Смерша держали себя со мной вполне пристойно. Раз только во время допроса Роговой матюкнулся, но тут же извинился передо мной. Думаю, подобная непривычная и обременительная для них вежливость объяснялась тем, что моим «шефом» был сам Мехлис. Неудобно все-таки было применять к его «подшефному» методы физического воздействия.

Капитан Озимин был настолько уважительным, что однажды даже признался:

— Может быть, вы на несколько голов выше меня.

Я не стал его разубеждать.

## 10

Людской состав камеры был весьма текуч: почти каждый день уводили одних, приводили других. Смерш работал не покладая рук.

Наиболее продолжительное время неволь-

ными моими товарищами оказались старшина-казак Николенко и молодой парень Колька, военный шофер. Первый сидел за антисоветскую агитацию и содействие врагу, второй за дезертирство.

Пожилой уже, коренастый, заросший по щекам черной щетиной Николенко, добродушный плут и пройдоха, одессит, прошел, было похоже, огни, воды и медные трубы. Во всяком случае успел побывать в так называемых исправительно-трудовых лагерях.

Видимо, почувствовав ко мне расположение, исподволь принялся он подготавливать меня к предстоящей лагерной жизни. Самое главное, поучал он на своем русско-украинском диалекте, устроиться на хорошую работу, легкую и непыльную. Для этого нужно подружиться с самыми влиятельными в лагере людьми: с нарядчиком, распределяющим по объектам рабочую силу, с учетчиком и со своим бригадиром. Каким образом подружиться? А посылки на что? Получил из дому посылку — обязательно поделись с нужным человеком. Не жадничай, не скупись. Может быть, иной раз придется пожертвовать и всей посылкой. Ничего, все это после окупится. А будешь жадничать — хана. Пошлют тебя на такую рабо-

ту, что станешь тонкий, звонкий и прозрачный, а потом и вовсе загнешься.

Я слушал Николенко с равнодушным любопытством человека, которого все эти мрачноватые рассказы и добрые советы нисколько не касаются. Да и не могут касаться. С какой стати меня, не знающего за собой никакой вины, сошлют в лагеря? За что?

Обстоятельства ареста Николенко были довольно оригинальны.

Выздоравливая после полученного легкого ранения, лежал старшина в прифронтовом госпитале. Дело шло уже на поправку. Однажды, томясь больничной скукой, решил он в нарушение правил перекинуться с соседом по койке в картишки — благо у того имелись самодельные. В самый разгар игры начался обход, в палату вошли врачи, Николенко второпях сунул карты себе в полевую сумку. После осмотра главврач сказал ему, что он годен на выписку — сегодня же и выпишут, пусть собирается. Через час солдат с вещмешком, набитым хлебом, сахаром и концентратами, уже шагал по придорожной дороге в поисках своей части.

К вечеру усталый, проголодавшийся старшина расположился в какой-то наполовину выгорев-

шей попутной деревушке. Расторопная хозяйка поставила самовар, Николенко пил чай, пошучивал с ней, блаженствовал. Неожиданно в избу ввалился патруль.

— Документы!

— Пож-жалуйста!

Николенко спокоен: документы в порядке, он не дезертир, он честно возвращается из госпиталя в свой полк.

— А это что? — спрашивает старший патрульный, заметив в раскрытой полевой сумке самодельные карты, которые Николенко второпях сунул к себе, да и забыл вернуть владельцу.

— Це карты. Пожалуйста.

Старший повертел в руках переданные ему карты и так и этак и вдруг скомандовал:

— А ну, пошли!

— Куда? — опешил старшина.

— Куда надо. Пошли.

И вот стоит ничего не понимающий Николенко перед дежурным лейтенантом, к которому его привели на расправу. Старшой докладывает и передает отобранные у арестованного карты.

— Твои? — спрашивает лейтенант, тоже повертев их в руках и так и этак.

— Мои. Оно, положим, не мои, товарищ лейте-

нант, а сусида, в палате со мной був.

— Так ты что, антисоветской агитацией занимаешься? — не слушая больше Николенко, гремит лейтенант. — Фашистские листовки распространяешь? — продолжает он, прибавляя некоторые полагающиеся в таких случаях слова.

— Яки листовки?

— А это что?

Лейтенант тесно, одна к другой, раскладывает на столе игральные карты рубашкой вверх, и старшина, похолодев, действительно видит перед собой разрезанную на квадраты немецкую листовку, соответствующего, конечно, содержания. Их разбрасывали гитлеровские летчики. Очевидно, владелец карт подобрал где-то такую листовку и в простоте душевной решил использовать чистую обратную сторону для карт, изобразив там все полагающееся. Бумага была как раз подходящая, плотная.

Роковыми оказались самодельные карты. И для Николенко, и для его партнера, которого, разумеется, нашли в лазарете и тоже посадили.

Водитель Колька, испуганный светловолосый парень, угодил за решетку по иной причине.

Вместе с другим водителем был он командирован с фронта в тыл, в школу комсостава. По

дороге ребятам на некоторое время пришлось задержаться в запасном полку, где и встали на пищевое, табачное и всякое иное довольствие. Питание в запасных полках более скудное, чем на фронте, и молодые здоровые парни, у которых подвело животы, в скором времени заскучали. Подумали, подумали и приняли весьма необдуманное, но извиняемое возрастом решение: плюнуть на школу комсостава, на будущие офицерские погоны и топать обратно в свою часть, на фронт. Так и сделали.

Сейчас оба обвинялись в дезертирстве. Держали их тоже отдельно друг от друга.

Озабоченный исходом своего нелепого, но тем не менее скверного дела, Николенко то и дело гадал на бобах. Неизвестно, каким образом удалось ему пронести с собой горсточку сухих бобов, завязанных в грязный носовой платок. Редкий день не ворожил с ними. Так и вижу: скрестив ноги в запыленных кирзовых сапогах, сидит бывший старшина перед разостланным на полу носовым платком и, насупив черные мохнатые брови, молчаливый, сосредоточенный, распределяет на нем маленькими кучками, в каком-то особом порядке, вещие свои бобы. Внимательно рассматривает, что-то прикидывает в уме,

перекладывает из одной кучки в другую. Гадал Николенко и на себя, и на нас с Колькой.

На войне редкий человек не делается отчасти суеверным, каким бы ни был он рационалистом до того.

С детства я привык иронически относиться к самому выражению: «гадать на бобах». Но теперь, изнывая от тюремной тоски, от томительной, сосущей сердце неизвестности, не раз просил старшину погадать и на меня.

Начиная ворожить, Николенко неизменно задавался двумя вопросами:

1) Что ждет в ближайшее время?

2) Чем все это кончится?

И странное дело, ответы всегда получались одни и те же для всех троих.

— Скорая дорога! — объявлял Николенко, пытливо глядя на разложенные кучками бобы. — Исполнение желаний!

Завязывая бобы снова в платок, пояснял убежденно:

— Обязательно скорая дорога. Вот-вот вертится. Всем нам скорая дорога.

— Куда?

— Не могу знать куда. Дорога, и усе!

— И мне тоже скорая дорога?

— Тоже, товарищ майор.

— И исполнение желаний?

— Исполнение желаний лучше нэ можэ буты. Слухайте сюдой. Будэ вам исполнение желаний, тильки нэ скоро. И еще будэ два поворота колеса.

— Какие же это повороты колеса?

— Нэ знаю. Кажуть бобы: два поворота колеса. Ничего, товарищ майор, хорошо все кончится. Всем нам хорошо. Лучше нэ можэ буты.

«Неопытная ворожея, — думал я. — Ворожея-дилетант. Хоть бы для правдоподобия что-нибудь другое придумал. Три человека, и у всех трех одинаковая судьба: скорая дорога и исполнение желаний. Чепуха!»

## 11

Допросы прервались самым неожиданным образом.

Однажды в камеру заглянуло какое-то начальство и дало команду:

— С вещами! Быстро!

Необычайное зрелище ждало на улице, куда вывели нас несколько минут спустя. Окруженная цепью конвоиров-автоматчиков, державших на поводках злых, косматых и сильных овчарок, выстраивалась длинная серо-зеленая колонна

арестантов. Исхудалые, землистые, давно небритые лица, распоясанные гимнастерки без погон, без погон и фронтовые шинельки. Я и не подозревал, сколько со мной сидит военного народа. Люди толпились, навьюченные вещмешками и деревянными солдатскими сундучками, строились в одну колонну. Шум стоял несусветный. Выстраивавшие партию автоматчики орали, ругались, грубо толкали заключенных; оглушительно лаяли могучие псы. Возбужденные видом такого множества арестантов, они рвались на поводках — того и гляди, сорвутся и растерзают. Очевидно, вся тюрьма перегонялась куда-то.

Долго выстраивали и считали:

— Разберись по пятеркам! Первая пятерка, три шага вперед!

— Вторая!

— Третья!..

Наконец благополучно сосчитали всех, и тогда начальник конвоя, выйдя вперед и придерживая висевший на шее автомат, зычным голосом произнес напутственное слово — как должны мы вести себя в дороге:

— Шаг вправо, шаг влево считается попыткой к побегу. Конвой без предупреждения применяет оружие. Ясно?

— Ясно! — хмуро ответили из колонны.

— Не слышу, — требовательно сказал начальник конвоя.

— Ясно! — заорали десятки голосов.

— То-то же! Шагом… арш!

Отныне мы переходили в полную, ничем не ограниченную и безответственную власть конвоя, который делался хозяином нашей жизни. «Возьмет конвой меня жестокий», — пели в своих песнях блатари.

И погнали нас под конвоем автоматчиков и собак неведомо куда. Прошли по селу, выбрались на широкую, извивающуюся среди полей дорогу. День начинался жаркий и душный, парило. Разбросанные на волнистой равнине зеленые округлые кусты деревьев — не елки и березы северо-запада, а липы, тополя, дубы — были затянуты серебристой дымкой, как на картинах Коро. Взбитая сотнями тяжелых ног густая пыль хрустела на зубах, засоряла глаза. Я видел длинную, растянувшуюся, медленно бредущую по дороге колонну обезличенных, лишенных погон военных людей и думал: неужели они все преступники, сознательно нарушившие закон государства?

Отрезанные от мира, мы не знали, что происхо-

дит на фронтах. Мы не знали тогда, что только что закончилась великая битва на Орловско-Курской дуге и фронт, оставив позади развороченные, щедро политые кровью русские поля с сотнями дымящихся обугленных танков, неудержимо прокатился далеко вперед. Армия с жестокими боями продвигалась дальше и дальше на запад — и следом за наступающими войсками двигались армейские тылы. Подтягивались в том числе и полевые тюрьмы.

Как после выяснилось, гнали нас на ближайшую железнодорожную станцию, километров за двенадцать. Не прошла колонна и двух километров, как истощенные, обессилевшие люди один за другим стали валиться. Сказались двести граммов сухарей и пшенный бульон. Какая уж там «попытка к бегству»! Первым у меня на глазах упал молодой, очень бледный лейтенант, несколько дней пробывший у нас в камере. Он рассказывал нам, как следователь бил его ребром линейки. За лейтенантом повалился я — внезапно подкатила к горлу тошнота, колени сами собой подогнулись. Не помню, как приводили меня в чувство. Откуда-то появился санитар с краснокрестной сумкой на боку. С трудом поднялся я с земли, сделал несколько шагов и вновь

повалился. Опять поставили меня на подгибающиеся, ватные ноги, соседи, более сильные, подхватили с обеих сторон под руки. Не помню уж, как дотащили до станции.

Падали в колонне и другие.

Больше недели находились мы в пути. Сначала под наблюдением часовых провели двое томительных суток, все время в сидячем положении, на маленькой станции, в ожидании состава, который нас куда-то повезет. Подниматься на ноги не разрешалось. Пришел наконец поезд, началась посадка в длинные пульмановские вагоны. Разместились, поехали. Куда — неизвестно.

В обоих концах вагона были сделаны, точно для скота, невысокие, до пояса, загородки из горбылей, замаскированные от постороннего глаза наломанными зелеными ветками. Туда и загнали, и усадили нас. Несколько дней, тесно набитые в своих скотских закутах, невидимые миру, ехали мы, сидя на полу. Так и спали — сидя. Даже размять затекшие ноги не позволялось. Того, кто пытался было встать на минуту, часовой грубым окриком заставлял снова усесться на полу.

Сам конвой со всеми удобствами расположился посреди пульмана.

Кормили в пути, нужно сказать, лучше, чем

до сих пор: пятьсот граммов свежего хлеба и довольно густой суп, не тот бульончик, каким до сих пор угощали. От такого питания сил немного прибавилось.

Спустя несколько дней нашего путешествия прибыли куда-то, выгрузились из вагонов. Пересчитали нас, предупредили насчет шага влево, шага вправо, дальше погнали. То пешим хождением, если был небольшой перегон, то на целых караванах грузовых машин, под дулами автоматов — конвоиры сидели на бортах. Лишь клочья всего этого путешествия остались в памяти. Помню, к примеру, как гнали нас через какой-то недавно отбитый у немцев городок, то ли Старый, то ли Новый Оскол. Окраинная уцелевшая улица, тусклое кровяное солнце опускается за дальние крыши, вечереет. У ворот бабы на скамеечках — сидят, семечки лузгают. Гонят нас мимо них, и мы слышим злые визгливые голоса вслед:

— Расстреляйте их, паразитов! У нас мужья на фронте кровь проливают, а вы с ними возитесь.

Помню, гонят по обочине широкого шоссе вдоль посеревшего от пыли кустарника. Жаркий июльский день. Обдавая длинную нашу колонну клубами пыли, один за другим проносятся по шоссе могучие американские «студебекеры».

Над головой то и дело со звенящим ревом низко проносятся наши истребители и штурмовики, транспортные американские «дугласы», все новые и новые. На северо-западе мы не видели этого непрерывного бодрого движения по земле и по воздуху, устремленного в одну сторону — на запад, чувствовалось, насколько прибавилось у нас за то время, пока я сидел, военной техники, главным образом американской. Впрочем, и своей было немало. Чувствовался решающий перелом на фронте, все дышало наступлением. Наконец-то мы перешли в наступление, бьем и гоним нацистов.

С какой горькой безнадежной завистью думал я в те минуты о товарищах по редакции! Где они сейчас? Добродушный коренастый кавказец Миша Бахшиев (ныне дагестанский писатель), худощавый, умный, ироничный Борис Эпштейн-Кремнев (ныне писатель, автор книг о Моцарте и Бетховене), юный, вдохновенно-сосредоточенный Юрий Левитанский (ныне известный поэт) и другие. Для наших началось самое интересное время. Вместе с наступающей нашей 53-й армией они входят в очищенные от гитлеровцев города, они все дальше продвигаются на запад. А меня под конвоем, сквозь дорожную пыль гонят в

покорной арестантской толпе в тюрьму — тоже арестанта.

За что я выброшен из армии?

Одно лишь ободряло и вливало надежду в меня в те дни — наивная вера в бобы Николенко. Шутки шутками, а ведь первая часть предсказания — скорая дорога, которая «вот-вот вертится» — сбылась блистательным образом. Для всех троих сбылась. Совпадение было удивительное!

Что ж, будем ждать, когда осуществится и вторая часть гадания — исполнение желаний. Только надо набраться терпения. Ведь «нэ скоро».

## 12

Длительное и сложное путешествие закончилось в Белгороде, недавно очищенном от врага.

Разместили нас в каком-то полуразрушенном каменном строении, где раньше, очевидно, помещались лошади. Во всяком случае пол, на котором мы все вповалку, без всякой подстилки спали, определенно попахивал конской мочой.

Большая камера была битком набита, однако я не приметил ни Николенко, ни Кольки среди этого незнакомого народа. Очевидно, их поместили в другой камере, отдельно от меня.

Проснувшись утром, рядом с собой я увидел

широкую спину, обтянутую серо-зеленым сукном немецкого мундира. Рядом со мной спал рослый гитлеровский офицер в своей форме. Каким образом он попал сюда? Но тут сосед, просыпаясь, повернулся ко мне лицом, и я увидел типичного красивого черноглазого грузина. Почему он был в немецком мундире? Оказалось, будучи в плену, мой сосед, лейтенант Красной армии, вступил в организованный гитлеровцами грузинский легион. С целью раскола Красной армии немцы создавали из военнопленных национальные формирования — грузинские, армянские, казахские, татарские, а в первую очередь украинские. Одетые в немецкую форму, под командованием немецких офицеров, они должны были сражаться против своих же.

Помимо того, с этой же целью была создана, как известно, РОА — Русская освободительная армия генерала Власова[11].

В первом же бою мой грузин перешел обратно к нашим, заявив, что не желает быть изменником-братоубийцей и что в легион пошел лишь для того, чтобы вернуться таким образом к своим. Вместе с собой он привел десяток своих солдат-грузин, тоже вчерашних пленных. Теперь все они сидели за решеткой.

Бедняги не подозревали, что их ждет. Несмотря на добровольное возвращение в ряды Красной армии, все равно они считались изменниками Родины и должны были получить 15–20 лет каторжных работ. По советским законам сам плен рассматривался и карался как измена (говорю о законах сталинского времени). Герои Бреста, в честь которых сооружены теперь величественные мемориалы — те, что выжили в страшном немецком плену, — вернувшись на Родину, должны были пройти каторжные спецлагеря. И прошли.

Спустя несколько дней после прибытия в Белгород состоялась наконец давно обещанная мне встреча с прокурором. Им оказался длинный франтоватый молодой человек в золотых погонах и в сапогах, зеркально надраенных. Звания его уже не помню. Фамилией не интересовался.

— Я познакомился с вашим делом, — заявил он мне небрежным тоном, удобно развалясь на стуле и подрыгивая коленкой. — Считаю, что следователь неправильно квалифицировал ваше преступление — контрреволюционная агитация. Агитации вы не вели. Я бы формулировал иначе: хранение контрреволюционной литературы.

На это я возразил, что, во-первых, ничего

контрреволюционного в моих дневниках нет. Во-вторых, дневник не может считаться литературой. Литература предназначена для более или менее широкого круга читателей, для того и создается, а дневник вещь глубоко интимная и пишется исключительно для самого себя. В-третьих, слово «хранение» здесь тоже не проходит. Хранят то, что в дальнейшем предназначается для использования с какой-то практической целью или для распространения среди других, а к дневнику это никак не относится. Дневник — зафиксированная на бумаге беседа человека с самим собой. Никто не читает дневников друзьям и не печатает их, во всяком случае при жизни. Дневники печатаются лишь после смерти автора, и то в исключительных случаях.

— Ну, знаете, ваш дневник мог попасть кому-нибудь в руки. Например, к вашей жене, — сказал прокурор высокомерным тоном, показывающим, что он не только пропускает мои доводы мимо ушей, но даже неприятно удивлен, что заключенный посмел вступить с ним в юридический спор.

Мне хотелось ответить на это, что, насколько я знаю, закон карает человека либо за уже совершенное, либо за подготавливаемое им пре-

ступление, но не за то, что лишь может или не может произойти когда-либо в будущем. Однако прокурор прервал дальнейшую дискуссию:

— Мы решили отправить вас в глубокий тыл. Пусть там, в спокойной обстановке, разбираются с вашим делом.

Сообщение было приятным и в то же время неприятным. Значит, как я и предполагал, Смерш убедился, что дело не стоит выеденного яйца и что судить и карать меня не за что. Но вместо того, чтобы чистосердечно в этом признаться, контрразведка попросту спихивала меня с плеч. Пусть теперь ломают голову органы МВД. Скверная волынка продолжалась.

— Куда же меня повезут? — спросил я.

Прокурор подрыгал коленкой.

— Неизвестно. Может быть, в Ташкент. А может, в Москву.

В Москву! Я горячо взмолился про себя всем богам, чтобы попасть именно в Москву. Может быть, тогда удалось бы мне каким-нибудь способом дать о себе знать родным и связаться с ними. Ведь уже несколько месяцев бедная мама не имела от меня писем, не знала, что со мной, жив ли я, и, наверное, с ума сходила. С болью в сердце представлял я себе ужас и горе матери, когда она

узнает наконец, что со мной произошло. Но хоть будет знать по крайней мере, что я жив, не погиб на войне, как многие другие.

Я спросил, какой все-таки ожидает меня приговор. Прокурор пожал слегка плечами.

— Как посмотрит суд. Не исключена, — сделал он значительное лицо, — и высшая мера.

Я тоже сделал значительное лицо, но в душе усмехнулся. Высшая мера! Запугивал меня этот хлыщ, что ли? Теперь, когда дело будет разбираться в спокойной обстановке, в глубоком тылу, мне уже не приходилось опасаться расстрела. За дневник болеющего душой русского патриота — высшая мера?

— Если хотите, можете подать прошение об отправке на фронт, — прибавил прокурор, как бы смягчившись. — Это может сыграть положительную роль.

Он дал мне листок бумаги, и я тут же, усевшись за его стол, написал под диктовку соответствующее заявление на имя верховного главнокомандующего товарища Сталина.

Ответа, конечно, дождаться не было суждено. Заявления политических заключенных с просьбой отправки на фронт вообще не рассматривались. Был бы я вором или бандитом — тогда

другое дело.

На следующее утро я, уже выведенный из камеры на широкий, поросший зеленый травкой тюремный двор, сидел в ожидании машины, которая должна была доставить на вокзал. Теперь Смерш хотел отделаться от меня как можно скорее. Залитый горячим солнцем, сидел я на зеленом косогоре, под огромным безоблачным небом, всей грудью вбирал свежий воздух и с любопытством оглядывался кругом: где очутился?

Внезапно неподалеку от себя увидел старых друзей Николенко и Кольку, которых не видел уже недели полторы. Тоже сидели на траве и занимались — в первый момент я не уяснил себе смысла того, чем они занимались. Да, занимались тем, что пришивали к шинелям сорванные при аресте погоны. Они пришивали погоны!

Изможденное бледное лицо Николенко, обычно цыгански-черномазое от запущенной густой бороды, сейчас было чисто выбрито и светилось счастьем. Таким же сияющим выглядел и Колька. Часового около них не было.

Мой часовой отвернулся, и я подполз к ребятам поближе.

— Ну как дела, Николенко?

— О, лучше нэ може буты, товарищ майор! —

последовал радостный ответ.

— А что?

— Отправляют в запасный полк.

— И его тоже? — кивнул я на радостно ухмыляющегося Кольку.

— И його.

Крепко повезло обоим. Следователи в конце концов поняли, что один из подследственных — жертва нелепой случайности, а другой никак не может быть обвинен в дезертирстве. Дезертир бежит с фронта в тыл, а не из тыла на фронт. Дела обоих прекращены еще до суда за отсутствием состава преступления, и оба моих приятеля благополучно вышли на волю. Среди фронтовых следователей, видимо, попадались порядочные люди.

Долго беседовать не удалось — за мной пришла машина. Я навсегда распрощался с тюремными товарищами. Мне неизвестна дальнейшая их судьба. Знаю только, что они вернулись на фронт, свободные и счастливые, а меня под усиленной стражей повезли с фронта в Москву на новые нелепые мытарства, на незаслуженные оскорбления и издевательства.

«Странное дело! — думал я. — Сбылась для Николенко и Кольки вторая часть гадания. У меня на

глазах сбылась. Сбылось их страстное желание: оба на свободе и ничем не запятнаны. А я?.. Что же, значит, обманули вещие бобы?»

Но ведь оправдалось же предсказанное, полностью оправдалось, и одному, и другому. Да наполовину и для меня самого сбылось. Значит, в конце концов и я буду оправдан. Нужно только набраться терпения и ждать, стиснув зубы. «Лучше нэ може буты. Тилько нэ скоро». Только не скоро. Только не скоро…

Так утешал и подбадривал я себя, пока везли на вокзал, и далек был от мысли, что самые тяжелые испытания только еще начинаются. Тернистый путь был еще впереди.

## 13

Конвейер тупой, бездушной, свирепой карательной машины, куда я попал, тащил дальше и дальше.

Отдельно, в индивидуальном порядке, под усиленном конвоем из трех автоматчиков во главе с капитаном-орденоносцем был я привезен в Москву. Признаться, такой почетный эскорт нисколько мне не льстил. Спихнуть спихнули, но, очевидно, продолжали считать меня серьезным преступником, и это наводило на невеселые

размышления.

Ехали мы с фронта в обычном жестком пассажирском вагоне, занимая целое купе — я лежал всю дорогу на верхней полке, а подо мной расположились конвоиры. Они подкреплялись купленными на станциях продуктами, весело переговаривались, смеялись, капитан запросто держался с солдатами, настроение у всех было превосходное: ехали в Москву, в служебную командировку. У меня живот подводило от голода, но я старался не смотреть, что едят внизу, все же с удовольствием глядел в окно на проносящиеся мимо зеленые густолиственные, дышащие свежей прохладой леса, на широкие поля, на оживленные, полные народа, разбитые немецкими бомбежками станции. Меня обрадовало дыхание вольной шумной жизни, от которой столько времени был оторван.

В Москве, куда приехали, капитан долго звонил куда-то с вокзала по телефону, очевидно, вызывал машину, но все «черные вороны» оказались в разгоне — видно, спрос на них был слишком велик. Поехали самым обычным способом, в переполненном, как всегда, троллейбусе. Я и мои конвоиры с автоматами стояли сдавленные, в людской тесноте. Мы делали вид, что не зна-

ем друг друга, но я понимал, что три пары глаз следят за каждым моим движением. К счастью, никто из знакомых не повстречался со мной, не заговорил. Да и вообще окружающие не обращали на нас внимания. Люди ехали, озабоченные своими делами, своими мыслями, кому было дело до странного вида военного — почему-то без красной звездочки на фуражке, без погон, в гимнастерке, заправленной в штаны.

И никто не догадывался, куда его везут эти три, казалось, совершенно незнакомых ему солдата с автоматами.

С тоскливой жадностью глядел я на знакомые, давно невиданные улицы, площади, скверы, привычные очертания зданий, опасаясь увидеть развалины и пепелища. Но почти не встречалось следов войны. Москва жила обычной деловой жизнью.

Только когда мои спутники, а с ними и я сошли с троллейбуса на площади Дзержинского, стало мне понятно, куда доставили. Сколько раз, бывало, до войны проходил я мимо этого громадного, многоэтажного, фасадом выходящего на бывшую Лубянскую площадь здания, где у главного подъезда стоял часовой с винтовкой, поблизости виднелся милиционер, а на краю широкого тро-

туара слонялся дежурный филер со скучающим видом. Проходил — и не думал о тех мрачных кровавых тайнах, о тех безвестных, скрытых от мира трагедиях, которые совершались в недрах этого дома. Проходил беспечный, никак не подозревая, что и мне доведется непосредственно познакомиться с ним, с этим зданием на Лубянке.

Я застал еще то время, когда главный вход богатого дома, до революции принадлежащего страховому обществу «Россия», был украшен бронзовыми фигурами Нептуна и Меркурия. Оба римских бога симметрично полулежали над дверью на скатах фронтона. Между ними в стену был вделан барельеф — бронзовая львиная морда. В двадцатых годах она приняла вид Карла Маркса, а Меркурий и Нептун, не меняя непринужденных своих поз, превратились в бронзовых же красноармейцев, молодого и старика, в буденовках, с винтовками в руках, в штанах и сапогах, но почему-то обнаженных по пояс. Очевидно, загорали.

Затем, во время одной из бесчисленных перестроек здания, растущего и ввысь новыми этажами, и вширь и занимающего, наверное, не один квартал, Маркс и полуголые красноармейцы бесследно исчезли. Здание приобрело нынешний вид.

Но вошли мы не в главный подъезд. Капитан завернул в боковой, совершенно безлюдный переулок, опытною рукою открыл одну из тяжелых дубовых дверей (за ней оказался часовой с винтовкой), и знаменитая Внутренняя тюрьма приняла меня в гостеприимные свои объятия.

На первый взгляд не было внутри ничего устрашающего. Солидное канцелярское, министерского типа учреждение: большой вестибюль с сетчатым, уходящим вверх колодцем; длинные, ярко освещенные электричеством коридоры, недавно окрашенные салатного или бирюзового цвета краской; ряды дверей кабинетов: только на каждом шагу часовые, на каждом шагу военные в голубых незабудочных фуражках. Да еще прилепленные к стенам боксы.

Пока происходило оформление, меня — новоприбывшего арестанта — запихали в один из таких боксов. «Бокс» в переводе с английского — ящик. Действительно, то был глухой, без окон, большой деревянный ящик с дверью, площадью в один квадратный метр, внутри освещенный, в котором можно было только стоять либо, подобрав ноги, сидеть на полу. Заглянул молодой лейтенант с листом бумаги в руке, проверил глазами, в точности ли совпадают внешние мои приме-

ты с тем, что написано, заставил расписаться, снова исчез. Спустя некоторое время длинными коридорами с поворотами повели куда-то в подвальное помещение. «В камеру ведут!» Но нет, оформление не закончилось. Молчаливый фотограф в черном штатском костюме усадил в кресло перед тяжелым старомодным аппаратом с объективом, нацеленным точно пушка, поставил мне на колени табличку с каким-то многозначным номером, залез под черное покрывало и снял анфас и в профиль. Действовал быстро, привычно, не тратя лишних слов, лицо у него было как маска. Впрочем, у всех, кто встречался здесь по пути, были такие же лица-маски.

Потом фотограф велел приложить пальцы к намазанной на дощечке жирной черной краске и снял отпечатки всех моих пальцев. («Пальчики» — так называют заключенные эту процедуру.) Признаться, все это — анфас и профиль под номером, «пальчики» — морально было тягостно, но я утешал себя тем, что те же самые процедуры проходили в свое время и Ленин, и сам Сталин.

После фотографирования вновь заперли в боксе, однако ненадолго: явился другой надзиратель и повел к лифту. Бесшумно вознеслись на третий или четвертый этаж. Коридор уже не такой

безобидный и приятный, как внизу, вереница дверей тюремного типа с номером и волчком для подглядывания. Прогуливаются, то и дело приникая к волчкам, дежурные надзиратели. Подошли к одной из камер, дежурняк впустил меня одного и закрыл за спиной дверь на ключ.

Большая светлая комната, похожая на студенческое общежитие, но широкое окно забрано железной решеткой, слепые стекла замазаны мелом. Вдоль голых стен койки под темными байковыми одеялами, посреди длинный, ничем не покрытый стол. В комнате четверо или пятеро мужчин в штатском. Лица у всех бледные, движения вялые, замедленные. Неживым спокойствием давно уже сидящих повеяло на меня от этих неизвестных людей. Кто они были?

Однако не успел я оглядеться, куда попал, не успел завязаться у нас разговор, как вновь появился мой проводник и с явно смущенным видом повел обратно к лифту. Опять заперли в боксе.

Очевидно, извлекли меня оттуда по ошибке и надзиратель заработал крепкий нагоняй за серьезное нарушение инструкции: ни в коем случае не сталкивать лицом к лицу заключенных в разных камерах.

Я сидел на корточках в своем боксе и прислушивался к тому, что делается за дверью, с покорной грустью думал: раньше чем завтра меня не покормят. Со вчерашнего дня во рту не было ни крошки. Продукты, полученные на дорогу сухим пайком — хлеб, сушеная рыба, были, понятно, съедены тут же. В Москву я приехал голодный как волк.

Внезапно дверь бокса открылась: на пороге стояли надзиратель и некто в белом халате. Белый халат держал подносик с алюминиевой миской. Я не поверил глазам: да, да, миска была полна каши. Поистине то белый ангел слетел ко мне с небес.

— Получайте! — сказал надзиратель.

Нет, не фронтовой пшенный бульон. Не тюремная баланда. Не жиденькая, пополам с водой размазня. То была густо сваренная, горячая, вкусная, божественная пшенная каша. Я пожирал ее, не поднимаясь с пола, и легкомысленно думал, что на таких харчах, пожалуй, можно сидеть во Внутренней тюрьме.

— Но я же не виноват! Я не виноват! — вдруг послышался за дверью истерический мужской голос. — Я совершенно не виноват!

— Тссс! — донеслось шипеньем разъяренной

кобры. — Тссс!

Надзиратель был возмущен святотатственным нарушением царившей в здешних коридорах гробовой тишины.

— Клянусь вам, я не виноват! — продолжал вопить за дверью какой-то, очевидно только что доставленный сюда бедняга, совершенно обезумевший от ужаса. Крик внезапно оборвался, вновь сгустилась прежняя тяжелая тишина. Рот кляпом заткнули несчастному чудаку, что ли? Нашел кому свою невиновность доказывать — надзирателю!

Незаметно для себя в конце концов я заснул, уронив голову на поднятые колени. Наверное, сыграл роль и насытившийся, блаженно отяжелевший желудок. Когда разбудили и вывели из бокса во двор, где дожидался меня «черный ворон», было совсем темно. «Уж поздний вечер, — подумал я, залезая в машину — везли одного. — Значит, во Внутренней тюрьме не будут держать. Но куда теперь повезут?»

Машина мчалась и мчалась, бросая меня из стороны в сторону по опустелым, притихшим в этот поздний час московским улицам, но, странное дело, — вечернее небо, которое было видно в решетчатое оконце на двери, с каждой минутой

все больше светлело, вместо того чтобы темнеть. Оказывается, был не вечер, как мне думалось, а утро следующего дня. Наступал рассвет. Я и не подозревал, что проспал, сидя в боксе на корточках, целую ночь! Наверное, на сытый желудок.

Все же довелось мне побывать и во Внутренней тюрьме. Произошло это спустя четыре года, когда меня привозили из Карлага в Москву для дополнительного следствия, вырвав из больницы, где я лежал с обмороженными ногами. Была сухая гангрена.

Потом вновь этапировали в тот же лагерь, но в другое отделение — отбывать оставшийся срок.

Но об этом после.

## 14

Принято думать, что тюрьмы похожи одна на другую как две капли воды. На самом деле каждая имеет свои характерные особенности. Я убедился в этом, пройдя в общей сложности восемь тюрем: две полевых, четыре московских и две пересыльных — Свердловскую и Петропавловскую. Самой мрачной, подавляющей была, конечно, Лефортовская следственная военная тюрьма, в которой теперь я очутился. В годы Ежова звалась она «тюрьмой пыток».

Неизвестно, когда ее соорудили, при советской власти или в старое время, но построена она по последнему слову тюремной архитектуры. С вертолета она, вероятно, имеет форму креста — все четыре корпуса сходятся в центре в одной точке. Потолочные перекрытия между этажами в коридорах отсутствуют. Внутри — пустая коробка, все этажи просматриваются. В этой пустоте висят, одна над другой, в четыре яруса длинные галереи-балконы, на которые выходят двери камер. Расположенные на одном уровне, по ту и по другую сторону, галереи соединены воздушными мостиками. Повсюду натянуты металлические сетки, вертикальные и горизонтальные, — заключенный, которого ведут на допрос или с допроса, лишен возможности покончить с собой, бросившись вниз.

На центральной площадке внизу стоит надзиратель-регулировщик, просматривающий все четыре сходящиеся в этой точке корпуса. В руках цветные флажки, он регулирует ими движение. Заключенные, которых проводят по балконам, не должны встречаться друг с другом. Заворачивая за угол, надзиратель предупреждающе пощелкивает пальцами или языком. Если грозит такая случайная встреча, то по знаку регулировщика

одного из заключенных на несколько минут заталкивают в ближайший бокс либо ставят лицом к стене, пока оба не разминутся.

Высокая узкая камера с решетчатым окошечком, куда меня заперли, походила на черный мешок. Я не знаю, какой злобный, утонченно-изобретательный дьявол придумал эти камеры, где все было рассчитано на то, чтобы как можно больше подавить психику находящегося в ней человека. Толстые каменные стены до уровня человеческого роста покрыты мрачной черной краской, а выше — почти черной, темно-зеленой. Даже на лампочке, висящей высоко под потолком, черный абажур. Свет падает сверху слабый, тусклый, угрюмый.

Прибавьте к этому непрерывно доносящийся снаружи невыразимо унылый рев — будто голодные динозавры завывают где-то рядом. То работают мощные авиационные моторы находящегося поблизости ЦАГИ.

В камере три железные койки с тонюсенькими тюфячками и столик с полкой внизу. Стульев нет, сидим на койках. Тут же (полное удобство!) раковина для умывания и деревянный стульчак с откидной крышкой. Так сказать, совмещенный санузел. От крана к стульчаку проведена труба

— в случае надобности повернул кран и промыл водой унитаз.

Кроме меня, находились в камере еще двое: беловолосый, приземистый, плотный, учтивый и очень милый старичок Василий Иванович, шеф-повар, и главбух какого-то учреждения, молчаливый и бесцветный человек. У Василия Ивановича, работавшего в столовой Академии Военно-воздушного флота, было тяжелое дело — диверсия, террористический акт. Во время одного из торжественных банкетов, на котором присутствовали маршалы и генералы, произошло массовое отравление якобы недоброкачественной пищей. Никто, к счастью, не умер, но весь персонал, от заведующего до последней судомойки, очутился за решеткой. Главная ответственность за случившееся падала, разумеется, на Василия Ивановича, шеф-повара.

Теоретически можно было допустить факт диверсии. Война была в разгаре, немецкая разведка способна пытаться одним ударом уничтожить всю командную верхушку советских военно-воздушных сил.

Главбух про себя ничего не рассказывал, да и вообще молчал, как покойник. Из дома он получал обильные передачи и с жадностью их поедал,

повернувшись на своей койке ко всем спиной и никого не угощая, а потом то и дело усаживался на стульчак, мучился поносом. Вскоре он исчез — ушел, ни с кем не простившись.

На смену ему явился мальчик лет восемнадцати, в солдатской шинели и выгоревшей пилотке, вошедший к нам в камеру со смущенной виноватой улыбкой на полудетском добродушном лице. Я не знаю, за что он сидел, но чувствовалось, что сознание своего пребывания в тюрьме было для него мучительным. Помню, как он был удручен, когда сняли с него отпечатки пальцев.

Впоследствии, уже в Бутырках, кто-то сидевший вместе с ним рассказывал мне, что ночью, лежа в постели, пытался он удавиться сделанной тайком петлей, да, к счастью, вовремя заметил в волчок дежурный.

Ежедневно выводили нас на прогулку во двор тюрьмы, разделенный высокими дощатыми заборами на несколько секций. Мы, все трое, руки назад, гуськом ходили по кругу, и вместе с нами неотступно ходили два надзирателя. Через десять минут вели обратно.

Всегда вспоминалась при этом «Прогулка» Ван Гога.

Входя снова в камеру, учтивый Василий Ивано-

вич неизменно говорил сопровождающему нас надзирателю:

— Благодарю вас.

— За что же вы их благодарите? — сказал я как-то. — Они же не любезность нам делают. Они только инструкцию выполняют. Это их обязанность. Вежливый старичок перестал благодарить надзирателей.

Часто рассказывал он мне про своего внучонка Юрика — видно, обожал. Однажды днем, когда мы трое молча сидели на койках, погруженные каждый в свою невеселую думу, я вдруг услышал сквозь завывание ЦАГИ:

— Вон Юрик!

Подняв голову, Василий Иванович смотрел на стену — там замер случайно ворвавшийся в решетчатое окошечко золотистый солнечный зайчик. Заросшее седой щетиной, осунувшееся старое лицо светилось тихим грустным умилением. «Диверсант! — подумал я, глядя на Василия Ивановича. — Террорист!..»

Но как-то он вернулся с очередного допроса совершено перевернутый, с трясущимися руками и рассказал: сегодня следователь сообщил ему, что настоящий преступник найден. Помощник Василия Ивановича, повар, якобы сознался в

своей попытке отравить участников банкета.

Трудно было нам определить настоящую цену такого признания, добытого неизвестно какими методами.

Не знаю дальнейшей судьбы Василия Ивановича, но убежден, что Юрика все-таки он не увидел. В лучшем случае старику дали несколько лет за халатность по службе.

Иногда по вечерам вдруг знакомо начиналась стрельба зениток. Выстрелы хлопали и хлопали. «Неужели возобновились налеты на Москву? Странно!» — думал я с недоумением и тревогой. Отрезанные от мира, мы не знали, что это были салюты в честь взятых городов.

## 15

Долгое время меня не беспокоили: новый следователь изучал дело. Следствие надо мной начиналось в третий раз. Заново.

И вот однажды щелкнуло и открылось дверное окошечко. В квадратной дыре появилась голубая фуражка, донесся конспиративный шепот:

— На фы!

Я, как полагалось, назвал свою фамилию.

— Без вещей! Быстро!

Вызывать заключенного полагалось не назы-

вая его, только по начальной букве фамилии и непременно шепотом. Чтобы в соседней камере случайно не услышали, кто сидит рядом. Все было окружено тайной.

Я увидел высокого худощавого человека в синем флотском кителе с золотыми майорскими погонами, который в ожидании меня нервно расхаживал по кабинету, заложив руки за спину. Худое бритое лицо, глаза тяжелые, холодные. Тонкие недобрые губы плотно сжаты.

— Фамилия? — спросил он резким неприятным голосом.

Я назвал фамилию.

— Звать?

Я удовлетворил его любопытство. Новый следователь продолжал расхаживать по кабинету, искоса оглядывая меня. Он напоминал кота: зацапал мышь и охаживает ее и примеривается, с какого боку за нее приняться.

— Так за что же ты сидишь? — внезапно задал вопрос. Обращение на «ты» было для меня в новинку. В контрразведке со мной разговаривали только на «вы».

— Пятьдесят восемь — десять, — назвал я свою статью. («Контрреволюционная агитация или хранение контрреволюционной литературы».)

— Ха-ха-ха! — вдруг разразился следователь оперным мефистофельским хохотом. — Ха-ха-ха! — смеялся он, продолжая шагать длинными ногами взад-вперед.

Удивительно, как эти люди, начиная с Мехлиса, любили дешевую театральщину!

Мне было задано несколько малозначащих вопросов, и затем надзиратель повел обратно в камеру. Первое знакомство состоялось. Я шел к себе удрученный, недоумевая, чем это так развеселил нового своего следователя. Начало не сулило ничего хорошего.

Так оно вскоре и оказалось. Я попал в руки опытного специалиста ежовской выучки, по сравнению с которым работники Смерша были желторотыми птенцами. Фронтовой прокурор, отбросив фантастическую версию подпольной организации, квалифицировал мое дело как хранение контрреволюционной литературы. Майор Коваленко (я не осведомлен в военно-морских званиях, потому и называю его майором) вновь начал лепить мне мифическую организацию, к которой якобы я принадлежал. На личном опыте пришлось познакомиться с теми методами следствия, которые ныне получили деликатное наименование «нарушение социалистической

законности».

На следующем допросе Коваленко вознамерился меня бить. О, это был мужчина решительный и энергичный. Он не занимался, как фронтовые контрразведчики, пустопорожними беседами, не разводил тягомотины. Он брал быка за рога.

Начал он с того, что обозвал меня троцкистом и получил ответ, что перед ним не троцкист, а сталинец. Это было правдой, я не лгал, когда так говорил. В то время миллионы советских людей считали Сталина пусть несколько суровым, жестким, но в данный момент необходимым стране политическим и государственным руководителем. Я не являлся в этом отношении исключением. Тогда я так считал.

Конечно, чудовищное кровопускание тридцать седьмого — тридцать восьмого годов невольно ставило в тупик всякого мало-мальски мыслящего человека. По-видимому, думалось мне тогда, существуют какие-то глубокие, потаенные, скрытые от народа причины того, что вчерашние испытанные революционеры, соратники Ленина, члены ЦК партии, крайкомов и обкомов, наркомы, маршалы и генералы, виднейшие хозяйственники, научные деятели и инженеры, известные писатели, журналисты, артисты вдруг

неизвестно почему превращаются в изменников, предателей, фашистских шпионов. Очевидно, что-то неблагополучно в королевстве Датском. Но что именно?

Совершенно неизвестно. Газеты об этом не пишут. Говорить об этом боятся. От народа это скрыто.

Среди безвременно погибших, большей частью забытых ныне писателей и поэтов немало было моих знакомых: Борис Пильняк[12], Артем Веселый-[13], Иван Касаткин[14], Сергей Буданцев[15], Сергей Клычков[16], Петр Орешкин[17], Николай Зарудин[18], Иван Катаев[19], Борис Губер[20], Давид Бергельсон[21]. Перечисляю лишь тех, кого знал лично, тех, у кого — у многих из них — бывал. Написанные ими книги, как положено, изъяты из библиотек и сожжены в особом крематории.

Немыслимо было в те годы представить себе, что всех этих «врагов народа» в действительности сознательно и хладнокровно, жестоким боем и пытками заставляли возводить на себя чудовищную клевету, затем также хладнокровно всаживали каждому пулю в затылок и, заваливая их безвестные могилы грязью, в дальнейшем с тупым свирепым рвением вытравляли всякую память о них. Не довольствуясь этим, всячески

преследовали, сажали и ссылали их жен, детей и родственников. Слишком было невероятно.

Но началась война за само существование русского народа, и прилив патриотических чувств начисто смыл все мои раздумья и сомнения. Не только в моих глазах Сталин превратился в единственного человека, способного спасти страну, в гениального стратега, в мудрого отца Отечества. Редкий не попадал тогда под действие гипноза его имени. Мастерски, надо сказать, проводился такой гипноз нашей печатью, и публицистической, и художественной. Особенно ретиво проявили себя Ал. Толстой[22], Павленко[23], Георгий Березко[24], поэты-песенники Лебедев-Кумач[25] и Исаковский[26].

В лагере я познакомился со старой большевичкой, женой Яна Полуяна, первого секретаря ВЦИК. Она была больна бруцеллезом, тяжелой болезнью, которой заразилась от овец, когда работала чабаном. Ходила с палочкой, еле передвигая больные ноги, — терпеливая, спокойная, мудрая старуха. Не раз были у нас с ней беседы на политические темы. «Вы знаете мое отношение к Сталину. Но сейчас, во время войны, он нужен», — сказала она мне однажды.

О том, что только благодаря военно-поли-

тическим промахам вождя немцы дошли до Москвы, а на юге до Кавказа (физическое истребление накануне войны всего талантливого высшего комсостава, совершенно непонятная доверчивость по отношению к Гитлеру, отсталое техническое оснащение Красной армии) — об этом не осмеливались тогда и думать, это и в голову не приходило.

Итак, совершенно искренне я ответил Коваленко, что перед ним сталинец, а не троцкист, как он говорит.

— А, так ты сталинец! — Следователь поднялся из-за стола, за которым сидел, и медленно, крадущимся шагом приблизился ко мне. Я стоял, по-обычному, у дальней стены. Обеими руками он сгреб меня за грудь и с силой стукнул спиной об стену.

— Так ты, значит, сталинец! — повторил голосом, похожим скорее на рычание. Тонкие губы перекосились и побелели. Я понял: левой рукой продолжая держать меня за грудь, правой, кулаком, он начнет бить меня по лицу. И тогда обеими руками я схватил его за оба запястья, стиснул их и сказал вполголоса, достаточно веско:

— Не бейте меня.

Это не было мольбой о пощаде. Это было пре-

дупреждение, угроза. Если бы Коваленко ударил меня по лицу, я вцепился бы ему в горло и тут же задушил. Сил на это хватило бы. А там расстреливайте.

Наверное, он понял по тону, каким было сказано, по выражению моих глаз и замер. Минуту мы стояли молча, нос к носу, глаза в глаза. Я продолжал крепко держать следователя за руки и видел, что он опешил и растерялся. Наверное, впервые за всю свою практику очутился в таком положении.

И вдруг, вырвавшись, Коваленко отпрянул от меня и провизжал:

— Убийца! Первый нас будешь вешать!

Это был самый настоящий истерический визг.

Точно на рентгеновском снимке открылась вдруг передо мной вся внутренняя сущность человека во флотском кителе. Я увидел потаенное его нутро. Он был трус, этот злобный истерик. Все время он жил под тайным страхом грядущего возмездия за то, что делал и что делает. Вот такие, как он, первыми бежали, подхватив чемоданы, в памятный день 16 октября 1941 года, когда Москва, проснувшись, утром узнала, что в Химках немецкие мотоциклисты, а правительство эвакуировалось за Волгу, в Куйбышев. Охвачен-

ные паникой москвичи ринулись на вокзалы. Все бежало на восток — бежали на поездах, на переполненных машинах, кто не мог — пешком. Руководители учреждений, директора фабрик и заводов выдавали служащим и рабочим зарплату за два месяца вперед и уезжали, бросив предприятие на произвол судьбы. Иные, скрываясь, бросали жен и детей: «Вы беспартийные, а я партийный, мне надо смываться».

Черный день 16 октября, который стараются вытравить из памяти «города-героя» и о котором никогда не будет написано. Мне рассказывали о нем москвичи.

Однако истошный вопль Коваленко произвел на меня впечатление, какого я сам от себя не ожидал. Я заплакал. Нервы сдали — сказалось невероятное душевное напряжение всех этих месяцев.

— Я убийца? — повторял я сквозь слезы. — Я убийца?

— Бросьте театральничать! — сказал Коваленко, переходя на «вы», и принялся по своей привычке мерить кабинет большими шагами. Он и сам не ожидал такого эффекта от своих слов.

Зато на следующем, третьем по счету допросе я взял реванш за постыдное минутное свое моло-

душие. Нужно сказать, больше оно уже никогда не проявлялось, ни в тюрьме, ни в лагере.

По-видимому, сообразив, что метод рукоприкладства в отношении меня малоэффективен, а кроме того, сулит физические неприятности ему самому, Коваленко перешел к другой тактике, в чем я и убедился на следующем допросе. Нужно было сломить волю к сопротивлению, смять мое человеческое достоинство, раздавить меня морально. Бить на психологию. Метод, между прочим, чисто гестаповский.

Как и в прошлый раз, я стоял у стены. Коваленко неторопливо подошел, встал передо мной и вдруг принялся щелкать меня указательным пальцем по крыльям носа, то правой рукой, то левой. Это совсем не было больно. Но это было унизительно для меня, нелепо, смешно, постыдно. Я поднял руку, защищаясь.

— Опустите руку! — спокойно приказал следователь. Он продолжал методически щелкать меня пальцем по носу, то справа, то слева, то справа, то слева. Спокойное лицо выражало удовольствие. Он явно наслаждался, издеваясь над беззащитным, находящимся в полной его власти человеком.

— Надеюсь, вы коммунист? — мягко осведо-

мился я у него.

И странное дело, изысканно-вежливый мой вопрос произвел на чекиста впечатление удара палкой по лбу. Как и в прошлый раз, он отпрянул от меня, взглянул шалыми глазами и только через минуту резко ответил:

— Да, коммунист. И ничего общего с вами не имею!

И принялся шагать от стены к стене. Но с этой минуты больше не трогал меня и пальцем, а обращаться стал только на «вы». Даже когда матерился.

Зато тактика его вновь изменилась: теперь пошли запугивание и угрозы. Он грозил одиночкой, куда переведут меня из общей камеры. Угрожал карцером — посадит на хлеб и воду. Угрожал расстрелом. Угрожал репрессиями, которым будет подвергнута моя семья.

— Если вы своей головы не жалеете, то пожалейте старуху-мать! — кричал он. — Поверьте, ей будет несладко.

«Пугает, — думал я. — Слишком много угроз сразу вывалил».

Особенно напирал Коваленко на резиновые палки.

— Да, я коммунист! — кричал он, в возбуждении

шагая по комнате (очевидно, крепко запомнился ему мой вежливый вопрос). — Я коммунист — и сам буду бить вас резиновой палкой! И уверяю, это больно не только морально.

«Запугивает! — думалось мне. — Резиновые палки? Чепуха. Не ежовское сейчас время».

Однако впоследствии я убедился, что такая угроза вполне могла быть осуществлена. Несколько месяцев спустя, в Бутырской уже тюрьме, когда мы, заключенные, толпой голых доходяг мылись в бане несколько камер вместе, я обратил внимание на какого-то мывшегося без мыла старика. На иссохших его ляжках виднелись косые синие полосы. «Резиновые палки!» — лаконично ответил он на мой вопрос.

Было совершенно бесполезно пытаться что-нибудь Коваленко объяснить или доказать. Логику он отвергал. На все у него заранее был припасен стандартный ответ, бессмысленный, но зато безапелляционный.

— Вы называете меня врагом советской власти, — говорил я. — Как же враг может добровольцем пойти на войну защищать эту власть?

Следовал презрительный ответ:

— Типичный прием двурушника.

Как-то в кабинет во время допроса заглянул

плотно сбитый полковник, очевидно, начальство Коваленко — поглядеть самому, что за птица привезенный с фронта троцкист. Побыл, оглядывая меня, несколько минут, сказал, что ему известны все мои черные дела, и удалился. После я долго старался припомнить, какие это мои черные дела могут быть известны полковнику. Так и не припомнил.

## 16

Уж и зима подошла, а все не было видно конца допросам, нудно-тупым и бесплодным. Метод был тот же: игра в жмурки. Разница со следователями контрразведки заключалась лишь в форме допросов, а не в их содержании.

Обычно я видел Коваленко одетым моряком, но порой он появлялся в сухопутной форме — франтоватая коверкотовая гимнастерка, голенище, хромовые сапоги. Непрерывно менял он тактику. Очевидно, задался целью во что бы то ни стало добиться от меня признания во всех моих черных делах (кстати, по словам полковника, и без того уже известных).

— Ваш дневник х… — говорил он с присущим ему изяществом стиля. — Я не такие дневники читал.

То он брал на измор. Внезапно меня оставляли в покое, наступала длительная пауза на неделю-полторы. Невыносимо тянулось, день за днем, время в ожидании вызова.

То пробовал добить ночными допросами, которые следовали один за другим.

Бывало, только-только уляжешься спать после отбоя, заведешь глаза, задремлешь, как будит надзиратель:

— Без вещей!

Ведут. Сначала ведут по пустынным висячим галереям, потом спускаемся по лестницам вниз, надзиратель то и дело цокает языком, оповещая о нашем приближении (ужасно противный, какой-то подлый звук!). Потом отворяется дверь в коридоре, завешенная толстой суконной портьерой. Проходим вдоль длинного ряда дверей в кабинеты следователей. За дверьми гремит, пока проходишь, матерщина — идут ночные допросы. День и ночь работает следственная тюрьма. В одном из таких кабинетов поджидает свою жертву майор Коваленко. Ему что! Выспался днем — свеж как огурчик. А мне, заключенному, спать днем не положено, за это карцер.

Только под утро, по окончании допроса, ведут обратно в камеру. Но уже не до сна, через полчаса,

в шесть ноль-ноль, общий подъем, начинается унылый стандартный тюремный день. В следующую ночь повторяется то же самое — допрос до утра.

И так трое-четверо суток.

Я бродил по камере, как в чаду, шатался, сидел на койке и чуть не валился не пол, веки смыкались, спать хотелось безумно. Припоминалось читанное: Каракозова, стрелявшего в Александра II, как и меня, пытали бессонницей. Жандармы, меняясь, не давали ему засыпать по нескольку суток. Но это же был человек, покушавшийся на жизнь царя, страшный преступник. А что сделал я?..

Иногда на Коваленко находило миролюбивое настроение. Тогда волчий оскал сменялся лисьим хвостом.

— Ну хватит упрямиться, Даниил Владимирович! Давайте по-хорошему. Вы устали, да и я тоже. Мы с вами будем сидеть и мирно беседовать, вы будете курить хорошие папиросы и помогать мне. Это у нас называется вместе работать.

«Вместе работать» означало, что я должен покорно наговаривать чудовищные вещи на себя и на ни в чем не повинных людей.

Однажды в такую минуту он даже сообщил мне,

что очень любит живопись, хорошие картины и сам работает маслом. Художник.

Интереса к его искусству я не проявил.

В другой раз пожаловался:

— Тяжелая у нас работа. Очень нервная.

Если он рассчитывал на мое сочувствие, то сильно ошибся. Я не посочувствовал тяжелой его работе.

Такие попытки якобы дружески-интимного общения со мной (новый прием!) нисколько не мешали Коваленко через минуту разразиться самой площадной бранью.

Помню, от скуки он брал со стола телефонную трубку и звонил домой.

— Это я, — говорил он. — Ну, как у тебя? Ребят уложила?.. Так, так… Да, немного задержусь… Завтра пойдем во МХАТ, достал билеты… Какая пьеса? Не знаю… Ну, пока! — И клал трубку на место.

«И у этого негодяя есть семья, — думал я. — Может быть, он хороший семьянин. У него есть жена, которая, по-видимому, его любит, есть дети, они называют его “папочкой” и целуют… И он ходит в театр, как ходят все, как ходил когда-то и я… Завтра он с чистой совестью пойдет во МХАТ, а я буду сидеть в черном каменном мешке и слу-

шать вой голодных динозавров».

Начались холода, и я стал сильно зябнуть на допросах. В камерах было еще сравнительно тепло, но следовательские кабинеты топились плохо, и я очень это ощущал в своей летней гимнастерке, в которой привезли меня с фронта. Коваленко, разумеется, сразу же заметил это и использовал температуру своего кабинета еще как один из способов пытки.

Вот привели меня к нему. Сидящий за столом с сегодняшней «Правдой» в руках, следователь лишь покосился в мою сторону и вновь занялся газетой. Сижу у стены на стуле, покорно жду, когда кончат читать и займутся мною. Сырой, промозглый холод пронизывает до костей, сводит тело, я до ломоты стискиваю зубы, чтобы не стучали. А Коваленко по-прежнему, не говоря ни слова, все читает да читает газету. Сам-то он от холода защищен: на плечи наброшена плотная шинель, под шинелью суконный китель, под кителем, наверное, теплое белье. Он не спешит приступить к допросу, о нет, совсем не спешит. Он видит, конечно, как я корчусь от холода на стуле, и тихо наслаждается.

Проходит, наверное, полчаса. Проходит час. Будто совершенно не замечая меня, Коваленко

продолжает внимательнейшим образом читать газету, в тишине слышен только шелест листов. Он не читает, он изучает печатный орган партии.

Я молча корчусь на стуле и в сотый, наверное, раз вожу глазами по уже знакомому кабинету, обставленному солидной тяжеловесной мебелью. Массивный письменный стол; дорогая настольная лампа на высокой мраморной ножке под абажуром в форме усеченного конуса; широкий диван, обитый черной кожей; во весь пол толстый светлый ковер. Широкое итальянское окно закрыто ниспадающими до полу драпри бежевого цвета. Они скрывают железную решетку.

Я гляжу на толстенные каменные стены и думаю, что здесь можно забить человека насмерть — не важно чем, резиновыми палками, кулаками, ногами, — и никто не придет ему на помощь. Никто даже не услышит его вопли. Всего несколько лет назад эта тюрьма носила название тюрьмы пыток.

А за стенами шумит, кипит, живет своей будничной рабочей жизнью многомиллионный человеческий муравейник, и никто не подозревает, что тут происходит. А если кто и подозревает, то что из того?..

Но вот Коваленко медленно складывает газету, видимо прочтя ее от корки до корки, и вдруг, не поднимая глаз, грубо спрашивает:

— Ну?

— Что «ну»? — спрашиваю я в свою очередь.

— Будем говорить?

— Я уже все сказал.

Залп матерщины… Впрочем, я уже привык и воспринимаю ее спокойно.

Все же спустя некоторое время мне удалось перехитрить Коваленко. Я вспомнил, что в моем чемодане, хранящемся где-то в недрах тюрьмы (привезли, спасибо им, вместе со мной), должен находиться полученный на фронте серый шерстяной свитер, попросил у дежурного листок бумаги, карандаш и написал соответствующее заявление. Несколько дней спустя я уже мог, отправляясь на очередную малоприятную беседу со своим следователем, надеть под гимнастерку полученный со склада чудесный теплый спасительный свитер. Отныне холод, царивший в коваленковском кабинете, был уже не страшен. Думаю, что майор испытал некоторое разочарование, когда увидел меня в свитере, однако ж ничего не сказал.

Вспоминаются окаянные лефортовские вечера. Тусклый мрачный свет, затемненный черным

абажуром лампочки и черными стенами. Мы сидим в гнетущем полумраке, каждый на своей койке, каждый во власти своих мыслей — горьких мыслей! — три неподвижные сгорбленные фигуры. Василий Иванович, военный мальчик и я. Глубокое молчание. Сидим, понурясь, думаем и слушаем, как завывают голодные тоскующие динозавры. А вечером слышен их рев. То и дело в круглой стеклянной дырке на черной запертой двери возникает человеческий глаз и с холодным наглым вниманием следит, что мы делаем. Исчезнет на несколько минут, потом снова появится. Первое время это действовало на нервы, коробило, теперь привык, не обращаю внимания.

Я размышляю над словами Коваленко, сказанными на последнем допросе. «Будете сидеть здесь и год, и два, и три, пока не сознаетесь во всем», — сказал он самым спокойным тоном. Верно, могу в этом черном мешке сидеть и год, и два, и три. Никому, кроме него, нет до меня ни малейшего дела. Даже мама не знает, где я нахожусь и что вообще со мной. Я в полной власти этого человекообразного.

Но в чем я должен сознаться? В чем?.. Что я сделал?.. Когда же будет этому конец?.. За что меня мучают?..Боже, какая ледяная тоска сжимает

сердце!..

Но всему на свете — хорошо это или плохо — бывает конец. Дождался наконец и я того счастливейшего дня, когда Коваленко, вызвав меня к себе, угрюмо сказал:

— Ну что ж, пора закругляться. Следствие закончено. Распишитесь.

И я расписался на поданном мне листе официальной бумаги и навсегда расстался с третьим своим следователем и пошел обратно в камеру, не чувствуя от радости ног. Двести шестая была подписана!

Никогда не забыть, какое разочарованное, какое кислое было лицо в эти минуты у майора Коваленко. Оно понятно: мимо носа проехал орден. Орден за раскрытие подпольной троцкистской организации в действующей армии.

Вышел ли я победителем в неравном длительном этом поединке?

Наполовину.

Все-таки не удалось Коваленко состряпать контрреволюционную организацию и сделать меня ее участником, хоть из кожи лез вон. Но и той бредовой клеветнической стряпни, которую я в конце концов вынужден был подписать, душевно ослабев в непосильной борьбе, оказалось

достаточно для того, чтобы жизнь моя навсегда была искалечена.

А что бы ждало, если бы я не выдержал коваленковских методов и, окончательно пав духом, стал давать нужные ему показания, изобретая мифическую организацию, членами которой состояли и я сам, и оговоренные мною фронтовые товарищи?

Конечно, смерть. Высшая мера. Судьба многих и многих так называемых врагов народа.

Шесть месяцев тянулось следствие надо мной, и из них почти четыре месяца терзал меня Коваленко. «Органы» никогда не ошибались.

«Оставь надежду, всяк сюда входящий»... Так, если верить Данте, написано на вратах ада.

И только подумать, что накануне ареста я собирался вступить в партию! Серьезно к этому готовился.

## 17

Бутырская тюрьма, куда меня теперь перевезли, после Лефортовской показалась мне домом отдыха. Сюда попадали люди, уже прошедшие следствие, дожидавшиеся заочного суда над собой и отправки в этап, и поэтому режим был гораздо мягче.

Я попал в огромную круглую камеру, вернее, зал, где находилось не менее сотни подневольных постояльцев, количество которых не убывало, хотя состав все время менялся — уводили одних, приводили других им на смену. Было шумно, оживленно и даже по-своему интересно. Громадное зарешеченное окно зияло выбитыми (вероятно, от бомбежек) стеклами, в залу залетал снег, но тем не менее от людской скученности здесь было тепло. К счастью, моя койка находилась далеко, почти у входной двери.

Первые дни, попав в Бутырку, я только спал — благо здесь разрешалось спать днем. Спал, наверное, двадцать два часа в сутки. Койки представляли собой железные рамы, одним торцевым концом прикрепленные к стене, на них был натянут брезент. Днем они поднимались вверх, к стене, на ночь опускались на подставленную под другой конец скамейку. Я просыпался утром в шесть часов, как и все, по сигналу общего подъема, мылся, получал свою пайку и баланду, завтракал, выжидал окончания уборки камеры, тогда опускал поднятую к стене койку и заваливался на нее вплоть до обеда. Пообедав, снова ложился спать до ужина. Ужинал и засыпал уже на всю ночь, до следующего утра. Отсыпался

после Коваленко.

Пестрый народ населял круглую камеру — и военный, и штатский. Одних полковников я насчитал четверых, не говоря уже о майорах, капитанах, разных лейтенантах и сержантах. Среди них с изумлением обнаружил полковника Голубева. В 39–40-м годах он регулярно помещал в «Правде» и в «Красной звезде» большие «подвальные» обзоры военных действий на Западе — Гитлер еще завоевывал Европу. Я читал их не без интереса. Как-то он сделал доклад на эту тему у нас, в Доме литераторов, я был на докладе.

Сейчас полковник Голубев, со снятыми погонами, целые дни молча и угрюмо шагал по камере из конца в конец, заложив руки за спину. Неизвестно, за что он сидел — я не подошел к нему, не хотел напомнить прошлое.

Был здесь литовский ксендз — тощий, жалкий, от худосочия болеющий фурункулезом. Если кто-нибудь получал передачу, он подходил к счастливчику и просил с нищенской улыбкой:

— Бедному иностранцу, пожалуйста.

Почти всегда ему давали что-нибудь, и он ел с жадностью.

Было двое югославов, как их называли другие, братьев, как они называли себя сами. В дей-

ствительности они не были ни югославами, ни братьями. Дети белых эмигрантов, мирно жили оба в Белграде и занимались какой-то мелкой коммерцией. Когда началась Отечественная война и на советские земли вломились немецкие танковые армады, оба почувствовали себя русскими и решили, наивные юноши, в рядах Красной армии защищать мачеху-Россию. Приехав в расположение германских войск в качестве поставщиков для гитлеровских войск, оба идеалиста сумели перебраться через линию фронта. Они явились к нашему командованию и заявили о своем желании сражаться за Россию. Их похвалили за патриотические чувства и посадили в полевую тюрьму как изменников и шпионов. Железная логика «органов».

Они были архаичны и очень трогательны, двое этих юношей, похожие на чеховских интеллигентов: бледные, с молодыми черными бородками, тихие, кроткие, по-братски заботящиеся друг о друге. Получив утром свои пайки, в том случае если это были высоко ценимые в тюрьме горбушки, мякиш они съедали тут же, а корки, представляющие собой нечто вроде коробочек, оставляли на обед. В обед же лакомились: выбранной из баланды капустой начиняли хлебные корочки и

так ели. Пирог с капустой!

Был Никола-Князь, медвежатник, специалист по ограблению сейфов и несгораемых касс, — высшая квалификация в преступном мире. Речь о Николе-Князе впереди.

Часто поздним зимним вечером, когда после отбоя улеглись уже спать, в коридоре вдруг слышался шумный топот, дверь широко раскрывалась, и в камеру с гамом вваливалась орава солдатских шинелей, сразу человек двадцать-тридцать. Начинались поиски свободных коек, споры, ругань, все просыпались — было уже не до сна.

— Откуда, ребята?

— Парашютисты!

То были шпионы и диверсанты, которых на самолетах забрасывали немцы к нам, в глубокий тыл. Формировались они из русских военнопленных. История такого парашютиста было весьма стандартной. Красная армия, плен, немецкий лагерь смерти, краткосрочные шпионско-диверсионные курсы — шли туда ради спасения жизни. Девяносто пять процентов ребят поступали на курсы с целью вернуться таким способом в ряды Советской армии. Приземлившись ночью где-нибудь в лесу под Костромой и выбравшись из

лямок парашюта, они спокойно дожидались утра, а тогда шли в правление ближайшего колхоза. «Принимайте гостей. Мы немецкие парашютисты».

Но попадались иногда среди них и такие, которые во время облавы в лесу отстреливались до последнего патрона.

Финал для тех и для других был один и тот же: 15–20 лет, спецлагерь, советская каторга.

Гитлеровское командование знало, конечно, ненадежность своих шпионских кадров, но руководилось определенным практическим расчетом. Если только пять процентов заброшенных в советские тылы будут добросовестно работать на новых хозяев, то и этого достаточно.

А забрасывали немцы своих шпионов пачками — в этом собственными глазами я мог убедиться. Пробудет такая партия у нас в камере три-четыре дня, уведут ее в этап, а чуть ли не на следующий день, вернее, ночь опять с топотом, шумом и гамом вваливается новая партия парашютистов.

Время шло. Пока где-то таинственные, неизвестные вершители судеб, механически штампуя приговоры, решали наши судьбы, я душой и телом отдыхал от лефортовских допросов и постепенно приходил в себя — более или менее.

Возвращался писательский интерес к окружающему потустороннему миру, к новым для меня людям, в среду которых бросила судьба.

Тюрьма, где теперь находился, была старой политической тюрьмой, знакомой многим революционерам царского времени. Может быть, это легенда, но говорили в камере, будто на территории Бутырок сохранилась башня, в которой сидел Пугачев.

Среди разномастного, набитого в камеру арестантского народа спокойно расхаживал, поглядывая на всех странными, как будто остановившимися, водянисто-голубыми глазами невысокий, щуплый на вид паренек с темными усиками, похожий на молодого французика. Одет был французик в потрепанную и помятую солдатскую шинель. Звали его Виктором. Я поинтересовался его специальностью.

— Техник-нормировщик, — ответил Виктор и почему-то усмехнулся, покручивая усики.

Техником-нормировщиком, выяснилось позже, сделался он, когда сидел в лагере, а подлинной его профессией был взлом стальных сейфов. Судьба столкнула меня с «медвежатником», фигурой достаточно экзотической, и, естественно, я, писатель, не мог не заинтересоваться ею. Вскоре

мы познакомились ближе. Виктор охотно, даже с удовольствием рассказывал о своих налетах на банки, магазины, сберегательные кассы, о том, как, вооруженный револьвером, грабил инкассаторов в ту минуту, когда они, получив деньги, усаживались в машину. Вероятно, здорово привирал, позировал — вот какой я ухарь! — но все равно слушать его было интересно. Основным в натуре такого человека была необузданная жажда жизненных благ, пусть даже самых примитивных.

— У меня такой характер, — откровенничал он. — Если я вижу, человек ест хороший торт, до тех пор не успокоюсь, пока сам такой же не попробую.

Видимо, почувствовав ко мне расположение, давал советы на будущее, как в свое время Николенко:

— Случится вам, Даниил Владимирович, в этапе или лагере, куда попадете, повстречаться с нашими ребятами из преступного мира, сразу скажите про меня. Дескать, вы с Николой-Князем из одного котелка ели, рядом на нарах спали. Никто вас тогда не тронет. Это меня так зовут — Никола-Князь.

Слова «преступный мир» выговаривал он со

вкусом. Незадолго перед тем написал Виктор заявление на имя Сталина с просьбой направить на фронт, чтобы дать ему возможность честно защищать советскую Родину и кровью своей искупить преступления.

— Ты в самом деле решил пойти на фронт? — удивленно спросил я.

Никола-Князь ответил хитренькой своей усмешкой:

— Мне только за ворота тюрьмы выйти, а там ищи ветра в поле.

В один из декабрьских дней меня вызвали и повели по длинным коридорам, облицованным коричневой блестящей плиткой. Никак не походили эти красивые тюремные коридоры под белыми сводами на висячие, опутанные проволочными тентами лефортовские галереи. Привели в небольшую служебного вида комнату. За столом сидел молодой человек в простой солдатской гимнастерке без погон.

— Прочтите и распишитесь, — равнодушным будничным голосом сказал он, подавая мне четвертушку листа с текстом, отпечатанным под копирку на машинке. Я пробежал глазами и узнал, что майор интендантской службы имярек постановлением ОСО при МВД СССР такого-то

числа приговаривается по статье 58–10 УПК к десяти годам заключения в ИТЛ.

— Вот здесь! — ткнул пальцем молодой человек. Я расписался почти машинально, и меня повели обратно, однако теперь не в камеру, а предварительно заперли в большой вместительный бокс. Постепенно бокс стал наполняться народом. Одного за другим вталкивали ко мне бледных, с дикими глазами, совершенно растерянных людей, которые, очевидно, как и я, только что ознакомились с вынесенным заочно приговором. Одни молчали, потрясенные, раздавленные, у других вырывались восклицания, полные отчаяния и горестного изумления:

— Десять лет, боже мой!

— Десять!

— Пятнадцать!.. За что?..

В боксе уже становилось тесно, мы стояли плечо к плечу, а в дверь продолжали впихивать новых и новых осужденных. Их встречали лаконичным вопросом:

— Сколько?

В ответ слышалось:

— Десять!

— Десять!

— Десять!

Иногда для разнообразия:

— Пятнадцать!..

Особое совещание, таинственная и грозная тройка, куда входил и представитель ЦК партии, работало полным ходом.

## 18

То, что сделали со мной, выглядело настолько нелепым, настолько несправедливым, что смысл короткой казенной бумажки, которую я механически подписал, не сразу дошел до сознания. А когда наконец я понял, что произошло и что подписал, то похолодел от ужаса. До последней минуты где-то в тайниках души копошилась робкая подсознательная надежда на благополучный исход. Теперь она навсегда погасла. Судьба моя решилась.

«Десять лет!» — повторял я, готовый выть от горя, от возмущения, от изумления человеческой тупостью, санкционированной государственным законом! Десять лет, вычеркнутые из жизни ни за что ни про что. А потом до гроба существование парии с вечным клеймом «политический».

Я вспоминал первого своего тюремного сожителя, харьковского механика. Ему дали десять лет, как и мне. Между гитлеровским шпионом

военного времени и мною, честным патриотом, в глазах советского закона стоял знак равенства.

Несколько дней спустя я был вызван к прокурору. В отличие от фронтового был этот человек средних лет и среднего роста, в военной шинели и говорил он не фатовски-самодовольным, а скорее даже виноватым тоном.

— Время сейчас напряженное, военное, — сказал он, словно бы извиняясь за вынесенный мне приговор. — Кончится война — и на ваше дело посмотрят другими глазами.

Похоже, сам прокурор в глубине души сознавал вздорность предъявленного мне обвинения.

Давно кончилась война, умер Сталин, во главе государства стояли новые люди, я закончил полностью свой срок и вышел на волю — и тем не менее понадобилось еще семь лет для того, чтобы добиться полной своей реабилитации.

И понадобилась прежде всего историческая заслуга Никиты Хрущева, разоблачившего «культ личности», понадобились XX и XXII съезды партии, вернувшие к гражданской жизни миллионы невинно осужденных. Тех, кому удалось уцелеть в годы сталинского почти тридцатилетнего террора.

Мрак этих дней осветился неожиданной ра-

достью: я получил передачу от матери. Первую передачу, и не продуктовую, а вещевую. Было цветное трикотажное белье, ватная телогрейка, моя старая шапка-финка, не помню, что еще. Это означало, что старенькая золотая моя мама после долгих розысков все-таки нашла меня. Знает, что я жив и здоров. Знает, где нахожусь, знает приговор. Знает, что меня готовят в этап, скоро повезут куда-нибудь в Сибирь или на Заполярный север, в разгар зимы, и, зная все это, спешит снабдить теплой одеждой.

Спустя несколько дней — было это уже под Новый год — получил и продуктовую передачу. Среди вкусных, давно уже не пробованных мною яств были вложены два куска пирога с повидлом. Я рассматривал полученное, и к горлу подступал колючий ком. Ведь все это от себя отрывала мама. Незадолго перед тем тихо умер — навеки заснул — в Москве папа, я получил сообщение от брата о его смерти в тот день, когда мы с Северо-Западного фронта уезжали на Степной. Думаю, что дистрофия тоже сыграла в его смерти свою роль. Мамочка осталась совсем одна.

Пирог с повидлом! Сколько хлопот, сколько труда было нужно затратить на то, чтобы в голодной военной Москве раздобыть белую муку

и повидло! Наверное, часами стояла в очередях на морозе — слабая, старенькая, бесконечно терпеливая и бесконечно любящая. Потом пекла своими руками…

Я отметил встречу Нового, 1944 года, этим пирогом. Один кусок съел сам, другим угостил соседа по койке, высокого худощавого инженера с трагическими глазами. Фамилия его и обстоятельство дела, по которому он сидел, выветрились из памяти. Не помню также, почему в тот раз не пришлось мне угостить Николу-Князя. Обычно угощал.

Несколько раз успел я получить в Бутырках передачу от мамы. От мамы, но не от жены.

Однажды Никола-Князь по-настоящему меня тронул. Сидели мы с ним рядом, наблюдая убогую жизнь многолюдной камеры — на что еще можно было здесь глядеть! — и внезапно я почувствовал, как он незаметно сует мне что-то в руку. Оказалось, кусочек сахара. Иногда нам давали утром к чаю такой кусочек.

— Что это, Виктор?

— Берите, Даниил Владимирович. Это вам… Вы всегда меня угощаете, когда передача.

Он хотел, как мог, отблагодарить меня — тем, что единственно имел. Кусочком рафинада, сбе-

реженным от утреннего чая. Я с силой запихал ему сахар в карман шинели.

Вскоре после того пришел положительный ответ на прошение Виктора об отправке его на фронт. Ведь он был уголовником, а не политическим. Оживившийся, воодушевленный, он шептал мне, подмигивая:

— Мне только за ворота выйти… А вам, Даниил Владимирович, я непременно посылочку пришлю. Недорогую, тысяч на десять. Черные сухари, сало, сахар, махорка. То, что нужно в лагере.

Он был полностью прав. После на личном опыте я убедился, что именно таким был минимум жизненных благ, необходимый для лагерного аборигена. Черный хлеб, жиры, сахар, махорка.

Каким образом разыскал бы Никола-Князь меня в лагере — покрыто мраком неизвестности. Но спасибо ему хоть за добрый порыв.

Не знаю, что произошло в дальнейшем, но когда спустя некоторое время появилось начальство и среди общей трепетной, затаившей дыхание тишины громогласно зачитало длинный список тех, кто подлежал отправке в этап, почему-то наряду с моей мелькнула и фамилия Виктора. Очевидно, властители нашей судьбы все же решили не выпускать его на свободу. Принял он

такую малоприятную новость вполне спокойно.

— Слушай, Виктор! — сказал я ему, когда убедился, что он тоже будет отправлен в лагерь. — Я хочу быть с вами. Примете?

На мне остановились непонимающие водянисто-голубые глаза.

— Как с нами?

Я объяснил. Никола-Князь слушал меня с недоверчивой улыбкой, несколько удивленный. Его, наверное, забавляло: фрайер хочет стать «деловым», работать с ними. Только полным душевным смятением можно объяснить шаг, на который я решился. Общество выбросило меня из своей среды, выбросило нечеловечески-безжалостно, незаслуженно, несправедливо, и я собирался перейти в ряды тех, кто воюет против этого общества, против установленных им законов. Отныне моими товарищами и друзьями должны были стать те, кто способен поделиться последним куском сахара.

Дня через два-три Никола-Князь подошел ко мне и сказал, понизив голос:

— А знаете, я обдумал, что вы тогда говорили. Пожалуй, если попадем в один лагерь, дело выйдет. Вы, Даниил Владимирович, человек грамотный. Когда приедем в лагерь, вас, наверное,

сделают учетчиком. Дадут отдельную кабину. Вот мы и будем у вас прятать барахло.

Я промолчал.

Признаться, такое деловое предложение не привело меня в восторг. Получилось что-то не то. Байронический мой мятеж против общества сводился теперь к пошлейшей роли барыги — укрывателя краденых вещей. Причем краденых у своего же брата — несчастного голодного лагерника. Когда прошло первое психологическое потрясение, вызванное приговором, я понял, что готов был совершить поступок, никак не соответствующий моей натуре, характеру, культурному уровню.

К счастью, в этапе нас с Виктором разнесло в разные стороны, его повезли в один лагерь, меня в другой. Больше уж не пришлось встретиться. Не скажу, чтобы я об этом жалел.

Пребывание в пересыльной Краснопресненской тюрьме, куда отправили из Бутырок нас, этапников, было весьма кратковременным. Перед этапом прошли обыск. С этим я уже познакомился во Внутренней тюрьме, когда меня только что привезли с фронта. Там, во Внутренней, я стоял перед дежурным надзирателем раздетый догола, и меня осматривали, но как

осматривали! Заглядывали в разинутый рот, проверяли, не спрятано ли что в ушах, заставляли поднимать руки, раздвигать пальцы, приседать, и вертухай не поленился заглянуть туда, куда обычно никак не принято заглядывать. Высокая школа обыска.

Все металлические пуговицы и пряжки на одежде были срезаны, стальные солдатские подковки на каблуках сорваны. Потом, чтобы штаны не сваливались, пришлось подвязывать их веревочками и тряпочками.

В Краснопресненской тюрьме обыск был не столь утонченным, главное внимание здесь обращалось на вещи. Солдаты-конвоиры приказывали вываливать все содержимое чемоданов и мешков на грязный затоптанный пол и рылись в ворохах белья. Папиросы и махорку отбирали.

— Следующий! — кричали они. — Быстрей, быстрей!

Одной рукой держа чемодан, куда кое-как вновь были запиханы белье и вещи, а другой прижимая к груди снятую одежду, голые растерянные люди переходили в соседнее помещение, где их уже поджидали лихие урканы. Начинался повальный грабеж среди бела дня. В Бутырках контингент был политический, блатари встреча-

лись в единичном числе случайно, как случайно очутился там Никола-Князь, в этапе же им было раздолье. Тесно набитая раздетыми мужчинами большая камера походила на предбанник. В гуще полуголых одевающихся людей шныряли разбитные парни с наглыми глазами — ни дать ни взять молодые щуки среди плотвы. Грабеж чемоданов фраеров шел самый открытый, беззастенчивый, хотя соседняя комната была полна солдат-конвоиров. Характерно, что никто из ограбленных не обращался к ним за помощью — понимал, что это бесполезно. Присесть было негде. Положив багаж на пол и придерживая его коленом, я стал было стоя одеваться, но пока натягивал через голову рубашку, чемодан уже исчез. Он исчез где-то среди движущихся вокруг босых ног. Этап начинался — тот самый этап, о котором в Бутырках ходили жуткие рассказы. И, кажется, они оправдывались, эти рассказы.

Я не стал метаться в поисках пропажи. Я спокойно оделся и только тогда отправился на поиски. Чемодан валялся на другом конце камеры, под ногами толпы, беззащитно раскрытый и, разумеется, пустой. Остались только присланные мамой довоенные мои галоши (в лагере совершенно ненужные) да еще кое-какая мелочишка,

которой пренебрегли.

Студеной хрусткой январской ночью совершалась посадка в вагоны. Ярко сияла высокая, иссиня-молочная, ко всему равнодушная луна, ночь была светлая, синяя, под звонкие в морозном воздухе паровозные гудки нас гнали по путям Белорусско-Балтийского вокзала. В темноте горели разноцветные созвездия железнодорожных огней — красных, зеленых, желтых. Длинная колонна понурых людей, навьюченных мешками, чемоданами, почти бежала в тесных коридорах между стоящими на рельсах пассажирскими и товарными составами, подгоняемая автоматчиками и злобно рычащими собаками. «Быстрей, быстрей!» — то и дело слышалось позади. О, это вечное «быстрей, быстрей!». Можно было подумать, мы непрерывно опаздывали на поезд.

В правой руке я держал опустелый чемодан, левой придерживал на плече тюк, состоящий из присланных мамой теплых вещей. Бежать в таком виде было трудно, да и сил не хватало, я задыхался, сердце готово было выскочить, соседи меня опережали. Постепенно я очутился самым последним в колонне. Слышал, как за спиной у меня замыкающий конвоир натравливает пса, овчарка с рычанием набрасывалась сзади и рва-

ла полы моей длинной шинели, автоматчика это забавляло, слышен был грубый смех… Кто-то закричал — укусила собака…

Потом началась дикая посадка в вагоны с решетками на окнах. Состав давно уже был приготовлен, ждал нас на отдаленных путях. Прощай, Москва! Быть может, навсегда.

## 19

Столыпинский вагон.

Вероятно, название пошло еще со времен революции пятого года, когда, в бытность министра внутренних дел Столыпина, в таких вагонах возили политических. Однако ни один из старых революционеров не пишет в своих воспоминаниях, что их увозили в Сибирь в условиях, выпавших на нашу долю. Обычный купированный жесткий вагон, с тем только отличием, что на окнах у него прочные решетки, а внутри каждое купе отделено от прохода железной решеткой в косую клетку, с дверкой, запирающейся на ключ. По проходу вдоль вагона расхаживают часовые с винтовками.

В каждое такое купе, носящее название камеры, рассчитанное обычно на четырех пассажиров, запихивают, трамбуя кулаками и коленками,

и наглухо запирают двадцать пять — тридцать человек с их вещами. Люди располагаются в четыре слоя. Первый слой — лежа на полу под скамейками. Второй слой — сидя всю дорогу на скамейках. Третий — лежа на полках, которые соединены одна с другой специальным деревянным перекрытием, где прорезан квадратный люк для того, чтобы можно было туда пролезть. Четвертый ярус — на багажных полках.

В таком состоянии, спрессованные, точно сардины в жестянке, в нечеловеческой тесноте и духоте, люди едут полторы-две недели. А то и больше.

Утром в пути каждому выдается дневной сухой паек: пятьсот граммов хлеба и соленая рыба, вызывающая мучительную жажду. Весь день только и слышится из камер:

— Дайте пить!

— Начальник, водички!

Но пить начальнички дают неохотно — лишняя возня. Только когда хриплые голоса за решетками делаются особенно настойчивыми, люди начинают вопить, кто-нибудь из конвоиров приносит ведро с холодной сырой водой, открывает дверное окошечко. Начинается общий жадный водопой, заключенные рвут друг у друга из рук

жестяную кружку.

Горячую пищу мы получили только во время остановки в Петропавловске.

Лежим все головами к двери — по головам, тыкая пальцем в воздух, нас считают утром и вечером. Я устроился на третьем ярусе и всю дорогу лежу, стиснутый соседями справа и слева так, что едва могу повернуться на другой бок. Так и едем, день за днем, ночь за ночью. Полученную утром рыбу отдаю кому-нибудь — силы воли на это хватает, — и питаюсь лишь хлебом. Понятно, всю пайку тут же съедаю. Я не желаю мучиться жаждой, как окружающие. А также не желаю, напившись воды, мучиться от того, что конвою лень отвести тебя в уборную в неположенное время. Я не хочу мочиться в собственный сапог, подобно другим.

…Ночь. Еле-еле освещен коридорчик с часовыми. Погруженные во тьму камеры постепенно засыпают. Полным ходом, под ритмичный перестук колес, идет поезд, мотает сидящих из стороны в сторону. Куда нас везут?..

У соседней камеры, что слева, стоит конвоир с винтовкой, молодой чернобровый красивый узбек, и, явно нарушая инструкцию, разговаривает через решетку с заключенными.

— Разве вы люди? Вы не люди. Вы звери, — отвечая кому-то, говорит он тоном глубокого убеждения.

Он ошибается, этот простодушный узбек. Мы люди, а не звери. Ни один зверь, даже самый сильный, не вынес бы длительной перевозки в таких условиях и подох по дороге. Мы не подохли, потому что человек выносливее всякого зверя. Мы люди.

Ночь. Мчится поезд, мотает из стороны в сторону, и постукивают на стыках колеса. Куда нас везут? Никто не знает. Всякие можно строить предположения. Люди бывалые считают, будто едем не на север, а на восток — значит, везут в Сибирь. Не на Колыму ли? Впрочем, много в Сибири лагерей. Да и не в одной только Сибири. Вся страна ими полна…

Во мраке спящих камер происходит таинственное вороватое копошение. Непонятно, как вообще можно не только что шуровать — просто шевелиться в той адовой скученности, в какой нас везут, однако факт остается фактом: пользуясь темнотой, урки шуруют вовсю.

— Карау-ул!.. Карау-ул!.. — вдруг раздается среди сонной ночной тишины вопль из соседней камеры, той, что справа от нас. — Помогите!..

Карау-ул!

На отчаянные вопли появляется из своего купе заспанный сердитый начальник конвоя. Гремя ключом, открывает решетчатую, как в зверинце, дверку камеры.

— Кто тут кричал? Выходи.

В коридор вываливается молодой, трясущийся, насмерть перепуганный парень в нагольном деревенском полушубке.

— Гражданин начальник, сапоги сымают.

— Сапоги?

— Сапоги, гражданин начальник! Господи, что же это такое! Прямо с ног тащат!

Бау! Парень получает увесистую оплеуху по левой щеке. Бау! Такая же оплеуха по правой. Затем его хватают за шиворот, поворачивают спиной, наподдают коленом под зад, запихивают обратно за решетку и вновь запирают дверь на ключ. Все это проделывается очень ловко и умело.

— Я тебе, сук-кин сын, трам-та-ра-рам, покажу сапоги! — напутственно гремит начальник конвоя.

Набил морду возмутителю спокойствия и снова ушел спать к себе в купе. И опять тишина, полумрак, удушливая теснота, мерное громыхание колес. Куда нас везут?..

Бывалые люди твердо говорили, что в этапе (да и не только в этапе) между конвоем и урками существует полный деловой контакт. Мало того, что конвоиры позволяют грабить у них на глазах. Все украденное и награбленное у своих товарищей по несчастью лагерное ворье передает конвойным солдатам, а те загоняют это во время остановок на станциях. В результате такой реализации урки получали на свою долю буханку хлеба, кусок колбасы, пару пачек махорки. Более существенная часть дохода шла конвою. Обе стороны были довольны.

Все же под конец пути стало известно, куда нас везут. Начальник конвоя, просматривая дорожные листы, случайно остановился как раз у нашей камеры, и лежавшие на верхних полках быстроглазые урки, глядя сквозь решетку, сумели прочесть то, что требовалось узнать.

— Карабас! — зашелестело в купе. — Конечный пункт —

Карабас!

— В Карлаг нас везут, мужики! В Казахстан!.. Ну ничего. Это не Колыма.

Так оно и оказалось: везли в Северный Казахстан.

Мне повезло. Я попал не в угольные шахты

Воркуты или Инты. Не в сибирскую тайгу на лесоповал. Не на страшную Колыму, о которой неунывающие блатари пели с горьким юмором:

*Колыма, Колыма*
*Чудная планета,*
*Двенадцать месяцев зима,*
*Остальное – лето.*

Я попал в Карлаг, в степи Северного Казахстана, в карагандинский сельскохозяйственный лагерь. Официально он именовался Карагандинским совхозом МВД. Территория этого совхоза вряд ли уступала территории иного западноевропейского государства, а население вольного и невольного было, наверное, несколько сотен тысяч. Лагерь считался легким.

Но вышел я живым из этого легкого лагеря, из совхоза МВД, лишь благодаря регулярным, из месяца в месяц, из года в год, посылкам моей дорогой матери. Только ей я обязан жизнью. Вторично обязан.

…В Петропавловске эшелону предстояла пересадка. Поезд прибыл в Петропавловск вьюжной февральской ночью. Выгрузились. Пересчитали — счет сошелся, — построили длинной колонной и погнали сквозь буран. До пересыльной тюрьмы,

расположенной по ту сторону города, в степи, говорили, было километров восемь.

Небольшой, потонувший в снежных сугробах степной город, по пустынным улицам которого нас гнали, спал в этот час крепким сном — в маленьких, занесенных снегом домишках ни одно замерзшее окно не светилось. Мы медленно брели, кутаясь, ежась, в полном молчании, и эта естественная медленность ослабевших за дорогу людей усугублялась еще и тем, что самых слабых, как полагалось, поставили во главе колонны. Наиболее слабым был Рябов.

Еще в камере в Бутырках я знал его. Тихий, серьезный, средних лет, одет в хороший серый костюм, на голове кепка, брюки заправлены в сапоги. Не знаю, за что сидел. Кажется, был хозяйственником. На прогулках, когда нас выводили, он избегал ходить по кругу, как другие, а почти все время просиживал на скамейке, дыша свежим воздухом. У Рябова было больное сердце. В Бутырской тюрьме и условия прогулки были легкими: не десять, а двадцать минут можно более или менее свободно себя держать, да и двор просторный, широкий, не лефортовские клетушки.

Мы брели сквозь разыгравшийся буран. Неслись белесые в темноте вихри, в лицо била

колючая снежная пыль. Ледяной ветер насквозь пронизывал плохо одетых, истощенных людей. Все иззябли, продрогли, инстинктивно прибавляли шаг, стремясь скорее попасть в тепло, а Рябов задерживал движение колонны. Наконец соседи справа и слева подхватили его под руки и силой потащили вперед — Рябов тогда стал упираться. У таких больных, как он, от быстрой ходьбы замирает сердце, и поэтому Рябов бессознательно сопротивлялся тому, что его волокут силой, старался тормозить ногами. Сзади из женской колонны послышались злые визгливые голоса — спекулянтки и проститутки осыпали его бранью. Мужчины молчали, хотя замерзли не менее их. Покрытая снегом колонна едва плелась.

Я обратился к начальнику конвоя с предложением оставить Рябова с конвоиром на ночь в каком-нибудь ближайшем доме, а утром, когда стихнет буран, отвести в тюрьму. Начальник, ничего мне не ответив, прошел вперед, к голове колонны и, видимо, приказал поставить Рябова замыкающим в конце колонны. Теперь партия пошла более быстрым шагом, зато Рябов и те, кто его тащил, начали отставать.

Последние городские строения пропали в кружащейся вьюжной тьме, мы вышли в поле, и тут,

на открытом месте, ветер набросился с удвоенной силой, тяжко стало идти. Не в силах больше нести чемодан, я бросил его на дороге — замерзшие ноющие пальцы разжались сами собой. Хорошо еще, что он был почти пуст. Тут сзади, из темноты, из конца колонны донеслись чьи-то крики, в них звучали гнев и страданье. Я узнал голос Рябова, его, очевидно, били. Я задержался немного и вскоре увидел его. Был он без пальто и без шапки, в одном костюме, несколько человек тащили его за руки. Урки, которым буран был нипочем, уже раздели Рябова. Раздели на ходу, на глазах замыкавших колонну конвоиров.

Далеко позади, прорезая дымящуюся снежную муть, засияли, стали делаться ярче и ярче фары приближающегося автомобиля. Какой-то пустой грузовик направлялся, по-видимому, в ту же сторону, что и мы. Когда машина поравнялась с колонной, начальник конвоя остановил ее и приказал водителю забрать Рябова. Я помог несчастному залезть в грузовик — сил у него уже не было, — залез и сам, сопровождая его, машина поехала дальше. Мне была дозволена такая свобода действий, потому что понимали: в буран в открытой степи далеко не уйдешь, если даже и вздумаешь бежать.

Я сидел на борту машины, под коленями у меня, как некогда харьковский механик, скорчился прикрывшийся полами моей шинели раздетый Рябов, я чувствовал, как его трясет.

Мелькнувшая в летящем снеге далекая желтая звездочка впереди постепенно превратилась в фонарь, освещавший глухие полукруглые ворота и высокие каменные стены тюрьмы. Машина остановилась почти у самых ворот. Я слез, помог спуститься Рябову. Он простоял, озираясь кругом, дрожа всем телом, затем рванулся вперед, сделал два-три судорожных шага, бормоча в каком-то лихорадочном забытьи:

— Вот теперь хорошо, хорошо! — И вдруг с протяжным угасающим хрипом тяжело повалился на снег, затих. Я стоял над Рябовым, не зная, что делать. Он лежал у меня под ногами не шевелясь, электрический фонарь у ворот, покачиваясь и скрипя, освещал меловое лицо с сомкнутыми веками и полуоткрытым ртом.

В клубящемся снежном дыму стало намечаться большое темное пятно приближающейся к тюрьме колонны. От нее отделился начальник конвоя, подошел, ускорив шаг, первым. Романовский его полушубок был уже не черен, а бел от снега.

— Что, мертв?

— Как будто, — ответил я. Начальник матерно выругался.

Таким было надгробное слово над Рябовым.

## 20

Старая сибирская тюрьма. Первый этаж кирпичный, второй деревянный, бревенчатый, от времени потемневший. Идешь мрачными, со спертым воздухом коридорами, и так и представляются серые арестантские халаты, наполовину обритые головы каторжников, громыхание цепей на ногах. Наверное, еще декабристов помнила Петропавловская тюрьма пересыльная…

Дверь камеры, к которой нас пригнали, широко распахнулась, однако мы, густо осыпанные снегом, столпились на пороге, не решаясь, при виде открывшегося зрелища, войти вовнутрь. Весь пол сплошь был завален телами спящих. Нар здесь не имелось, заключенные спали на грязном полу вповалку, так тесно, что ноги негде было поставить. А тут еще нужно было разместиться новой, только что прибывшей партии! Переполнены были тюрьмы.

Кое-как шагая через спящих, стараясь не наступить кому-нибудь на руку, с превеликим трудом я перебрался к дальней стене, спустил с плеч на

пол свой тюк с одеждой и вынул кисет, чтобы закурить махорку и передохнуть. И тут откуда ни возьмись, уверенно шагая через тела и направляясь прямо ко мне, появились два молодых парня. Один круглолицый, миловидный, чистенько одетый мальчик в серой офицерской ушанке, в синем пиджачке, в хромовых сапожках, на которые с блатным шиком низко спущены заправленные шаровары. Другой — худощавый, длиннорукий, длинноногий, с бледным злым лицом, похож на парижского апаша: темный костюм, шелковый полосатый шарф на шее фатовски закинут длинным концом на спину.

— А ну, батя, что у тебя есть! — с добродушной деловитостью сказал круглолицый паренек. Делать было нечего. Я покорно распаковал свой тюк. Паренек присел перед ним на корточки и в одну минуту опытными, видно, руками рассортировал мои вещи. Две лучшие, кажется шелковые, тенниски отобрал себе и, поднявшись, великодушно разрешил:

— Остальное забирай.

Я собрал отвергнутое.

— Давай табак! — грубо приказал мне второй — апаш со злым лицом.

— У меня мало, — попробовал было я возразить

— махорки действительно было в треть кисета — и тут же получил ослепляющий удар кулаком в глаз. Другой рукой апаш вырвал у меня кисет. Я не ответил ударом на удар, снес на этот раз. Слишком неравны были силы: два молодых, крепких, здоровых, готовых на все парня стояли передо мной, совершенно обессилевшим, уже пожилым человеком, да еще прижатым к стене. Кроме того, такой удар не был оскорбительным, как если бы меня ударил Коваленко.

— Зачем ты его так? — укоризненно сказал товарищу мальчик в офицерской ушанке.

Ограбив меня, урки так же внезапно исчезли, как и появились, и я с подбитым глазом, чувствуя, что начинаю понемногу оттаивать в смрадном тепле переполненной камеры, стал по возможности устраиваться на ночлег.

Дальнейшая дорога выветрилась из памяти. Помню только, что пробыли в Петропавловске несколько дней, дожидаясь состава, который повезет дальше. Затем снова столыпинский вагон, путь в такой же тесноте… Кормили нас в Петропавловской тюрьме горячей пищей, той мучной затирухой, о которой мечтательно рассказывали в этапе опытные, уже побывавшие здесь блатари.

Запомнилось также, как ехал: сидя в проходе на полу, под оконным столиком, прислоняясь спиной к вагонной стенке, а в ребра мне справа и слева упирались колени тех, кто тесно сидел на лавках. Было больно и трудно дышать. Впрочем, наверное, уже начиналось схваченное в результате такого сидения воспаление легких, оттого и больно было дышать. На фронте я в ноябрьские холода переходил реки по пояс в ледяной воде, спал у костра на снегу — и хоть бы насморк получал…

Помню и тот пасмурный февральский денек, когда на двенадцатые сутки прибыли мы наконец на Карабас, конечный пункт нашего крестного пути. Этап завершился.

Голая, плоская, невыразимо унылая, заснеженная равнина, где ни деревца, ни кустика не видно. Степь казахстанская, проклятый край. Возле маленькой железнодорожной станции ютится поселок, беленые, сложенные из самана, одноэтажные плоские строения. Поодаль видна зона: деревянные вышки с часовыми, десятки длинных саманных плоскокрыших бараков, оцепленных колючей проволокой в три ряда. Вот он, лагерь, где я осужден пробыть десять лет. Прибыли!..

Медленно, нога за ногу, плелись мы в зону, растянувшись на рыхлой подтаивающей дороге длинной серой вереницей, под низким серым небом. Больше некуда было спешить — прибыли! И конвойные тоже плелись бок о бок с нами, не подгоняли, как обычно, не кричали «быстрей, быстрей!». Доставили партию до места назначения, никто по дороге не сбежал, все в порядке. Да и отощал народ за этап, обессилел, еле ноги волочит, ему не до побега…

Похоронное было шествие.

Сквозные, опутанные колючей проволокой ворота из нескольких крест-накрест сбитых бревен, перед воротами поджидает нас принимающее этап лагерное начальство — несколько сержантов в бушлатах защитного цвета. На фронте я не видел таких бушлатов. Проверка путевых листов и списков — мы покорно стоим, пока конвой сдает нас лагерной администрации.

— Разберись по пятеркам!

Разобрались.

— Первая пятерка, вперед!..

— Вторая!..

— Третья!..

Мы подсчитаны, все в порядке. Убогие ворота раскрываются шире, и мы, едва передвигая сла-

бые ноги, ряд за рядом входим в зону, где, кутаясь в лохмотья, густыми толпами стоят голодные исхудалые оборванцы, встречающие этап. Не мелькнет ли среди новоприбывших знакомое лицо?

В сущности, Карабас (от казахского Карабаш — черная голова) являлся только преддверием лагеря. То был распределительный пункт, откуда поступавшие этапы направлялись на место работы. Своего рода невольничий рынок. Лагерные рабовладельцы, администраторы-хозяйственники приезжали сюда за даровой рабочей силой и отбирали нужный для себя контингент. Заключенные так про них и говорили: «Покупатели приехали». Чрезвычайно текучий, непрерывно меняющийся здешний людской состав доходил до пяти-шести тысяч. Прибывшие, совершенно изнуренные дорогой этапники первым делом проходили двухнедельный так называемый карантин, во время которого получали несколько улучшенное питание — подкармливались для предстоящего тяжелого труда. Потом их распределяли по отделениям и участкам Карлага.

Итак, конвой остался за воротами зоны. После долгих месяцев тюремной неволи я вновь получил человеческое право свободно передвигаться

в пространстве, избавился от непрерывного наблюдения и грубых окриков. Первым ощущением, охватившим меня при входе в зону, было, как ни странно это звучит, блаженное чувство свободы. Никто больше не подглядывал за тобой в волчок; никто не тащил тебя куда-то, крепко сжав пальцами предплечье; никто не грозил смертью за шаг вправо или влево и не подгонял, науськивая злую собаку. Можно было самому пойти направо или налево — куда захотел, остановиться и заговорить со встречными, заглянуть в любой облезлый, с пятнистыми стенами барак под плоской глиняной кровлей. Хоть на пятачке, а свобода! Правда, весьма относительная, ограниченная тремя рядами колючей проволоки и вышками с часовыми.

Нам указали барак, отведенный для нас. Поплелся и я за унылой толпой этапников, но когда очутился внутри барака, оказалось, что расположенные в четыре ряда двухъярусные нары все уже были заняты, свободных мест не осталось. Крик, спор, ругань стояли в воздухе — люди чуть не дрались из-за места, где можно было лечь. «Шум и гам в этом логове жутком», — сказал бы Есенин.

Озираясь кругом, собрав последние силы, брел

я по проходу между нарами. Свбодных мест не было. Я собирался было уже улечься где-нибудь в углу на грязном и мокром земляном полу, но тут внезапно услышал знакомый голос:

— Эй, батя!

Голос звучал сверху. На меня глядело круглое мальчишеское лицо под серой офицерской ушанкой. Паренек, наверное, прибыл с нашим этапом и уже успел неплохо устроиться на верхних нарах.

— Давай сюда! Ты что, болен?

— Болен, — ответил я

— Лезь. Давай руку.

«Ну, теперь окончательно разденут», — подумал я со спокойствием безнадежности и с трудом начал карабкаться наверх. В том физическом состоянии, в каком я тогда находился, все на свете было безразлично, даже самому лезть в осиное гнездо. Круглолицый парень, подав руку, помог мне забраться к нему на нары.

— Ложись, батя, тут тебе будет хорошо.

Я очутился в самой гуще блатарей, впрочем, не обращавших на меня ни малейшего внимания и занятых своими темными юркими делами. Апаша с полосатым шарфом среди них я не заметил.

Незаметно подошел вечер, в бараке зажгли две

коптилки, висевшие под потолком, они еле-еле освещали проходы. Во тьме на нарах тяжело копошились, галдели, кашляли, переругивались. Укладывались спать. Мне было скверно, очень скверно, я в полузабытьи лежал на голых досках. Доски были положены не сплошняком, а с прогалами, в широкие щели между ними дуло.

— Батя, поешь, — услышал я как сквозь сон. — Толкан, попробуй.

В темноте нащупал раскрытый мешок, набитый чем-то мягким, сыпучим. То был толкан, мука, пережаренная с бараньим жиром, пищевой концентрат, который казахи берут с собой в дорогу. Скипятил воды в котелке, бросил две, три горсти — вот тебе и обед. Но мне сейчас было не до толкана, стащенного, очевидно, у какого-то зазевавшегося казаха.

Снова забытье, вонючий полумрак, раздражающая зрение световая точка ближайшей коптилки под потолком, гул затихающего говора: Я лежу, не двигаюсь… Вновь громкий молодой, уже хорошо знакомый голос:

— Сестра! Эй, сестра! Подойди сюда. Тут больной!

Так — спасибо круглолицему пареньку, доброй воровской душе — попал я в здешний стационар,

куда направляли больных этапников. Каждый прибывший на Карабас этап обследовала дежурная медицинская сестра. В придачу к дистрофии у меня было воспаление легких.

## 21

Врачи-заключенные спасли мне жизнь, как спасали многим другим, заболевшим в пути. Поставили банки, сделали переливание крови. Начался медленный процесс выздоровления.

Утро в стационаре. В нетерпеливом ожидании завтрака я сижу на больничных нарах, где в длинный ряд положены мягкие тюфяки, и наслаждаюсь ощущением чистого, хоть и грубого, надетого на меня белья, тишины, внимания к себе, а самое главное — предвкушения сытного завтрака, который нам раздают. Все сейчас так сидят на своих тюфячках по обе стороны широкого прохода — вся палата. Бледные, обтянутые на костях черепа, давно бритые лица, коротко остриженные головы. Молча сидят и ждут, с трудом подавляя жадное нетерпение.

Справа, рядом со мной, неподвижно, безжизненно вытянулся под закрывающей лицо простыней незнакомый сосед. Он умер ночью, тихо и незаметно, как умирают дистрофики, са-

нитары еще не успели его унести. Однако ни я, ни сидящий по ту сторону покойника белобрысый парень не обращаем ни малейшего внимания на такое соседство. Все наши мысли поглощены завтраком, который сейчас раздают сестры в белых халатах. Мягкий черный хлеб, густой, чем-то заправленный, вкусный ячменный суп, крошечный кубик сливочного масла, сахарный песок, чай. Больничное питание! Мечта лагерника.

Масло и сахар раздает Елизавета Михайловна, сестра-хозяйка, красивая молодая женщина в белом халатике. У нее милое лицо и легкие девичьи движения. Она обходит сидячих и лежачих больных и чайной ложечкой каждому сыплет сахарный песок — одни подставляют какую-нибудь чистую бумажку, другие — полученную пайку, третьи — собственную ладонь, которую тут же опрокидывают в рот. Принимают сахар как лекарство. Елизавета Михайловна носит в стационаре ласковое прозвище «сладкой женщины».

Я глотаю темно-серый ячменный суп, ем хлеб и пью чай с самодельным пирожным. «Пирожное» — хлебная корочка, намазанная сливочным маслом и сверху посыпанная сахаром. Как и все мои товарищи, я наслаждаюсь больничным завтраком. Рядом лежит мертвец и дожидается,

когда его унесут. По левую мою руку, держа миску на весу, жадно ест больничный суп доктор Катценштейн, новый мой друг. Еще в Бутырках, в тюремной бане, там, где я видел битого резиновыми палками старика, привлек мое внимание резко выделявшийся среди других большеголовый, невысокий пожилой брюнет, говоривший с немецким акцентом. Синие умные его глаза наблюдали убогую окружающую жизнь с живейшим и каким-то вдумчивым любопытством. Было это любопытство научного исследователя, постороннего любознательного наблюдателя. Он не выпускал изо рта давно погасшей трубки. Трубка была пуста, однако заядлый курильщик Катценштейн никогда не унижался до того, чтобы, подобно другим, попросить табачку у тех, кто курил у него на глазах.

История этого умного, гордого и мужественного человека примечательна.

Врач-психиатр, немецкий еврей, он вынужден был эмигрировать из Германии вместе с женой и двумя дочерьми, когда власть захватил Гитлер. Поселился во Франции. Однако найти там работу по своей специальности иностранцу-эмигранту было не так-то легко и просто. Попытался было Катценштейн тогда заняться сельским хозяй-

ством, но и тут постигла неудача. Неприветливо встретила Франция беженца.

Внезапно, казалось, счастье ему улыбнулось. Люди из советского посольства в Париже, с которыми познакомился случайно, предложили Катценштейну перебраться с семьей в СССР, обещая работу и хорошие условия. Доктор согласился и поехал в Россию. Верно, на первых порах ему повезло: получил место директора психиатрической больницы в Костроме. Уютный чистенький городок, Волга-матушка, работа по специальности. После французских мытарств Катценштейн мог только радоваться. Потом переехал в Сочи на такую же работу. Курорт, советские субтропики, Черное море — чего, казалось бы, лучше.

Однако началась война с гитлеровской Германией, и доктор вместе с семьей был сослан в Казахстан. Как иностранец. Через некоторое время он был арестован по обвинению в шпионаже в пользу врага. Тщетно Катценштейн пытался доказать, что уже как еврей он никак не может быть гитлеровским шпионом. Он не знал в то время, что доказывать следствию вздорность предъявленных обвинений, пытаться убедить в этом с помощью элементарной логики — пустая трата времени и сил. В своей ошибке он убедился,

лишь когда получил пятнадцать лет.

Закончив свой завтрак, Катценштейн по привычке берет в зубы пустую холодную трубку и так сидит, синими яркими глазами наблюдая окружающее. Застарелая горечь никотина создает, вероятно, некоторую иллюзию курения.

В это время, совершая обычную утреннюю общелагерную проверку и пересчитывая больных, по палате проходит группа надзирателей. Один из них, куривший папиросу, очевидно, заметил, что доктор сосет пустую трубку, вынул изо рта окурок и молча на ходу подал докурить опешившему от неожиданности Катценштейну.

— Русское кавалерство! — с улыбкой говорит мне доктор на своем весьма своеобразном русском языке, когда надзиратели скрываются. — Немецкий надзиратель никогда бы так не сделал. — И с голодной жадностью, с наслаждением заглатывает дым. Окурок дает ему возможность сделать две-три длинные затяжки.

В полном расцвете была скудная казахская весна, когда нас с доктором выписали из стационара и отвели обратно в зону. Теперь, подлечившись и немного набравшись сил, мы должны были дожидаться отправки на работу в какое-нибудь отделение лагеря.

За время нашего больничного лежания мы приобрели друзей среди медицинского персонала, особенно среди сестер. Писатель-фронтовик и доктор-немец вызывали у женщин и любопытство, и сочувствие. Первым же нашим другом-покровителем стала «сладкая женщина», Елизавета Михайловна. Вечером того же дня, как воротились мы, выписанные из больницы, в зону, она неожиданно появилась в бараке, разыскала меня, увлекла куда-то в сторонку, подальше от чужих глаз, и с прелестной смущенной улыбкой сунула две принесенные за пазухой хлебные пайки:

— Это вам и вашему товарищу доктору.

Сунула пайки и скрылась.

Я вернулся на нары, где мой сосед Катценштейн укладывался уже на ночлег, и тихо спросил его:

— Джон Моисеевич, у вас здоровое сердце?

— Да, здоровое, — сказал Катценштейн

— Оно выдержит внезапное сильное потрясение?

— Да, — сказал доктор серьезно, но с некоторым уже недоумением.

— Тогда получайте. — Я передал ему одну из паек так, чтобы не видел никто из соседей. — Это вам от Елизаветы Михайловны.

— О! — только и сказал Катценштейн, дей-

ствительно потрясенный. И тут же, разламывая пальцами, принялся за полученный хлеб.

С той поры регулярно каждый вечер стала появляться у нас в бараке Елизавета Михайловна и незаметно передавала нам принесенный с собою хлеб. Иногда это делала по ее поручению черненькая медсестра, армянка или еврейка, посещавшая барак для осмотра больных.

— Елизавета Михайловна у нас ангел, — как-то сказала она, когда у нас зашла речь о сестре-хозяйке.

Я не поэт, я прозаик. Но часто в лагерные годы охватывало меня неудержимое желание запечатлеть в стихах то, что довелось испытать. Многим, побывавшим в заключении, знакомо такое чувство. Образ Елизаветы Михайловны сам просился в стихи. И я их написал и прочел ей при встрече:

*Средь фантастичного тряпья,*
*Порочных глаз, калек безногих,*
*Воров, голодных и убогих,*
*Среди двуногого зверья,*
*Средь злобы, жадности и страха,*
*Людского мусора и праха —*
*Вы появились светлой тенью,*

*Как ангел с горной высоты,*
*«Как мимолетное виденье,*
*Как гений чистой красоты»,*
*В платочке клетчатом и красном,*
*Со станом тонким, с взглядом ясным,*
*Держа под синей ватной курткой*
*Заветный и святой кусок…*
*На нарах дулись в карты урки,*
*И каждый жульничал, как мог.*
*Я ел ваш хлеб, ночуя с ними,*
*Меж оборванцев и калек…*
*И ныне, присно и вовек*
*Благословенно Ваше имя.*

Наверное, от умерших оставались пайки.

## 22

Вероятно, это она добилась того, что меня с доктором временно, до отправки в отделение на постоянную работу использовали в качестве подсобных рабочих при карабасском стационаре.

Мы были очень этим довольны. Вместо того чтобы круглые сутки, томясь бездельем, валяться на нарах в окружении жалкого барачного люда,

мы получили возможность целые дни проводить в чистой и культурной обстановке больницы. Да и лишняя миска «борща» перепадала. А я к тому же мог видеть Елизавету Михайловну и перекинуться с ней словом.

Утро у нас начиналось в бараке. После подъема все население полками выгонялось во двор, какая бы ни стояла погода. Мы толпились возле барака в нетерпеливом ожидании заветной четырехсотграммовой пайки. Вот наконец вдали, за зоной показался едущий из хлеборезки зеленый фургончик, который тащили на себе, вместо лошадей, несколько работяг-заключенных. Кругом набранные из блатарей охранники с толстыми палками. Фургончик въезжает в зону, медленно приближается, останавливается у дверей нашего барака — и тут начинается нечто вроде общей свалки. Голодные люди окружали повозку с хлебом тесной взволнованной толпой, шумели, напирали — вот-вот разнесут фургон. Охранники отгоняли их. Над ватными лагерными ушанками, кепками, военными картузами, островерхими казахскими малахаями взлетали и опускались палки. Охранники защищали хлеб, и только так можно было его защитить. Крики боли, ругань, возбужденный гам…

Палки, которыми была снабжена набиравшаяся из уголовников низшая администрация, широко применялись в лагерном быту. Палками по утрам гнали на работу. В сорок пятом году по приказу свыше палки были отменены.

Наконец порядок у зеленого фургончика восстановлен кое-как. Люди выстраиваются длинной изгибающейся вереницей, движутся мимо раскрывшихся зеленых дверок, где виднеется тесно уложенный на полках хлеб, каждый получает свою уже готовую пайку и проходит теперь в барак. Там все рассаживаются по своим местам и послушно ждут раздачи утренней баланды. Вдоль рядов, раздавая завтрак, проворно бегают «малолетки» с дымящимися мисками. Они потом получат за свою работу лишний черпак.

Воровство царило фантастическое. Как-то я, сидя на нарах в ожидании завтрака, повернул голову, чтобы ответить соседу на вопрос, и этого было достаточно — моя пайка бесследно исчезла. Только что полученная, лежавшая на коленях пайка. После того я, получив хлеб, полностью съедал его тут же, ничего не оставлял на обед.

Позавтракав, мы с доктором шли к воротам и, глядя через проволочное ограждение, нетерпеливо дожидались Николая. Завхоз стационара,

высокий молодой казах, он каждое утро приходил за нами и выводил из зоны на работу.

Первым делом надлежало доставить из столовой обед для больных. Тройкой впрягались в особую тележку и везли ее, сопровождаемые тем же Николаем. За коренника был самый сильный — рослый усач в длиннополой кавалерийской шинели и в кубанке с красным донцем, типичный буденновец, — пристяжными мы: справа писатель, слева врач-психиатр. Так и везли вместо лошадей. В кухне нагружали тележку горячими дымящимися бачками, снова впрягались и шаг за шагом, далеко не борзой тройкой, везли обратно в стационар, на кухню. За работу полагался лишний черпак борща. Не больничного, а простого — вода и капуста.

Стоя в сенях, у кухонного окошечка, через которое выдавалась пища, и держа горячие глиняные миски, мы все трое — молчаливый, ни с кем не разговаривавший буденновец, врач-психиатр и писатель — с жадностью хлебали «борщ» из сладкой мороженой капусты. Рядом у стены, под брезентом, ворохом, один на другом, были навалены на земляном полу умершие за ночь. Из-под рваного брезента высовывались руки со скрюченными пальцами, грязные пятки желтых босых

ног. К запястьям мертвых были привязаны веревочкой деревянные бирки, на них химическим карандашом написаны фамилии покойников и номера личных дел.

Несколько в сторонке, сидя на деревянной параше, мучился какой-нибудь живой скелет в больничной рубахе — доживающий последние дни дистрофик, кандидат в кучу под брезантом.

Подкрепившись мороженой капустой, принимались убирать трупы. К этому времени у задних дверей стационара уже стояла вместительная арба, запряженная парой тощих грязных флегматичных волов. Волами правила бойкая смазливая девчонка в платочке, уголовница. Сбросив гремящий брезент, мы грузили на арбу голые, окоченело раскоряченные, безобразно костлявые трупы. Остекленелые глаза, рты, из которых, казалось, еще рвется крик. Выпяченные клетки ребер и провалы животов, шишки коленных суставов на тонких, как палки, ногах…

Отмучились братки.

Мы брали покорных всему мертвецов за тонкие ледяные руки и ноги и, раскачав неправдоподобно легкие тела, с деревянным стуком забрасывали на подводу, одно на другое. Накрывали сверху грязным рваным брезентом ворох мертвецов.

— Но-о, заразы! Цоб-цобе! — кричала девчонка на арбе, замахнувшись на волов палкой, и матерно ругалась. Волы нехотя делали шаг, другой, колеса со скрипом начинали вращаться, брызгая грязью, и колесница смерти лениво ползла по раскисшей дороге, направляясь к больничным воротам. Трупы вывозили куда-то в степь, сваливали в общую яму, уже вырытую командой могильщиков, и кое-как закидывали землей.

Так хоронили заключенных.

Каждое утро убирали мы шесть-восемь трупов. Все это были мужчины. Женщин не помню.

Царская каторга не знала голода. Голода, возведенного в систему, голода, смертной косой косящего тысячи. Прочтите «Мертвый дом» или «Сахалин». И Достоевский, и Чехов пишут о сытной, хоть и грубой пище, которую получали каторжники. Даже мясом кормили — фунт, или четыреста граммов, в день. А я и мои товарищи десять лет не видели мяса.

...Так хоронили тех, кто не выдержал исправительно-трудовых лагерей.

На фронте мне представлялась широчайшая возможность погибнуть. Смерть не только стояла за спиной, смерть смотрела прямо в глаза. Дважды расстреливали меня на бреющем полете

фашистские истребители. Одинокий путник, я лежал в снегу на прифронтовой дороге, а немецкий летчик, кружась совсем низко, делал заход за заходом и настойчиво бил по мне из пулемета. Один из этих случаев упомянут в рассказе «Третьи сутки». Летом, в разгар боя, я попал на мушку немецкого снайпера, когда возвращался с линии огня. Пули взрывали дорожную пыль у меня под ногами. Спасся тем, что сразу же, едва заметил, нырнул в кусты. Не счесть, сколько раз приходилось попадать под бомбежки, под артиллерийский и минометный обстрел.

И все же я не боялся смерти. Я не думал о ней. Фронтовые товарищи считали меня смелым человеком.

Но тут, в исправительно-трудовом лагере, ужас смерти — такой смерти! — охватил меня с неведомой до сих пор силой. Умереть вот так? Превратиться в обернутый сухой кожей скелет, который, раскачав за руки и за ноги, швырнут в телегу, а потом закопают где-то, как падаль, как дохлую собаку?..

Отныне смыслом моего существования стала самая грубая, самая примитивная, самая вульгарная борьба за жизнь. Она сводилась к непрерывным поискам и добыче пищи. О, я ничуть в этом

отношении не был оригинален! Помыслы всех зеков сводились к тому же. Правда, от многих из них я отличался тем, что не пошел бы на кражу у товарища по нарам. Все-таки сдерживающие центры морально-этического порядка у меня еще работали.

В обед Николай отводил нас обратно в зону, расположенную рядом, а затем приходил за нами, и мы работали допоздна. Расчищали и подметали широкий больничный двор, таскали на носилках землю, разбивали клумбы для будущих цветов. Да, здесь должны были быть цветники. Цветочки — и вороха трупов.

Работали по-лагерному — с прохладцей, с частыми перекурами, благо Елизавета Михайловна кроме хлеба снабжала нас и махорочкой.

Когда начинало смеркаться, вновь появлялся наш Вергилий и отводил на круги — только уж не знаю, на какой из девяти. А утром опять принимались мы возить на себе обед для живых и наваливать на арбу умерших.

Я пишу правду и только одну правду, пишу о том, что сам перенес, видел и узнал. Я отвергаю художественный домысел, поэтические прикрасы и всякого рода литературные завитушки. Я пишу «весомо, грубо, зримо», ибо только так и

можно писать о горькой и тяжелой правде нашего не столь давнего прошлого, которую преступно забывать. А ее хотят забыть. Стараются забыть.

Ее, эту мрачную правду, нужно знать всем, о ней нужно всегда помнить, чтобы никогда больше не могла она повториться.

Чтобы не испытали ее на себе внуки и правнуки наши.

## 23

Елизавета Михайловна была ЧСР — член семьи репрессированного. Муж ее, видный инженер, был арестован и, вероятно, погиб, а она получила восемь лет за то, что имела неосторожность выйти за будущего «врага народа». Все жены таких «врагов народа» механически получали свои восемь лет. Исключение составляли счастливцы, которые случайно развелись с мужем до его ареста. Таких не трогали.

Было ей, наверное, лет тридцать, но выглядела она молодой девушкой. Туманное воспоминанье у меня о ее лице, быть может, потому, что я стеснялся смотреть ей в лицо. Помню только впечатление чего-то тонкого, красивого, милого. Зато ярко встает перед глазами легкая, подвижная ее фигура — всегда на бегу, всегда куда-то

спешит, — красная клетчатая косынка, скрывающая темные волосы, синяя опрятная телогрейка, стройные быстрые ноги в тапочках.

Жила она не в общем бараке, а в отдельной, чистенькой, с выбеленными маркими стенами, убранной с нищенским уютом комнатке при стационаре, по-лагерному — кабинке. У Елизаветы Михайловны был высокий покровитель — сам начальник санчасти. Я видел этого здорового белобрысого мужика в полувоенной одежде, курносого, бритого, с крепкими скулами. Он ходил на протезе, прихрамывая. В больничных палатах никогда не появлялся.

Всякая мало-мальски привлекательная женщина, попав в лагерь, должна была, борясь за существование, уступать домогательствам начальства, хотя такие связи строго запрещались. На бумаге. Высшее начальство, разумеется, прекрасно о них знало, но предпочитало смотреть сквозь пальцы.

Елизавета Михайловна была озабочена и дальнейшей нашей судьбой — ведь в скором времени нас с доктором должны были отправить на постоянную работу в какое-нибудь отделение Карлага.

— Вам непременно нужно попасть на какой-нибудь хороший участок, где огороды, — говорила

она. — Я попробую поговорить с нарядчиком, который распределяет на работы.

Действительно, спустя несколько дней при встрече в больнице, отозвав меня, как обычно, в сторону, Елизавета Михайловна шепнула, что уже договорилась со знакомым ей нарядчиком, он будет иметь нас в виду. А самое лучшее отделение — Бурминское.

— Там большие огороды, — рассказывала она. — Огурчики, помидоры, картошка, сахарная свекла — вы будете сыты. Советую согласиться на Бурму.

Мы с доктором подумали и согласились. Оказывается, в лагере существовал всесильный блат. Кто мог подумать!

— Хорошо, я так и передам, — сказала Елизавета Михайловна и исчезла.

Но когда наконец я понял, что исключительное трогательное внимание, проявляемое ею по отношению ко мне, объясняется не только лишь добрым сердцем, что существуют более глубокие, потаенные причины такой заботы, меня искренне удивило и смутило неожиданное открытие. Неужели такой, каким был сейчас, мог я нравиться молодой, красивой, интеллигентной женщине? Грязный, небритый, вечно голод-

ный, жалкий оборванец? Ведь она видела, как я с товарищами, запряженный вместо лошади, возил на себе обед в больницу, видела, как я на дворе таскал носилки с землей. Как с жадностью, с собачьим блеском в глазах принимал от нее украдкой принесенный хлеб. И после всего этого испытывать ко мне какое-то чувство? Какое-то влечение?

Я не смел глаз на нее поднять, не то что думать о каком-либо романе.

И как же истосковалась по культурному человеку брошенная в смрадную клоаку культурная женщина, думалось мне, если тянется к такому жалкому существу вроде меня.

Однажды мы, не помню уж по какой причине, задержались на работе дольше обычного. Солнце давно село, вдали над плоской степной равниной догорал дикий половецкий закат. Здешние края не знают акварельных, переливчатых, всякий раз иных, нежных русских закатов. Вечерами казахстанское небо всегда грубо окрашено в два цвета — красный и зеленый. Кровь и гной. Я написал стихи:

*Быть может, через много лет*
*Мне вспомнится, как сон кошмарный,*

*Как душный малярийный бред,*
*Край этот дикий и коварный.*
*Бараков плоских скучный ряд,*
*Под снегом сопки, вой бурана,*
*И за колючками закат*
*В крови и гное, точно рана.*

Глядя на угасающий чужой закат, мы сидели с Елизаветой Михайловной на скамеечке на больничном дворе и тихо беседовали. Я отдыхал после трудов, она подсела ко мне, пробегая мимо, — тоже, видно, устала от дневной хлопотни. Рассказывала о себе, о том, что родом она из староверческой семьи, верующая.

— Вы религиозны? — спросила, как бы вскользь.

— Нет.

— Жаль! — огорчилась она. Но тут же успокоила себя:

— Ну ничего! Из лагеря выйдете религиозным человеком.

Ошиблась Елизавета Михайловна. Из лагеря я вышел, как и вошел, атеистом.

Захваченный беседой с ней, тихой задушевной беседой, от которой тепло и светло становилось

на сердце, я не заметил, как совсем стемнело и ночное небо все заиграло холодной россыпью звезд. Со стороны станции доносились гудки паровозов. Время от времени за колючей оградой слышался металлический, стремительно скользящий шелест. То молча, без лая бегали по проволоке собаки вокруг зоны, спущенные на ночь сторожевые псы.

Я чувствовал ласково и доверчиво прижавшееся ко мне в темноте теплое женское тело, — чувствовал, что Елизавета Михайловна, как ни странно это, но льнет ко мне. Нащупал лежавшую на колене маленькую теплую ее руку. Рука ответила мне легким пожатием. Тогда я сделал то, что полагалось теперь сделать, — обнял Елизавету Михайловну за талию, несмело и неловко. Она склонила голову мне на плечо. Мы сидели, прижавшись один к другому и притихнув, молчали; прядь ее волос, выбившаяся из-под косынки, щекотала мне щеки. Из темноты доносились скользящие по проволоке шорохи собачьих цепочек, собаки были умные, хорошо обученные, не лаяли зря, только бегали вокруг зоны и следили, не пытается ли кто выбраться на волю.

«Ведь это любовь!» — думал я, смущенный и совершенно растерянный. Робкая больная любовь

в карабасской преисподней, среди грязи, убожества и высохших от голода мертвецов… И чем я отвечу на нее?.. Душа была переполнена нежностью и благодарностью к прижавшейся ко мне женщине, любованием женской ее прелестью. Все было, не хватало лишь одного, к сожалению, необходимого ингредиента в той сложнейшей гамме чувств, которая называется любовью, — простой и грубой физической страсти. Я готов был молиться на Елизавету Михайловну, как молятся католики Мадонне. Но роль Мадонны не удовлетворяет любящую женщину.

У популярного в старой России норвежского писателя Кнута Гамсуна, впоследствии ставшего поклонником Гитлера, есть роман «Голод». Рассказывается там, как некий безработный интеллигент, вконец изголодавшийся — у него даже волосы вылезали, — бродит по ночным улицам столичного города и влюбляется в изящную женщину, которая случайно прошла мимо него. Он непрерывно мечтает о прекрасной незнакомке, даже дал ей фантастическое имя Иллайали.

Все это красивое вранье. Не знает норвежский писатель Кнут Гамсун, что такое голод. Да и откуда это знать ему, европейцу? Это только мы, русские, хорошо с ним, голодом, познакомились

за время революции. Голодному человеку не до любви. И не по силам она доходяге, любовь. Его мечты сосредоточены лишь на такой прозаической вещи, как возможность поесть досыта. Я жил среди людей, умиравших медленной голодной смертью, и сам умирал, я знаю. Женщин для нас не существовало. Все наши мысли, все беседы были связаны только с едой.

Во мраке обозначилась высокая приближающаяся фигура Николая, который искал меня, чтобы отвести в зону. Я убрал руку с талии Елизаветы Михайловны, мы отодвинулись друг от друга. Признаться, я был рад появлению Николая, который выручил меня из неловкого положения, а в то же время не хотелось расставаться с Елизаветой Михайловной, грустно было и больно. Я встал со скамьи и сказал, прощаясь:

— До завтра, Елизавета Михайловна.

— До завтра, — ответил из темноты милый голос.

Но на следующий день нам с Катценштейном объявили, что нас отправляют в Бурму — ту самую Бурму, насчет которой хлопотала Елизавета Михайловна. Небольшая партия этапников была уже подобрана. Я навсегда простился со своей покровительницей.

Несколько лет спустя вновь довелось мне побывать на Карабасе, не по своей, разумеется, воле. Я не предпринял никаких попыток повидать Елизавету Михайловну. Да, наверное, ее уже не было на Карабасе. Она была набора 1937–1938 годов и давно уже к этому времени закончила свой срок. Убежден, что она реабилитирована.

*И ныне, присно и вовек*
*Благословенно Ваше имя.*

**24**

Среди унылой, уже выжженной солнцем степи с белесыми пятнами солончаков, по которой ниточкой протянулась железнодорожная ветка, белеют несколько длинных саманных бараков, построенных заключенными. Среди бараков зеленеет чахлый скверик, где каждое деревце тоже посажено руками зеков, поодаль, на окраине поселка, синеет, отражая небо, сооруженный теми же руками пруд. В центре возвышается большое саманное здание клуба, куда иногда привозят кинокартины. В стороне — зона: вышки часовых, бараки за проволокой.

За поселком, ослепительно вспыхивая на солнце стеклами парников, широко раскинулся

громадный огород. Знаменитый бурминский огород, о котором так наслышаны мы были еще на Карабасе.

Тихо. Пустынно. Скучно. Окруженная стрелками, тянется серая партия работяг, возвращающихся с работы в зону на обед. Прошли, скрылись. Бредет мимо бараков понурая серая фигура с неизменным котелком — расконвоированный возвращается из столовой. Мерно попыхивает движок электростанции, из тонкой железной трубы над плоской глиняной кровлей точно дымки выстрелов вылетают.

Так она выглядела, Бурма, куда привезли нас по железной ветке, десятка два-три человек. Привезли, высадили из поезда, привели под конвоем на широкую поляну среди поселка, и тут лагерное начальство сделало перекличку новоприбывшим. Одних при этом ставили направо, других налево.

— Не убежишь? — держа списки, спросил надзиратель, когда я откликнулся на свою фамилию.

— Только на фронт, — ответил я.

— Становись налево.

Я встал налево. Катценштейна разлучили со мной — поставили направо. У него было 15 лет.

Когда овцы от козлищ были отделены, тех, что стояли справа, по-видимому, козлищ, повели под конвоем в ту сторону, где маячили вышки с часовыми, а нам, находившимся по левую руку овцам, было сказано:

— Ступайте вон туда, в барак.

И мы, расконвоированные, не веря дарованной нам свободе передвижения, пошли самостоятельно в длинный барак, стоявший невдалеке на открытом месте. Впервые за много месяцев я шел по земле без конвоя и не видел перед собой ни тюремной решетки, ни колючей проволоки, шел, куда хотел. «Сразу расконвоировали, едва привезли, — мелькнула бодрая мыслишка. — Начало как будто хорошее».

Но, как оказалось, ничего это не означало. За долгий срок лагеря меня несколько раз то расконвоировали, то вновь загоняли за проволоку. Иногда это было наказанием за какой-нибудь проступок, иногда же делалось по каким-то таинственным, недоступным нам соображениям администрации.

Для Катценштейна, хоть и отправленного в зону, лагерная жизнь тоже начиналась как будто неплохо. Вскоре я узнал, что он работает по специальности — назначен врачом при амбулатории.

Точно в воду глядел Никола-Князь: несколько дней спустя я уже числился учетчиком при бригаде, работавшей на сенокосе. Правда, отдельной кабинки пока не получил. Прежний учетчик, закончив свой срок, выходил на волю. Это был типичный прожженный лагерник, здоровый, упитанный малый, далекий от дистрофии. В течение двух дней он наспех проинструктировал меня, кое-как познакомил с техникой работы, а затем укатил на свободу. Он объяснил мне, как нужно вымерять выкошенные участки и выводить проценты, однако ни словом не обмолвился о самом главном, что следовало знать неопытному учетчику в первую очередь. Он ничего не сказал о великом искусстве туфты, на которой было основано все лагерное производство. Туфта — это ловкое очковтирательство. Это уменье выводить дутые цифры, которые радуют начальство, а работягам дают право получать не четыреста, а шестьсот и семьсот граммов хлеба плюс премблюдо — лишняя ложка овсяной каши или бублик из черной муки.

В результате моя неопытность обернулась катастрофой. К концу долгого трудового дня, когда свежел прозрачный воздух и, залитая закатным солнцем, розовела широкая степь, а в опустелой

дали стрекотала лишь одна последняя кочегарка, с запозданием завершая работу, я начинал замерять выкошенные участки. Волоча слабые ноги, добросовестно обходил остриженные участки земли, на которых длинными валками лежали скошенные травы. В руках у меня была двухметровка, похожая на широко раздвинутую букву А. Я шел и на ходу замерял. Делая, точно балерина, пируэты то на одной, то на другой ножке, двухметровка сразу отмахивала по два метра.

Так работал я пять дней исправно, посылая свои данные в контору отделения. А на шестой, когда была получена оттуда очередная продовольственная разнарядка, в моей бригаде вспыхнул настоящий бунт. Оказалось, что я, предоставив в контору цифры, действительно характеризующие проделанную работу, на целую пятидневку посадил бригаду на голодный паек. Сведения были наивно-честные, без туфты, о существовании которой я тогда просто и не подозревал.

Разъяренные массы трудящихся едва не линчевали меня. Когда я проходил мимо работяг, в спину летели весьма недвусмысленные замечания по моему адресу. Особенно злобствовали бабы. Мужчины — те в большинстве понимали, что виной случившегося была просто неопыт-

ность нового учетчика, а не вредный его умысел.

Чтобы успокоить взволнованную бригаду, начальство решило снять меня с должности и поставить на общие работы. Стал я косить сено вместе со всеми. Забравшись на железный дырчатый лопух-сиденье, с утра и до сумерек гонял я худого, запряженного в косарку вола и косил жесткую степную траву, стараясь не делать огрехов. Припекало жгучее солнце, сумасшедшие, никогда не стихающие казахстанские ветры гнали по равнине стайки легких сквозных шаров перекати-поля. Они неслись, подпрыгивая и перегоняя друг дружку. Со всех сторон доносилось металлическое стрекотание косарок, похожее на перекличку больших кузнечиков в жаркий летний полдень.

Раз, неловко соскочив с сиденья, я угодил под низко, над самой землей движущиеся зубчатые ножи. Только толстая кожа армейских сапог спасла от них мои слабые заплетающиеся ноги.

По физическому своему состоянию и по степени пригодности к работе заключенные Карлага делились на четыре категории. К первой и второй относились способные к тяжелым общим работам. Третья — индивидуальный труд — состояла из тех, кто работал сам по себе, не в бригаде. В

четвертую входили полные инвалиды, по выразительной и мрачной терминологии — доходяги. Работали они по своему желанию, а если не хотели работать, могли целыми днями валяться в бараке на нарах. Степень физического состояния определяла медицинская комиссия.

Само собой разумеется, администрация не так уж строго придерживалась подобного разделения рабочей силы. Сплошь и рядом четвертая категория трудилась как третья, а третья категория, как вторая — шла на тяжелые работы.

Все первые годы лагерной жизни я находился в четвертой категории. Лишь временами переводили в третью, на индивидуальный труд.

Закончился сенокос, и направили меня на знаменитые огороды. Но лето лишь начиналось, нужно было ждать еще по крайней мере месяц, пока созреют овощи.

Необыкновенные встречи случаются в лагере. Заведующая бурминскими огородами Зоя Исакова оказалась старой моей московской знакомой. Я знал ее как жену писателя Ивана Касаткина, автора сочно написанных рассказов из деревенской жизни, старого коммуниста, человека, близкого к Горькому. Как-то пришлось мне побывать у них в гостях, где я познакомился с хозяйкой. Женой Ка-

саткина оказалась молодая женщина, стройная, высокая, миловидная, с темными, падающими на плечи локонами, одетая в модный в те годы за границей домашний наряд — широчайшие клеши, нечто среднее между брюками и юбкой до полу. В тридцать восьмом году Касаткин был арестован. В «Правде» я прочел посвященный ему целый подвал, где старого писателя называли врагом народа и мерзавцем. Ныне он реабилитирован. Посмертно. Как многие другие «мерзавцы».

Однако при виде меня хозяйка бурминских огородов и виду не подала, что мы с ней когда-то встречались в другой совсем обстановке. Сейчас это была статная, видная женщина лет сорока, в новом опрятном ватнике, властная, энергичная и деловая. Она была заведующей, администратором, а я всего-навсего доходягой, находящимся у нее в подчинении. А между тем она запомнила меня с первой еще встречи. После огородники рассказывали мне, будто бы Исакова, услышав мою фамилию, спросила кого-то, очевидно знавшего меня: «Что, он такой же красивый?»

Боюсь, она испытала сильное разочарование, когда я впервые предстал перед ней в нынешнем своем обличье.

Целыми днями, с раннего утра и до позднего

вечера, приходилось вместе с другими огородниками открывать и накрывать парники с будущими огурцами и помидорами. С трудом, боясь, что не удержу, выроню, помогал я переносить ослабевшими руками с места на место тяжелые стеклянные рамы. Целый день открывали и накрывали парники. Работали здесь главным образом женщины.

Все же некоторое время спустя Исакова запросто пригласила меня к себе в кабину — жила она тут же, на огородах, в отдельном саманном домике. Не помню уж, о чем у нас шла беседа, только ни о Москве, ни о старом знакомстве не было сказано и слова. Все же разговор носил литературный характер. Исакова полулежала, опершись на локоть, на своем топчане в роскошной позе гойевской «Махи одетой», а я скромненько сидел у столика и читал ей Блока. Потом, осмелев, прочел и лагерные свои стихи, посвященные Елизавете Михайловне.

— Ни-че-го, — процедила сквозь зубы Исакова, когда выслушала, но, странное дело, сразу же после того тон ее разговора со мной стал сухим.

Больше она в гости не приглашала.

Мало того, отношение заведующей ко мне после того круто изменилось: то и дело я начал

получать от нее замечания, часто совершенно несправедливые. Создавалось впечатление, что соглядатаи и наушники, которых всегда много, а в лагере в особенности, очевидно, по распоряжению самой Исаковой, следят за каждым моим шагом и доносят ей. Хотя в кабину к ней стал теперь захаживать недавно присланный на огороды мужественный туркмен с черными усами, несомненно более, чем я, подвластный ее чарам, заведующая продолжала преследовать и травить меня. Кончилось все это чем-то вроде общественного суда.

Огурцы начали созревать, и я как-то украдкой сорвал с грядки парочку юных зеленых огурчиков. Холуи Исаковой заметили, донесли ей, и она устроила общее собрание рабочих огорода, где выступила с обвинительной речью против преступника, посягнувшего на социалистическую собственность. Речь была громовая. Меня стыдили и срамили при всем честном народе, меня клеймили…

Прошло, как писали в старинных романах, много лет.

Восстанавливая после реабилитации писательские свои права, пришел я в библиографический кабинет при нашем Союзе, чтобы получить нуж-

ную справку о печатных моих трудах. Выдали отбитый на машинке довольно длинный список и направили к заведующей библиографическим кабинетом на подпись. Вошел в другую комнату. За письменным столом сидела подтянутая, со вкусом одетая, изящная пожилая дама, со следами, как выражались те же романы, былой красоты, с красивой серебряной прядью в темных волосах. Что-то знакомое было в моложавом ее лице.

— Вы в каком лагере были? — спросила она после того, как я объяснил, почему мне нужна подпись, и передал ей список. Она смотрела на меня широко раскрытыми, вспоминающими, узнающими глазами. «Он или не он?» — прочел я в ее взгляде. Сильно, наверное, изменился я за семнадцать лет.

— В Карлаге, — сказал я.

— Я тоже была в Карлаге, — проговорила она медленно, не спуская с меня все того же пристального взгляда. Теперь она меня признала, я видел. И, вероятно, ждала, что сейчас произойдет сцена взаимного узнавания с приятными улыбками и задушевными словами. Трогательная встреча людей, совместно переживших когда-то тяжелые времена.

Но я не пожелал ее узнать. Вспомнились бур-

минские огороды, вспомнился общественный суд надо мной. Я в первый раз видел эту представительную пожилую даму.

— Всего хорошего! — сказал я безразличным тоном, когда она поставила на бумаге свою подпись, взял список, повернулся и вышел из библиографического кабинета.

Больше мы не встречались. Убежден: реабилитированная Зоя Исакова, вдова писателя Ивана Касаткина, поняла, что я не захотел ее узнать.

Касаткин тоже был реабилитирован. Посмертно.

## 25

Великое дело доброта человеческая. По-настоящему понял я это только в тюрьме и лагере. Немало попадалось мне добрых людей.

Но особенно сильно озаряли душу, точно вспышки яркого и теплого света, случаи совершенно неожиданного проявления человеческого участия со стороны тех, от кого меньше всего можно было этого ожидать. А такие случаи иногда бывали. Я испытал их на себе, и мне очень хочется рассказать о них.

В Белгороде, когда меня одного везли из полевой тюрьмы на вокзал, машина задержалась на

десяток минут перед убогим, прифронтовым, военного времени рынком. Что-то понадобилось купить водителю, он вылез и пошел туда. Я с конвоиром остался сидеть в кузове грузовика. Показался возвращающийся с рынка высокий сержант — начальник тюрьмы, к которому водили меня, когда я объявил голодовку. Заметив нас, направился к машине.

— Уезжаете? — просто, совсем не по-казенному спросил он меня, подойдя к грузовику.

— Уезжаю, гражданин начальник.

— Ну, счастливо. Вот вам на дорогу. — И я, не веря глазам, увидел, что начальник тюрьмы протягивает мне два свежих огурца из купленных только что на рынке.

— Дайте кисет.

Отсыпал мне в пустой кисет полпачки махорки, тоже, наверное, купленной. И пошел своим путем, не оглядываясь, оставив меня, пораженного, сидеть в машине с неожиданными дарами. От кого? От начальника полевой тюрьмы… Видно, понимал, что я ни в чем не повинный, случайно попавший за решетку человек. И, понимая это, выразил мне, спасибо ему, тайное свое сочувствие.

А вот другой, еще более разительный случай.

Среди конвоиров в Белгородской тюрьме особенно выделялся своей грубостью один автоматчик, молодой, вертлявый, длинноносый. Он не упускал случая прикрикнуть на арестованного, обругать, даже толкнуть в спину, часто без всякого повода. Особое рвение, я заметил, проявлялось в те моменты, когда это могло видеть начальство.

И вот эту собаку и назначили, как на грех, вместе с двумя другими автоматчиками везти меня в Москву. «Веселенькая предстоит дорога, — мелькнула тревожная мысль. — Уж он поиздевается надо мной всласть».

Однако, вопреки ожиданиям, вертлявый автоматчик не только в дороге не измывался, но, по-видимому, просто не обращал на меня внимания. Я был только этому рад.

На какой-то промежуточной станции высадились в ожидании пересадки. Был солнечный, жаркий, летний день. Двое моих конвоиров с капитаном пошли в город обедать, а я остался под охраной третьего, пожилого стрелка сидеть голодным на станции. Сидел под полуобвалившейся стеной полуразрушенного бомбежкой вокзала, глядел на непрерывно снующих вокруг, навьюченных мешками, озабоченных, серых

путешествующих и думал невеселую думу… Ох невеселую!

Вдали показался возвращающийся из столовой длинноногий автоматчик. Тот самый. Шел один, без товарищей.

— Ступай обедать! — сказал он моему конвоиру, заступая на его место. Пожилой стрелок, передав ему меня, скрылся среди развалин и груд щебня. Мы остались одни. Внезапно я увидел в руках моего нового конвоира пайку хлеба — она появилась из-за пазухи.

— На! — сказал вертлявый автоматчик, подавая мне большой кусок черного хлеба.

Он, ругатель и грубиян, оказывается, направляясь обедать, думал обо мне. Специально для меня он раздобыл целую пайку, пронес украдкой и передал мне, когда никто не видел. Он, которого мы считали цепной собакой.

Даже в страшной Лефортовской тюрьме неожиданно и тепло блеснула искра человеческого сочувствия.

Дежурные надзиратели, вертухаи, как зовут их заключенные, то и дело менялись, но одного из них, огненно-рыжего парня, мы заприметили. И вот раз, после обеда, неожиданно открылась кормушка, и в квадратном оконце появилась

широкая румяная физиономия Рыжего. Поманил меня пальцем. Я подошел к двери, несколько недоумевая, почему меня подзывают таким необычным способом. Большая миска горячих щей чудодейственно возникла на полочке.

— Это вам за хорошее поведение, — пояснил Рыжий. И вновь захлопнулась кормушка.

Не знаю уж, чем мое поведение отличалось от поведения моих сокамерников, все мы вели себя смиренно. Просто, подозреваю, парень заметил, что вид у меня более истощенный, чем у других.

Есть в «Войне и мире» замечательное по тонкому социально-психологическому анализу место. Пьер Безухов в плену. Он убеждается, что французы такие же люди, как и он, что у них устанавливаются с русскими пленными простые, даже дружеские отношения, чисто человеческие. Французский капрал, покуривая трубочку, по-приятельски болтает с ним, какой-то солдат заказывает Платону Каратаеву сапоги. Но вот отдан приказ выступать в поход, прозвучала команда, загремели барабаны — и разом смахнуло все человеческое. Начала действовать машина тупого подчинения, и каждый французский солдат превратился в частицу этой огромной слепой бездушной машины, расплющивающей все, что

под нее попало.

Так и тут было.

## 26

Необходимейшей и постоянной принадлежностью лагерного аборигена, с которой он никогда не расставался, был котелок. Вообще какая-нибудь посудина, иногда вида самого прихотливого. Но среди всевозможных котелков, консервных банок с проволочными дужками, металлических или глиняных мисок, часто разбитых и скрепленных кусочками жести, самой оригинальной посудиной была, несомненно, моя. Не помню уж, каким образом удалось мне ее раздобыть. Был это рукомойник. Подающийся под ударами ладони медный сосок у него вынули, дырку заделали, сверху прикрепили проволочную дужку — чем не котелок?

Первое время я ходил в столовую с этой чудовищной посудиной и из нее хлебал баланду. Потом завел знакомство с заведующим здешней ремонтной мастерской, взял у него, вспомнив журналистский свой опыт, обстоятельное интервью, написал статейку и отослал ее в Дóлинку, административный центр Карлага. Там печаталась газетка для местного пользования.

В качестве гонорара я получил от зава мастерской специально для меня сооруженный роскошный, вызывающий у всех зависть котелок из пуленепробиваемого железа, с крышкой и с вставляемым сверху отделением для «второго». Этот агрегат, емкостью литра в полтора, прослужил мне верой и правдой много лет, пока не проржавел насквозь.

С Анной Васильевной[27] я познакомился в столовой. Через кухонное окошечко, у которого нетерпеливо теснилась очередь, я получил в свой умывальник черпак синей похлебки — из здешнего черного ячменя — и стал искать глазами свободное место за столом. Сколоченный из голых досок, длинный, грязный, залитый супными лужицами стол весь был занят тесно сидящими обедающими лагерниками.

— Тут свободное место. Пожалуйста, садитесь, — услышал приятный женский, несомненно интеллигентный голос. Приветливо улыбаясь, глядела на меня из-за стола сухощавая женщина, уже в годах, с умным, каленым от загара лицом. Седые волосы повязаны, на манер чалмы, вылинявшей голубой тряпицей. Рваная мужская телогрейка, ветхая юбчонка. Я уселся рядом с незнакомкой на лавке, на оказавшееся

свободным место и принялся за еду. Обедали и перебрасывались малозначащими словами. В том, как говорила и держалась моя соседка, в самой интонации речи чувствовалось старое, ничем не истребимое воспитание. Эти манеры женщины из общества, из культурной дореволюционной среды резко и странно контрастировали с лохмотьями, в которые она была одета, со всей обстановкой грязной и нищей лагерной столовки, наполненной голодными, обозленными, рычащими друг на друга оборванцами.

Кончив обедать, она так же приветливо простилась со мной, поднялась и пошла широким мужским шагом, шаркая громадными разбитыми бутсами, с котелком в руке.

Анна Васильевна работала на огородах, где меня к тому времени определили в сторожа. Не раз мы с ней встречались. Начались беседы о лагерных порядках, о Москве, которую она хорошо знала, о литературе. Часто вместе обедали. Я нашел в ней интересную, высококультурную собеседницу, с юмором, острую на язык, с умом иронического склада.

— А знаете, кто такая Анна Васильевна? — както спросила меня с лукавой улыбкой одна из знакомых огородниц.

— Кто?

— Жена Колчака[28].

Я поглядел непонимающими глазами.

— Какого Колчака?

— Того самого.

— Адмирала Колчака?

— Да.

В свое время я собирался написать роман, одним из персонажей которого должен был стать адмирал Колчак, среди белых военачальников самая интересная фигура, и, знакомясь с материалами, узнал из воспоминаний эмигрантов романтическую историю Анны Васильевны Книппер-Тимиревой.

Молодая, когда-то очень красивая женщина (мне довелось видеть ее фотокарточку в молодости), она стала женой Колчака накануне революции, бросив первого своего мужа, морского офицера. Адмирал в то время был командующим Черноморским флотом. Летом бурного семнадцатого года, поссорившись с Керенским, Колчак уехал в Америку. Американцы пригласили его как прославленного специалиста по минному делу, закупорившему во время войны выход турецкому флоту из Босфора. Через год адмирал появился в белой, захваченной чехословаками

Сибири уже в качестве верховного правителя государства Российского.

Правителем, как известно, он оказался бездарным и потому недолговечным. Зимой двадцатого года, когда деморализованная белая армия, под натиском Тухачевского, все дальше и дальше откатывалась в глубь Сибири, поезд верховного правителя с золотым запасом, двигаясь в потоке общего панического отступления, достиг Иркутска. Но дальнейший путь был перерезан. Иркутск был захвачен красными партизанами, действовавшими в колчаковском тылу. Командование их предложило конвою, охранявшему поезд, выдать Колчака, обещая за это беспрепятственно пропустить их во Владивосток, где они должны были грузиться на суда. Чехи выдали Колчака партизанам. Марионетка сыграла свою роль, причем сыграла неудачно, и больше уже не была нужна никому из высоких покровителей — ни Соединенным Штатам, ни Англии, ни Франции.

Случилось так, что Анна Васильевна ехала отдельно от мужа. Когда он был арестован, она сама пришла в иркутскую Чека и заявила, что она жена верховного правителя и желает разделить его судьбу. Ее посадили в камеру смертников.

Так рассказывают о ней белые мемуаристы.

Морозной январской ночью Колчак был расстрелян на пустынном берегу Ангары, тело бросили в прорубь. И на суде, и перед казнью он держался мужественно, как солдат. Анне Васильевне расстрел был заменен тюремным заключением. В дальнейшем ее то выпускали на свободу, то вновь сажали, теперь уже в лагерь. В общей сложности — забегаю вперед — просидела она свыше двадцати лет.

Так вот, оказывается, с кем пришлось мне сидеть в столовке, за нечистым дощатым столом, бок о бок и хлебать лагерную баланду, она из котелочка, я — из своего рукомойника.

Встречаясь на работе, часто мы с Анной Васильевной вместе обедали, облюбовав для этого самый живописный в лысой Бурме уголок на огородах, на берегу маленького пруда. Над прудом, бутылочно-зеленым в тени, нависали ветлы, и за спиной у нас, под беленой стеной какой-то мазанки, торчали копья желтых и розовых мальв.

Огороды имели собственную кухню. На грядках к тому времени поднялись зеленые стрелки лука. Они служили существенным подспорьем к скромному нашему обеду. Витамины! Мелко нарезанным луком я густо засыпал свой суп.

Беседы у нас проходили самые разнообразные.

О том, что творилось в стране, Анна Васильевна отзывалась очень сдержанно, но в такой сдержанности чувствовалась спокойная ирония думающего и много претерпевшего человека.

— Ассиро-вавилонская монархия, — как-то определила она сталинский режим.

Мне хотелось убедиться, правда ли то, что сообщили о ней огородницы. Спросить прямиком, в лоб, было неудобно. При ближайшей встрече с Анной Васильевной я, будто случайно, завел речь о Колчаке, сказав, что перед войной собирался писать о нем роман.

— А в каком духе вы собирались писать? — спросила она, не поднимая глаз, сразу насторожилась, я заметил. Учитывая, кто моя собеседница, и подбирая выражения, я осторожно высказал собственное мнение об этой исторической фигуре. Мне вспомнились рассказы очевидцев о вспышках бешеного гнева адмирала, когда он бил о пол стакан, ломал карандаши.

— Кажется, у него был вспыльчивый характер?

Анна Васильевна улыбнулась в ответ. На сухом, бронзовом от степного солнца, обветренном лице легло мягкое задумчивое выражение — вспоминала.

— Да, он был горяч, — сказала она.

Последние сомнения, какие были, исчезли. Передо мной был живой и трагический кусок русской истории.

**27**

Она была не только изобретательной художницей, о чем речь впереди. Она была поэтессой. Мне хочется привести некоторые ее стихи, написанные в тюрьмах и лагерях.

*И опять белесая ширь*
*Расстилается предо мной:*
*Казахстанский пустынный мир,*
*Огражденный незримой стеной.*
*На родной моей стороне*
*Все деревья теперь в цвету.*
*Здесь не радо сердце весне,*
*Что мы знаем, что видим тут?*
*Притаилась сопок гряда,*
*И в морщинах снега залегли…*
*Неужели мы никогда*
*Не уйдем из этой земли?*

1940 год

Вот стихи, посвященные ее мужу:

*Ты ласковым стал мне сниться,*
*Веселым, как в лучшие дни…*
*Любви золотые страницы*
*Листают легкие сны.*
*Конца ли это виденье,*
*Иль ты зовешь – не пойму…*
*Спасибо, что ты хоть тенью*
*Приходишь ко мне в тюрьму.*

1939 год

**Антигона**

*Так глубоко ты в сердце врезан мне,*
*Что даже время потеряло силу,*
*Что четверть века из своей могилы*
*Живьем ты мне являешься во сне,*
*Любовь моя!*
*И у подножья склона,*
*И в сумерках – все не могу забыть,*
*Что в этот страшный мир,*
*Как Антигона,*
*Пришла не ненавидеть, но любить.*

1946 год

Вот ее стихи, посвященные сыну[28], судьба которого ей была неизвестна:

*За годами идут года,*
*Предназначенные судьбой.*
*Я не знаю, где и когда,*
*Но я все-таки встречусь с тобой!*

*Лишь боюсь – в этот сладкий час*
*(Жду его наяву и во сне),*
*Я боюсь твоих синих глаз:*
*Что прочту я в их глубине?*

*Ох, как страшно будет прочесть*
*Про скитанья в чужом краю,*
*Про твою оскорбленную честь*
*И про юную гордость твою.*

*Где твой громкий ребячий смех?*
*Все мне снится: в глухом лесу*
*Люди топчут глубокий снег*
*И тяжелые бревна несут.*

*И в свинцовой дымке утра,*
*Сквозь покров уходящей мглы*

*От багрового блеска костра*
*Розовеют сосен стволы.*

*Ты идешь, и упорный взгляд*
*Устремлен на снег и огни…*
*На плечах – арестантский бушлат,*
*За плечами – черные дни.*

*А за днями идут года,*
*Нам отмеренные судьбой…*
*Я не знаю – где и когда —*
*Но я все-таки встречусь с тобой!*

1940 год

Нет, не дождалась Анна Васильевна от пропавшего сына весточки.

А вот ее стихи о Сталине.

*Передо мной, не в маршальском мундире,*
*Каким для всех запечатлен навек,*
*А в чем-нибудь помягче и пошире*
*По вечерам, один в своей квартире,*
*Такой усталый старый человек.*

*Весь день он был натянут, как струна,*

*И каждый шаг ему давался с боем,*
*И вот теперь настала тишина,*
*Но нет ему отрады и покоя.*

*Походит он, из тайников стола*
*Достанет сверток, с рамками рентгена,*
*И смотрит, как на них густеет мгла*
*В растущих пятнах гибельного тлена.*

*И знает, что ничем нельзя помочь —*
*Ни золотом, ни знанием, ни славой —*
*Что он совсем один с своей державой*
*И что идет ему навстречу ночь.*

Это написано в 1947 году, в пору наибольшей славы и наибольшего могущества диктатора.

## 28

Меня сняли с огородов и поставили в ночные сторожа движка, приводившего в действие насос, который по длинным желобам гнал воду из пруда на бурминские огороды. Скрытый от глаз глиняными стенками, но лишенный навеса, стоял движок на берегу пруда, за женским бараком. Рядом находилась низенькая башенка

газогенераторной печи. Груда подернутых сизым пеплом горячих углей перед печью сделалась источником моего благополучия, к сожалению, кратковременного.

Я сидел под газогенераторной башенкой как жрец — хранитель вечного огня. Из барка спешили ко мне женщины с посудинами.

— Можно?

— Пожалуйста.

Одной требовалось сварить нехитрый супчик, другой — кашку из полученной в посылке из дому крупы, третьей — спечь уворованную на работе картошку или сахарную свеклу. Принесенное зарывалось в горячие угли — шипело, булькало, пеклось, варилось. Благодарность за мою любезность выражалась ложкой супа или каши, печеной картофелиной и уж во всяком случае махоркой на завертку.

Спускалась многозвездная прохладная ночь, и я безмятежно засыпал, прислоняясь спиной к приятно теплой печи. На рассвете, когда крайний край неба хрустально зеленел и начинали проступать из мглы контуры строений на том берегу, меня будили ночевавшие на пруду надзирательские гуси. Просыпались и принимались громко переговариваться. «Га-га-га», — летело

над водой.

Потом слышались размеренные стонущие удары о железную рельсу, подвешенную к столбу среди площади. То мой друг Петр Иванович, старичок-дневальный из соседнего мужского барака, объявлял Бурме подъем на работу. Дежурство кончалось, я забирал котелок и, поеживаясь от утреннего холодка, плелся в столовую завтракать.

Беспечальное житие у груды горячего шлака омрачилось однажды пропажей моей военной шинели. Вернее, кражей средь бела дня, ловкой кражей. Я разделся — было жарко, — положил ее за глиняной стенкой возле работающего движка, отошел к газогенераторной печи, а когда через несколько минут вернулся — увидел пустое место. Ни до того, ни после ни души не было видно поблизости — шинель как сквозь землю провалилась. Очевидно, вор незаметно крался за мной по пятам, спрятался за дощатым забором метрах в пятнадцати от движка, улучил момент — и был таков.

Это была чистая работа, высокое мастерство. Но в итоге я лишился своей верной армейской шинели, в которой прошел фронты, прошел тюрьмы, прошел этап, прошел Карабас.

Днем я был свободен и потому нередко заглядывал в клуб, где жила теперь Анна Васильевна, получившая почетную должность заведующей. Правда, обязанности заведующей клубом сочетались с обязанностями и уборщицы, и сторожа. Но все же это были не общие работы в огородной бригаде. Жила ныне Анна Васильевна не в общем бараке, а в кабине при клубе. Даже внешне она преобразилась. Синий лыжный костюм, что прислала ей живущая в Москве сестра, очень шел к ее сухощавой стройной фигуре.

Вся немногочисленная бурминская интеллигенция группировалась вокруг клуба. Это был светлый луч во мраке голодного скотского прозябания, иллюзия возврата к той сказочной свободной жизни, из которой мы были вырваны, оазис в степной пустыне, которого робкой стопой касалась муза лицедейства Мельпомена. Здесь можно было говорить не только о пайках и работе, здесь забывался лагерь.

Кроме Анны Васильевны, в работе местного драматического кружка деятельное участие принимали Анна Лацис, режиссер, коммунистка, родственница известного латышского писателя Лациса[28a]; инженер Чичко; Мэри Капнист[29], Фира Лейзерова и другие. Ставили мелкие одноактные

пьесы, играли с увлеченьем.

Как-то руководительница кружка Анна Лацис — женщина с большими светлыми северными глазами, средних лет, очень энергичная, — вспомнила, что у себя в Риге, перед войной, она ставила комедию Гольдони «Забавный случай», и решила поставить ее на сцене бурминского театра. Замысел был более чем дерзок. Создать сложный постановочный спектакль буквально из ничего, не имея ни декораций, ни костюмов, ни реквизита и не надеясь на какое-либо содействие свыше.

И все же Лацис сумела захватить кружковцев своей идеей. С подлинным энтузиазмом решили готовиться к спектаклю.

(Мне вспомнился арестантский спектакль, который описывает Достоевский в «Записках из Мертвого дома».)

Поистине в условиях лагеря это было подвигом. На репетицию артисты приходили после тяжелого рабочего дня, который тянулся от зари до зари. Казалось, сил у людей могло хватить лишь на то, чтобы добраться до своей койки, свалиться, как мешок, и спать, спать. Но, закончив работу, усталые, измотанные лагерники шли не к себе в барак, а в клуб репетировать пьесу. Репетиции, на которых можно было забыть все окружающее и

отдаться искусству сценического преображения, были праздником для участников.

И вот наконец состоялась премьера комедии Гольдони «Забавный случай», — был на ней и я. Низенький тесный клубный зал полнехонек. В первых рядах, на врытых в земляной пол скамейках, виднелись золотые и синие погоны начальства, шелковые косынки их жен и дочек. Сзади тесной толпой стояли зеки. Стояли и в проходах. Те, что были впереди, уселись на пол.

И когда открылась маленькая сцена, общий вздох изумления и восторга пронесся по залу. Обычно в таких случаях вместо декораций зрители видели рамы с натянутыми на них соломенными матами, чем и ограничивалось все убранство сцены. Были раньше две деревянные колонны, но угодили в печку начальника культурно-воспитательной части в одну из зим.

Сейчас на подмостках стояла роскошная, покрытая, казалось, золоченой барóчной резьбой мебель, по сторонам, в зеленых ящиках, возвышались круглые подстриженные апельсиновые деревца с висящими на них оранжево-красными плодами. По сцене, разговаривая, смеясь, ссорясь, влюбляясь, интригуя друг друга, расхаживали нарядные кавалеры в расшитых золотом кафтанах,

в белых пудреных завитых париках и разряженные лукавые красавицы в широких парчовых фижмах, в широкополых шляпах, украшенных перьями и цветами. Придерживая двумя пальчиками пышные юбки, они жеманно приседали в ответ на низкие поклоны размахивавших треуголками кавалеров. Манерный, галантный, фривольно-игривый XVIII век глядел на зрителей с убогой сцены. Потрясенные чудом сценического перевоплощения, они смотрели, разинув рты.

Действие развивалось, шел веселый спектакль, полный итальянской живости, юмора и блеска, и по залу поминутно прокатывался гул смеха и рукоплесканий.

Больше всего поражало наивную и неприхотливую публику сознание, что ведь все эти неузнаваемые, нарядные, причудливо-разряженные господа и дамы — свои ребята, зеки, те самые, которых вчера гоняли под конвоем, которых привыкли видеть в грязных рваных ватниках и разбитых бутсах. Вот они. Вон Капнист, нянька из яслей (и не узнать, какая красотка!). Вон красивая учетчица Лейзерова Фира. Вон инженер Чичко из ремонтной мастерской…

И возникала наивная гордость: смотрите, на что мы, бесправные, способны. Смотрите и вы,

сидящие в первых рядах, для которых каждый из нас только номер личного дела. Вы, пришедшие в свой крепостной театр.

Актеры — и хорошие, и слабые — под руководством опытного культурного режиссера играли с громадным подъемом, полностью отдавая себя. Спектакль получился превосходный. Долго потом вспоминала Бурма «Забавный случай».

После Анна Васильевна говорила мне:

— Как художница я бываю во всех бараках, и женских, и мужских. И я всякий раз после спектакля убеждаюсь, как важно и нужно для этих людей дело, которое мы делали с таким трудом, с таким напряженьем и радостью.

Если идея постановки комедии Гольдони принадлежала Лацис, то техническое осуществление этого дерзкого замысла целиком и полностью пало на плечи Анны Васильевны. Но сколько понадобилось энергии! Сколько вкуса, изобретательности и остроумной выдумки!

Откуда, например, можно было достать парики? Анна Васильевна вспомнила, что есть заключенная, в прошлом парикмахерша, немецкая колонистка с Волги. Пошла к ней в барак и стала уговаривать взяться за такую работу. И уговорила в конце концов; немка соблазнилась

клятвенным обещанием, что перед спектаклем со сцены будет объявлено: парики и костюмы ее работы, Нины Вернер.

Даже в лагере проявляется людское честолюбие.

Достали пакли, на палках завили локоны, густо напудрили мукой. Парики получились такие, что актрисы, сначала было отказавшиеся их надевать, когда увидели, как выглядят со сцены… — охотно надели. Раздобыли байки и сшили кафтаны для мужчин. В ремонтной мастерской Анна Васильевна выпросила обрезки латуни — они превратились в золотое шитье на кафтанах. Треуголки клеили из картона. Шляпа Констанции, которую играла Мэри Капнист, была сделана из пастушеского бриля — плели такие в Бурме из простой соломы. Анна Васильевна украсила ее белой птичкой и самодельными розами. Женские костюмы, фижмы, подборы были сделаны из лиловой и розовой марли, скреплены искусственными цветами. У женщин, старавшихся даже в бараках у себя создать видимость уюта, были марлевые накидки на подушках. Анна Васильевна делала из них жабо.

Декорации? Собрали всякую рвань, выкрасили чем бог послал, натянули на щиты. Из картона

Анна Васильевна вырезала какие-то баро́чные узоры под резьбу, расписала сажей, мелом, глиной и набила на столы, табуретки и карнизы, со стороны зрительного зала — вот вам и роскошная мебель. Много труда потребовало сооружение декоративных апельсиновых деревьев. Нужно было достать прямые палки, просверлить в них дырку и вставить в дырки ветки арчи — ползучей туи, собранной на каменистых склонах сопок. Затем Анна Васильевна шарообразно подстригла ножницами изготовленные деревца и увешала «апельсинами», вырезанными из крупной моркови.

Вообще, выдумщица Анна Васильевна была необыкновенная.

Под Новый год зашел я к ней в клуб и поразился. Посреди кабинки, упираясь в потолок, стояла большая елка. Анна Васильевна — седая, с гладко причесанными волосами, стройная в синем лыжном костюме, — развешивала на мохнатых зеленых ветвях разноцветные бонбоньерки — наверно, сама клеила. Елка в голом степном Казахстане, где и кустик редко увидишь!

— Откуда это у вас? — изумился я. Анна Васильевна улыбнулась, довольная:

— А вы посмотрите внимательней.

Я посмотрел внимательней. Никакой елки в действительности не существовало. Подпиравший потолок деревянный столб посреди кабинки был замаскирован многочисленными, подвязанными одна под другой ветками арчи, которые превратили его в новогоднюю елку.

Ныне Анна Васильевна реабилитирована. Живет она в Москве, со своей сестрой. Сейчас ей восемьдесят лет, но она бодра, подвижна, много читает, живо интересуется литературой, театром, политикой. Лето обычно проводит на даче у своих знакомых. Несколько лет работала в театре кукол художником-оформителем, сначала в Рыбинске, а затем в Москве.

Она получает маленькую пенсию — в память отца, известного музыкального деятеля…

Фантастическая страна Россия.

## 29

Казалось бы, многочисленная армия карлаговских зеков была поставлена в одинаковые условия жизни. Одно и то же правовое и материально-бытовое положение, одна и та же скудная пища — черный хлеб, капуста, ячмень или овес, — одна и та же, с небольшой разницей, голодная норма. Я сказал «правовое положение».

Оговорился — бесправное.

Однако в действительности — непонятное на первый взгляд явление — получалось так, что одни, не дождавшись воли, тихо умирали с голоду, а другие, пусть и одиночки, закончив свой срок, уезжали с деньгами. Незадолго до моего прибытия сюда освободился заведующий овощехранилищем. Вся Бурма говорила, что он увозит с собой пятьдесят тысяч.

В лагере существовало не одно лишь жалкое воровство нищих у нищих. Как на воле, люди ловкие и оборотистые, пристроившись на хлебном месте, потихоньку сколачивали себе капиталец. Впоследствии я имел случай самому в этом убедиться.

Вокруг шла звериная борьба за существование. За лучшее место на нарах, за лишний черпак баланды, за более легкую работу, за возможность устроиться на выгодное место. Люди пробивали себе дорогу локтями и кулаками, давили и душили друг друга. «Подохни сегодня ты, а завтра я» — таков был лагерный лозунг. Слезала шелуха цивилизации, и человек представал в натуральном, неприкрашенном виде — голый человек на голой земле, недалеко ушедший от своего пещерного предка. Долгое время после освобождения,

вернувшись в нормальный мир и наблюдая за кем-нибудь на собрании, на званом вечере или в театре — за кем-нибудь почтенного вида, хорошо одетым, прилизанным, улыбающимся, ведущим культурный разговор, — не мог я отделаться от назойливой мысли: а как бы проявил ты себя в лагере? Как бы там выглядел? Что бы делал?..

Но среди голодных, лишенных человеческих прав, обезличенных, оскотинившихся, несчастных людей, бывало, попадались праведники. Одним из таких немногих праведников был Иваневский Петр Иванович, старый питерский рабочий, старый большевик. Говорили про него, будто при Ленине был он комендантом Смольного.

Бывало, выйдешь ночью из барака. Мороз дыхание перехватывает. Синяя зимняя тьма, жгучий ветер, сугробы дымятся — буранит. И вот видишь сквозь косые снежные вихри: бредет невдалеке маленькая сгорбленная фигурка, направляясь к столбу с подвешенной рельсой. Петр Иванович, лагерный пономарь, идет звонить. Вскоре протяжные металлические удары, стонущие, невыразимо тоскливые, дают знать всей спящей Бурме, расконвоированной и законвоированной, что пора подниматься, уже шесть утра, и, наскоро

похлебав горячего, отправляться на работу. На работу от темна до темна.

Расправившись с тем, что полагалось получить в столовке, спешил я в соседний с нашим барак, к Петру Ивановичу. Барак, где стоял он дневальным, к тому времени уже пустел, из дверей выходили на улицу, переругиваясь, последние закутанные до глаз работяги. Уже принявшись за уборку, Петр Иванович самодельным веничком подметал земляной пол с натасканной налипшей грязью, — маленький, сухонький, с жидкими седыми усиками. Всегда были печальны выцветшие добрые его глаза.

— Я тебе, Данил, в баланду гороха подбавил, все вкусней. Возьми в тумбочке, — с озабоченным видом говорил он.

Я переливал оставленное для меня в свой котелок, возвращался к себе в барак и принимался за еду. Хоть остывшая, но с вареным горохом ячменная похлебка куда была вкусней обычной. Так повторялось каждое утро.

В качестве дневального — положение привилегированное — Петр Иванович имел возможность питаться лучше рядового лагерника, впрочем, и аппетит у него был стариковским. Как и почему начал он меня подкармливать — сейчас не

упомню.

Получая из Москвы посылку, я всякий раз в благодарность угощал Петра Ивановича чем мог.

— Мерсите, — вежливо благодарил он, принимая предложенное.

Его окружали общая любовь и уважение. Да и как можно было иначе относиться к человеку, от которого на все окружающее излучалась только доброта? Бывало, кто-нибудь из блатных, придя в хорошее настроение, начнет выламываться, приплясывать, паясничать перед собравшимися вокруг зрителями. Петр Иванович тоже смотрит, сидя, сгорбленный, на своей чистенько заправленной аккуратной коечке.

— Молодой, молодой, — бормочет со слабой доброй улыбкой.

Иногда, зайдя днем, я заставал его глубоко задумавшимся — сидит у себя на койке понурый, скорбные глаза уставлены в пол.

— Не за это мы боролись! — говорил он со вздохом, завершая тяжелый ход невеселых своих мыслей, и скорбно покачивал маленькой седой головой.

— Нет, нет, совсем не за это.

Я глядел на сложенные на коленях, обтянутые сухой сморщенной кожей, костлявые рабочие

руки его и думал, что было время, когда они обменивались рукопожатием с Лениным.

Дожил ли до реабилитации милый старичок Ивановский — не знаю. Боюсь, нет.

Пришлось повстречаться мне и с другой знакомой москвичкой из литературной среды — Ниной Герасимовой, женой погибшего в тридцать седьмом году поэта Герасимова[30], члена «Кузницы». Строго говоря, знакомы до того мы не были, но друг друга знали, живя в одном и том же доме Герцена на Тверском бульваре, населенном писателями. В годы ежовского разгула из одного только этого дома было взято около десяти человек писателей. Нередко я видел проходившую по двору красивую спокойную женщину в котиковом манто, черный блестящий ворс гармонировал с черными и блестящими, гладко причесанными ее волосами. Женщины такого склада в старину звались вальяжными.

Нина Герасимова заканчивала уже свой срок и потому работала теперь на хорошем месте: была собачьей стряпухой. Варила пищу для сторожевых собак, стерегущих но ночам зону.

Случайно увидев меня и узнав, Нина однажды тайком принесла мне украденный у своих собак кусок вареного мяса, граммов четыреста, а в

другой раз — большую миску круто сваренной каши, поверх которой была положена рыбина. Собак кормили не так, как нас. Мы могли только мечтать о мясе и рыбе.

Не знаю, писала ли раньше Нина Герасимова стихи, но тут пришлось убедиться в ее настоящем поэтическом даровании. На одном из здешних клубных вечеров она выступила со своими стихами, прочла поэму «Люцерна» и другие написанные в лагере стихи. Хорошие были стихи.

Вскоре она уехала из Бурмы, закончив свой стандартный восьмилетний срок. Лет двадцать спустя судьба привела нас вновь встретиться, уже в Москве, в Центральном доме литераторов, на каком-то из вечеров. Она была со своей знакомой, Н.П. Кончаловской[31], женой Михалкова. С трудом узнал я Нину — так постарела, так подурнела…

Хотя добрые люди и подкармливали, все же силы мои таяли и таяли. Я чувствовал, как день ото дня все больше слабею. Небольшие расстояния от барака до столовой и от барака до клуба казались огромными, чтобы пройти их, требовалось сделать над собой психологическое усилие. Если я присаживался на корточки, то для того, чтобы встать, нужно было цепляться за стену. Поднимался на крыльцо особым способом: брал

обеими руками правую ногу под коленом, ставил на ступеньку и, опираясь на эту ногу, распрямлял все тело; затем брал руками левую ногу, ставил на следующую ступеньку и тогда распрямлялся. Так, поднимая руками свои ноги, вползал на крыльцо. Самому поднять согнутую в колене ногу не хватало сил.

Если разговаривал с кем-нибудь, держа что-то в опущенной руке, то через несколько минут оказывалось, что пальцы у меня незаметно сами собой разжались и выронили предмет, который я держал. Все больше овладевали мною вялость и апатия ко всему, постоянно хотелось спать.

К этому времени относятся стихи, в которых я суммировал впечатления Карабаса и Бурмы.

**Пеллагра**

*Руки стянуты кожей, сухой и багровой,*
*У меня нету ягодиц – больно сидеть.*
*Я предстал пред собою в обличии новом,*
*Я сонлив, как в берлоге медведь.*
*За ногами волочится тяжесть всей жизни.*
*Я иссох. Я старик. Я разбитый одер.*

*За какие грехи так карает Отчизна —*

*Не понять, не узнать до сих пор.*

*Это ты, восковая старуха пеллагра,*

*Итальянская ведьма, костлявый фантом!*

*Что ты скалишься здесь так бесстыдно и нагло,*

*Веешь черным смертельным крылом?*

*Они тают, как снег, мои братья по койке…*

*Обострившийся нос и слюда стылых глаз…*

*На холстине пятнистой носил их не раз.*

*Нужно стать отупелым, покорным и стойким,*

*Нужно драться, как зверь, за добычу, за пищу,*

*Отрастить волчью шерсть, приобресть лисью стать,*

*Чтобы в низменной жизни, голодной и нищей,*

*Не сгореть, не дойти, не пропасть.*

*Мы по-новому поняли ценность земного.*

*О простейшая химия! Разве думать я мог,*

*Разве не было мне непривычно и ново,*

*Что основа основ – углевод и белок?*

*Сладкий сахарный хруст, молока бархатистость,*

*Масло нежное, мясо, огурца малахит,*

*И пунцовый редис, вымытый чисто, —*

*Славься, сил и здоровья гранит!*

*Не поддамся тебе, костлявая выжига!*

*Понапрасну, старуха, твой дьявольский труд.*

*Что б ни ждало меня, я назло тебе выживу,*

*Не сгорю.*

*Не дойду!*

*Не умру.*

Знакомый хирург, заключенный, несмотря на дрожащие от старости руки работавший в стационаре, одобрил стихи: «Точная клиническая картина».

Вероятно, очередная медицинская комиссия заметила мое физическое состояние. Отправили меня в полустационар, который находился в зоне. Отправили тихо умирать, как умирали положенные туда дистрофики.

## 30

Очутившись за колючей проволокой, в зоне, первым делом разыскал я доктора Катценштейна, которого не видел с первого дня прибытия в Бурму. Нашел его в амбулатории, где он вместе с лекпомом принимал больных — бодрый, деятельный, в белом халате не первой свежести, из-под которого виднелись стеганые штаны и грубые лагерные ботинки. Катценштейн поблагодарил меня за письмо, которое незадолго перед тем я послал ему в зону. Мне сообщили, что у доктора умерла жена, вместе с ним сосланная в Казахстан, и я счел долгом выразить свое соболезнование. В той обстановке, в какой мы находились, особенно требовалось человеческое участие к чужому горю.

Из амбулатории я ушел, искренне довольный за Катценштейна: что бы там ни было, но работал он как врач, по своей специальности.

Однако новый тяжелый удар обрушился в ско-

ром времени на доктора. Внезапно его бросили на общие работы. Очевидно, чем-то не угодил, в чем-то не потрафил. Характер у Катценштейна был не из тех, какие любит начальство, тем более лагерное.

Узнав новость, я поплелся разыскивать друга, чтобы выразить ему свое сочувствие. Ни в амбулатории, ни в бараке его не было. Лишь обойдя всю зону, я нашел Катценштейна где-то на пустынных задворках, среди саманных стен нового строящегося какого-то корпуса. Совершенно один, доктор возбужденно расхаживал из угла в угол.

— Что вам надо? Уходите! — гневно закричал он, едва меня увидев. — Уходите!

Я потащился назад, обескураженный, но отнюдь не обиженный таким приемом. Душевное состояние доктора было понятно. В эти минуты он жаждал полного одиночества, он, как раненый зверь, забился в нору, а тут появляюсь я со своим непрошеным сочувствием. Да и вообще натурам такого склада оскорбительно всякое сочувствие. «Гордость — это единственное, что у меня теперь осталось», — сказал мне как-то Катценштейн.

Его направили на самые тяжелые работы, на саман — лепить и складывать тяжелые саманные

блоки. Я видел, как в обед и вечерами возвращался он с партией саманщиков в зону — в черной лагерной ушанке на крупной голове, в коричневом своем бушлате, с пустой трубкой в зубах, спокойный, внутренне какой-то независимый.

— Что, тяжелая работа? — спрашивал я сочувственно. (Все-таки не мог не сочувствовать.)

— О нет! — бодро отвечал доктор. — Немного работал, немного отдыхал. Товарищи помогали мне, работали, а я стоял и курил. Мне давали табак… Ничего!

Не думаю, чтобы в лагере кто-нибудь взвалил на свои плечи чужую работу.

Вскоре я навсегда распрощался с Катценштейном, который попал в какой-то дальний этап. Несколько месяцев спустя — был уже конец сорок четвертого года — я получил от него письмо. Доктор писал, что находится на Дальнем Востоке, в одном из тамошних лагерей, работает врачом и очень доволен своим положением. У него отдельная кабинка и собственная тарелка — тарелка, а не котелок. (Написал «талерка».)

«Вы знаете, я не люблю газетных фраз, — писал он дальше. — Но я искренне восхищен действиями Красной армии».

Так немецкий шпион писал антисоветчику.

Это было первое и последнее письмо от доктора Катценштейна. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Хочу надеяться, что не пришлось ему полностью отсидеть все пятнадцать своих лет, что дождался он признания своей невиновности и остаток жизни прожил человеком, ничем не запятнанным.

Теперь почти все время пребывал я в лежачем положении и покидал койку лишь по необходимости. Внутри полустационар напоминал жесткий купированный вагон, лишенный разделявших отдельные купе стенок. Такая система нар называлась «вагонка». Двухъярусные вагонки тянулись в несколько рядов. Барак не отапливался даже зимой, но благодаря множеству находившихся здесь людей, а также благодаря тому, что я устроился наверху, под низким бугорчатым беленым потолком, и спал, не раздеваясь, было сравнительно тепло. Никто не раздевался. Люди лежали под грязными тканьевыми или байковыми одеялами в своих грязных, рваных, засаленных телогрейках и стеганых штанах, в теплых шапках, натянутых на стриженые головы. Снимали только бутсы. Постельного белья не существовало — лежали на грязных дерюжных матрацах, неизвестно чем набитых, под головой

— грязные, жесткие, шуршащие соломой подушки. Однако вши не водились — за этим следили. Раз в десять дней всех гнали мыться. Длинная вереница доходяг, с головой закутанных в свои одеяла, медленно брела среди снегов в баню, находившуюся за зоной. Унылое было зрелище. Нас сопровождал не конвоир с винтовкой, а безоружный надзиратель. Побега опасаться не приходилось, люди едва таскали ноги.

Раздевались, мылись — выставка живых, обтянутых кожей скелетов. Иногда нам выдавали по крошечному кусочку темного, немылкого мыла, но чаще мы обходились без него. Мыло годилось самим банщикам для всякого рода коммерчески-продовольственных операций. Белье и принесенные с собой одеяла сдавались в раскаленную дезкамеру. После такого мытья мы получали наше грязное белье из прожарки обратно — оно было горячее, смуглое и почему-то пахло печеным хлебом, — натягивали на свои кости и плелись обратно в зону. Смены белья не знали, носили белье до тех пор, пока оно совсем не истлевало от прожарок.

Приближаясь с каждым днем к смерти, мы жили кротко и тихо, без обычных в лагере ссор, перебранок и драк, больше лежа, чем сидя, мир-

но беседовали между собой слабыми голосами и оживлялись только утром, в обед и вечером, когда раздавали нам горячую пищу. Питание было больничное, знакомое мне по карабасскому стационару, кроме того, время от времени давали пить кисленькие, похожие на квасок, разведенные на воде дрожжи.

Иногда по бараку, молча и внимательно всех оглядывая, проходил начальник санчасти, хмурый человек в защитного цвета фуражке.

Рядом со мною лежал Чиж, польский еврей, инженер-химик. Я видел его главным образом в профиль, и этот тонкий, чуть горбоносый, прозрачный профиль в лагерной шапке со спущенными всегда наушниками, точно в шлеме, напоминал мне бесплотных средневековых воинов, каких изображали художники-прерафаэлиты.

Судьба моего соседа — одна из любопытнейших среди причудливых лагерных судеб.

Жил и работал инженер-химик Чиж в Польше, вырос он в состоятельной буржуазной семье. Когда на бывших польских землях, Западной Украины и Западной Белоруссии, отошедших к России, стали устанавливаться советские порядки, Чиж решил бежать в соседнюю с его местами

буржуазную тогда Румынию. Новые порядки, принесенные Красной армией, не были ему по душе. Однако его постигла неудача: на польско-румынской границе поймали наши пограничники. Допрос. Чиж заявил, что по национальности он румын, живет в Румынии, в таком-то приграничном городке-местечке. Как попал сюда? Шел по делам и на советскую сторону попал совершенно случайно, сбившись с дороги в ночной темноте. Проверки он не боялся — румынским хорошо владел. Вообще-то у него были исключительные лингвистические способности. Знал Чиж двенадцать европейских языков, живых и мертвых, начиная с латыни.

Дело как будто шло уже к благополучной развязке, но тут, на грех, взгляд допрашивавшего его лейтенанта случайно упал на ботинки инженера.

— Так, говорите, вы румын?

— Румын.

— Каким же образом попала в Румынию обувь советского производства?

Новые, недавно купленные в магазине ботинки погубили Чижа. Конечно, ему был пришит шпионаж.

В Карлаг инженера привезли с заполярной

Воркуты, где он работал в угольных шахтах.

— Но я не работал, — рассказывал Чиж, лежа бок о бок. — Я сказал: «Меня привезли сюда не работать, а исправлять. Ну вот и исправляйте меня». — Слабый его голос с сильным польским акцентом дышал тихой иронией.

Иногда осторожно, цепляясь хилыми руками, сползал он со своей койки вниз и брел по узкому проходу между вагонками — сутулясь, с замедленными движениями, весь угасший. Наверно, таким же выглядел и я со стороны.

Не раз приходилось мне наблюдать это полное спокойной иронии отношение иностранцев-заключенных к тому, что творилось вокруг и что делали с ними самими. Казалось, они смотрят на окружающую советскую действительность сверху вниз, глазами европейского путешественника, попавшего к дикарям. Они считали себя выше ее.

Помню, как-то в осенний холодный день стоял я на дворе зоны. Рядом со мной остановились несколько немецких солдат в своей форме, такой знакомой по фронту. Пленные немцы и японцы, случалось, попадали и в лагеря обычного типа по обвинению в саботаже или хулиганстве, как квалифицировалась их вина.

Стояли кучкой немцы, наблюдали жизнь зоны. Мрачная, безотрадная была картина. Серое, с нависшими дождевыми тучами небо, серая, залитая лужами, жидкая грязь под ногами, низенькие облезлые бараки, бесцельно стоящие группами там и тут либо лениво слоняющиеся из угла в угол серые понурые оборванцы с котелками в руках… Поодаль — вышки со скучающими часовыми, тройная проволочная ограда…

Высокий немец с умным лицом глядел-глядел вот так — насунуто серое кепи с большим козырьком, руки в карманах зеленоватой шинели. И вдруг тихо, но явственно — мне было слышно — проговорил, видно, в ответ на свои мысли:

— Парадиз!

Убийственным сарказмом пахну́ло на меня.

«Парадиз» означало рай. Социалистический рай.

Недалеко от моего места в бараке лежал Юрка, мальчик лет шестнадцати-семнадцати, с бледным нервным лицом. Он попал в лагерь со школьной скамьи за случайное убийство. Затеял как-то на верхней площадке лестницы драку, а может быть, борьбу с товарищем и, в азарте схватки слишком перегнув через перила, сбросил его с высоты третьего этажа.

Обычно юнцы его лет, попадая в исправительно-трудовые лагеря, сразу сходятся с блатными и превращаются в настоящих преступников. Юрка при первой возможности попытался бежать. Его поймали, как полагается, жестоко избили, и лагерный суд прибавил срок заключения. Выбрав подходящий момент, он снова бежал. Его снова поймали, поколотили еще крепче, вновь судили и добавили еще несколько лет. Каждый на его месте утихомирился бы, смирился — плетью обуха не перешибешь, — и стал приспосабливаться к лагерному житью-бытью. Но в этом бледном мальчике жила гордая орлиная душа, никак не мирившаяся с неволей. Он сделал третью попытку побега, после чего, с отбитыми легкими и почками, очутился в полустационаре.

Вскоре здесь и умер.

## 31

Но среди десятков трагических фигур, из которых почти о каждой можно написать роман, выделялась, резко отличающаяся от них, своеобразная фигура старожила полустационара Максимова, в прошлом фотографа. О нет, он не был доходягой, как окружающие. Наоборот, он чувствовал себя здесь неплохо. Он преуспевал

здесь — юркий, подвижный, энергичный, хитренький, с желтым ястребиным лицом. Был это лагерный коммерсант.

В качестве туберкулезника-хроника Максимов жил в полустационаре и из зоны не выходил, но тем не менее всегда у него можно было купить и хлебную пайку, и махорку, и дыню с огородов. Вечно он был занят темными коммерческими махинациями, то и дело, зябко кутаясь в бушлат, исчезал из барака, вел какие-то таинственные переговоры с работягами, когда те возвращались после трудового дня в зону, что-то потом приносил на свое место, пряча под полой. Для меня было загадкой, как ухитрялись проносить работяги хотя бы те же дыни — ведь у ворот каждый из них подвергался обыску, однако факт остается фактом: Максимов торговал и дынями.

Вместе с дневальным он представлял собою аристократию барака, даже спал с ним рядом. О политике — человек смышленый — никогда не заводил речь, хоть и сидел по пятьдесят восьмой. Разговоры на такие темы не рекомендовались даже в лагере. Многие из «политиков», очутившись в заключении, полагали в простоте душевной, что хуже быть уже не может, и позволяли себе иной раз высказать свое мнение о лагерной

жизни, о войне, о советских порядках. Роковое заблужденье. Могло быть хуже — добавочный срок. Лагерь кишел стукачами. Оппозиционные настроения Максимова выражались только в том, что он делал вид, хихикая, будто никак не может выговорить слово «генералиссимус». Незадолго перед тем Сталину было поднесено звание, которым обладал один только Суворов.

От Максимова я узнал, какая интересная и прибыльная работа фотографа, особенно в летнюю пору. Выбирай себе курортное место по вкусу, хочешь — Крым, хочешь — Черноморское побережье, и поезжай. Броди по пляжу с аппаратом и снимай весь день — от желающих сняться на фоне моря и гор отбоя не будет.

Слушал я сладкопевца Максимова и думал: если доживу до конца срока и выйду на волю, займусь, пожалуй, фотографией. Для куска хлеба. На литературной работе, которой занимался всю жизнь, придется поставить крест. Писать, конечно, никто мне запретить не может, и писать я буду, но в стол. Ни один журнал, ни одно издательство больше уж меня не напечатает. Как же, сидел по 58-й! Политический преступник Достоевский, думал я, отбыв каторгу и с точки зрения правительства вовсе не реабилитированный, тем

не менее печатал после того лучшие свои вещи. Но то было в проклятое царское время.

Ловкий, оборотистый, жизнерадостный стяжатель Максимов не дождался воли, умер в полустационаре, и все нажитые грошовой спекуляцией деньги, которые, наверно, хранил он на себе, достались тем, кто раздевал и убирал мертвое его тело.

Лежа на своих дерюжных матрацах, мы коротали время рассказами. Все рассказы, все наши беседы вертелись вокруг одной и той же темы — пищи. Один мечтательно вспоминал вслух, какие в детстве пекла у него мать сочни и как их в деревне пекут; другой говорил о ресторанных блюдах, какие случалось ему едать; третий подробнейшим образом рассказывал, как лучше откармливать гусей и кабанчиков, причем иные вступали слабыми голосами с ним в спор; четвертый пускался в научную беседу о необходимых человеку белках, жирах, углеводах и калориях.

И все вокруг слушали, как слушают детективный роман.

Впрочем, я вносил некоторое разнообразие в подобные беседы. Я передавал содержание лермонтовского «Фаталиста», «Дубровского», «Пиковой дамы», «Тараса Бульбы», «Ночи под

Рождество». Рассказы пользовались успехом. Для большинства слушателей все это было совершенно неизвестно. На блатных ребят, страстных картежников — было их несколько человек, — особенное впечатление производила «Пиковая дама» — магические беспроигрышные три карты.

Вспоминаются темные глухие зимние вечера в полустационаре. Только у входной двери, где находятся места дневального и Максимова, слабо брезжит самодельная коптилка, готовая погаснуть от малейшего движения. Да в ближайшее замерзшее окошко пробивается сквозь наледь золотистый мерцающий свет фонаря на дворе.

Я лежу на верхней полке, натянув одеяло до подбородка, и вполголоса веду рассказ о Германе или Вуличе. Слушателей в темноте не видно. Тишина, шорохи, иногда чей-нибудь слабый голос. Кто-то уже заснул — легкое похрапывание в потемках… Кто-то кашляет…

После Цивковский — длинный железнодорожник с добродушным подвижным лицом (мы лежали на верхнем ярусе макушка к макушке) — говорил мне с умиленьем:

— Ты очень хорошо рассказываешь, Фибих. Я так люблю тебя слушать. Слушаешь, слушаешь

— и незаметно заснешь.

Комплимент был несколько двусмысленный, но зато шел от чистого сердца.

Другие мне говорили, что если я попаду в среду у́рок, то, как рассказчик, буду пользоваться у них почетом.

— Уж табачком всегда будете обеспечены, можете не сомневаться.

Действительно, блатари, благодарные, детски непосредственные слушатели и очень любят рассказывать всевозможные «романа́», неизвестно кем сочиненные. Вот, к примеру, начало такого «ро́мана», случайно подслушанного на Карабасе.

«Недалеко от города Парижа, в окрестностях Франции, жил бедный столяр. Были у него сын Сергей и дочь Маруся, собою красавица…»

Дальше повествуется о том, как буржуйский сынок соблазнил и бросил красавицу Марусю. Сергей вступается за честь сестры. Он становится честным, правильным вором, начинает грабить буржуев и таким образом мстит за нанесенную его сестре тяжелую обиду. И так далее.

Преступный мир стремится, по-видимому, не только к романтизации своего ремесла, но и к моральному его оправданию.

В один из обходов полустационара начальник

санчасти, вопреки обыкновению, остановился у моей койки и сказал несколько слов. Две фразы мне запомнились:

— Вам недостаточно больничного питания. Для того чтобы поставить вас на ноги, требуется еще дополнительное питание.

Сказал и пошел дальше, опытный человек.

Вот этим-то дополнительным питанием, этим довеском, благодаря которому чаши весов моей жизни и смерти, стоящие на одном уровне, заколебались и чаша жизни стала перетягивать, — оказались ежемесячные мамины, совсем не роскошные, но спасительные посылки. Дело было не только в тех пищевых продуктах, которые она присылала, — белых, насушенных ею сухариках, куске шпика или банке американской тушенки, сахаре, печенье и прочем. Дело было и в присылаемых ею вещах, которые я утилизировал с наибольшей для себя выгодой. Взять хотя бы московские газеты — их можно было посылать. Прочитав их с большим интересом от корки до корки, после того я разрезал газеты самодельным ножичком на мелкие квадратики для самокруток. Такие бумажки продавал курильщикам по здешней таксе: двадцать копеек каждая. А на вырученные деньги покупал у Максимова хлеб

и дыни.

Но как сложно, как мучительно было всякий раз получать посылку из Москвы! Радость, нежная благодарность маме, боль за нее вскоре сменялись озабоченностью: как лучше распределить полученное? Что съесть самому, а чем поделиться с соседями, с Чижом, с Цивковским? Ведь невозможно все сожрать самому и ни крошки не уделить изголодавшимся товарищам, которые лежат бок о бок. И так со всех сторон устремлены на тебя горящие глаза: смотрят, что получил, наблюдают за каждым твоим движением, следят, как разбираешь присланное, что именно ешь. Кусок застревал в горле.

А с другой стороны, не может моя бедная мама кормить десятки голодных людей в ущерб мне, ее сыну. Ведь последнее от себя отрывает.

Распакованную продуктовую посылку приходилось хранить у себя под головой, на глазах у всех. Новые тревоги и опасения: как бы ночью, когда спишь, не забралась туда чужая рука.

С чувством нравственного удовлетворения вспоминаю лагерную свою характеристику, данную одним уркой, с которым, уже позже, пришлось лежать в бурминском стационаре:

— Вы артельный мужик. Вас везде уважать

будут, — сказал он.

Что ж, как будто уважали…

Регулярные мамины посылки все-таки сделали свое дело. Всю суровую казахстанскую зиму, с сорокаградусными морозами, с бешеными буранами, когда, выйдя из барака, сразу же попадаешь в кипящее ледяное молоко, где за пять шагов человека не видно, нечем дышать, — всю эту зиму пролежал я в полустационаре, в зоне, а весной врачи сочли меня, видимо, достаточно уже окрепшим и выписали.

После, несколько месяцев спустя, когда я был переброшен на расконвоированный участок Дарью́, приехавший туда начальник санчасти сказал, как мне передали товарищи:

— Мы никак не думали, что Фибих выживет.

## 32

Сразу после выхода из зоны меня послали на работу — скалывать лед перед квартирой начальника отделения лейтенанта Завадского. Была весна, оттепель, светило яркое солнце, снег почти весь стаял.

С трудом мог я поднять тяжелый лом, который мне дали. Стукну раза два и стою, дышу, собираюсь с мыслями. Тем не менее минут через десять

я уже набил себе водяные пузыри. Рукавиц мне не дали. Еще через несколько минут пузыри были сорваны. Холодное железо лома липло к окровавленным ладоням.

Вышел дворник начальника отделения, заключенный, крепкий усатый старик, по внешности напоминавший Сталина, и набросился на меня:

— Чего ты, как курица, тюкаешь? Стоит, тюкает… Работать надо, а не дурака валять. Кормят вас, лодырей, дармоедов!

Это был типичный лагерный холуй. Наверно, вот так же, как подхалимничал сейчас перед начальником отделения, в свое время угодничал перед немцами на оккупированной территории.

Лагерь воспитал во мне ненависть к холуйству и к холуям всякого рода.

Я был слишком слаб для того, чтобы ответить усатому дворнику так, как следовало. Я даже не показал ему своих ладоней, по которым стекала кровь, как у распятого Христа. Не показал из-за презрения к этому человеку. Я молчал и продолжал тюкать тяжелым ломом, долбя, как мог, грязный лед.

Вскоре, однако, судьба мне улыбнулась: послали на общую кухню чистить картошку. Картошка! Мы, зеки, не видели ее, мы могли только сладост-

но мечтать о ней и иначе как «картошечка» не называли. А теперь втроем — я и еще двое заключенных — мы часами сидели на кухне возле больших, туго набитых мешков и непрерывно срезали ножами ленты картофельной кожуры. Продукция наша шла в столовую для вольных, не заключенным.

Улучив удобную минуту, то один, то другой из нас хватал несколько наиболее крупных картофелин, передавал через проделанное в стене квадратное оконце в кочегарку и вновь усаживался прилежно работать ножом. Там картофелины пекли в золе и, некоторое время спустя, передавали нам обратно — горячие, обжигающие, покрытые серой пыльцой. Даже без соли удивительно вкусна была печеная картошка. Половина того, что мы передавали, по молчаливому соглашению оставалась у кочегаров.

Затем пришло повышение по службе: из кухонных мужиков при столовой для заключенных перевели меня в истопники при вольной столовой.

Рабочий день начинался с пяти утра. У двери кочегарки ждала меня большая копна сухого сена, еще с вечера привезенная и сваленная здесь. Степная безлесная Бурма отапливалась сеном,

соломой, кизяками и караганником — здешним низкорослым кустарником, за которым ходили специальные рабочие бригады. Карагандинского угля мы не видели.

Первым делом нужно было перетаскать на вилах все привезенное сено к себе в закоптелую, пыльную, пахнущую застарелой гарью кочегарку и сложить у стены, чтобы под рукой было. Только-только заканчивал перетаскивать, как от моего начальства — повара поступала команда:

— Начинай топить.

И тут я превращался в автомат, совершающий в продолжение нескольких часов одни и те же механические движения. Становился роботом. Топок было две. Я открывал чугунную дверку одной, уже топившейся, всаживал вилы в сено, совал захваченный навильник в гудящий оранжевый огонь, шуровал, чтобы лучше горело, закрывая дверку первой топки, открывал дверку второй, всаживал вилы в сено, совал в топку, шуровал, закрывал печь. Схваченное пламенем сено в первой топке мгновенно прогорало. Опять открывай дверку, захватывай новый навильник, суй в печь, закрывай дверку, открывай дверку второй, где сено тоже уже сгорело, суй туда, закрывай дверку второй печи, открывай первую.

Дверка — сено — топка — дверка; дверка — сено — топка — дверка; дверка — сено — топка — дверка; дверка — сено — топка — дверка. Пламя в печах гудело, ярилось…

Так непрерывно в течение нескольких часов.

Сыроватое сено плохо сгорало, порой в печи слышался глухой пушечный выстрел, и вырвавшийся наружу клуб серого дыма застилал тесную кочегарку. Очевидно, то же самое происходило и в кухне, потому что сквозь проделанное в стене окошечко доносился тревожный голос повара:

— Что у тебя там?

Наконец звучала долгожданная команда из-за стены:

— Хватит!

Теперь наконец можно было присесть и отдохнуть, вытирая стекающую по мокрому лицу сажу. От сена, которым стена кочегарки была забита до потолка, и помина теперь не оставалось.

— Сейчас, пророк Даниил, будем с тобой чудеса разделывать! — бодро слышалось из кухни. Чудеса заключались в том, что повар начинал печь пироги с творогом, которые часто бывали у вольных на обед. Когда же пироги были готовы, он появлялся в дверях кочегарки, держа глубокую миску с горой обгорелых, срезанных с пирогов

корок.

— Получай, пророк Даниил, во рву львином. Трамбуй.

И я принимался трамбовать, выбирая из горелого мало-мальски съедобное.

Мой благодетель был рослый представительный старик в белом поварском колпаке и белом фартуке, заключенный, седовласый, с лазоревыми смышлеными глазками. Круглое румяное лицо всегда было гладко выбрито. В свободные часы он сидел в своем белом колпаке на табуретке и читал газету. Это был классический крыловский повар-грамотей. Не помню уж, как звали его, кажется, Тимофей Савельич.

Держался Тимофей Савельич весьма независимо, знал себе цену. То и дело происходили у него жестокие баталии с заведующей столовой. Сидя в своей грязной кочегарке, я слышал доносившиеся из кухни повышенные голоса: женские вопли и сердитый мужской басок. Неизвестно, по какой причине они вечно ругались, повар-заключенный и заведующая-вольная.

К концу рабочего дня я выгребал из печей в ведро горячую, дышащую розовым жаром золу, выносил ее на пустырь, наводил в кочегарке кое-какой порядок и, насквозь пропыленный,

мокрый от пота, совершенно измочаленный, тащился к себе в барак. Брел, едва передвигая ноги, и давал мысленно клятву, что работал сегодня последний день, завтра же откажусь и залягу в бараке. Моя четвертая категория давала на это право. Ну ее ко всем чертям, вольную столовую!

Но когда укладывался на ночлег, передо мной волшебным виденьем рисовалась миска с обгорелыми кусками пирога в руках Савельича — и решимость моя начинала таять. Где бы еще подносили мне пироги с творогом, пусть и горелые?

И на следующее утро, когда поселок еще спал, опять плелся я в свою кочегарку топить сеном прорвы-печи.

Месяц с небольшим довелось работать истопником на вольной кухне. Подошло лето, и меня направили на расконвоированный, затерянный среди лысых сопок огородный участок Дарью.

## 33

Участок был маленький, жило там всего с полсотни человек, а начальником его состоял сержант Ситько, молодой, высокого роста, длинноногий плут в голубой фуражке. Первым делом определили меня в воловики — пасти по ночам волов. На этот раз работа попалась, по лагерному

выражению, не бей лежачего. Можно было отдохнуть от кочегарки.

Весь день я был свободен, а вечером, когда начинало темнеть, натягивал на себя рваный бараний кожух, вооружался, вместо копья, длинным шестом с металлическим наконечником и гнал десяток имевшихся на участке волов в степь подальше от белеющего в сумерках длинного нашего барака, в котором жили все зеки участка.

Новые знакомые, среди которых были интеллигентные люди, прозвали меня Витязем в барсовой шкуре.

Но вот барак скрывался из виду. Витязь залезал на ближайший стог, в мягкое сено, закутывался не в барсову, а в баранью шкуру и сладко засыпал до рассвета, предоставив волам полную свободу действий. На рассвете, когда темное небо еще переливалось яркими казахстанскими звездами, а ночной холодок чувствовался острее, я просыпался и шел разыскивать своих рогатых подшефных, которые за ночь разбредались по степи, но все же держались примерно вместе. Стоило найти одного — и можно уже быть спокойным, остальные поблизости. Правда, случалось, что возникшее поодаль в темноте черное пятно при подходе к нему оказывалось вовсе не отдыхающим волом,

как я обрадованно думал, а кустом караганника.

Но, как бы там ни было, к шести часам утра, к подъему, все десять моих волов бывали собраны, я пригонял их на участок и со спокойной душой шел завтракать.

Внутри дарьи́нский барак был оборудован не сплошными нарами, как на Карабасе, не вагонками, как в Бурме, а отдельными, плетенными из ивняка койками, вкопанными в земляной пол. Между ними стояли грубые самодельные столики. По правую руку от меня спал тихий полячок Пук, по левую — отец Павел, священник. Отец Павел принадлежал к категории попов-карьеристов. До революции был он заурядным священником. В первые годы советской власти, когда среди духовенства возникло обновленное движение, возглавляемое митрополитом Введенским, отец Павел решил примкнуть к «живой церкви». Но «живая церковь» быстро увяла, и тогда он вернулся в лоно старой, тихоновской. Во время последней войны, когда в оккупированном Краснодаре, где он жил, гитлеровские власти открыли русскую гимназию, отец Павел стал преподавать закон Божий. За это и попал в лагерь.

Внешне отец Павел смахивал на старого ефрейтора: седые волосы коротко острижены, борода

брита, браво закручены белые усы, выправка. Только серый подрясник да поповская бобровая шапка говорили о былой его профессии. На один глаз он косил.

Знавший тонкое обхожденье, был отец Павел дамским угодником. Всех живущих на участке женщин, до пятидесяти лет неизменно спрашивал: «Неужели вам больше восемнадцати?» Комплимент безошибочно доходил до женского сердца. Все бабы, начиная от стряпухи-немки, усердно подкармливали попа. Пообедав, он шел с миской на кухню получать добавок. Если кто из женщин варил себе что-нибудь — он всегда был неизменным и почетным гостем, развлекавшим хозяйку душеспасительно-светской беседой.

В последней посылке, которую я получил от мамы, была в числе прочего банка сгущенного сладкого молока. Редкий подарок. Перед тем как отправиться на ночное дежурство в степь, я вскрыл банку, попробовал чайной ложечкой, затем спрятал в изголовье койки и отправился пасти волов. Шел, опираясь на свой посох, и мечтал, как завтра утром, воротясь в барак, попью сладкого чая с молочком. Сколько уже лет, включая военные годы, не пробовал я молока. Ну, конечно, угощу и Пука, и отца Павла, соседей…

Однако утром, когда я вернулся с дежурства, меня ждал неприятный сюрприз: банка была пуста. Лишь на донышке осталось немного сгущенного молока примерно на палец. Осмотрел койку, не пролил ли случайно. Нет, ничего не вылилось, все было сухо.

— Пук! — спросил я полячка. — Ты не видел, кто-нибудь пил мое молоко?

— То отец Павел, — ответил Пук.

— Ойцец Павел?

— Але так, товарищ Фибих. Ойцец Павел. Ночью. Так сма́ктал, сма́ктал…

Я вышел из барака. Отец Павел, с метлой в руках, мирно подметал, в качестве дворника, площадку перед строением — больше пылил, чем мел.

— Ну как вам понравилось мое сгущенное молоко, отец Павел? — спросил я. Поп перестал мести и уставился на меня, опираясь на метлу. Неопределенный взгляд его — один глаз на вас, другой на Арзамас — выражал оскорбленное недоумение.

— Я вас не понимаю, Даниил Владимирович.

— Чего же не понимать? Вы выпили целую банку сгущенного молока из моей посылки.

— Даниил Владимирович! — сказал поп с дро-

жью в голосе. — Такое странное обвинение… Я всегда относился к вам как к сыну… Я никак не ждал от вас…

Мне стало неловко. Может быть, действительно зря обидел старика? Воротясь в барак, я вновь принялся расспрашивать Пука, точно ли он видел, как поп «сма́ктал» молоко? Не ошибся ли, не показалось ли ему это? Но поляк так горячо продолжал подтверждать сказанное, так клялся в этом, что я не мог ему не поверить.

На самого Пука подозрения у меня не было: уже знал железнодорожника как человека честного, тихого и неспособного на кражу у соседа. Я бы ничего не сказал, будь на самом деле голоден поп-сладкоежка, сумевший на один присест проглотить банку сгущенного сладкого молока. Но он не голоден, он был сыт, бабы закармливали его, такого приятного, обходительного священника-мученика.

В некий прекрасный день начальник участка Ситько произвел меня из воловиков в продуктовозы. То был гигантский скачок в моей лагерной карьере, бурной и прихотливой. Только подумать: быть около пищевых продуктов и самому ими распоряжаться!

Раз в пятидневку я запрягал молодого бычка в

грабарку — ящик на двух колесах — складывал туда пустую тару под продовольствие, усаживался сам и ехал на базу, километров за восемь от Дарьи́. Это были немногие светлые часы во всей моей лагерной жизни, дающие иллюзию полной свободы. Я ехал совершенно один, сам себе хозяин, время от времени погоняя лениво шагающего бычка. Стояло лето, высоко в зените сверкало горячее, припекающее затылок солнце, пустынная каменистая дорога, на которой никто никогда не встречался, вилась среди пологих склонов диких сопок, пятнистых от скудных зарослей караганника. Мягко и размеренно постукивали раздвоенные бычьи копыта, поскрипывало колесо.

За любознательный свой нрав мой бычок получил кличку Ревизор. Но, как вскоре оказалось, был он, помимо того, своенравен, упрям, хитер и очень коварен. Отношения у нас с ним сразу же стали натянутыми.

Однажды, пригретый солнышком, я задремал в пути, свернувшись на дне пока еще пустой грабарки. Сколько спал — не знаю, но проснулся оттого, что меня вдруг нещадно стало трясти и подбрасывать. Поднял голову и в первую минуту спросонья ничего не понял. Дороги не было, во-

круг теснились совершенно незнакомые пологие горы. Я ехал по камням каким-то пустынным первобытным ущельем. Оказалось, Ревизор, когда я спал, вздумал познакомиться с новыми местами, свернул с дороги и потащил грабарку куда глаза глядят. У меня не было ни малейшего представления, где нахожусь, кругом лежала безлюдная казахстанская пустыня. Оставалась надежда, что не век же будет Ревизор таскать меня по ущельям. Надоест ему, проголодается и сам пойдет искать человеческое жилье. Но, не дожидаясь, когда это произойдет, я повернул быка обратно и, после долгих поисков, выбрался наконец на проезжую дорогу — лишних часа два потратил.

Ревизор сыграл со мною еще более коварную шутку.

По пути на базу пришлось мне на несколько минут покинуть грабарку. Я остановил бычка и вылез. Ревизор покосился на меня через плечо — очень хитрый был этот взгляд — увидел, что я слез, и вдруг припустил по дороге что есть мочи. Он, которого никакой палкой нельзя было заставить прибавить шагу, теперь мчался с невиданной прытью, удирая от меня.

Работа на кухне, вернее, то «добавочное питание», которым я там пользовался, несколько

укрепила меня физически, но все же до прежней формы было еще далеко. С большим трудом, задохнувшись от бега, догнал я и остановил подлую скотину. Поехал на ней обратно подбирать далеко рассыпавшиеся по дороге пустые ящики, мешки, корзины, бутыли под молоко и постное масло. Собирал и с ужасом думал: а что, если бы это произошло в то время, когда я ехал обратно, уже нагруженный полученными продуктами? Тогда бы на целую пятидневку участок остался без продовольствия.

Был случай, когда Ревизор вполне сознательно пытался вывалить меня из грабарки. Я ехал вдоль длинной скирды. Внезапно он пошел, прижимаясь боком, впритирку вдоль отвесной стены сена, так что грабарка, в которой сидел я, круто перекосилась и ехала только на одном колесе. Еле удалось ее выправить.

Животные несравненно умнее, и поступки их гораздо более сознательны, чем думает это академик Павлов, сводящий всю сложную их психологическую жизнь к узкой механической теории условных рефлексов.

А вообще быки, с которыми приходилось иметь мне дело, существа своевольные, ленивые, тупоупрямые, враждебные человеку, причем тупость

у них часто сочетается с хитростью. Никакого сравнения с умной, доброй, послушной хозяину лошадью. Женщины, которым приходилось работать на быках, часто приходили в отчаяние и плакали, не в силах заставить их повиноваться.

Положительно мне не везло с хорошей, легкой работой. Вскоре пришел случай в этом убедиться.

Для вольных, которых на участке было человека три-четыре, существовали в то время продовольственные карточки, по ним я и получал, и выдавал на руки продукты. Заглянула ко мне в каптерку жена Ситько — высокая, как муж, молодая, довольно миловидная — и попросила кило хлеба.

— Вы ведь уже полностью получили по карточкам, — напомнил я.

— Это уж вы с моим мужем поговорите. А мне сейчас нужен хлеб.

Делать нечего, свешал на весах кило хлеба, выдал. Жена Ситько ушла. «Плакала моя дополнительная пайка», — подумал я с грустью. Знакомый счетовод на базе, заключенный, всякий раз, когда я туда приезжал за продуктами, выписывал мне дополнительную пайку, спасибо ему. Да и пайка была пятисотграммовая, так что

мне, чтобы восполнить перерасход, предстояло просидеть на голодной норме два дня.

Вскоре и сам Ситько пожаловал в каптерку за хлебом. Я осторожно напомнил, что весь полагающийся им по карточкам хлеб они уже забрали.

— А я ничего не знаю! — сказал на это сержант. — Разговаривай с моей хозяйкой. Давай, давай хлеб.

Что же, пришлось выдать. Выдал, ломая голову, как теперь покрыть перерасход еще одного кило хлеба. При таких аппетитах начальства, пожалуй, не хватит и моей добавочной пайки. Участок маленький, всего пятьдесят человек, на полагающихся по инструкции процентах усушки и утруски тут не выедешь. Удерживать при выдаче паек людям хотя бы по десять граммов? Но почему я должен лишать своих товарищей их скудного куска хлеба, хотя бы десяти граммов? Ради чего? Да и эти граммы все равно за день составят только полкило. А кроме того, люди очень ревниво следят, сколько им выдают на руки, случается, заставляют у себя на глазах перевешивать пайку…

Видно, все же робкая моя строптивость не понравилась начальству. На следующий день Ситько вновь явился в каптерку, в то время когда

я резал полученные на базе буханки и проверял на весах пайку за пайкой.

— Ну, как дела?

— Ничего, гражданин начальник. Работаю, — ответил я.

— Плохо работаешь! — вдруг объявил Ситько.

— Чем же это плохо?

Ситько обвел ищущим взором мой чуланчик, где на столе багровели куски сырого мяса (для вольных), на полках теснились хлебные буханки, а в углу стояли бочки с кислой капустой и мешки с картошкой (тоже для вольных).

— Грязно у тебя. Паутина висит. (Не знаю, где он узрел паутину.) Нет, Фибих, так у нас дело не пойдет. Не справляетесь вы с работой.

— Вам виднее, — ответил я сухо, не желая вступать в совершенно бесплодное пререкание с начальством. Было понятно, что это результат вчерашнего разговора.

На завтра был я уже на общих работах.

Мое место заняла разбитная, по-мужски стриженная уголовница, в лихой кубанке набекрень, в шароварах с напуском, заправленных в сапожки, говорившая о себе в мужском роде: «я поехал», «я получил». Так одевались и так изъяснялись активные здешние лесбиянки — «коблы».

Очевидно, начальник участка сержант Ситько скорее, чем со мной, нашел общий язык с этим лагерным подонком.

## 34

Был уже конец лета, близилась осень, и на огороде развернулись широкие работы. Копали морковь, свеклу, картошку, свозили в бурты, в овощехранилище.

Сопровождая нагруженную корзинами с картошкой двухколесную грабарку, по дороге всякий раз забегал я в кочегарку, где работал истопником Василий Петрович. Наскоро опорожнял набитые крупными картофелинами карманы и пазуху и возвращался к грабарке, направлявшейся в овощехранилище. Василий Петрович отлично пек их в горячей золе.

Не так давно привезли его в зарешеченном вагоне в Россию из Болгарии, освобожденной от гитлеровцев. Когда-то был Василий Петрович Коньков врангелевским полковником. Но было это давным-давно, Василий Петрович забыл, когда он воевал. Тихо, мирно проживал свой век в Софии, болгарский подданный, имел табачный магазинчик, обзавелся семьей, внуками.

Сейчас это был проворный, выпачканный

сажей старичок с лицом русского офицера и с грязными руками. Странное дело, очень они были похожи, Василий Петрович и бурминский Петр Иванович — белый полковник, эмигрант, и старый коммунист, питерский рабочий. Оба малого росточка, сухонькие, белоголовые, с седыми усами, оба добряки. Только, в противоположность всегда грустному, придавленному Петру Ивановичу, был Василий Петрович подвижным, немного суетливым, этаким петушком, способным еще горячиться и возмущаться.

Мы сидели с ним в закоптелой пыльной кочегарке и насыщались ворованной картошкой, одинаково грязные и голодные, одинаковые перед лицом закона. Рассказывал мне Василий Петрович во время нашей неприхотливой трапезы у печки, в которой трещало и гудело, как эвакуированные из Крыма врангелевские части были интернированы затем в Турции, в Галлиполи. Ожесточенная вражда между двумя политическими течениями в белой армии — монархистами и учредиловцами — выливалась порой в перестрелку. Сам Василий Петрович стоял за Учредительное собрание. Рассказывал, как много лет спустя пришла в Болгарию Советская армия и очистила ее от немцев. Было выпущено

широковещательное воззвание ко всем белым эмигрантам с призывом безбоязненно возвращаться на покинутую ими Родину, где их ждет братская встреча, работа, спокойная жизнь. «Родина вам все простила», — говорилось в таких воззваниях.

Доверчивые люди — а таких было немало — поверили и пришли на пункты явки. И очутились за решеткой. «Но ведь вы же писали, что Родина нас простила?» — «Да, Родина вас простила, — отвечали им на это. — Но народ вас не простил». Все белые эмигранты, ныне большей частью уже старики, осевшие когда-то в Болгарии, Румынии, Чехословакии и не успевшие вовремя оттуда бежать, теперь были схвачены и сосланы в концлагеря Сибири и Казахстана.

У органов сталинской поры был достаточный опыт насильственных массовых переселений. Целые народы, целые республики загонялись в Сибирь, в тайгу и степи — немцы Поволжья, крымские татары, калмыки, Чечня, Ингушетия.

Рассказывал Василий Петрович, как в его присутствии советский майор заявил болгарскому полковнику: «Ваша столица теперь не София, а Москва».

Рассказывал, как допрашивал его следователь.

— Он таскал меня за усы, — очищая худыми грязными пальцами горячую картофелину, незлобно повествовал маленький врангелевский полковник. — Но я его перехитрил. Я попросил надзирателя сбрить мне усы и на следующий допрос явился в таком виде. Он был обескуражен.

(Я вспомнил, как в свое время тоже перехитрил Коваленку, надев под гимнастерку свой шерстяной свитер.)

Кухонные котлы, где варилась убогая наша пища, Василий Петрович разогревал не сеном, а караганником — аккуратно порубленное и сложенное в штабелек древесное топливо колюче щетинилось вдоль бугристой облезлой стены. Топить старику было легче, чем мне когда-то. Спал он тут же, возле печей, на плетеной из лозняка койке. Ночи уже наступали по-осеннему холодные, и старик, наверно, сильно зяб в своей грязной конуре с плетеными стенками, кое-как обмазанными глиной.

Но пользовался он уважением, сам Ситько величал его по имени-отчеству. Начальники участков были хозяйственниками-рабовладельцами, а не тюремщиками и, наверно, потому допускали элемент некоторой патриархальности в своих взаимоотношениях с заключенными. Од-

на только наша стряпуха, жесткого нрава немка из колонисток, не жаловала почему-то Василия Петровича, и полковник частенько сетовал на нее.

— Понимаете, не хочет давать мне добавки, — говорил он детски-обиженным тоном. — Я топлю ей печки, а она хотя бы раз дала лишнюю ложку.

На работу будил по утрам Вася Качурин, одноногий завхоз.

— Директора́! — громко возглашал он, появившись в барачных дверях и подпирая костылем свое неустойчивое, высокое, стройное тело. — Пора за дело приниматься.

Иногда обращение «директора́» заменялось другим:

— Деятели! — говорил он, подпираясь костылем, на пороге.

У него было красивое худое тридцатилетнее лицо. Мягкого спокойного характера, был он демократичен, не строил из себя начальство, что другие, несомненно, делали бы на его месте. Ногу, ампутированную по самое бедро, потерял он, по его словам, в результате хоккейного матча, однако поговаривали, не хоккей был тому причиной, а какой-то неудачный налет. Темное прошлое было у Васи Качурина, прошлое, о котором не

любил он говорить. Но теперь числился он в категории перековавшихся блатарей — существовала такая категория.

Как-то в разговоре употребил он слово «департамент». Выждав, когда мы остались наедине — щадя его самолюбие, — я сказал Васе, что он смешал два слова в одно — «департамент» и «парламент», и объяснил значение каждого. После этого Качурин стал обращаться ко мне за разъяснением встречавшихся ему непонятных слов.

Пришлось мне как-то рассказывать — не называя автора — содержание своего романа, вышедшего в двадцатых еще годах. Речь идет там о юноше, в бурные первые годы революции потерявшем родителей и выросшем в преступной среде. Он пытается вырваться оттуда, но старые дружки крепко его держат и вынуждают принять участие в налете на богатую квартиру. Качурин слушал с особым (?) вниманием. Какая-то личная заинтересованность почудилась мне в этом внимании.

— Хороший ро́ман! — вздохнул он ото всей души, когда я умолк. — Кто написал?

— Я, — последовал мой ответ. Качурин поглядел недоверчиво, однако ж, деликатный человек, ничего не сказал. Мало я походил на писателя.

Лишенный ноги, тем не менее Вася мог быстро передвигаться на своем костыле и даже, если требовалось, ловко и споро работать. Никогда не забуду, как однажды помогал он мне скидывать сено с небольшого стога. Взял вилы, мигом взобрался на рыхлый, подающийся под ногами стог и, стоя на одном костыле (как только не провалился у него костыль!), начал вилами проворно сбрасывать охапки сена в стоящую внизу грабарку.

Все же, писатель я или не писатель, написал такой ро́ман или не написал, но человек я был безусловно образованный и мог сочинить письмо тонкого содержания. С такой просьбой и обратился как-то ко мне Вася Качурин.

У него был сложный роман с зоотехником соседнего участка Аней, вольняшкой, молодой недурненькой женщиной, которая иногда приезжала по делам в Дарью́. Парень красивый, с мягким характером, Вася мог нравиться женщинам, которые, очевидно, прощали ему отсутствие одной ноги. Впрочем, быть очень разборчивой в этом отношении не приходилось — двуногие мужчины все почти были на войне.

Приревновав Аню к кому-то, Качурин собирался написать ей, что он не может простить такой

измены и что между ними все кончено. Письмо должно было заставить Аню вновь проситься в его, Васины, объятия.

Я составил черновик такого письма, Вася прочел, одобрил и переписал своей рукой.

— Я там еще добавил: «До свиданья, Аня!» — сообщил он мне самодовольно.

— Так ты же испортил все письмо! Весь смысл его пропал! — воскликнул я. Вася поглядел с недоумением, совершенно не понимая, чем я возмущен.

— Ты понимаешь, что значит «до свидания», чудак? До нового свидания, до новой встречи. Пишешь, что навсегда порвешь с ней, а заканчиваешь тем, что собираешься опять ее увидеть. Все письмо насмарку.

— А что я должен был написать?

— «Прощай», а не «до свидания».

Но, как бы там ни было, примирение, кажется, все-таки состоялось, и любящие сердца воссоединились. По-видимому, не без некоторого моего участия.

Мы работали день за днем по двенадцать часов, не зная выходных. У меня уже не было четвертой категории, была третья — индивидуальный труд, но я фактически работал как вторая категория,

хотя это и противоречило правилам. Но наивно было бы добиваться соблюдения каких-то правил в лагере. Подошла такая минута, когда я почувствовал, что мне просто необходимо немного передохнуть физически. Решил сделать себе выходной день. Утром Ситько, зайдя, как обычно, в барак проверить, все ли мы вышли на работу, увидел меня преспокойно лежащим на койке.

— Почему не на работе?

— Заболел, гражданин начальник.

— Что у тебя?

— Воспаление седалищного нерва. Шевельнуться не могу. («Ишиас» — Ситько бы не понял.)

— Принесу сейчас термометр, и смерим температуру.

— Воспаление седалищного нерва температуру не дает.

Ситько хмуро поглядел на меня, недовольно покрутил носом, ушел.

Я решил продлить свой отдых и на следующий день, хотя и предвидел, что придется выдержать жестокий натиск. И действительно натиск был, и выдержал я его с честью. Диалог у нас произошел примерно такой.

— Сейчас же вставайте — и на работу! — кричал разъяренный Ситько, перейдя на официальное

«вы».

— Не в состоянии, гражданин начальник.

— А я приказываю! Слышите?

— Я шевельнуться не могу, не только что работать.

— Знать ничего не знаю! Нечего филонить. На работу!

— Я не филоню, а действительно болен.

В сущности, Ситько совершенно был бессилен что-либо сделать со мной, и я этим пользовался. Не за ноги же он потащит меня на работу. Палкой погонит? Палки были отменены. Карцер? Карцер, или БУР (барак усиленного режима), находился далеко отсюда, в Бурме. Отчасти я мстил Ситько за общие работы.

Покричал начальник участка, попрыгал перед моей койкой и так и ушел ни с чем, а я остался долеживать намеченный двухдневный отдых.

— Твердый у вас характер, Даниил Владимирович, — уважительно сказал отец Павел, мой сосед, во время этой бурной сцены сидел у себя на коечке ни жив ни мертв. — Вот что значит военный человек! Я бы так не мог.

## 35

На Дарье́ довелось мне встретиться с Мэри Капнист, которая прекрасно провела в «Забавном случае» роль Констанции, бойкой, остроумной девушки.

Прадед Мэри, граф Капнист, был известным по школьным хрестоматиям писателем конца XVIII, начала XIX века,

автором сатирической комедии «Ябеда». Жила его правнучка в Батуми, работала в советском учреждении, кажется, машинисткой. Знакомство ее с местным итальянским консулом было, конечно, вполне достаточным поводом для того, чтобы пришить ей шпионаж.

Итальянская кровь текла в жилах молодой, своеобразной, интересной женщины. Может быть, этим объяснялась ее живость, некоторая экзальтированность, способность на неожиданные поступки. Да и в ее внешности, в удлиненном овале смугловатого лица, напоминающего женщин Модильяни, в миндалевидном разрезе карих глаз сквозило что-то нерусское. Она походила на портрет знаменитого своего прадеда.

В Бурме она работала нянькой в детсаде для вольных — прекрасное, сытное, привилегиро-

ванное положение. Но гордая, решительная, режущая правду-матку, Мэри не поладила с Завадской, женой начальника отделения (высшая власть в Бурме!), что-то сказала ей в глаза — и очутилась на Дарье́, на тяжелых общих работах.

Мы быстро подружились. Мэри была внимательна и ласкова ко мне. Быть может, наша дружба, при некоторой инициативе с моей стороны, перешла бы в иное, более теплое чувство. Физическая возможность такой инициативы теперь существовала. Но у молодой женщины был уже близкий человек, работавший тут же на участке бухгалтер-заключенный.

Однако у меня появился иной, так сказать, соперник, претендент на чувства Мэри. Был это дарьинский агроном Бондарь, непосредственное наше начальство, руководившее всеми огородными работами, тоже заключенный. Сухощавый старик, одетый в опрятную темную телогрейку, ходил он тяжелыми размеренными шагами, опираясь на толстую палку. Впалые щеки покрывала колючая седая щетинка. В лагерь он попал с оккупированной немцами территории и всячески выслуживался перед начальством.

Дарьинские огороды раскинулись на широком скате горы, вокруг них теснились пологие хреб-

ты пустынных невысоких сопок. Места глухие, безлюдные. Кормовая свекла была уже выкопана и ссыпана в бурты, которые высились среди огородных полей багровыми курганами. Подставляя плечи и спины еще горячему солнцу, мы по нескольку человек сидели вокруг каждого такого бурта и, коротая время болтовней, проворно обрезали свеклу. По правилам заключенным не полагается иметь при себе ничего режущего и колющего, даже иголок, но тут — делать нечего! — начальству пришлось вооружить всех нас кривыми садовыми ножами.

Я всегда усаживался рядышком с Мэри, самой интересной и приятной собеседницей, и всякий раз, заметив издали, что мы сидим вместе, подходил к нам Бондарь, медленно шагая по полю сухими ногами в широких сапогах, и приказывал мне пересесть к другому бурту, где шла такая же работа. Я пересаживался. И всякий раз через несколько минут Мэри, на глазах ревнивого агронома, перебегала ко мне на новое место и опять садилась работать рядышком со мной.

Наконец, совсем уж обозлясь, Бондарь при очередной пересадке ни с того ни с сего обозвал меня болваном. Ну уж этого я не мог спустить. Я выхватил палку у него из рук и замахнулся.

— Ну бей, бей! — с какой-то подлой готовностью изогнулся Бондарь, желтые зубы его были оскалены. Он явно провоцировал меня на удар, однако удара не последовало. Опустив палку, я лишь на лагерном диалекте сказал ему свое мнение о нем.

Тут показалась вдали долговязая фигура Ситько — спускался с горы, шел проверить, как тут идут работы. Завидев начальника, агроном бросился к нему навстречу и стал жаловаться: я хотел его избить его же палкой.

— Что же вы хулиганите? — строго воззрился на меня Ситько. Я ответил, что никакого хулиганства с моей стороны не было, но меня незаслуженно оскорбили, и я, как человек нервный, контуженный на фронте, лишь замахнулся палкой. Добавил:

— Я хоть в лагере, но оскорблять себя не позволю.

— Мы все нервные, — сказал Ситько более миролюбиво. — Сегодня вы на агронома с палкой, а завтра и на меня?

— На вас с палкой я не брошусь, — ответил я. — Вы меня не оскорбляете.

Ситько промолчал, пошел дальше. Инцидент был исчерпан.

Мэри, на глазах которой разыгралась вся эта сцена, вскочила на ноги, в полном восторге бросилась мне на шею и при всем честном народе наградила меня пылким поцелуем.

— Данилушка, вы молодец!

Затем гневно накинулась на Бондаря, стоявшего тут же.

— Вся ваша подлая душа глядит из ваших глаз! — кричала она в запальчивости. И верно, глядя в светлые, наглые, насквозь бесстыжие глаза Бондаря, можно было с уверенностью сказать: на любую подлость способен человек. В лагере я встречал такие глаза. Впрочем, не только в лагере…

Неделю спустя мы — несколько человек, мужчины и женщины, — сидели с кривыми ножами вокруг сваленной в кошаре большой груды розово-оранжевой моркови и обрезали ее. Кошара — огромный длинный сарай с истлевшими стенками, одна половина которого отведена под овец, а другая под волов, — в данную минуту была пуста. Мы сидели вокруг бурта на земле и работали, проворно отбрасывая в сторону срезанную зеленую ботву. За работой наблюдала приемщица — старая латышка с седыми волосами под платком, с загорело-красным крестьянским лицом,

заключенная, коммунистка.

Внезапно послышалось редкое здесь урчанье мотора. К широко раскрытым воротам кошары подъехала грузовая машина, на которой стояло несколько человек вольных. Среди штатских кепок мелькнула голубая фуражка Ситько. Начальник участка соскочил с грузовика и, не оглядываясь, пошел к своему отдельно стоявшему домику. Приехавшие же незнакомые люди повели себя очень уверенно: отозвав в сторону приемщицу, таинственно с ней пошептались, а затем стали грузить на машину уже приготовленные, стоящие у стены огромные кули моркови. Быстро, с вороватой торопливостью взвалили несколько таких кулей, забрались опять на машину и укатили.

Мы молча переглянулись. Все было ясно. Ситько привез откуда-то своих покупателей и пошел домой — он ни при чем, его дело сторона. Остальное возлагалось на приемщицу, латышскую коммунистку, что она, человек маленький, в точности и выполнила. А товар был приготовлен заранее — только погрузить на машину.

Вся операция заняла несколько минут.

Глубокой осенью, когда уже пришли холода, решили делать ремонт крыши кошары — летом

об этом не думали. Мы на пару с Мэри — я впереди, она сзади — таскали на носилках тяжелую сырую глину. Дул ветер, косо летал мокрый снег, превращался на земле в слякоть. Было очень трудно, да и опасно выбираться с носилками на крышу по скользким сходням с налипшей на рейках грязью. Дрожали слабые ноги — того и гляди, оскользнешься, загремишь вниз с тяжелыми носилками, все кости себе переломаешь.

Мэри — хрупкой женщине — было, конечно, еще тяжелее, чем мне, таскать носилки, но она работала, молча и безропотно, стиснув зубы, с окаменевшим лицом. Ни вздоха, ни жалобы… Так мы таскали и таскали глину наверх, где ею латали прохудившуюся крышу кошары.

Не помню уж, сколько раз пришлось подниматься.

Преклоняюсь перед безмолвным мужеством женщин старой русской интеллигенции, начиная с покойной моей матери. И в будничной каждодневной борьбе с непривычными лишениями, и под тяжелыми ударами, которые обрушивала на них жестокая и трагическая эпоха, неизменно оставались они стойки, терпеливы, безропотны и душой прекрасны. Вечная слава женщинам старой интеллигенции!

Мэри отлично гадала на картах. Несколько раз я заходил к ней в женский барак — «Погадайте, Мэри», — и она, сидя у себя на койке, спиной к окружающим, чтобы не видели, быстренько раскидывала старые засаленные карты, чудом уцелевшие после обысков-шмонов. Все сбывалось до мелочей: предсказание ею конфликта с начальством, болезни, переброски с места на место, исход какого-нибудь задуманного дела… «Я ведьма», — в шутку говорила она про себя. В Средние века ее, наверно, сожгли бы на площади. В будущем карты сулили мне жизнь в Москве, благополучие, душевный покой. Что ж, как будто сбылось…

На следующий год меня вырвали из Бурминского отделения. Вновь пришлось, в ожидании этапа, очутиться на Карабасе. Как-то, стоя среди зевак у проволочного забора, разделявшего мужскую и женскую зоны, увидел я мелькнувшее на той стороне в толпе женщин знакомое лицо.

— Мэри!

Услышала, оглянулась на меня.

— Куда вас везут?

— В спецлагерь! — донеслось из-за колючей проволоки.

Это было самое худшее, что могло быть. Катор-

га. Тяжелый изнурительный труд, жизнь только на голодном пайке, ни шагу без конвоя, тюремный режим в зоне. Привели с работы, покормили и запирают до следующего утра в бараке. А утром снова на каторжную работу. Люди ходили разнумерованные, обезображенные нашитыми на одежде номерами: номер на шапке, номер на груди, номер на рукаве, номер на колене, номер на спине. (Хорошо еще, что не накалывали на коже, как в гитлеровских лагерях смерти.) Никакой переписки с родными. Заживо погребенные.

Вот куда эпатировали заключенную Капнист, итальянскую шпионку.

А в шестидесятых годах, двадцать лет спустя, уже в Москве, меня однажды оторвал от работы за письменным столом телефонный звонок.

— Данилушка, здравствуй, мой дорогой! Узнаете? — услышал я знакомый, но уже полузабытый, какой-то нездешний женский голос. — Это я, ваша ведьма!

— Мэри!.. Вы в Москве? Какими судьбами?

— После, после расскажу. Если хотите меня видеть, приезжайте в гостиницу «Пекин» (назвала номер комнаты).

Реабилитирована! В Москве!

И я тотчас же, разумеется, поехал, тем более от

меня было недалеко. И увидел Мэри в роскошном номере люкс — неузнаваемой, изящно одетой дамой. Не в грязных стеганых штанах, не в грубых мужских ботинках, в чем привык видеть…

И потом мы сидели за столиком в ресторане при гостинице «Пекин», и я заказывал официанту в белой куртке с черной бабочкой экзотические трепанги. И официант, приложив пальцы к углу рта, сказал на это конфиденциальным полушепотом:

— Не советую.

И тогда я заказал утку по-пекински, и еще что-то, и бутылку вина — спрыснуть такую необыкновенную встречу, — и, все еще не веря, что передо мной живая Мэри Капнист, слушал ее рассказы, как всегда эмоциональные и невероятно сумбурные.

И рассказала она, что приехала в Москву организовать чествование памяти ее прадеда, в связи с какой-то огромной годовщиной, не помню, рождения его или смерти, что получила поддержку Союза писателей, заказала специальные статьи в газетах, устраивает в честь его литературный вечер, а до того ездила в родовое поместье Капнистов, где теперь колхоз, и добилась того, что будет там поставлен ему памятник. А сама она

живет теперь в Киеве, работает на киностудии Довженко, снимается.

Мы сидели в ресторане под круглыми бумажными китайскими фонарями, я слушал, смотрел на смугловатое, уже немолодое лицо с миндалевидными глазами и острым подбородком, и радовался в душе, и дивился неиссякаемой жизненной силе и энергии этой женщины из графского рода.

Лагерь отнял у нее молодые годы, когда она с блеском могла играть на сцене такие роли, как роль Констанции. Теперь ей оставалось изображать в кино лишь демонических старух вроде колдуньи из купринской «Олеси» или зловещей Наины из «Руслана и Людмилы».

— Я сильно постарела, да? — спрашивала Мэри. — А помните, Данилушка, как ведьма вам гадала? Ведь все сбылось, да?.. А помните, как мы с вами на крышу глину на носилках таскали?..

Да, я помнил. Я все помнил, хотя прошло уже немало лет. «Что пройдет, то будет мило»… О нет, никогда я не соглашусь с Пушкиным. Никогда не будет мило то, что пережили мы с Марией Ростиславовной Капнист. Никогда.

## 36

Зимой начальство, по каким-то недоступным для зеков соображениям, перебросило меня на соседний скотоводческий участок Марью́. От дарьинского был он расположен километрах в шести-семи. Прощаясь со мной, Вася Качурин сказал:

— Эх, один был человек, с которым можно было поговорить по-человечески, так и того забирают! — Искреннее сожаление, звучавшее в его словах, тронуло меня.

Новый участок был гораздо меньше дарьинского и еще более глухой. Народ поселили тут серый, малоинтересный. Начальник ходил не в военной форме, а в штатском, и в общем был человек невредный. Но и себя не забывал. Говорили, что он, как и его сосед сержант Ситько, занимается коммерческими операциями, только продает окрестным казахам не овощи с огорода, а шерсть, настриженную с овец, и накошенное заключенными сено.

На общем собрании, где и я присутствовал, он объявил работягам, что назначает меня водовозом и что я мужик хороший и с работой справлюсь.

Морозным зимним утром, когда только-только занималась угрюмая красная заря, я запрягал маленького тощего вола в сани с дощатой платформой, встаскивал на нее громадную тяжелую бадью и ехал под горку к колодцу. Ледяной ветер прожигал насквозь. На мне была только рваная телогрейка, для тепла туго подпоясанная ремешком, да такие же рваные стеганые штаны. Солдатские мои сапоги давным-давно развалились, и я был обут в ботинки. Не помню уж, в казенные или в мои старые московские, присланные мамой. Кажется, московские.

У обледенелого, занесенного снегом колодца под дощатым навесом я долго наполнял пустую бадью дымящейся студеной водой, без конца опуская в темную глубину и вытаскивая оттуда тяжелое плещущее ведро на цепи. Мокрые рваные рукавицы мгновенно покрывались ледяной коркой и гремели, как кастаньеты. Однако рук я почему-то не отморозил. Наполнив бочку водой, объезжал объекты, начиная с кухни. Всякий раз приходилось опорожнять бадью, переливая ведром воду в стоящие там пустые бочки, затем опять ехать к колодцу, вновь наполнять бадью, отвозить ее на новое место и опорожнять, снова ехать к колодцу за водой…

Почти весь день уходил на то, чтобы обеспечить водой все объекты, которых на участке было до десяти. Работа выдалась тяжелая, непосильная для меня, хотя теперь из четвертой я был переведен в третью категорию. Трудно было ворочать покрывшуюся льдом и оттого еще более тяжелую, огромную бочку. Кое-как я скалывал с нее лед, но это плохо помогало.

Глухой, затерянный был участок Марья́. Однажды в обед сидел я у себя в бараке, отдыхая после развоза воды, и внезапно увидел в окно какое-то волнение на участке — люди со всех ног бежали к стоящей поодаль кошаре.

— Волки, волки! — донеслись крики.

Оказалось, степные волки среди бела дня, на глазах людей пытались проникнуть в кошару, где находились овцы. Криком и палками прогнали волков.

Моя работа в качестве водовоза закончилась тем, чем и должна была закончиться в таких условиях. Руки у меня уцелели, зато ногу я себе отморозил. Причем довольно оригинальным образом: лопнула кожа над пяткой, образовав глубокую зияющую рану. На другой день я не пошел работать и остался лежать в бараке. Утром явился начальник участка проверить, не остался

ли кто.

— А ты почему лежишь?

Вместо ответа я молча сунул ему в нос сверху, с верхней вагонки, на которой лежал, босую, зияющую кровавой раной пятку. Начальник отошел тоже молча. Больше он уже не подходил ко мне. Очевидно, сознавал, что в данном случае прямая его вина — полагалось снабдить меня валенками.

День тянулся за днем, я продолжал лежать на койке, не работая, лишенный всякой медицинской помощи, брошенный, как издыхающая собака. На участках не было даже лекпома. По утрам начальник лишь молча проходил мимо меня. Я просил отправить в Бурму, в больницу, и получал ответ, что не на чем везти.

Неизвестно, сколько бы времени пришлось так валяться и что вообще стало бы у меня с ногой, но тут, на мое счастье, Марью́ посетила совершавшая объезд участков Завадская, жена начальника отделения. Та самая, что загнала Мэри на общие работы. Я рассказал начальнице о бедственном своем положении, показал ногу и стал просить отправить меня в больницу. Нужно сказать, у Завадской, очевидно, проснулись человеческие чувства. Вскоре, доставленный обратно в Бурму,

я уже лежал в находившейся за зоной больнице-стационаре.

То был кусочек белого рая, где забывалось, что находишься в лагере. Беленые стены, белое белье на больных, белые халаты врачей. Отдельные чистые палаты, настоящие железные койки, застланные чистыми простынями, деревянные, а не земляные полы, вкусная и полезная пища. Ничего похожего на тот убогий полустационар, более похожий на берлогу, в котором лежал я прошлой зимой.

Одетые в грубое, но чистое белье, в серых халатах, больные сидели и лежали на своих койках, а между коек, совершая обход, бродила Фанни Борисовна, заведующая стационаром — представительная, спокойная, с мягким голосом, всегда приветливая женщина средних лет, в белом докторском халате, в белой шапочке на густых рыжеватых волосах. Старые уголовники, отъявленные бандиты и душегубы, топорами рубившие комендантов, вечные лагерники, набравшие себе полувековые сроки — относились к ней с величайшим уважением и слушались каждого ее слова. Она была хорошим, опытным врачом.

В данное время Фанни Борисовна Гамарник бы-

ла не заключенной, а вольняшкой. Свои пять лет, положенные за то, что имела несчастье родиться сестрой «врага народа», она уже отсидела. Брат ее, Ян Гамарник[32], начальник Политуправления Красной армии, старый большевик, стройный человек с окладистой черной бородой, в свое время предпочел самоубийство ежовским застенкам. Так же в те годы покончили с собой, кажется, застрелились, не дожидаясь ареста, Томский[33], а до него Скрыпник[34] на Украине.

Выйдя на свободу, Фанни Борисовна выписала к себе из Москвы старуху-мать и двух своих мальчиков и осталась жить в Бурме, уже как вольная. Я был тогда еще так наивен, что спросил как-то ее, не думает ли она вернуться в Москву. Улыбнувшись моему вопросу, Фанни Борисовна кратко ответила, что нет, не думает.

И действительно, после я понял правильность такого решения. Не только в Москву, ее после лагеря не пустили бы даже в областные города. Ей оставалось поселиться в каком-нибудь районном городишке, где еще вопрос, нашла ли бы она работу по специальности, где все шарахались бы от нее. Как же, сидела в лагере, политическая, сестра Гамарника! Того самого.

А здесь, в глухой Бурме, где все ее знали, в том

числе и чекистское начальство, она могла жить и работать вполне спокойно, пользуясь общим уважением. И работа, и личная безопасность были гарантированы. Здесь никто бы вновь ее не арестовал.

Многие из уцелевших в лагере и закончивших срок зеков оседали вот так же. Так происходило естественное заселение гиблых сибирских мест.

Век бы не покидал белого рая Фанни Борисовны! И когда наконец ногу мою залечили и меня выписали, с грустью переселился я обратно в барак. Но теперь меня ждала прекрасная работа, о которой можно было только мечтать: в конторе отделения. Думаю, что не без участия Завадской, спасибо ей.

Не раз потом приходилось мне попадать в здешнюю больницу, под крылышко Фанни Борисовны, куда теперь приходил я как в дом родной. По моей просьбе мама присылала мне то женские чулки, то школьные учебники — то, чего нельзя было здесь достать. Все это подносилось Гамарник, для нее и для ее мальчиков. Зато теперь, попадая в стационар, я знал, что тут не будут торопиться с моей выпиской и что я пробуду на правах больного, на больничном питании, лишнюю неделю, а то и две.

В прошлом году случайно стало мне известно, что Фанни Борисовна живет сейчас в Москве, разумеется, реабилитирована. Даже телефон ее узнал. Мне ответил голос старой больной женщины, в котором с трудом можно было уловить знакомые интонации. Я назвал свою фамилию, назвал Бурму. Как будто Фанни Борисовна узнала меня, заинтересовалась, спросила, как я живу, что делаю.

Однако встреча у нас как-то не состоялась. Чувствовалось, что ей, больному человеку, не до встреч.

## 37

Конторский люд, «придурки», составлял лагерную аристократию. «Придурки» означало: делают вид, что работают, валяют дурака, придуриваются.

Я работал теперь под крышей, в тепле и чистоте, работал за столом, в тишине, среди интеллигентных людей, которые не кричали на тебя, не подгоняли, не матерились. Я тоже был «придурком». Одеты конторщики были все опрятно, и первым делом нужно было придать себе более или менее приличный вид. У начальника хозчасти не без труда я добился направления в

пошивочную мастерскую — существовала и такая. Мои телогрейка и ватные штаны покрылись заплатами разных оттенков защитного цвета, превративши меня в зеленого арлекина. Но я был доволен своими заплатами так, будто приобрел элегантный костюм. Бесчисленные дыры, из которых лезла грязная вата, теперь были скрыты, и мне было не так уж стыдно сидеть среди чистеньких конторщиков.

Контора дала новый источник питания. Время от времени шел я на мельницу с соответствующим отношением из конторы и сметал там в бумажный мешочек с тяжелых серых жерновов наслоившуюся мучную пыль. Для приготовления канцелярского клея. Положим, на клей шло не более одной трети собранного. Всю остальную пыль я нес к одной из своих знакомых.

— Анна Максимовна, голубушка, нельзя ли испечь из этого лепешек?

Анна Максимовна — высокая сухопарая старуха, добрая душа — скептически рассматривала принесенное.

— Но ведь они же будут черные! Смотрите, сколько земли.

— Ничего. Испеките, пожалуйста.

Полька по национальности, интеллигентная

женщина, Анна Максимовна сидела за то, что была членом церковного совета при костеле, куда ходила молиться. Контрреволюционная организация!

Лепешки, верно, получались черные, как земля, и хрустели на зубах, но все же есть было можно.

В потустороннем мире, куда я был выброшен, действовали законы, которые постепенно приходилось познавать на практике. Кроме каждодневной борьбы за жизнь, за пищу, требовалось еще научиться отстаивать свое «я». Добиться уважения к себе не только людей, поставленных в одинаковое с тобой положение, но и тех, от кого ты, жалкое бесправное существо, крепостной раб, полностью зависел. И тут приходилось применять тактику и пряника, и кнута.

Грозой Бурмы был дотошный и неутомимый надзиратель Кобылянский, повсюду рыскавший и зорко следивший за поведением заключенных. Я решил его приручить. Неподкупных лагерных чинов мне не доводилось встречать.

— Гражданин начальник! — сказал я, повстречав как-то Кобылянского. — Мать мне пишет, что собирается прислать электрический фонарик. Я хочу вам подарить. Мне он ни к чему.

— По-хорошему хочешь? — осклабился Ко-

былянский. — Ладно. Сообщи, когда будешь получать посылку.

Фонарик все равно у меня бы отобрали. Кто разрешил бы зеку расхаживать по вечерам с электрическим фонарем, когда сами надзиратели их не имели?

Получив повестку с почты, я уведомил Кобылянского, тот, заменив дежурного, пошел со мной на почту и сам вскрыл посылку. Посылки обычно проверялись дежурным надзирателем в присутствии получателя — не содержится ли чего-нибудь недозволенного. Действительно, обнаружился электрический фонарик. Когда заведующая почтовым отделением отвернулась, я незаметно передал его надзирателю. Тот незаметно принял и сунул в карман. Все было в порядке.

После того Кобылянский, едва приходила посылка на мое имя, спешил сообщить — теперь уже вполне платонически, очевидно, желая порадовать:

— Фибих! Тебе посылка.

По вечерам, выйдя из барака, я замечал иногда в темноте далекие слабые вспышки света. Кобылянский ходил по Бурьме с моим фонариком. Не сомневаюсь, что если бы я допустил какое-либо нарушение лагерных правил, он посмотрел бы

на это сквозь пальцы.

В другой раз, под Новый год, не помню уж какой, я тоже получал на почте посылку. Проверял ее новый, незнакомый мне молодой дежурняк с черными усиками. Вскрыв ящик, первым делом он вытащил оттуда два флакона с темной жидкостью.

— Что это?

— Лекарство, — ответил я. — Гематоген. Мать присылает мне для укрепления здоровья.

— Санчасть проверит, лекарство это или не лекарство. — Отставил флакон в сторону и, порывшись в ящике, вытащил туго набитый, зашитый нитками мешочек. Было в нем с килограмм овсяной крупы.

— Э, тут что-то есть! — пощупал мешочек чуткими, как у слепца, пальцами. На свет появился перочинный ножичек. Дежурняк сделал надрез на мешочке, запустил туда два пальца (щипачи так работают по карманам фрайеров) и с торжествующим видом вытянул из крупы две-три шуршащие кредитки. Мама спрятала в крупе для меня пятьдесят рублей. Как сумел он их нащупать?

— Придется отобрать. Деньги так посылать не положено. Закончу осмотр и составим акт.

— Куда же эти деньги поступят? — спросил я, естественно, несколько помрачнев.

— В собственность социалистического государства.

Я ничего не сказал на это. В собственность государства — так в собственность государства.

Закончив осмотр и больше не найдя в посылке ничего подозрительного, надзиратель приказал мне:

— Ну, а это все забирайте в мешок.

— Вы хотели составить акт на деньги, — напомнил я.

— Ступайте! — повысил голос дежурняк. — Забирайте все и уходите. Уходите, вам говорят!

Тон был таков, что возражать не приходилось. Я покорно сгреб в мешок, стащенный с посылочного ящика, все присланное и пошел к себе, обдумывая по дороге план дальнейших действий.

На другой день явился к секретарю начальника отделения, румяному младшему лейтенанту по имени Спартак, и рассказал, что накануне произошло.

— Дежурный поступил вполне правильно, — сказал на это Спартак.

— Старушка мать не знала, гражданин на-

чальник, что нельзя пересылать деньги таким образом… А что теперь с ними будет?

— Поступят на ваш лицевой счет, — ответил Спартак. — Выйдите из лагеря — получите.

Ого! Это уже была не «собственность социалистического государства».

Выждав еще два дня, я наведался во время работы в соседнюю с нашим отделом финансовую часть и справился, поступили или нет на мой лицевой счет пятьдесят рублей. Нет, не поступили. Надзиратель не передал отобранные деньги. Дня через два я вновь заглянул в финчасть. Ответ был такой же. Теперь картина стала вполне ясна: дежурняк присвоил мои пятьдесят рублей. Однако примириться с этим я не собирался. Что же, значит, мама послала мне деньги, отрывая от себя, делясь последним, только для того, чтобы предприимчивое мое начальство пропило их под Новый год?

Ну нет.

Тут же я написал заявление на имя начальника отделения лейтенанта Завадского и отнес Спартаку с просьбой передать. Заявление содержало короткий рассказ о случившемся и заканчивалось почтительно-недоуменным вопросом: какова же дальнейшая судьба отобранных у меня

денег?

Спартак внимательно прочел и буркнул:

— Хорошо. Передам.

Еще несколько дней прошло. Я вспомнил об отобранных у меня флаконах с гематогеном и пошел на почту справиться, не вернула ли их санчать после проверки. Оказалось — вернула. Темные флакончики стояли на подоконнике, давно уж дожидаясь меня.

— Как вы хорошо своей матери пишете! — передавая гематоген, с умилением сказала заведующая почтовым отделением, вольная. — Я читала ваши письма. «Мой ангел-хранитель… Мой добрый гений»… Любите, видно, мать.

Я сказал, что такую мать, как моя, нельзя не любить.

— Да, материнское сердце, оно известно! — вздохнула заведующая, добрая, похоже, душа, и на минуту пригорюнилась. — А деньги будете брать? — спросила, когда я хотел выйти. Я остановился, удивленный.

— Какие деньги?

— Пятьдесят рублей, которые у вас отобрали. Вот они.

— Конечно, буду, — ответил я, ничего еще не понимая. Заведующая подала пятьдесят рублей,

и мне оставалось только спрятать их в карман.

После я сообразил, что произошло за моей спиной. Разумеется, Спартак положил заявление под сукно — к Завадскому оно не попало, — одновременно вызвал к себе надзирателя, сообщил о моем заявлении и, наверно, посоветовал во избежание неприятности вернуть мне деньги. «Ну его к черту, отдай»... Перепуганный дежурняк вместо того, чтобы сдать, как полагалось, эти пятьдесят рублей в финчасть, побежал на почту и вручил их заведующей, чтобы та вернула их мне. В результате я остался в полном выигрыше.

Всего эффектнее была концовка.

В обед мы, конторские «придурки», получив в столовой свой так называемый борщ из одной капусты и на второе ячменную кашу, направились с полными котелками в руках к себе в контору — благо была рядом — и обедали здесь в чистоте и тишине, отдельно от других зеков. Так вот, вскоре после получения своих денег обратно возвращался я из столовой в контору, неся тяжелые котелки. Хотелось пообедать с некоторым комфортом. Поднимаясь на крыльцо, нос к носу столкнулся с надзирателем, который выходил из конторы. Тот самый был надзиратель, с усиками. Он увидел, что руки у меня заняты котелками, и

вдруг с подобострастной готовностью распахнул дверь передо мной!

— Пожалуйста!

Он, надзиратель, синепогонное начальство, чекист, широко распахнул дверь передо мной, голодным залатанным зеком. «Пожалуйста!» Распахнул, точно швейцар.

На чай он не получил.

## 38

Я имел право на одно письмо в месяц, и это было счастьем. В более тяжелых лагерях заключенные имели право писать лишь раз в полгода, а то и раз в год. Те жены, кто попадал в секретные лагеря — были и такие, — вообще лишались права переписки с родными, заживо были погребены.

За все десять лет моего заключения ни братья, ни сестры не написали мне ни строчки — показывали, что у них ничего не было общего с политическим преступником. Я нисколько на них не в обиде. Они поступали так, как поступали в таких случаях миллионы родственников. Наверно, тряслись все эти десять лет, как бы на них не пала черная тень родича — врага народа.

А ведь падала такая тень. Падала на жен и на мужей, на детей, на братьев и сестер. Сталинское

заявление «Сын не отвечает за отца», громогласно провозглашенное им на каком-то съезде или совещании, было очередной лицемерной ложью вождя. Отвечал сын. И не только сын.

Только мама и дочь не боялись поддерживать связь со мной, регулярно писали. Дочь Кира — студентка в то время — однажды прислала мне даже 25 рублей, не знаю уж, откуда взяла.

Интересный сон приснился сестре как раз в то время, когда я лежал в полустационаре. Натура повышенной нервозности, она иногда видела такие «вещие сны». А рассказано это было мне уже после моего возвращения.

Итак, привиделось ей пустынное сумрачное поле, огромный, в полнеба, багровый зловещий закат, в который упиралась грязная, покрытая лужами дорога. По дороге, удаляясь в багровое сиянье заката, быстро катит бричка, видны спины сидящих там покойного отца и покойной бабушки, а за ними, стараясь их догнать, бегу я. На мне длинная солдатская шинель и тяжелые сапоги, я опрометью бегу по дороге, падаю в лужи, поднимаюсь и снова бегу — изо всех сил бегу, стараюсь догнать.

Но бричка удаляется и удаляется в закат, делается меньше и меньше, сидящие по-прежнему не

оборачиваются, будто не замечают меня, а я все больше отстаю от них.

Так и не догнал мертвых, отстал. Не присоединился к ним…

## 39

В один из скучных зимних дней, сидя в конторе за работой, я услышал позади себя разговор о новом учетчике, только что приехавшем с какого-то участка. Учетчика хвалили как хорошего работника. Мелькнула фамилия: Чиж.

«Чиж? — подумал я. — Какой же это Чиж? Неужели мой сосед по полустационару, с которым мы вместе доходили? Человек, которого погубили ботинки? Да нет, просто однофамилец. Того Чижа, наверно, давно и в живых нет».

Немного погодя за спиной у меня послышался голос вошедшего в комнату постороннего человека — громкий, бодрый, оживленный голос, сразу же начавший словоохотливо, с почтительной фамильярностью что-то докладывать своему начальству, заведующему отделом. Этот голос, этот польский акцент… Я обернулся. Неужели тот самый Чиж? Я глядел во все глаза, и узнавая, и не узнавая. Чиж — не Чиж. Я глядел на плотного, пожалуй, даже упитанного человека

в потрепанной солдатской шинели, подпоясанной ремешком, с быстрыми, даже суетливыми движениями, говорливого, словоохотливого, — и никак не укладывалось в моем сознании, что это тот самый бесплотный прерафаэлитский воин, с прозрачным профилем, со слабым, еле слышным голосом, медлительный, едва таскавший ноги, что лежал рядом со мной в покорном, чуть-чуть ироническом ожидании смерти.

— Чиж! — сказал я, когда получил возможность перекинуться наедине с ним словом. — Я не узнаю вас. С какого курорта вы приехали?

— С огородов, — ответил Чиж. Кажется, он тоже был рад неожиданной нашей встрече.

— Чем же вы там питались, что так поправились?

— Картошкой и горохом, — ответил Чиж. По-русски он говорил заметно уверенней, да и акцент стал не такой резкий. — Из полустационара меня выписали совсем доходягой и отправили на участок. Был уже конец лета, и все созрело. И я стал есть. Каждый день я варил и съедал котелок картошки и котелок гороха. Я целый день ел картошку и горох. И вот видите, — улыбнулся он со скромно-довольным видом. — Без всяких жиров.

— Понятно, — сказал я. — Горох — это белки.

Картошка — углеводы. Белки и углеводы. Понятно.

Вскоре его перевели с участка к нам в отделение. Из учетчика он превратился в нарядчика, распределяющего всю наличную рабочую силу по объектам — должность могучая. Определенно Чиж делал в лагере карьеру.

Несколько времени спустя, при случайной встрече, он спросил меня:

— Вы довольны своей работой?

— Конечно, — ответил я.

— А что бы вы сказали о работе на маслозаводе?

— На маслозаводе?

Я задумался. Работа на маслозаводе для многих и многих была хрустальной мечтой. Даже конторщики говорили с завистью о тех, кто там работал.

— Подумайте, — продолжал мой змий-искуситель.

Велик был соблазн. В конце концов, придурки-конторщики сидели на той же скудной баланде, что и все. Правда, на маслозаводе придется работать руками, а не головой, и уже не сидеть за бумагами. Но быть около молока и масла!.. Долго раздумывать в таких случаях я не привык и по-

сле некоторого колебания дал согласие на свой перевод из конторы.

В первый же день работы на новом месте пришлось мне пожалеть о своем решении. Маслозавод представлял собой маленькое, кустарного типа предприятие со штатом рабочих в пять-шесть человек. Все делалось вручную, без какой-либо механизации. На мою долю выпало взбивать, вместе с напарником, масло. Целыми часами мы вдвоем крутили и крутили кувыркающийся, укрепленный на оси, закрытый бачок, крутили до тех пор, пока налитые там сливки не начинали оседать изнутри на стеклянном окошечке, проделанном в бочонке, белыми крупицами масла. Это был такой же тяжелый, непрерывный, изнурительный физический труд, как и в кочегарке вольной столовой, с тою только разницей, что теперь сил у меня было немного больше.

Мы без устали крутили бочонок со сливками, а в ушах стоял непрерывный гром и звон огромных бидонов под молоко, называвшихся флягами, и шипение пущенной воды, смывавшей с цементного пола пролитое молоко. Вода заливала ноги, на полу стояли лужи, мы ходили целый день в мокрой обуви. Резиновые сапоги, необходимые

в таком производстве, считались излишней роскошью.

Но когда в конце рабочего дня директор завода, вольный, выдал каждому из нас по маленькому кусочку свежего сливочного масла, завернутого в пергаментную бумагу, настроение у меня несколько поднялось.

— В бараке не ешьте, — предупредил директор.

Я понял, почему работающие на маслозаводе никогда не говорили в бараке о своей работе и вообще держались замкнуто, обособленно от окружающих, будто члены тайного общества.

Мы приходили на работу, когда было еще темно, и уходили, когда уже давно было темно, вкалывая по двенадцать, а то и больше, часов. И всякий раз, уходя, уносили с собой выданное добрым директором масло. Сегодня я сам съедал такой кусочек, а на следующий день, по безмолвной взаимной договоренности, отдавал Чижу. Практичная еврейская голова Чижа сработала: знал, что, устроив меня на такое место, и сам не останется внакладе.

Зато в обрате — обезжиренном молоке — мы, работяги, просто купались. Мы пили его кружками вместо воды. Получив обед, выливали из ячменной баланды водянистую юшку и заменяли

обратом. То же самое делали с кашей.

Постепенно я начал втягиваться в работу, и она уже не казалась такой изнуряющей, как в первые дни. Видимо, сил прибавилось.

Но мне определенно не везло с хорошими местами. Скоро я вынужден был покинуть маслозавод, совсем не по своему желанию. Случилось так, что истопник, подогревавший котлы для стерилизации молока, неожиданно заболел, и директор заменил его мною. Однако мой опыт истопника в данном случае оказался совершенно бесполезным. Печи здесь топились караганником — топливом, совсем для меня незнакомым. Как я ни бился, огонь в печах, набитых рубленым кустарником, упорно не желал разгораться. Проклятый Казахстан! Здесь даже дерево не горело.

Это не были плотно, один к одному, уложенные сухие русские дрова — сосновые, осиновые, березовые, — которые сразу охватывает жаркое золотое пламя, и они начинают весело гудеть да потрескивать. Это были тонкие, сырые, искореженные сучья, похожие на мерзлых, с шипением оттаивавших змей, в пустых прогалах между ними бродили и печально гасли бледные хилые огоньки. Я подкладывал новые и новые сучья, я сидел на корточках перед раскрытой печью и

дул до того, что голова готова была лопнуть и из глаз текли слезы, но все было напрасно. Огонь не собирался разгораться. Все производство остановилось. Я был в отчаянии.

Кочегарка не имела двери, которую можно было закрыть, и у печей стоял такой же мороз, что и на улице, а разбитые мои ботинки совсем промокли, шлепая по лужам. Сначала ноги у меня мерзли и болели от холода, но вскоре я перестал их чувствовать.

Несколько раз директор присылал узнать, почему не топят печи, присланные люди тоже начинали в помощь мне раздувать огонь, однако ничего не выходило. Наконец меня совсем отстранили от печей и кое-как, соединенными усилиями, разожгли пламя. Маслозавод наконец заработал.

К этому времени ступни у меня совсем одеревенели, и я ходил по земле как на ходулях. В таком состоянии и в барак вернулся. Лег спать. Ночью проснулся от дикой режущей боли в ногах. Они оттаяли в тепле и дали себя знать. Оказалось, до такой степени я обморозил ноги, что не только идти на работу — пришлось на следующий день лечь в больницу. Смешно, не правда ли? Истопник, работая у печей, до того поморозился, что в

больницу положили.

Несколько месяцев вновь провел я в белом раю Фанни Борисовны. Ноги мне, к счастью, не пришлось ампутировать, уцелели, обошлось только сухой гангреной. Кончики трех пальцев на ногах почернели, как уголь, и в конце концов сами собой отвалились, тихо и безболезненно.

Весной из стационара взяли меня в этап, и я попал в другое отделение Карлага. Бурминский период закончился.

## 40

Немало лет прошло с того времени, и многое уже выветрилось из памяти. Забылись некоторые имена и фамилии, отдельные даты, хронология тех или иных событий. Так, например, не могу сказать точно, к какому именно периоду пребывания на Карабасе относится случай, когда меня едва не убили в бараке. Но самый этот случай помню хорошо. Помню и дневального в бараке Женьку — рыжего розовощекого парня из блатных, в солдатской гимнастерке, ходившего всегда с толстой палкой.

Видимо, пленившись моим подходящим для роли вышибалы ростом и остатками на мне военной формы, он предложил работать на смену ему

ночным дневальным. Я согласился — все лишний черпак баланды. Узнав, что я пятьдесят восьмая, Женька подмигнул мне и добродушно осведомился: «Что, Абрам стукнул?» Очевидно, полагал, что стукачами могут быть только евреи.

Заканчивая дневное свое дежурство, он сообщил мне только что полученное распоряжение администрации: ночью выпускать из барака на оправку только лишь по одному человеку. Приказ объяснялся тем, что была якобы обнаружена попытка к побегу. И вот началась веселенькая для меня ночь. Огромный, едва освещенный арестантский барак — сарай, нары в четыре ряда, двухъярусные, люди спят, лежа на голых, редко положенных досках. В полумраке то и дело и там и тут поднимаются темные фигуры, слезают с нар и плетутся, шаркая ногами, к выходной двери. От водянистой пищи, от физической слабости всех тянет в уборную. А в уборную на дворе не пускают. У двери стою я, новый ночной дневальный, и выпускаю только по одному человеку, да и то выждав, когда вернется предыдущий. Скапливается целая очередь, люди нетерпеливо ждут, переминаясь на месте, конечно, ворчат. Ворчанье переходит в озлобленную ругань, на мою разнесчастную голову выплюются лагерные

проклятья. А чем виноват я, вынужденный, скрепя сердце, выполнять идиотский приказ?

Слез с нар здоровенный верзила, по всем замашкам блатарь, и, бесцеремонно расталкивая собравшихся людей, пробился к самой двери. Я преградил ему дорогу. Начавшееся у нас пререканье кончилось тем, что я схватил его за шиворот, вытолкал и закрыл за ним дверь…

Прошло с четверть часа. Очередь у двери постепенно рассосалась — я уже не стал так строго следовать приказу, — наступила пауза, и я начал прохаживаться по пустынному проходу между нар, на которых в два яруса спали сотни людей. Подвешенная под потолком коптилка еле брезжила в полутьме. Было совсем тихо. Барак спал.

Внезапно на голову мне обрушился сзади оглушающий удар. Точно горячий песок просыпался по спине, между лопаток, к горлу подступила дурнота, стало томно, колени подогнулись, и я повалился на землю. Смутно различил чей-то тревожный возглас на нарах:

— Дневального убили!

А произошло вот что. Верзила, которого я вытолкал из барака, мстительно подобрал на дворе камень, затем, улучив минуту, когда я повернулся к двери спиной, вернулся и, беззвучно подкрав-

шись сзади, хватил меня по голове. Счастье, что на мне была присланная мамой старая шапка-финка, из кожи и ваты. Она спасла. Череп у меня не был проломлен, и сознание сохранилось. Я недвижимо лежал на грязном земляном полу в полузабытьи, но слышал поднявшийся переполох, слышал, как поднятый с постели Женька расправляется с тем, кто пытался меня убить. Бил он его страшно, как умеют бить блатари, он свалил верзилу на землю и в ярости топтал ногами, я слышал только тупые удары и сдавленное кряхтенье:

— Ох, Женька!.. Ох, не надо!..

А на другой день избитый, казалось, до полусмерти бандюга прохаживался как ни в чем не бывало мимо меня, лежавшего на нарах, и грозился:

— Погоди, я с тобой еще не так разделаюсь!

Злоба его почему-то была обращена не на Женьку, а на меня.

Но все обошлось благополучно. Встретиться нам больше не пришлось.

Каким только трудом не занимался я за долгие годы казахстанской жизни! Был рабочим при больнице, учетчиком, косарем, выполнял разного вида работы на огородах, был ночным

сторожем, кухонным мужиком, истопником, пас волов, был продуктовозом, водовозом, конторщиком, работал на маслозаводе, копнильщиком на сенокосе, был актером, хлеборезом, землекопом, дневальным в бараке, работал на лесопосадках, садовником-декоратором, завскладом и прочая, и прочая. Около тридцати видов различных работ пришлось испробовать, иногда легких, но большей частью тяжелых и непривычных. Последовательность иных ускользнула из памяти. Очевидно, в первые годы бурминского периода бросили меня, в составе небольшой бригады, на борьбу с саранчой. Работа оказалась нетрудной, но весьма противной. Морили молодую саранчу, только что вылупившуюся из личинок, отложенных старой. Она, молодая саранча, так и кишела под ногами, когда мы ходили по полю, — черненькая, блестящая, с жутковатой жизнерадостностью скакала и прыгала по траве. Разминая голыми пальцами конский навоз и овечий помет, мы делали из этого питательную смесь для саранчи, скатывали шарики, поливали их какой-то отравой, по-видимому, мышьяком, и разбрасывали на земле. Молодая саранча с жадностью пожирала эти ядовитые шарики.

Перчаток, необходимых для подобной работы,

разумеется, нам не давали.

Вероятно, к пребыванию в другом отделении, в ЦПО, относится моя работа в законвоированной бригаде землекопов. Несколько таких бригад, под присмотром стрелков с винтовками, работали на расчистке арыков, по которым должна была пойти вода для орошения посевов. Верхние кромки и стенки сухих еще арыков обвалились, дно поднялось — требовалось углубить, расширить, выровнять, работая то лопатой, то киркой.

Гладкая пелена зеленеющей азиатской степи, белесое небо над ней, поздняя весна. Далеко по всей линии арыка мелькают десятки лопат, выбрасывающих на одну сторону желтые комья земли. Поодаль опираются на винтовки скучающие часовые. В стороне от нас — сотня-другая метров — работает женская бригада, тоже под конвоем. Знакомые между собой мужчины и женщины, отыскав глазами друг друга, перекликаются издали, делают руками какие-то таинственные знаки, понятные только им.

Вот от мужской бригады отделился кто-то и, под сотнями устремленных на него взоров, направился к солдату-конвоиру. Подошел, минуту мирно побеседовали — наверно, просил разрешения выйти, договаривался о мзде. Затем лагерник

беспрепятственно вышел за пределы незримо очерченной для нас зоны и ровным спокойным шагом пошел к растущим поодаль кустикам караганника. Часовой не стрелял по нему.

От женской бригады отделилась фигура в платочке и в юбчонке, таким же ровным шагом направилась в том же направлении. Выстрела по ней тоже не последовало. Люди перестали работать и, опираясь на лопаты, с интересом стали следить за двумя сближающимися далеко за пределами зоны фигурами. Десятки худых заросших лиц повернулись в ту сторону, слышались смешки и сальные остроты. Обе фигуры, мужская и женская, сошлись в отдалении вместе и скрылись за кустами.

Через четверть часа возникли снова из-за кустов и разошлись в разные стороны. Шли обратно к своим бригадам, он — в мужскую, она — в женскую, шли тем же неторопливым шагом, видимо, нисколько не смущаясь тем, что на них устремлены сотни глаз. Сдержанный гогот, в котором чувствовались и одобренье, и зависть, встретил вернувшегося к своим ребятам ухаря.

Лагерная любовь.

## 41

На Карабасе, в ожидании отправки на новое место работы, познакомился я с земляком, актером Московского железнодорожного театра Будановым. Средних лет, себе на уме, с привычкой быть всегда на людях, с хорошо подвешенным языком, нигде не теряющийся, новый знакомый не был политическим. Свои шесть лет он получил за убийство: из охотничьего ружья наповал уложил хулигана-соседа, который в пьяном виде вломился к нему на дачу и стал дебоширить. На сцене Буданов исполнял комические роли, да и в жизни не прочь был покомиковать, но что-то жесткое, неприятное было в его простецком лице. Как земляки, решили мы, насколько это возможно, держаться вместе.

Вскоре нашелся «покупатель» и на нас. Из ЦПО (Центрального продовольственного отделения) вместе с начальником отделения в поисках нужных ему людей приехал руководитель культбригады, некий Кузнецов. Принятые в культбригаду, очутились мы с Будановым на поливном участке.

Участок представлял собой сплошную зону. Даже расконвоированные жили в бараках за

колючей проволокой и на работу за зоной выходили по особым пропускам. И конторщики, и члены культбригады. Оригинален был ее состав. Руководитель культбригады — вор и аферист Мишка Кузнецов. Среди членов — убийца Буданов, власовец Косинов, белый эмигрант Чернин, военнопленный гитлеровский солдат Вили Хертлейн, проститутка-хипесница Валя. И прочие в таком же духе. Клуб, где выступала культбригада, был более приглядным и внутри оформленным лучше, чем убогий бурминский, и пользовался большой популярностью среди здешних зрителей, как вольных, так и невольных. Культбригада выступала с концертами и театральными постановками.

Наш руководитель Кузнецов был, несомненно, фигурой примечательной. Глядя на этого молодого, сухопарого, всегда серьезного парня с приличными манерами, не верилось, что перед тобой профессиональный уголовник-блатарь. Впрочем, в том чувстве собственного достоинства, с которым он держался, чувствовался вожак-пахан. Мне рассказывали об одной из ловких его афер, уже в лагере.

Только что прибыла с этапом партия «западников» — эстонцев, латышей, литовцев. Стоят

на дворе зоны, растерянно кругом озираются, топчутся на месте. Все с чемоданами — народ богатенький и совершенно неопытный. Внезапно уверенной походкой подходит к ним прилично одетый молодой человек с чем-то вроде портфеля под мышкой, вида очень деловитого, даже начальственного.

— Этап?

— Да, этап.

— Прежде всего, граждане, сдать чемоданы в камеру хранения, — строго говорит молодой человек. — Следуйте за мной.

И с тем же уверенным деловитым видом ведет куда-то покорно плетущихся за ним новичков. Приводит к какому-то строению, открывает дверь и, встав на пороге, начинает принимать и передавать в глубь помещения чемоданы, которые прибалты ему послушно подают.

Наконец приемка вещей в камеру хранения закончена.

— Все? — спрашивает прибалтов молодой человек с портфелем.

— Все.

— Хорошо. Подождите, граждане, несколько минут. Я сейчас вернусь и поведу вас в барак.

Деловитый молодой человек исчезает, а вы-

строившаяся очередь доверчивых новичков покорно остается ждать. Долго им приходится ждать. Чемоданы западников, которые, стоя в дверях «камеры хранения», передавал Мишка Кузнецов спрятавшимся там своим дружкам, давно уже выпотрошены и валяются на полу раскрытые и пустые.

Но этот прожженный мошенник обладал совершенно бескорыстной, даже трогательной любовью к театру. И был талантлив, в этом нельзя было ему отказать. Он прилично играл на сцене, выступая и в драматических, и в комических ролях, у него был небольшой голос, он пел и дирижировал хором, играл на гитаре. Кроме того, был режиссером. Конечно, весьма неопытным, даже малограмотным, требующим большой школы, но все-таки режиссером-самоучкой, способным даже мизансцену построить.

И тут бросалась в глаза разница между бурминским драмкружком и нашей культбригадой. Вспоминалась подготовка «Забавного случая». Там был подлинный энтузиазм, люди отдавались театру, репетировали после тяжелого трудового дня, позабыв усталость. Там было бескорыстное увлечение, живейший интерес, творчество. Здесь была служба. Казенная советская работа, к кото-

рой относились, как ко всякой советской работе, чисто формально. Делали только то, что давало право на привилегированное положение и спасало от общих работ. Бригада имела двух опытных актеров-профессионалов, Косинова и Буданова, и полупрофессионала Сергея Сергеевича, ленинградца, связанного с театральными кругами. Но я не помню случая, чтобы они сами что-нибудь посоветовали, подсказали или показали совершенно неопытному нашему режиссеру. Молча сидели на совещаниях и слушали то, что он говорит, а на сцене выполняли положенное по пьесе. Все им было до лампочки.

Попробую дать портреты наиболее интересных членов культбригады.

Косинов. Тонкий, изящный даже в одежде лагерника, лицо нервное, породистое, глаза умные, темные, татарские, усы подстрижены. Во власовской армии он был капитаном, до того командиром Красной армии, а еще раньше, до войны, — артистом Московского камерного театра. Однажды в разговоре, изображая что-то, он сделал руками и всем телом манерно-пластическое движение — так и пахнуло на меня Камерным времен Таирова и Алисы Коонен.

После окончания Второй мировой войны от-

ступающие власовцы были интернированы в американской зоне. Как-то американцы приказали Косинову и его однополчанам грузиться на машины — их-де перебрасывают на новое место. Погрузились, поехали. И очутились в расположении советских войск, под дулами десятков нацеленных на них автоматов.

— Это произошло в сорок пятом году, — сказал Косинов. — В сорок шестом году американцы бы уже нас не выдали.

Он был осужден на пятнадцать лет за измену Родине, и Кузнецову всякий раз стоило большого труда добиться у администрации разрешения Косинову ходить расконвоированным в его бригаде.

Завязался как-то у нас с Косиновым разговор на политическую тему. Я поинтересовался политической программой власовцев — чего они добивались.

— Россия без коммунистов и капиталистов, вот наш лозунг, — ответил Косинов.

— Под владычеством Гитлера?

— Гитлер был для нас временным союзником, как и для Сталина. С помощью немцев мы сбросили бы коммунистов, а потом, собравшись с силами, принялись бы и за немцев. Наша конеч-

ная цель — свободная демократическая Россия.

— И вы думаете, Гитлер позволил бы вам создать такую Россию?

Косинов ничего не ответил.

В другой раз заговорили о причинах поражения и разгрома нацистской Германии. Косинов сказал:

— Главную роль сыграли наши русские морозы.

— Как вам не совестно повторять глупую брехню германского генерального штаба! — вознегодовал я. Косинов как будто смутился и промолчал.

И все же, по-видимому, он испытывал ко мне некоторую симпатию. Однажды сказал:

— Если бы нам теперь пришлось встретиться на фронте, я думаю, мы не стали бы стрелять друг в друга. — И темные недобрые глаза его потеплели.

Первые послевоенные годы власовцы, с которыми приходилось мне встречаться, были уверены, что не сегодня завтра вспыхнет новая война — с Америкой. Один из них, знакомый по бурминской больнице, в прошлом судовой механик и член партии, говорил уверенным тоном:

— Осенью мои товарищи привезут мне мой

капитанский мундир.

Говорилось это весной 1946 года. Мундира с власовскими погонами он не дождался — умер в больнице от туберкулеза.

Я запамятовал фамилию Сергея Сергеевича. Был это высокий, сухого склада, молчаливый старик в сером кепи с большим козырьком, какие носили немцы, и в резиновых сапогах. Лицо розовое, кожа гладкая, молодая. Белые подкрученные усы и повисшая на подбородке маленькая белая бородка производили впечатление сделанных из ваты и приклеенных — хотелось их снять. Сергей Сергеевич не расставался, куда бы ни шел, с серым мешочком, где хранилась половина сегодняшней пайки. Ни его внешность старого русского барина (хоть и в немецком кепи), ни суховатая манера держаться никак не располагали к расспросам. За что он сидел и что представлял собой до лагеря, мне было неизвестно, однако я догадывался, что передо мной человек, связанный с театральным миром, интеллигентный и культурный.

Еще более замкнутым, внутренне отгороженным от окружающих был Чернин Александр Варфоломеевич. О себе он никогда ничего не говорил, неизвестно было даже, откуда его, белого эмигранта, сюда привезли — из Болгарии,

из Чехословакии, из Румынии, из Югославии? Сухой, смугловатый брюнет южного типа, смахивал он на грека. Как-то в разговоре я добродушно назвал его просто по отчеству Варфоломеичем. Ершистый тон ответа сразу же дал понять, что Чернину совершенно не по душе такое непочтительно-фамильярное обращение к нему. Хоть он и в лагере.

Двое наших иностранцев, аккордеонист Вили Хертлейн и скрипач Катрель, держались особняком ото всех, всегда вместе, что было вполне естественно. Вили — коренастый белокурый молодой немчик — выглядел типичным гитлеровским солдатом. Так и представлялись при взгляде на него: мундир болотного цвета с белым плоскокрылым орлом на груди, лихо заломленная набекрень двойная пилотка, засученные рукава, автомат в руках. За все время пребывания в культбригаде я ни словом с ним не перемолвился. О чем было беседовать мне с фашистским солдатом? Да, наверно, и русским он плохо владел.

Хертлейн был, похоже, хоть и смекалистым, но серым парнем, чего нельзя было сказать о его товарище. Катрель выглядел западноевропейским интеллигентом. Молодой, темноволосый,

с тонким, слегка насмешливым лицом, всегда спокойный и ровный, он относился ко всему окружающему с тем характерным для европейца ироническим, слегка презрительным любопытством, о котором я уже говорил. Русским языком владел свободно. Он был неплохой музыкант, интеллигент, но не знал ни Чайковского, ни Пушкина. По крайней мере, когда я ему однажды рассказал содержание оперы «Евгений Онегин», это было для него открытием и, кажется, произвело впечатление. Выслушал с большим вниманием, призадумался, потом с искренним недоумением спросил:

— Но почему же Татьяна отказала Онегину?

Для него, западного европейца, непонятна была психология русской женщины прошлого века: «Я другому отдана и буду век ему верна». Нельзя винить Катреля в невежестве. В фашистской Венгрии, где он вырос, вряд ли была известна русская культура.

Валя — наша певица — была очень хороша собой. Высокая, прекрасно сложенная, длинноногая, правильные черты лица, густые волосы цвета старого меда. Только выражение красивых глаз — сладкое и лживое — портило впечатление. Говорили про Валю, будто работала она хипесни-

цей. Заманивала мужчин к себе на квартиру, а там ее дружки обдирали их как липку. Так ли это или не так — кто знает…

У красотки Вали был роман с начальником КВЧ (культурно-воспитательной части), молодым, черным, смазливым лейтенантом армянского типа. Малый был он невредный, добродушный, держался с нами просто, почти что товарищески. Ходили слухи, что он бывший фронтовик, перешел служить в ГУЛАГ из армии, чем и объяснялись его демократические замашки. Жена лейтенанта жила с ним тут же, в ЦПО. Вся культурно-воспитательная работа нашего начальника заключалась в том, что он жил с заключенной певицей и присутствовал иногда на репетициях культбригады.

Как-то он вызвал меня к себе и сообщил с глазу на глаз, что пишет доклад начальству о проведенных мероприятиях и в докладе упоминает мое имя.

— Вот послушайте, что я о вас пишу.

Взяв со стула мелко исписанный лист, прочел вслух. Оказывается, недавно им было проведено общее собрание заключенных, на котором он сделал большой доклад о подписке на государственный заем. (Где? Когда?) Еще с большим

удивлением я услышал, что, оказывается, я — з/к Фибих, выступил на этом собрании с горячей речью, в которой призывал всех присутствующих подписаться на заем. «Мы советские люди, только временно изолированные, — обращаясь к собравшимся, оказывается, говорил я, — и мы с радостью поможем нашему советскому государству».

До сих пор я не подозревал таких ораторских способностей за собой.

— Ну как? Не возражаете? — спросил лейтенант, устремив на меня ясный, открытый взор.

— Не возражаю, — ответил я, сохраняя такой же честный вид. Попробовал бы я возразить!

«Вот это туфта так туфта! — думал я, возвращаясь к товарищам в клуб. — Что там наша!»

Но если этот начальник КВЧ все-таки общался с нами и создавал видимость какой-то работы, то совершенно неизвестно, чем вообще занимался другой КВЧ, сменивший его после ликвидации культбригады. Серой бесцветной фигурой был этот малограмотный лейтенантик. Как-то он спросил меня, что значит слово «интимный». В другой раз попросил объяснить смысл еще какого-то слова, тоже общеупотребительного, кажется, «пессимист».

Такие вот борцы за культуру должны были нас воспитывать. И перевоспитывать.

## 42

Выступления культбригады хорошо принимались невзыскательными зрителями.

Когда давали концерт, Катрель играл на скрипке немудреные музыкальные вещицы. Буданов с успехом читал юмористические рассказы.

*Сердцу хо-очется лас-ковой пе-есни*
*И хо-ро-шей большой любви-и, —*

пела со сцены своим маленьким писклявым голоском медоволосая проститутка-хипесница. Хертлейн играл на аккордеоне. Чернин — на мандолине.

Я глядел на его темное сухое лицо и представлял себе Чернина молодым на разгульной офицерской пирушке, в расстегнутом френче с погонами дроздовца или марковца, и вот так же — с мандолиной в загорелых нервных руках. Мог ли он предполагать, что придется ему, много лет спустя, развлекать своей мандолиной чекистов в советском концлагере?

Программа заканчивалась хоровым пением всей культбригады.

— Улыбайтесь! Все улыбайтесь! — командовал Кузнецов, выстраивая нас на подмостках в две шеренги. Мы улыбались и с воодушевлением пели дружным горластым хором:

*Ро-одина моя!*

*Си-ильная, мо-гу-чая…*

Стоя в заднем ряду, подпевал и я баском.

Все пели про сильную, могучую советскую Родину, ставшую для нас жестокой мачехой. Пели воры, убийцы и проститутки. Пел власовец, который с гитлеровской армией шел на эту Родину. Пел белый эмигрант, в свое время воевавший против нее, а затем бежавший за ее пределы.

И маленький немчик, фашистский солдат, аккомпанировал этой торжественной песне на большом белом аккордеоне.

Кузнецов решил блеснуть: поставить патриотическую пьесу «Константин Заслонов», об известном белорусском подпольщике-инженере, работавшем в оккупированном немцами Минске.

Сценическое оформление этой постановки нисколько не напоминало ту импровизированную самодеятельность, какой отличался бурминский спектакль. Декорации были настоящие, костюмы

тоже. Среди заключенных нашелся молодой художник с большим сроком, его расконвоировали, и он принялся за работу. Не все написанные им декорации оказались вполне удачными. Железнодорожное депо, например, неправдоподобно чистенькое, было рассчитано на большую сцену, а не на такую крошечную, как наша. Но остальные декорации были неплохими.

Трофейные немецкие мундиры и шапки достали в каптерке — после войны их в большом количестве прислали в лагеря в качестве одежды для заключенных. Были специально изготовлены форменные немецкие фуражки для гестаповца, которого играл Косинов, и для советника Хирта (Сергей Сергеевич). Штатские костюмы одолжили исполнителям вольные. Главную роль, Заслонова, исполнял сам Кузнецов.

Впервые в жизни стал актером и я. Мне досталась роль Ганса, денщика советника Хирта, тупого немецкого солдата-палача. Ирония судьбы!.. Немецкий мундир (не знаю, какой гитлеровец носил его до меня) я украсил вырезанными из картона погонами и соответствующими значками. Жженой пробкой подрисовал себе гитлеровские усы. Получился фриц хоть куда! Маленькую свою роль я как мог расцветил. Когда поднимается

занавес, зритель видит комнату Хирта, в которой, накрывая на стол, хлопочет Ганс. Сергей Сергеевич научил меня немецкой песенке, которую я в эти минуты и напевал.

В одной из картин я применял следующий трюк.

Напряженная сцена допроса у Хирта арестованного подпольщика-коммуниста. Допрашивает гестаповец (Косинов), холодный, жестокий, изящный в офицерской немецкой форме. Таким он, наверно, и выглядел, когда служил в армии Власова. Тут же Хирт. Я стою сзади — руки по швам, морда тупая. Хирт обращается к арестованному с увещевающей речью, и тут что-то им сказанное кажется мне настолько смешным, что не могу удержаться, издаю короткий, совершенно дурацкий смешок, но, сразу же спохватившись, опять замираю с глупой деревянной рожей.

Это внезапно прозвучавшее среди напряженной тишины зала отрывистое идиотское ржанье всегда производило безошибочный эффект. В ответ зал грохотал общим смехом.

После того как я впервые это проделал, сам для себя неожиданно, Косинов заявил, что такой смех срывает всю сцену допроса. Однако Сергей Сергеевич на это возразил: не только не срывает,

а, наоборот, в силу контраста, усиливает впечатление от сцены. В конце концов мое ржанье было санкционировано. Сергей Сергеевич даже подыгрывал мне в этот момент.

Маленькая речь Ганса сделала меня личностью, популярной в ЦПО. Проходя по поселку, нередко я слышал, как мальчишки, дети надзирателей, говорили вслед:

— Смотри, Ганс идет!

Еще большую популярность завоевал Буданов, игравший полукомическую роль рабочего-подпольщика Кропли. Особенно понравилась публике постоянная его присказка «Лишь бы тихо». В зоне Буданова иначе и не называли, как Кропля либо Лишьбытихо.

Даже в лагере люди тщатся сделать карьеру. Лишний раз я убедился, насколько сильно и неистребимо честолюбие человеческое.

Завоевав признание публики, Буданов стал исподволь подкатываться под Кузнецова с целью занять его место руководителя культбригады. Мишка это узнал — на одном из совещаний разгорелась бурная сцена.

Но тут я расстался с культбригадой.

Начальник КВЧ сообщил мне, что освободилось место хлебореза — хочу ли я его занять? Я

задумался. Быть около хлеба — лучшей работы не придумаешь. В рассуждении сытости культбригада ничего не давала. Кроме того, было и другое обстоятельство, заставившее меня внимательно отнестись к такому предложению. «Заслонов» был уже показан здешним зрителям несколько раз, мы выезжали на гастроли с этим спектаклем не только на участки, но даже побывали и в До́линке, на большой настоящей сцене, где выступали перед высоким лагерным начальством. Требовалось уже освежить репертуар. Возник замысел поставить комедию Шкваркина «Чужой ребенок», в которой для меня не оказалось роли.

Я чувствовал, что Кузнецов смотрит теперь на меня как на балласт и — мужчина решительный — воспользуется любым поводом, чтобы выдворить меня из бригады, а КВЧ это санкционирует. Не поможет и присланный мамой меховой жилет, который я, в ущерб себе, поднес Мишке и который тот принял весьма благосклонно. Из актера я решил превратиться в хлебореза и сделал это, как оказалось, вполне своевременно.

Вскоре наша культбригада вообще прекратила свое существование. Лагерная администрация с некоторым запозданием решила, что это излишняя роскошь для заключенных. Кузнецов

вернулся, выражаясь библейским языком, на блевотину свою. После как-то я видел его в соседнем бараке. Сидел Мишка среди уркаганов, свой в доску, совсем не такой, каким был он в бригаде, и азартно шлепал по столу грязными просаленными картами. Глаза лихорадочно блестели, наверно, от анаши — наркотика, который употребляют блатари. Меня не заметил.

Вскоре я узнал, что Кузнецов умер. От туберкулеза.

А ведь талантлив был. И, видимо, искренне хотел подняться с того дна, на которое бросила его жизнь.

Косинова некоторое время спустя отправили с этапом куда-то в спецлагерь на каторжные работы. Хертлейн и Катрель досрочно были освобождены и вернулись на родину, как и все находившиеся в советских лагерях военнопленные. Судьба остальных товарищей при культбригаде мне неизвестна.

А я сделался хлеборезом. Теперь у меня было двое подчиненных, двое подручных, которые, за добавочную пайку, помогали резать и вешать хлеб. Задолго до подъема, когда еще нависала морозная зимняя ночь и весь поселок спал, я уже копошился в своей маленькой, нетопленой,

промерзшей каморке, при свете тусклой керосиновой лампочки, готовясь выдавать бригадам хлеб: нарезанные еще с вечера пайки лежали на полках стеллажей. Мы втроем резали их согласно представленным конторой спискам. Отказчикам полагалось 300 граммов, доходягам — 400, работягам — 500, 600 и даже 700 (о туфта!).

С момента подъема тесное помещение хлеборезки наполнялось народом. Приходили закутанные, свежо пахнущие морозом бригадиры с большими корзинами, толпились за барьером, стоял шум и галдеж. Я едва успевал выдавать заготовленные пайки. К семи часам хлеборезка пустела, на полках ничего уже не оставалось, и можно было, повесив на дверь большой тяжелый замок, отправиться к себе в барак досыпать.

Буханки я получал накануне вечером в хлебопекарне, которая находилась напротив — через площадь, — складывал на розвальни, и возчик-заключенный подвозил их к дверям хлеборезки. В пекарне было тепло и стоял упоительный запах горячего хлеба. Бухгалтер Ткаченко, Иван Петрович, всякий раз незаметно совал мне приготовленную заранее дополнительную пайку. Я не знаю, за что сидел этот тихий, молчаливый, ростом невеликий человек с лицом добрым и

грустным, и никогда в разговоре с ним не затрагивал больной темы. Было такое впечатление, будто старается он сделаться как можно незаметней, не привлекать ничьего внимания. И жил обособленно, в отдельной кабине при пекарне.

Во время одной из утренних выдач хлеба я обнаружил недостачу целой буханки, которая лежала на одной из полок стеллажа, ближе к краю. Кто-то стащил, пока бригады получали свои пайки. Я объявил о пропаже толпившимся за деревянным барьером женщинам, и одна из них сказала, что только что встретила длинного парня в тулупе, который выскочил из хлеборезки и побежал, пряча что-то за пазухой. Я знал этого парня. Уголовник, вор. Не было никаких сомнений, что именно он стянул буханку.

На следующее утро, выдавая хлеб, я заметил торчащую позади, над теплыми платками баб, голову в облезлой раскрыленной ушанке. Парень, видно, решил повторить вчерашнее, вошел во вкус.

В молодые годы, когда я колебался, какую профессию выбрать — журналиста или киноактера, некоторое время пришлось мне заниматься в студии Пролеткино. Наряду с другими кинонауками обучали нас также приемам правильного

мордобития. Те несколько уроков бокса, которые преподали нам в студии, впоследствии не раз выручали меня в жизни — и до ареста, когда приходилось иметь дело с хулиганами, и в особенности в лагере.

Увидев эту воровато прячущуюся за спинами раскрыленную ушанку, я, не говоря ни слова, растолкал собравшихся женщин, подошел к вору и нанес косой удар в челюсть. Правой рукой, левой, опять правой… Я выбил его за дверь, он повалился на снег, поднялся и бросился бежать.

Через день меня вызвали в тепло натопленную дежурку у ворот зоны, где собрался целый ареопаг надзирателей, человек пять-шесть. Сидели, дышали махрой.

— Что же это ты, Фибих, хулиганишь? — придав себе строгий вид, вопросил главный. — До того избил человека, что в больницу положили.

Это была ложь. Я видел, как резво убегал от меня вор, подобрав полы тулупа. Очевидно, потом он пожаловался начальству.

— Я жалею только, что мало ему дал. Надо бы покрепче, — ответил я. И рассказал, как было все дело. Ареопаг одобрил мои действия. На прощание мне было сказано:

— В следующий раз бей так, чтобы лбом дверь

прошибал.

Живя среди неандертальцев, чтобы утвердить себя, я и действовать должен был по-неандертальски.

## 43

Однако защита собственными кулаками доверенных мне материальных ценностей практически ничего не дала. Внезапная ревизия хлеборезки обнаружила нехватку нескольких буханок. В наказание я был снят с работы.

Лично мне такая недостача хлеба была совершенно непонятна. Ведь только накануне вечером я сделал обычный подсчет принятого и отпущенного, и все было в ажуре.

Разгадка заключалась в том, как потом шепнули мне в зоне доброжелатели, что сторож, охранявший по ночам склады, подобрал ключ к замку и забрался в хлеборезку. Ну и что из того? Отвечать-то пришлось мне.

До весны, вплоть до полевых работ, я находился в зоне, откуда меня никуда не выпускали, и имел полную возможность наблюдать окружающую жизнь. Серая, убогая была жизнь. Валяясь в бараке на вагонке, я лениво прислушивался к озлобленной перебранке соседей — черт их знает

из-за чего поругались.

— Шакал! — шипел один.

— Пират! — не оставался в долгу другой.

— Проститутки кусок!

Блатарь Романов (речь о нем впереди), развалясь с сапогами на койке, напевал вполголоса:

*Завтра я одену майку голубую,*
*Завтра я одену брюки-клеш:*
*Две пути-дорожки, выбирай любую,*
*А из Карлага не уйдешь.*

Он был прав. Невозможно было уйти из Карлага. Легче было бежать из северных сибирских и дальневосточных таежных лагерей, чем с этой голой и плоской, как блин, степной равнины, где пеший виден за километры, где беглецу совершенно негде спрятаться. Если забредет он, в поисках пищи, в попавшийся по пути казахский аул, его тут же схватят и выдадут. За поимку беглого лагерника хорошо платят. Будь беглец свой, казах, — быть может, аульные жители его бы и не выдали, но русского выдадут обязательно. Русских не любят.

А уж по всему краю дано по радио знать о побеге, уже все поднято на ноги, уже во все концы скачут конные с ищейками-собаками.

Немало было попыток бежать отсюда, и все они кончались неудачей. Финал одного из таких попыток мне самому пришлось видеть.

Только что пойманного беглеца умышленно провели мимо зоны. Молоденький парнишка из блатарей, ежась и кутаясь в лохмотья, проворно семенил впереди, а за ним следом шли трое охранников, придерживая на поводке громадную разъяренную овчарку. Время от времени они спускали собаку, она со всего маха налетала сзади на мальчишку, сбивала с ног, рвала и катала по земле, мы слышали, как кричал паренек, мы слышали злобное рычанье пса и злорадный смех охранников. Потом они на несколько минут придерживали овчарку, давая беглецу возможность подняться на ноги и двинуться дальше, а затем вновь спускали пса, и тот вновь рвал и катал его по земле. Делалось это специально и для нас, зрителей. Высыпавшие из бараков зеки кучками стояли на дворе зоны и сквозь колюче-проволочные ограды наблюдали происходившее на глазах. Мрачное висело молчание, никто ни слова не промолвил.

Впрочем, нет, сохранился в памяти один случай, по-видимому, удачного побега. Относится это к первым годам бурминского жития. Да и то я

не уверен, действительно ли удачного.

Соседом моим в бараке расконвоированных был старый кореец Цой. Темноликий, с белыми усами, с проницательным взглядом узких, словно бы припухших глаз, ходил Цой, подпираясь палочкой, по причине больных ног. Инвалид-доходяга. Тихий симпатичный человек был старый кореец.

— Ничего, Цой, все будет хорошо! — ободрял я его, хлопая по костлявому плечу. Ответом была недоверчивая усмешка. Он-то знал, старый Цой, что хорошего здесь нечего ждать.

И вот однажды, ранней осенью, на вечерней проверке, после отбоя, дежурный надзиратель, привычно пройдя по бараку и пальцем пересчитав на ходу всех сидевших по койкам, обнаружил место Цоя пустым. Тревоги это не вызвало. Куда мог уйти старик с больными ногами? Вероятно, в соседнем бараке задержался.

Но и ночью, во время следующей проверки, пустовала койка Цоя. И утром так же. Поднялась тревога. Начался розыск по всей Бурме. Все ждали, что если старый кореец действительно бежал, то к вечеру его приведут обратно. Однако не привели утром беглеца. И на другой день не привели. И на третий. И через неделю.

Так и ушел, так и сгинул бесследно старый, еле передвигающий ноги кореец Цой со своей палочкой. Правда, разнесся спустя некоторое время слух, будто в степи найден был труп какого-то по обличью старого казаха, который мог быть и нашим Цоем, однако так ли это на самом деле или не так — никто не знал.

Свобода! Все о ней страстно мечтали. Особенно жили этой светлой мечтой в годы войны. Все верили, нет, не верили, а были убеждены в том, что в честь великой победы над гитлеровской Германией (а дела на фронте явственно шли к нашей победе) правительство объявит широкую амнистию для заключенных политических. То и дело, неизвестно кем пущенный, начинал бродить слушок о готовящейся якобы широкой амнистии. Таинственно шептались о каком-нибудь мифическом надзирателе или другом вольном, который-де проговорился, будто в Москве уже работает специальная комиссия, но работает пока секретно, ждут окончания войны. Слух гулял по лагерю, всех будоража, вызывая горячие споры многочисленных оптимистов с немногочисленными пессимистами, затем затихал, но спустя некоторое время опять рождался.

Действительно, великая историческая победа

над нацистской Германией была отмечена амнистией. Издевательской амнистией. Досрочно освобождались заключенные политические со сроком до трех лет. На практике такой срок никому не давали, минимальный срок для пятьдесят восьмой был пять лет — братья и сестры «врагов народа».

Среди пестрого интернационального люда, населявшего огороженный колючей проволокой пятачок, охраняемый часовыми на вышках и злыми собаками, были также священники разных вероисповеданий — русские попы, католические ксендзы, раввины, чеченские муллы. Я имел возможность убедиться, насколько фанатично католическое духовенство.

Недалеко от моей вагонки находились две соседствующих — на одной внизу спал православный священник из Западной Белоруссии, на другой, тоже внизу, польский ксендз. Поп — серьезный, в очках, с темной окладистой бородой, с оставленными ему длинными волосами — был глубоко верующим человеком. По утрам, поднявшись с постели, он надевал на себя самодельную холщовую (вместо золотой парчовой) епитрахиль, надевал на шею большой крест (не золотой, а из двух деревянных чурок), раскрывал

маленький карманный требник и вполголоса, глухим баском, служил обедню. Сам для себя служил, ни на кого не обращая внимания. Но что происходило тогда с его соседом, старым, рыхлым, обычно сонным и флегматичным ксендзом в черной замасленной сутане на мелких, тесно посаженных пуговках! Серое, обрюзглое, поросшее седой щетиной лицо багровело, тусклые угасшие глаза оживали, в них вспыхивало пламя аутодафе. Ксендз не желал слушать, как рядом с ним молится своему Богу проклятый еретик, схизматик, вероотступник. Грузно сидя на постели, ксендз затыкал двумя пальцами уши и яростно отплевывался. Если б это было в его силах, он с наслаждением отправил бы еретика на костер, этот вышедший из Средневековья старый католический поп.

— Вы не можете представить себе, как тяжело жилось в Польше православному русскому населению, — сказал мне священник из Западной Белоруссии. — Поляки закрывали церкви, запрещали нам молиться, говорить на своем языке.

За что он сидел — не знаю. Не спрашивал.

Проходя по двору, часто можно было видеть прогуливающегося с кем-нибудь взад-вперед и на ходу светски беседующего пана Ольшанско-

го. Очень приятное впечатление производил он на фоне лагеря — учтиво, непривычно для нас раскланивающийся со знакомыми, хорошо воспитанный, подтянутый, стройный пожилой мужчина. Приветливая улыбка не сходила с его моложавого красивого, всегда гладко выбритого лица. По-русски говорил великолепно, без малейшего акцента.

Рассказывали про Ольшанского, что он из Вильнюса, иезуит, был редактором выходившей там в буржуазные времена католической газеты, а также владельцем кинотеатра, где показывали поставленные Ватиканом фильмы на религиозные темы.

Но как-то случилось мне присутствовать при разговоре, где было упомянуто между прочим имя Ярослава Галана, западноукраинского антиклерикального публициста, автора едких, направленных против католицизма памфлетов. Едва прозвучало это имя, как Ольшанского, который принимал участие в беседе, — приветливого, всегда улыбающегося, приятного пана Ольшанского — точно другим человеком подменили. Куда девались светские манеры, улыбчивая, вкрадчивая вежливость! Улыбка исчезла, краска бросилась в лицо, и он со злобной горячностью,

уже не подбирая выражений, стал доказывать, каким негодяем, каким последним мерзавцем был Ярослав Галан, убитый накануне войны на улицах Львова (говорят, людьми, подосланными Ватиканом).

Так шла жизнь за колючей проволокой.

А тем временем где-то, в каких-то неведомых кабинетах, какие-то люди в золотых погонах с голубыми просветами, рассматривая длинные списки с нашими фамилиями, где против каждой стояли статья и срок, хладнокровно решали дальнейшую нашу судьбу. Была, в том числе, решена и судьба моего друга Ткаченко, бухгалтера пекарни. Его отправили отсюда в спецлагерь; одновременно отправили на каторгу и Косинова.

Вечером в бараке они собрали вещи, готовясь к дальнему этапу. Оба молчали, сомкнув губы, у обоих были лица мертвецов.

Прощаясь навсегда со мной, Иван Петрович подарил портсигар:

— Вот вам, Даниил Владимирович, на память.

Такие самодельные деревянные, выкрашенные в черный цвет и украшенные изящными узорами из наклеенной золотистой соломки портсигары, и не только портсигары, но и рамочки, коробки, шкатулки, делали лагерные умельцы и тайком

меняли вольным на хлеб.

Подарок Ткаченко до сих пор у меня цел.

Какова судьба Ивана Петровича и Косинова? Не знаю. Боюсь, невеселой была их судьба.

## 44

Прошла весна, и стал я работать в расконвоированной бригаде Кирова, занимавшейся главным образом лесопосадками. Говорили, что наш носивший историческую фамилию бригадир учительствовал в Белоруссии, но не верилось этому — уж слишком на вид был сер. А во время войны, говорили, окончил специальную школу геббельсовских агитаторов, открытую немцами на оккупированной территории.

Сложен был Киров из трех разных частей: стриженая белобрысая голова простолюдина, курносая, скуластая, со смышлеными и жесткими серыми глазами, торс атлета и ноги карлика, причем левая, согнутая в колене, короче правой. Однако ковылял он быстро и уверенно, прихрамывая и подкидывая оттопыренным задом.

Бригада состояла из мужиков — орловских, полтавских, краснодарских колхозников, бывших в свое время под немцами и волей-неволей работавших на них. В такой среде я, горожанин, был

белой вороной, и мужички не упускали случая дать мне это почувствовать. Никто не заговаривал со мной запросто, по-свойски, обращались только на «вы» — это церемонно-отчужденное «вы» звучало почти оскорбительно. Стоило мне взять в руки лопату, как кто-нибудь из работавших рядом непременно подходил и начинал ласково поучать:

— Да вы не так копаете. Нешто так держат лопату? Вот как надо держать. Вот, глядите.

(Право же, я держал лопату не хуже других.)

А возвращая мне лопату, поучающий говорил снисходительным тоном:

— Ну конечно, вы человек городской.

В ласковых этих интонациях чувствовалась исконная неприязнь мужика к белоручке-горожанину. Я был одет точно так же, как они, получал такую же пайку, хлебал ту же синюю ячменную баланду, спал на такой же койке, работал подобно им, и тем не менее в их глазах был чужаком, инородным телом, гнилой интеллигенцией. Один из бригады, Кузнецов, однофамилец Мишки, сухим ястребиным лицом напоминавший покойного фотографа Максимова, обращался ко мне не иначе как «господин Фибих». Я промолчал раз, промолчал другой, а на третий спокойно сказал:

— Я, Кузнецов, не господин, а такое же лагерное черное падло, как ты.

Подействовало. Больше я не слышал издевательского обращения к себе.

Ранней весной, едва сошел снег, работали мы на лесопосадках. Плоская безжизненная степь, покрытая жухлой прошлогодней травой, походила на разостланную рыжую шкуру. Сумасшедший, никогда не стихающий казахстанский ветер гнал вокруг шары перекати-поля, они мчались наперегонки. Коротенький Киров проворно ковылял на калечных ногах взад-вперед, подкидывая задом, и показывал, где нужно рыть ямы для саженцев. Мы выкапывали квадратные ямы, опускали туда принесенные с собой хилые молоденькие деревца, засыпали тяжелой, непросохшей землей, утаптывали ногами и шли дальше. Беспомощными, обреченными казались тоненькие юные деревца, жалко сгибавшиеся под порывами необузданного ветра. Не знаю, приживались ли они.

Пока шли такие посадки, несколько человек бродили по начинавшемуся рядом рыхлому картофельному полю и подбирали случайно оставшиеся в бороздах, после прошлогодней уборки, насквозь промороженные картофелины.

Были они мягкими, точно глина. Когда такую картофелину сжимаешь пальцами — течет вода, кожура сдирается, как с вареной картошки, совсем легко. Мы очищали их от кожуры, выжимали всю влагу и лепили из мягкой белой массы толстые круглые лепешки. Охапками собрав высокий сухой бурьян, разводили костер.

В ближайшем арыке журчала мутная, быстрая, высоко поднявшаяся весенняя вода. Кто-нибудь отмывал в арыке свою лопату до влажного блеска и, подхватив на нее картофельную лепешку, принимался печь на огне. Пламя под ветром развевалось желтыми лохмотьями. Собравшись вокруг дымящегося костра, мы с жадностью поедали горячие лепешки.

— Чистый крахмал. Под снегом картофель весь переработался, — жуя лепешку, объяснял нам бригадир по-научному. Крахмал или не крахмал, но для нас такие лепехи были вкусны даже без соли. Странным они обладали вкусом: не то картошка, не то печеный хлеб. И еще их достоинством была сытность. Трех таких лепешек хватало на то, чтобы весь день чувствовать себя сытым.

Позже, в мае, стали ходить на работу в лесопитомник. Высаживали откуда-то привезенные

молодые деревца, выпалывали сорняки, угрожающие задушить крохотные малютки-елочки, трогательные младенческой своей беззащитностью. Все эти молодые, стоящие скучно-правильными солдатскими шеренгами деревья, что мы видели вокруг, этот большой фруктовый сад, благоухающий волшебными бело-розовыми и бело-фиолетовыми облаками цветущих яблонь и вишен, — были посажены и взращены нашими руками, руками заключенных.

Да и все кругом было создано слабосильными этими руками.

Мы, зеки, создали цивилизацию в пустынных, диких, чингисханских степях, где раньше лишь перегоняли своих баранов кочующие казахи. Мы провели здесь железные дороги и построили поселки, превратившиеся затем в города. Мы стали в широких размерах добывать каменный уголь в Караганде и медь в Джезказгане. Мы строили плотины, создавали в сухой степи водохранилища и покрывали ее сетью арыков, разносящих воду по полям. Мы распахивали тракторами черствую бесплодную землю, сеяли пшеницу, ячмень, овес, просо и собирали богатые урожаи для государства. Мы разбивали огороды с овощами, бахчи с дынями и арбузами и разводили фруктовые сады.

Мы выращивали искусственные леса, дающие защиту от жгучего солнца и ветра.

Современный цветущий Советский Казахстан создан рабским трудом заключенных.

Да что там Казахстан! А великие каналы, соединяющие северные наши моря с южными? Беломорско-Балтийский, Москва — Волга, Волга — Дон, Волго-Балт? А заполярный уголь Воркуты, Инты, Печоры? А железные дороги на тысячи километров, проложенные сквозь тайгу и тундру? А пробитые в горах автомобильные трассы? А большие современные города, построенные на вечной мерзлоте, — Магадан, Норильск и другие?.. Гордость первой пятилетки Магнитка — и та в значительной степени сооружалась заключенными. А метро и высотные дома в Москве? Университет имени Ломоносова? Не только энтузиасты-комсомольцы — работали здесь и те, кого приводили и уводили вооруженные солдаты.

Все самые тяжелые и ответственные работы первых пятилеток легли на плечи заключенных.

Сколько их вообще было в сталинской России?

В Карлаге говорили, будто, по данным иностранной печати, общее число заключенных в советских концлагерях определялось в 25–30 миллионов. Так ли это — я не знаю. Академик

Сахаров, отец советской водородной бомбы, в своем известном письме-трактате о судьбах общечеловеческой цивилизации, адресованном советскому правительству и общественности всего мира, называет меньшую цифру, 10–15 миллионов. Но и это равняется населению средней европейской страны.

И другие цифры приводит Сахаров. Одних только членов партии было репрессировано в сталинщину миллион двести тысяч.

Из них расстреляна ровно половина — шестьсот тысяч. Из остальных вернулись живыми после реабилитации всего лишь пятьдесят тысяч.

А сколько полегло нашего брата — беспартийных? Сколько миллионов?..

Мне рассказывали, как в одном из лагерей, занятых прокладыванием через сибирскую тайгу железнодорожного пути, начальник пункта заявил заключенным: «Мы построим, хотя бы вместо каждой шпалы лег труп».

И ложились трупы.

...В 1969 году мы с женой[35] путешествовали на туристическом теплоходе по Волге, Каме, Белой. Чудесные были виды, особенно крутые и высокие берега Камы, одетые в осеннее золото и пурпур. Культурником и гидом нашим оказался ста-

рик-пенсионер с бритым неприятным лицом, в поношенной фетровой шляпе, с которой почему-то была снята лента. Как-то, очевидно, подвыпив, он завязал со мной дружескую беседу, сообщил, что в молодости работал в органах. И, ухмыльнувшись, сказал между прочим, что в лагеря при Сталине сплошь и рядом сажали только потому, что нужна была рабочая сила.

На следующий день, проспавшись, видимо, он вспомнил, что накануне болтал лишнее, и при встрече со мной на палубе шарахался, как от зачумленного.

Он мог бы еще добавить, мой авторитетный собеседник, что зачастую массовые аресты производились по специальной разнарядке, что следователи должны были выполнять (и, конечно, с превышением — плановое хозяйство!) спущенный сверху план. Иные из намеченных жертв спасались тем, что, случайно узнав о предстоящем своем аресте, уезжали куда-нибудь подальше, в глушь. Никто их потом не преследовал.

Следователи сталинских времен любили острить: «Был бы человек, а дело найдется».

Мучительно стараясь понять и осмыслить то, что творится в моей стране, временами я доходил

до философии незабвенного Васисуалия Лоханкина. На костях безвестных рабов были построены египетские пирамиды, римские дороги и акведуки, думал я. На костях крепостных мужиков вырос Петербург, нынешний Ленинград. Кто вспоминает сейчас об этом?

Быть может, и сталинский социализм, которого не предвидели ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, должен быть вот так же построен на наших костях? Может быть, такова историческая закономерность развития человеческого общества?

Может быть, в этом сермяжная правда?

## 45

Дважды на своем веку пришлось мне видеть Сталина и дважды слышать его голос.

Как-то — было это в двадцатых годах — редакция «Известий» послала меня дать «впечатления» о не помню каком Всероссийском съезде Советов, на котором с докладом должен был выступить Сталин. «Впечатления» были тогда моим газетным амплуа. Из года в год, 1 Мая и 7 Ноября, ходил я со специальным пропуском на Красную площадь впечатляться традиционными, происходившими по установленному регламенту военными парадами, а затем казенными демон-

страциями трудящихся. Всякий раз свои восторги передавать по-новому. Впечатлялся всевозможными съездами, конференциями, совещаниями, слетами, происходившими то в Кремле, то в Большом театре, то в Колонном зале Дома союзов.

На сей раз съезд собрался в Большом театре. Ярко освещенный, малиновый с золотом многоярусный колодец зрительного зала сверху донизу был полон народа, сидящих рядами делегатов и гостей. Вместе с другими газетчиками я устроился в глубокой яме оркестра, под самой рампой, и мне отлично был виден стоящий на трибуне вождь. Черный ежик волос над низким лбом, густые черные усы грузинского духанщика. Простая светло-серая тужурка, воспетая Анри Барбюсом. Трудно было представить себе улыбку на спокойном, холодном этом лице. «Вы обращали внимание на профиль Сталина? Ведь это профиль тигра», — сказала мне спустя много лет Анна Васильевна.

Его встретили умеренные рукоплескания зала — бурные овации пока еще не были предписаны.

Он стоял на трибуне и говорил спокойным, ровным, бесстрастным голосом, с заметным кавказским акцентом, заглядывая порой в раз-

ложенные листки, и примитивная, но стройная логика его речи невольно действовала на слушателей. В духовной семинарии в числе других предметов изучалась и логика.

Второй раз я увидел его через несколько лет, в тридцатых годах, на похоронах Максима Горького. Я уже не работал в газете, был свободным литератором, членом Союза писателей. Гроб с телом покойного, выставленный в Доме союзов, в Колонном зале, превратился в пестрый зеленый холмик из венков и живых цветов, среди которых с трудом можно было найти знакомое по бесчисленным снимкам усатое мертвое лицо с широкими ноздрями. Длинный зал между двух рядов могучих белых колонн, маслянисто отражающих огни многоярусных старинных люстр, был забит провожающими, главным образом литературной и артистической публикой. Мелькали лица знаменитостей. Торжественная висела тишина.

Мы — я и три других писателя, не помню, кто именно, — вчетвером застыли в почетном карауле по четырем углам пестро-зеленого холмика. Полагалось стоять так пять минут, затем места занимала следующая четверка. Внезапно легкое движение прошло по толпе, забившей белоколон-

ный зал, ветерком пронеслось из конца в конец: «Сталин, Сталин», и, скосив глаз — двигаться не полагалось, — я увидел вождя. Сопровождаемый обычной своей свитой, он прошел совсем близко от меня в светло-сером полувоенном костюме, в сапогах с блестящими голенищами, некрупного роста. Прошел быстро, втянув в плечи голову с черным ежиком, казалось, весь настороженный, и остановился в ожидании недалеко от меня. Вокруг него засуетились. Минуты две спустя наши места у гроба заняли Сталин, Молотов, Ворошилов и Каганович. Можно сказать, я передал эстафету самому вождю. Полубог, небожитель неожиданно спустился с горных высот, покинул свой наглухо отрезанный от всех средневековый замок, чтобы проводить в последний путь Горького. Как, оказывается, любил Иосиф Виссарионович покойного Алексея Максимовича! Все с благоговейным умилением глядели на невысокую фигуру в светло-серой куртке, которая, слегка сутулясь, держа руки по швам, окаменела у гроба. И в таких же солдатских позах застыли верные соратники, связанные круговой порукой, — Молотов с его выпуклым дегенеративным лбом, пенсне и носом-пуговкой, в хорошо сшитом английском костюме, молодцеватый, в маршаль-

ской форме Ворошилов и почти не похожий на еврея Каганович в сталинской тужурке. Все они, подобно вождю, носили усы.

Высокие гости постояли в почетном карауле положенные пять минут, сошли с постамента и исчезли, точно и не было их вовсе. Незадолго до своей смерти Корней Чуковский[35a], давая интервью иностранному корреспонденту, сказал:

— Нет никакого сомнения в том, что Горький был одной из жертв Сталина. Он любил хоронить тех, кого убивал. Умиляя всех, он стоял в почетном карауле у гроба Максима Горького. Он шел за гробом Кирова, вытирая слезы, он следовал за гробом Аллилуевой. Не знаю, провожал ли он гроб Фрунзе.

Второй раз слышал я вождя в тревожные дни 1941 года, слышал вместе со всей страной, когда он выступал по радио с обращением к советскому народу. Война только началась, германские танковые армии проламывали путь к Москве, прорывали фронты один за другим. То была очередная «историческая» речь. Каждая речь Сталина объявлялась газетами исторической.

Я слышал совершенно неузнаваемый прерывающийся, жалкий голос, выдававший полную растерянность и панический страх, охвативший

человека.

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» — звучал из репродуктора дрожащий плачущий голос, то и дело прерываемый бульканьем наливаемой в стакан воды и судорожными глотками. Это был вопль, зов на помощь, крик человека, который вдруг почувствовал, что у него из-под ног уходит земля. «Братья и сестры. Друзья мои!» Никогда еще не обращался так Сталин к народу.

И, растроганный таким обращением к нему, советский народ поднялся на защиту вождя.

Чем же потом отблагодарил диктатор Советскую Россию за все перенесенные ею муки и лишения, за потоки крови, пролитой во имя его спасения?

Террором 1947–1948 годов. Немногим отличался он от свирепствовавшего десять лет назад ежовского.

## 46

Неизвестно, по какой причине летом кировская бригада была законвоирована, и наше вольное хождение кончилось. Теперь, отправляясь утром на работу, мы выходили из ворот зоны в общей

колонне, человек на полтораста, под конвоем вооруженных солдат не в синих, как раньше, а в темно-красных погонах. Очевидно, МВД меняло форму.

— Разберись по пятеркам!.. Первая пятерка, три шага вперед! Вторая! Третья! Четвертая!..

Затем следовало привычное напутствие — «утренняя молитва», как говорили зеки:

— …шаг вправо, шаг влево… — скучно бубнил, точно дьячок молитву, старший конвоир.

— …прыжок вверх, — тихо вставлял какой-нибудь остряк в колонне.

— …считается попыткой к побегу. Конвой без предупреждения применяет оружие. Ясно?

— Ясно! — жизнерадостно отзывались урки.

Трогались. Шли медленно, вяло — куда спешить? Да и немало было в колонне увечных, хромых, а то и одноногих на костылях. Фронт и тяжелые лагеря забирали здоровых мужчин, они требовались для войны, для заполярных шахт и таежных строительств, а в Карлаг поступала главным образом всякая калечь и немощь. Рисунки Гойи напоминала наша плетущаяся по дороге колонна.

Бригады занимались сейчас прополкой на «квадратах». Так именовались разбитые на

большие квадраты огороды, где росли капуста, морковь, кормовая свекла и другие овощи. Каждый такой квадрат с трех сторон был огорожен стеной высоких пирамидальных тополей, посаженных, наверное, заключенными лет двадцать назад.

Освещенная оранжевым утренним солнцем дорога на «квадраты» была пустынна, тиха и прохладна, только порой встречалась медленно ехавшая скрипучая телега. Старый казах в островерхом лисьем малахае окидывал нас равнодушным взглядом узких глаз. Привычное было ему зрелище.

Придя на место, конвоиры первым делом определяли зону, втыкая в землю по широкой окружности специально захваченные с собой деревянные колышки с поперечиной. Их нес кто-нибудь из заключенных. По мере продвижения работающих передвигалась и определяемая колышками зона. Всякий шагнувший за незримую черту тут же получал пулю, без предупреждения.

Работа сама по себе считалась нетрудной, однако часами приходилось гнуться в три погибели, подставляя затылок и спину солнечному пеклу. Спина затекала и ныла, в горле пересыхало, томила мучительная жажда. С двенадцати до двух, в

самый накал, полагался двухчасовой обеденный перерыв — ждали его с нетерпением. Усталые люди отдыхали в жиденькой тени тополей, кто сидя, кто лежа на земле. На волах привозили громадную деревянную бадью, наполненную водой, общими силами сгружали с телеги, все бросались, толкая друг друга, к воде, черпали кружками, котелками, с жадностью пили. Затем привозили горячую пищу, раздавали, и мы обедали, рассевшись на земле с котелками в руках.

В тот день прополкой свеклы занимались несколько бригад. В полдень, как обычно, привезли воду, и все жадной нетерпеливой толпой собрались вокруг сгруженной на землю большой бочки. Начался беспорядочный водопой.

Кроме котелка и, по-солдатски, ложки за голенищем, я всегда носил с собой на работу присланную мамой алюминиевую кружку. Пробившись сквозь сгрудившуюся толпу к бочке, я только что хотел зачерпнуть воды, как кто-то рядом попросил:

— Дай кружку!

Я дал. Парень напился, вернул кружку — и тут с другой стороны:

— Дай кружку!

Дал и этому. Однако только что собирался сам

напиться, как снова услышал:

— Дай кружку!

Просил мужик из чужой бригады, которого я немного знал, крепкий черноусый немец-колонист, прекрасно говоривший по-русски.

— Но я сам еще не пил, — ответил я, и тут же в руке у меня осталась только алюминиевая ручка. Немец молча и грубо вырвал кружку. Реакция моя была мгновенной: прямой удар в зубы, отбросивший наглеца назад. И тут, к великому удовольствию зрителей, восхищенных неожиданным развлечением, начался у нас свирепый и безмолвный кулачный бой. Все расступились, мигом образовалась площадка, на которой мы могли бы драться досыта. Изнывающие целый день от скуки «пойки» — конвойные солдаты тоже оживились и с интересом стали следить издали, опираясь на винтовки, за нашим раундом.

С первых же минут схватки мне стало ясно, что рассвирепевший противник, несмотря на тупую ярость, с какой он набрасывался, не умеет драться по-настоящему. Снисходя к его дилетантству, я ограничился активной обороной и только отражал наскоки, не давая возможность подойти вплотную. Глядя на черноусое лицо с остановившимся на мне злобно-растерянным взглядом, я

предугадывал готовящийся удар, вовремя увертывался и отвечал косым ударом в челюсть, от которого противника отбрасывало на несколько шагов назад. Только раз задел он меня, скользнув кулаком по скуле.

Затем я сделал хук левой. Немец тяжело плюхнулся задом на землю и остался сидеть.

— Ну что, довольно? — спросил я.

— Нет, не довольно!

Однако же, все-таки с трудом поднявшись, поплелся к бочке отмывать разбитую морду. Бой окончился. Правая рука у меня, с закатанным до локтя рукавом, была вымазана вражеской кровью, в крови была и грязная рубашка. Я подобрал валявшуюся на траве изуродованную, без ручки, алюминиевую кружку, досыта напился наконец воды из бочки и пошел к своей бригаде, потрясенной и восхищенной разыгравшейся у них на глазах сценой. Я шел, как триумфатор, неожиданно для всех раскрывшийся в новом качестве и одновременно поддержавший коллективную честь бригады. Приветственные возгласы встретили меня:

— Ай да Фибих!

— Вот это вложил!

— Вот это да!

Рыжий орловец, работавший, кажется, лесником при немцах, хлопал по плечу:

— Здорово ты его, Владимирыч!.. Вот и я тоже!.. — И, воодушевившись, стал рассказывать, как и он в молодые годы лихо дрался на кулачки.

Но тут привезли обед, все бросились к подводе, окружили, бренча котелками, началась раздача.

— Вы, наверное, боксер? — стоя со мной в очереди и нетерпеливо приплясывая, спросил паренек явно блатного вида.

— Боксер, — сказал я. Пусть уж такая братия считает меня боксером.

— И выступать приходилось?

— Приходилось, — скромно признался я.

С этой минуты отношение бригады ко мне резко изменилось. Меня не только приняли, но и окружили почетом. Я уже не был больше гнилой интеллигенцией. Недавнее отчужденно-вежливое «вы» сменилось простецким «ты», ко мне теперь обращались уважительно-фамильярно по отчеству — Владимирыч. Я стал свой, свой в доску, мало того, сделался гордостью коллектива. Теперь в случае столкновения с кем-нибудь из чужой бригады мои товарищи грозились, то ли в шутку, то ли всерьез:

— А вот мы Фибиха на вас напустим. Он вам даст жизни.

Один только мой недруг Кузнецов, неизвестно по какой причине невзлюбивший меня с первой минуты, говорил, что я вовсе не такой уж хороший кулачный боец и что он, Кузнецов, если понадобится, наваляет мне будь здоров.

— Ну что ж, давай проверим, кто кому наваляет, — предложил я, когда услышал, и встал в боксерскую позу. Однако Кузнецов почему-то уклонился от моего предложения.

Прошел год. Вновь наступило жаркое лето. Меня, опять расконвоированного, бросили на сенокос, в составе другой бригады, работавшей без конвоя. Жесткие степные травы были уже скошены, лежали валками. Валки сгребали вилами в копны, которые требовалось отвозить в одно место и складывать в скирду. Дни стояли знойные, с белесоватого неба лились потоки жгучего света, солнце палило. На зеленой щетине стерни повсюду виднелись, стоящие правильными рядами, круглые шапки копен, свежескошенных, пахучих. К ним медлительно подъезжали громадные, запряженные парой волов арбы, подбирали копны и отвозили туда, где опытные скирдовщики, работая вилами, проворно складывали из сена

длинную гигантскую скирду, размером с трехэтажный дом. Каждую такую арбу обслуживали два человека. Один вел волов, другой, с вилами на плече, шел рядом. Останавливались у каждой копны, в два-три взмаха перекладывали ее на арбу и шли к следующей.

И надо же было случиться, что моим напарником оказался тот самый прошлогодний немец! Он вел волов, а я шел с вилами.

Каждая физическая работа требует сноровки и опыта. Опытный копнильщик-профессионал складывает на арбу копну сена в два счета. Раз! — и половина копны, очутившись на вилах, плавным полукругом переносится на арбу. Два! — таким же манером подбирается оставшаяся половина. Копна, стоявшая у дороги, исчезала, будто и не было ее. Трогай дальше, к следующей. Так работает опытный копнильщик.

Я же был неопытным. Впервые в жизни взял я в руки вилы. Для того чтобы переложить копну на арбу, мне требовался счет не раз-два, а десять-двенадцать, и не две минуты времени, а, наверное, целых пятнадцать. Вот наша арба остановилась у начинающей подсыхать мягкой копны. Я захватил вилами большой клок сена, но, пока переношу его над собой, весь навильник

разваливается, осыпая меня с ног до головы сухим колючим сеном. Оно порошит глаза, липнет к лицу, проникает за ворот, щекочет потную кожу. На вилах остается лишь жалкий пучок, с которым не знаешь, что делать — то ли стряхнуть на арбу, то ли бросить обратно на копну…

Кое-как, с грехом пополам подбирал я таким образом копну. Подъезжали к следующей, и повторялось то же самое.

А пока вот так ковырялись мы по десять-пятнадцать минут у каждой копны, соседние, которые убирались опытными копнильщиками, исчезали со сказочной быстротой. Отовсюду ползли высоко нагруженные арбы к скирде, стоящей поодаль и та с такой же сказочной быстротой росла и в длину, и в ширину.

Ни единого — не только что бранного, — ни единого слова упрека не услышал я от своего напарника. Он ни разу даже не матюкнулся, хотя я вполне заслуживал этого. Наблюдая, как я жалко и беспомощно копаюсь вилами в сене, мой немец кротко молчал. Он проявлял железную выдержку и ангельское терпение. А ведь такая, с позволения сказать, работа отражалась на процентах не только моей, но и его выработки, отражалась на пайке.

Немец кротко молчал, ибо хорошо помнил, как уходил от меня с мордой, разбитой в кровь. «Никак я не мог близко подойти к Фибиху, — делился он потом со своими приятелями — мне рассказывали, — только хочу подойти — как отлетаю»…

Смотрел, смотрел немец, как я работаю, и наконец не выдержал: молча взял у меня из рук вилы и ловко, умело, сам принялся накладывать сено на арбу. Для него, колониста, это было свойское дело. Теперь работа у нас пошла куда скорее, а мне пришлось только вести волов от копны к копне. Так до конца дня и работали.

## 47

Но пора уже было подумать о более подходящем занятии — работе в конторе, единственной в здешних условиях разновидности привычного для меня труда. Как раз в это время в очередной маминой посылке, кроме съестного, я обнаружил синий морской летний китель. Очевидно, старый китель брата, служившего в то время на флоте. Очень это было кстати.

Я не натянул китель на себя. Подобно заячьему тулупчику, что был подарен Гриневым Пугачеву, синий китель сыграл большую роль в дальнейшей моей судьбе. Я свернул его, сунул за пазуху

и отправился к нарядчику, средних лет, полуинтеллигентного вида мужчине, который жил в отдельной кабине, а не в бараке. День только начинался, и он должен был находиться у себя.

Действительно, на мой стук в дверь отозвался его голос. Я вошел и, ни слова не говоря, прежде всего закрыл дверь на ключ. Увидев это, сидевший за столом над бумагами нарядчик испуганно вскочил — подумал, наверное, что пришли его бить. Но я, конечно, не заметил этого непроизвольного движения. Я вытащил принесенное из-за пазухи и вручил с самой приятной улыбкой:

— Вот, пожалуйста. В подарок. Мне этот китель не нужен, а вам, быть может, подойдет.

Успокоенный нарядчик, не подавая виду, какое впечатление произвело на него внезапное мое появление, примерил китель, застегнулся, обернулся, осмотрел себя и сказал, очень довольный:

— Прямо на меня сшит.

Несколько дней спустя я сидел уже за столом в продотделе среди конторщиков и отщелкивал на счетах цифры. Не раз потом с благодарностью в душе убеждался я в практической истине тех уроков житейской мудрости, которые преподавал мой коллега по новой тюрьме старшина Николен-

ко. Где-то он был сейчас?.. Теперь пришлось иметь дело со всеми видами лагерного довольствия, вплоть до фуража, и каждый месяц составлять простыни-отчеты об израсходованных продуктах, представляемые в административный центр Карлага — в Дóлинку. Требовалась известная ловкость рук для подгонки цифр так, чтобы они совпадали с предыдущим месяцем, особенно в отношении фуража для скота (о туфта!). Как будто я с этим благополучно справлялся.

К этому примерно времени относится один эпизод.

Я упоминал уже об уркагане Романове, который жил в одном со мной бараке. Населяли барак главным образом крестьяне из Западной Белоруссии и Западной Украины, трудолюбивые работяги, привыкшие вкалывать с утра до ночи, смирный, серый, забитый народ. Романов — парень молодой, сильный, нахальный — терроризировал весь барак, делал что хотел. Мужички-западники боялись слово ему сказать.

Однажды в сумерки после работы, когда еще не зажгли свет, сидели мы небольшой группой и мирно беседовали. Был тут и Романов. Не помню уж, в ответ на какие слова бросил я грубую фразу. Романов вскочил, метнулся к своей койке, порыл-

ся там минуту в тумбочке, затем снова подошел ко мне — правая рука за спиной:

— Повтори, что сказал.

Я не повторил. Все знали, что в тумбочке он прячет нож. Дислокация была для меня самая невыгодная: я сидел на койке, прислоняясь спиной к стене, а надо мной неясный в полутьме, угрожающе нависал Романов, явно пряча за спиной нож. Не было возможности ни отразить удар, ни увернуться от удара. Я перевел разговор на другое, и Романов, постояв еще минуту надо мной, отошел к себе.

Вскоре после того весь барак повели в баню. Раздевшись, как и все, в предбаннике и сдав белье в прожарку, я пошел мыться. Открыл дверь. У самой двери, упираясь вытянутой ногой в противоположную скамейку, преградив таким образом входившим дорогу, сидел в голом виде Романов, никого не пуская, забавлялся. Молча я отбросил босую его ногу в сторону и вошел в теплое душное помещение, наполненное моющимися. Слышался плеск воды и стук шаек. Не успел сделать и десяти шагов, как мимо пролетела и с грохотом ударилась об стену тяжелая деревянная шайка. Романов, разозленный тем, что с ним так непочтительно обошлись, запустил вдогонку

в меня шайкой, но, к счастью, промахнулся. Я не остановился, даже не оглянулся на него. Я просто не обратил внимания на то, что в меня запустили шайкой, которая могла сбить с ног и покалечить. Прежним ровным босым шагом я вошел в соседнее помещение, где тоже мылись несколько человек.

Тогда Романов, подхватив шайку, совсем уже взбешенный, ринулся вслед за мной. Подскочив ко мне, он высоко занес тяжелую деревянную посудину, держа ее обеими руками — вот-вот со всего размаха обрушит на мою голову. Минуту мы молча стояли друг против друга, два голых зека. Полупудовая мокрая шайка висела надо мной дамокловым мечом. Опустись она — череп разлетелся бы, как переспелый арбуз. Я смотрел Романову в глаза, но в то же время боковым каким-то зрением следил и за повисшей над головой шайкой, чтобы, если понадобится, в некую долю секунды отпрянуть вбок.

Так простоял минуту Романов с поднятой шайкой, потом опустил ее, мрачно повернулся и воротился к себе в мыльню. Выждав немного, я направился к нему. Уже остыв от вспышки ярости, блатарь сидел на мокрой лавке среди других моющихся и усердно натирался мочалкой.

Потоки мыльной пены стекали по молодому, мускулистому, блестевшему от воды телу. Я остановился перед блатарем и сказал:

— Смотри, плохо кончишь, Романов.

Ответом был угрюмый взгляд.

— Я тебя схаваю без соли, — проворчал блатарь, продолжая намыливаться.

— Подавишься, — сказал я, повернулся спиной и пошел обратно, тоже не оглядываясь. На этот раз шайка вдогонку мне не полетела.

Прошло дня два-три. Вновь сидели мы, несколько человек, после трудового дня у себя в бараке и вели ленивый треп. За спиной у меня, на своей койке, молча прислушивался к тому, что я говорю — Романов. Было у меня впечатление, что после маленького банного происшествия он заинтересовался мною, и этот интерес носит оттенок уважения.

Я свернул махорочную папироску, взял в зубы, похлопал себя по карманам. Спичек не было.

— Ребята, нет ли огонька?

— Пожалуйста! — вдруг сказал позади меня Романов и, чиркнув, поднес зажженную спичку.

— Спасибо, — сказал я и продолжал беседу, не подавая виду, что поражен небывалым таким явлением. Эта услужливо поднесенная спичка,

это «пожалуйста!» из уст барачного диктатора, который ко всем обращался не иначе как «эй, ты, падло!»...

Потом я вышел во двор подышать свежим вечерним воздухом. Конторские служащие числились расконвоированными, но тем не менее жили в зоне, а на работу за пределами зоны ходили под личную ответственность своего, так сказать, бригадира, старика-главбуха Якименко. Немного погодя следом за мной вышел из барака и Романов, постоял. Затем подошел.

— Хороший вечер.

Я согласился, что вечер действительно хорош. Поговорили о погоде.

— Вы в конторе работаете? — спросил Романов («вы!»)

— Да, в конторе, — ответил я, с удивлением обнаружив, что парень, оказывается, способен не только на звериное рычание, а на человеческую, мало того, на светскую речь. Побеседовали мы с ним несколько минут мирно и вполне пристойно и затем разошлись.

Вскоре Романова увезли. На другой участок или в этап, неизвестно.

Даже в такой обстановке старался я бороться не только за жизнь, но и за человеческое свое досто-

инство. И, кажется, успевал в этом. По крайней мере, один из надзирателей сказал мне как-то:

— Нехорошая у вас, Фибих, тенденция. (Экое слово знал!)

— Какая тенденция?

— Вы других за людей не считаете.

Я считал других за людей — он был неправ. Но только перед такими, как он, не лебезил, не подхалимничал, внутренне смотрел на них сверху вниз, и надзиратели — народ по характеру своей службы наблюдательный, видимо, это чувствовали.

Припоминается мне эпизод другого порядка.

В конторе отделения работали не только заключенные, но и вольные. Работала в том числе и одна молоденькая, только со школьной скамьи девочка, хорошенькая пухленькая брюнетка. Приехала сюда из Тамбовской области от родителей к своей старшей сестре, заведующей ларьком для вольных, и поступила в контору бухгалтером. Неизвестно, что побудило ее искать себе работу в исправительно-трудовом лагере.

Случилось как-то, мы с ней задержались в конторе вдвоем дольше обычного. Все разошлись. Я вообще не спешил в зону и всегда уходил позже других, отдыхая от барака. Мы сидели и работали

в полном молчании, каждый занятый своим делом. Лишь иногда на счетах пощелкивали, я или она. Вдруг в тишине прозвучал девичий голосок:

— Я хочу задать вам один вопрос.

— Пожалуйста, — сказал я, насторожившись. Вопрос, требовавший предисловия, не мог быть обычным.

— Правда, что следователи бьют? — спрашивала девочка, не поднимая от бумаги глаз. Мне показалось, давно ее мучает такой вопрос.

— Правда, — ответил я.

— Зачем это они делают?

— Чтобы получить нужные им показания.

— Какая гадость! — вырвалось у нее. На круглом миловидном полудетском лице появилась гримаса искреннего отвращения.

Милая наивная комсомолочка!

## 48

Проверяя прожитые в Казахстане годы и оглянувшись назад, я даже удивился. Оказывается, перевалило далеко уже за половину срока, и оставшийся срок с каждым днем уменьшается и уменьшается. Десять лет. Каким огромным, неодолимым, совершенно безнадежным казался мне в первые годы этот черный отрезок времени!

В отчаянной, изо дня в день, борьбе за жизнь я не надеялся, что выдержу его.

А ныне, оглядываясь на то, что осталось за спиной, я почувствовал, что доживу, пожалуй, и до выхода на свободу. Условия лагерной жизни несколько улучшились. Нормированная пайка — эта основа основ — увеличилась до пятисот граммов. Ничтожный, казалось бы, стограммовый довесок ощущался изголодавшимся организмом как значительное подспорье.

В 1950 году министром внутренних дел вновь стал Берия, правая рука и соотечественник Сталина. Как известно, впоследствии, после смерти диктатора, он предпринял неудачную попытку совершить государственный переворот, за что и поплатился головой. Берия был беспринципным политическим авантюристом восточного образца, палачом и негодяем, но справедливости ради надо сказать, что в лагерях на первое время им была проведена разумная, с точки зрения власти предержащей, экономическая реформа. Лагеря были переведены на хозрасчет.

Практически это дало то, что люди забыли туфту и стали работать без дураков. Отныне за свою работу зек получал пятьдесят процентов того, что полагалось бы вольнонаемному рабочему. Часть

денег выдавалась на руки, остальное поступало на лицевой счет. По выходе из лагеря человек получал накопившуюся за это время значительную сумму денег, которая давала возможность просуществовать первое время. Правда, из этой суммы вычитались все затраты на содержание заключенного. Отныне содержание его государству ничего не стоило. Человек должен был сам оплачивать свою неволю, часто совершенно незаконную, расходы на пайку и баланду, на место на нарах, на конвой, на собак и надзирателей. Остроумное изобретение, единственное в своем роде.

Но в лагерях теперь появились ларьки, где можно было купить патоку, карликовые, но сладкие здешние арбузы, дыни, овощи, впоследствии даже хлеб.

Был упорядочен и внутренний быт. Началась эпоха великих перетасовок и переселений. Были образованы отдельные мужские и отдельные женские лагеря. Отдельные лагеря для политических и отдельные для уголовников. Благодаря этому исчезло царившее до сего времени засилье блатарей, прекратились разнузданный грабеж и воровство. Возникли камеры хранения вещей — можно было быть спокойным за свои пожитки.

Проблема борьбы за пищу для меня отошла как

будто на второй план. Но странное дело, теперь, занимаясь не физическим, а умственным трудом, я стал привлекать к себе усиленное внимание личностей с подкладкой. То одна, то другая подобная личность пыталась завести со мной разговор на недозволенную тему. А вести такие разговоры не рекомендовалось — даже в лагере.

Появился, например, у меня новый знакомый, некто Болдырев, молодой человек вполне интеллигентного вида, сторож фруктового сада. Уж одно это казалось подозрительным: молодой здоровый парень, если не первая, так вторая категория, а поставлен почему-то на самое инвалидное, стариковское место — сторожить. И что сторожить? Фруктовый сад. Яблоки, вишни, сливы, ягоды — все твое.

Был Болдырев очень вежлив, с хорошими манерами, весьма и весьма приятный молодой человек. Но при всей своей приятности как-то раз с удовольствием рассказал мне случай, когда он, выскочив внезапно из засады, отстегал кнутом двух забравшихся к нему в малинник женщин-заключенных. «Сволочь!» — мысленно оценил я рассказчика.

Появлялся он — стройный и улыбчивый, в чистенькой телогрейке — под вечер, когда я

оставался в конторе один, непринужденно усаживался на стул и начинал болтать о том о сем. Я поддерживал светскую беседу. Но однажды, неожиданно для меня, Болдырев со вздохом глубокомысленно изрек:

— Да, Даниил Владимирович, кухарки не могут управлять государством.

Сентенция сия никак не была связана с предыдущим разговором. Это походило на наживку, которую забрасывает рыболов глупой рыбешке. Однако рыбешка на этот раз оказалась не такой уж глупой. На перифраз известного ленинского афоризма, что каждая кухарка должна уметь управлять государством, последовал такой ответ:

— Все-таки в Политбюро сидят не кухарки, а опытные политики.

Почему-то после этого приятный молодой человек Болдырев исчез с горизонта, и больше я его не видел. Я не представлял для него больше никакого интереса.

В новом бараке, куда меня перевели не так давно, помещалась конторская и иная чистая публика. Среди нас выделялся плотный, сытого вида мужчина в приличном сером костюме. Когда он снимал кепку, обнаруживалась лысина во

всю голову — белая, почтенная, добропорядочная лысина. На широком бритом лице играла улыбка, одновременно и хитренькая, и сладенькая. Фамилии человека не помню. Взяли с оккупированной территории. Рассказывая о войне, он никогда не называл немцев «фашистами» или «гитлеровцами», нет, всегда уважительно скажет «национал-социалисты».

Спал он недалеко от меня, и я часто мог видеть его сидящим на койке с книжкой в руках. Любил человек печатное слово. Культурный был.

Так, однажды сидел он и читал при мне роман Анны Зегерс «Седьмой крест» — рассказывается там о побеге из гитлеровского лагеря смерти семи узников. Читал внимательнейшим образом. Дочитал до конца, захлопнул потрепанную книжку и, видно, не в силах больше сдерживаться, прошипел сквозь зубы — я слышал:

— Проститутка!

Это относилось к автору романа.

Одетый в серый костюм человек с благопристойной лысиной и сладенькой улыбочкой, как мне говорили, служил при немцах в Харькове шофером душегубки. Да, да, тем самым главным убийцей, который, включая мотор, душил выхлопными газами людей, находившихся в

наглухо закрытой машине. Сколько жизней было на его совести?

А в лагере он жил припеваючи, этот душегуб, — заведовал столовой для вольных. Столовой для вольных!

Я так подробно рассказываю о нем потому, что не раз пытался он завязать со мной разговор на какую-нибудь остренькую политическую тему. С моей стороны он получал сухие сдержанные ответы, которые сразу же прекращали дальнейшую беседу. Тогда он говорил мне со своей улыбочкой — мед теперь мешался с уксусом:

— Нет, вы неискренни, товарищ Фибих. Не хотите быть откровенным.

Эта гадина называла меня своим товарищем и претендовала на какую-то откровенность с нею. Что ж, в глазах тех, кто держал нас за колючей проволокой, мы были вполне равнозначащие, следовательно, товарищи. Мало того, он был даже более нужным и заслуживающим доверия человеком, чем я.

Вообще наблюдалось парадоксальное явление: тяжелые преступники устраивались в лагере лучше всех и, мало того, пользовались благоволением администрации.

Меня, профессионального литератора, все эти

годы тянуло писать. Теперь, когда с общих работ попал в контору, как будто представилась такая возможность: ежедневно после занятий можно было уделять литературе часа два-три. Я решил писать рассказы об Отечественной войне, используя как основу мелкие свои заметки в армейской печати, и с этой целью написал маме, прося ее прислать хранившиеся дома старые фронтовые газеты, где имелись мои статейки. Конечно, в следующей же посылке я их получил. Сверх просимого мама вложила еще два номера журнала «Огонек» с моими военными корреспонденциями, а также старый номер двухнедельного журнала «Колхозник» с моим очерком о Фрунзе «Командарм».

Заведующая почтой Зина, благоволившая ко мне, красивая девушка, вольняшка, выдала посылку прямо на руки, нарушив инструкцию, без проверки ее дежурным надзирателем. Но спустя некоторое время прибежала ко мне взволнованная и шепотом рассказала, что начальник 3-го отдела Бабенко неизвестно как узнал это и после сурового внушения приказал, чтобы я немедленно вернул ей все полученные газеты и журналы. «Уж ругал меня, ругал…» Ничего не поделаешь, пришлось вернуть. Правда, не все, кое-какие

нужные газеты я придержал.

Прошло два дня. Одним из моих соседей в бараке был зоотехник, долговязый, рыжий, полублатной, с которым до сего времени я ни словом не перемолвился. Но тут вечером он обратился ко мне с неожиданным вопросом:

— Кажется, вы получили из Москвы газеты с вашими статьями?

— Да, получил, — сказал я, внутренне весь подобравшись. Откуда он узнал, что получены такие газеты? Никому я их не показывал, никому не говорил. Странно. Очень странно.

— Нельзя ли почитать? Интересно, — продолжал зоотехник. Тон был самый простодушный, но какое-то необъяснимое чувство заставило меня ответить:

— Нет, я никому не даю их читать. К чему?

Только потом я понял, насколько провокационной была эта невинная на первый взгляд просьба и какой опасности удалось мне избежать, избежать совершенно инстинктивно.

Через день я был вызван в Хитрый Домик. Так назывался у нас 3-й отдел, выполнявший в лагере весьма определенные функции.

Человек совершил политическое преступление, судебные органы определяют за это соответ-

ствующую меру наказания, которое преступник и несет. Преступник наказывается один раз. Многократность судебной кары исключена. Такими были законы старой России. Таковы вообще законы всего цивилизованного мира. По законам Советского государства человек может быть наказан несколько раз. Уже отбывая наказание, он может тем не менее подвергнуться новому, дополнительному. Лагерные сроки широко применялись в практике судебных органов. Вот такие-то сроки и подготавливал Хитрый Домик.

«Зачем я вдруг понадобился Куму?» — думал я с беспокойством по дороге туда и не мог найти ответа.

Начальник 3-го отдела, рыжеватый сухощавый лейтенант Бабенко, сидел за столом у себя, в невзрачном своем кабинете.

— Ну что вы делаете, Фибих! — встретил он меня отечески-укоризненным тоном. — Человек грамотный, писатель, а занимаетесь глупостями.

— Какими глупостями, гражданин начальник?

— Выписываете из Москвы газеты со своими статьями. Зачем вам понадобились ваши статьи?

Я стал было объяснять — зачем, но Бабенко прервал на полуслове:

— Никто вам не позволит здесь писать. Выйдете на волю, пишите сколько угодно. А здесь лагерь. Писаниной заниматься здесь не положено.

Коварная вещь аналогии. Я сравнил про себя: Чернышевский, сидя в крепости, писал агитационный роман «Что делать?», Николай Морозов[39], двадцать пять лет просидевший в Шлиссельбурге, создал за эти годы оригинальный научный труд «Откровение в грозе и буре», Ленин в Шушенском писал политические статьи…

— Я познакомился с вашими статьями, — продолжал Кум, перекладывая лежавшие перед ним газеты — то были мои газеты, армейские. — Вы пишете как советский патриот. Но зачем вам понадобилось вот это? (Потряс зеленоватой тетрадью «Колхозника».) Зачем вам понадобилось вытаскивать врага народа?

— Какого врага народа? — спросил я, ничего не понимая.

— Как какого? Блюхера!

Не знаю, побледнел ли я, когда сообразил, в чем дело. Наверное, побледнел. В моем очерке «Командарм» упоминалось о том, что Перекоп штурмовала 51-я дивизия, которой командовал Блюхер. Имя его упоминалось мельком, но и этого было достаточно. Я совершенно об этом забыл и

вспомнил только после грозных слов Бабенко. Бедная моя мама, в чрезмерном своем усердии прославшая и то, чего я совершенно не просил, могла оказать мне, совсем не подозревая того, чрезвычайно скверную услугу.

Я объяснил Бабенко, каким образом попал ко мне «Колхозник» со злосчастной статьей, и сказал, что ничего контрреволюционного здесь нет. Статья написана, когда о Блюхере еще не знали как о враге народа, и напечатана в советском журнале, издававшемся под редакцией Горького.

— Ничего не значит, что напечатана! — сказал Кум железным голосом — Есть у вас еще какие-нибудь газеты?

Я признался, что есть. Лучше было признаться, чем ждать специального шмона.

— Принесите все. И чтоб больше никаких глупостей. Выйдете из лагеря — пожалуйста, пишите. Можете идти.

Мне стало по-настоящему страшно, когда я наконец уразумел, какая готовилась мне ловушка. Разумеется, рыжий зоотехник просил дать ему почитать не по своей инициативе — откуда ему было знать о моих газетах! — а по приказу самого Бабенко. И счастье, что я ничего не дал читать. Если бы дал, хоть что-нибудь, — погиб. Меня ждал

лагерный суд и новый добавочный срок. Эффектное бы дельце состряпал томящийся бездельем лейтенант Бабенко: закоренелый антисоветчик выписывает в лагерь свои статьи, восхваляющие врагов народа, и распространяет их среди заключенных с целью подрыва советской власти. Может быть, и групповое дело удалось бы склеить…

Но оставалось тайной, каким образом сам Бабенко узнал о полученной мной посылке. Зина не могла об этом сообщить. Скорее всего, перлюстрируя лагерную корреспонденцию (а это, вероятно, тоже входило в его обязанности), он обратил внимание на мое письмо, где я просил прислать газеты со своими статьями, и взял его на заметку.

В прошлом году, проходя площадью Восстания, увидел я выставленные в газетном киоске, среди газет, журналов и открыток, новенькие календари с ярким, красочным портретом «врага народа» маршала Блюхера. Жаль, не купил.

А надо бы купить. На память.

## 49

На соседнем Лиманном участке, закончив срок, выходил на свободу заведующий зерноскладом.

Мне предложили его место. Маленький Лиманный участок был бесконвойным. Зона, где стоял только один длинный барак, представляла собою вид мирный и заброшенный: пусты покосившиеся полуразрушенные вышки для часовых, гостеприимно распахнуты настежь ворота, сбитые из двух-трех бревен и опутанные колючей проволокой. Свободно входи и выходи.

Я согласился на такое предложение. Манила свобода и независимость подобной работы.

Северный Казахстан почти не знает дождей, летом стоит сушь, и поэтому все здесь выращивается способом искусственного орошения. На Поливном участке, где я жил, применялась система каналов-арыков, а здесь, на Лиманном, поля просто затапливались водой. Своеобразным и красивым было зрелище залиманенных весной полей — будто лежали десятки сверкающих на солнце зеркал, оправленных в квадраты решетчатой рамки, и по этим рамкам — земляным насыпям — отражаясь в воде, осторожно ходили люди. Летом, напоив сухую почву, вешняя вода постепенно сходила, а на смену ей поднимались хлеба, начинали колоситься.

Саманное белое здание склада, куда на грузовиках свозили с полей сжатое и обмолоченное

самоходным комбайном зерно, стояло в полукилометре от разрушенной зоны, среди степи. При складе, в уютной маленькой хибарке, жил сторож, он же мой помощник, не то поляк, не то литовец Буткевичус или Буткевич, долговязая, вкрадчиво-вежливая, хитрющая бестия в сером немецком кепи с большим козырьком. Ходил он на полусогнутых ногах, длинные руки с выставленными назад локтями тоже полусогнуты, тяжелые рабочие кисти свешены. По образу прошлой долагерной жизни, по взглядам, по всей психологии был это типичнейший западноевропейский кулак.

В послевоенные годы Буткевич держал связь с бандами зеленых, которые долгое время таились в глухих литовских лесах, делая налеты на советские учреждения. Самодовольно рассказывал он мне, как на глазах наших солдат выносил спрятавшихся у него «партизан», когда к нему на хутор неожиданно нагрянул разъезд. Пока хозяйка радушно угощала гостей чем бог послал, хозяин перетаскивал из сарая куда-то в лес, взвалив себе на спину, большие снопы соломы — сноп за снопом. В каждом находился человек. Так, одного за другим, и перетаскал всех.

Я принял склад летом. Было последнее мое

казахстанское лето — в следующем году, 2 июня 1953 года, заканчивалось десятилетнее пребывание в Карлаге. Закрома зернохранилища стояли пустые, и у меня вдоволь было свободного времени. Но к концу лета, когда начался сбор урожая, уже не приходилось жаловаться на отсутствие работы. Непрерывно подъезжали с поля груженные зерном машины. Стоявшие в помещении большие весы были вытащены на площадку, и мы с Буткевичем проводили на них целые дни, принимая и взвешивая тяжелые, туго набитые мешки, которые таскали на себе рабочие. Потом зерно ссыпали тут же на разостланном брезенте. Точно застывшие разноцветные волны подступали к белым стенам зернохранилища — розоватая пшеница, бархатисто-серый казахстанский ячмень, светло-бронзовое просо, лимонно-желтый овес. С Поливного приходили под конвоем рабочие бригады, перетаскивали все это на своем горбу под крышу и ссыпали мешки в закрома. Работали уголовники, блатари. Среди них выделялись два тихих миловидных мальчика лет по четырнадцати-пятнадцати, из категории малолеток. Товарищи звали их женскими именами: одного — Машка, другого — Зинка.

Даже в полуденный зной на складе было

тенисто и прохладно, приятно продувало гуляющим по закоулкам ветерком, стоял запах зерна, пыльный и пресный. Тяжелой, сыпучей, сухо шелестящей массой зерно доверху наполняло бетонированные закрома.

Полновесное зерно нового урожая было принято, перевешено и занесено в амбарную книгу, на дверях склада повисли тяжелые замки. Началась выдача зерна по накладным возчикам, которые приезжали с различных участков и отдельных точек то за пшеницей, то за ячменем, то за овсом.

И всякий раз, едва появлялась машина или подвода, завидев ее издали, из жилого барака на Лиманном во всю прыть спешил ко мне на склад завхоз Синеок. Ему нужно было непременно самому присутствовать при выдаче зерна. Он не скрывал, что следит, как я работаю.

Несколько слов об этом бдительном товарище.

Плотный, быстрый, энергичный, крикливый, с наголо обритой головой и визгливым бабьим голосом, был он с Донбасса, был шахтером, коммунистом, ходил там в каких-то незначительных, я думаю, начальниках. («Люблю власть», — признался он мне как-то.) Служил, очевидно, там и при немцах, за что и угодил в лагерь. Я вывел Синеока под собственной его поэтической фами-

лией в рассказе «Самая любимая». Думаю, что не так уж далеко ушел от истины в пластическом изображении этой фигуры.

То и дело, с подозрительной настойчивостью, норовил он завести скользкий разговор на политическую тему, иногда наедине, часто при свидетелях, но я всякий раз их прекращал. Мне давно уже было известно, что лагерь кишит стукачами.

Принимая новое зерно, я сделал небольшой резервный фонд проса — на всякий случай. Исправительно-трудовой лагерь уже кое-чему научил. Насколько было это предусмотрительно сделано, стало видно из того, что вскоре к складу подъехала запряженная сытой лошадкой бричка и кучер-заключенный, соскочив с козел, объявил мне:

— Начальник прислал. Отходов для кур не найдется?

Конечно, нашлось. Под видом отходов пришлось отсыпать начальнику отделения увесистый мешочек хорошего проса.

В дальнейшем не раз приезжал кучер начальника отделения и забирал отпущенное мною для него просо. Попробовал бы я не дать! Кто питался этим просом — начальниковы куры или же сам

начальник с семейством кушали пшенную кашу, — право, сказать не могу.

На отходы для домашней птицы зарилось и мелкое начальство. Жены живущих на Лиманном надзирателя и стрелка тоже не раз приходили ко мне с такой просьбой. Техника передачи выработалась у нас следующая. В стороне от склада высилась среди степи большая скирда сена. Когда спускались сумерки, я шел туда, спрятав под полой бушлата мешок проса, и оставлял его в условленном месте под скирдой, прикрыв сеном. Немного позже можно было наблюдать издали, как со стороны домика, где жили надзиратель и стрелок, отделяется маленькая женская фигурка и спешит к скирде.

Если высокое начальство, в лице начальника отделения, ограничивалось лишь тем, что благосклонно принимало краденое зерно и считало, что я, заключенный, должен подносить ему такие дары, то начальство низшее, люди простые, очевидно, считало себя обязанным как-то меня за это отблагодарить. Всякий раз, получив мешочек проса, жены надзирателя и стрелка просили зайти к ним. Я заходил на дом и уносил с собой литр молока либо пару яичек, а то и кусочек свиного сала! Не скупились бабоньки, дай им Бог

здоровья!

Подошла зима, пали и залегли глубокие снега, начали бесчинствовать бураны. В один из серебряно-светлых, тихих и звонких морозных дней, только что отпустив какого-то приехавшего за овсом возчика, грелся я в теплой, хорошо натопленной каморке Буткевича. Донесся шум подъезжающих к складу саней. Подъехали, остановились. Ну, опять возчик с какого-то участка приехал — надо идти выдавать. Но то был не возчик. В сенях затопали, в каморку Буткевича вошли, обдав холодом не только физически, сразу несколько человек — надзиратель с Поливного, бухгалтер-ревизор, еще и еще кто-то. Короткой была беседа с незваными гостями. Без объяснения причины мне предложено было сдать ключи. Отобрали ключи, наложили на дверь склада красные сургучные печати. Затем велели собраться с вещами и отвезли нас обоих, меня и Буткевича, на Поливной, в зону, за проволоку. Вновь произошла неожиданная перемена в прихотливой лагерной моей судьбе, да еще какая! Надо мной, оказывается, нависла грозная опасность.

Только спустя некоторое время, уже находясь опять в зоне, узнал я, что случилось и чем были вызваны такие действия администрации. Оказа-

лось, в одном из ближайших степных поселков милиция задержала двух казахов, продававших на базаре зерно. На санях у них нашли шесть мешков ячменя и шесть овса. Началось следствие. Казахи показали, что купили будто бы это зерно у сторожа, охранявшего полузаброшенные в степи склады недалеко от Лиманного. Пока суд да дело, решили и меня заодно снять с работы и запереть в зону. Мне теперь грозило обвинение уже не в политическом, а в уголовном преступлении.

Казахов посадили, сторожа-заключенного — тоже. Мы с Буткевичем пока свободно разгуливали по зоне, но в любой момент тоже могли угодить за решетку. Дело вызвало большой интерес среди населения Поливного. Передавали, что арестованный сторож яростно отрицает возведенное на него обвинение, говорит, что казахи клевещут, сводя с ним какие-то старые счеты. А у меня началась генеральная проверка склада. Каждое утро надзиратели и ревизоры везли меня на Лиманный; снимались с замков печати, раскрывались тяжелые двери склада, и начинали перевешивать зерна в закромах. Работала специальная бригада — насыпали мешки, таскали на весы, здесь мы с ревизором взвешивали и записывали вес, каждый отдельно. Под конец дня сверяли

записи, закрывали склад, накладывали вновь печати и ехали обратно в зону. Так продолжалось недели, вероятно, полторы.

Когда ревизия закончилась и все находившееся в закромах было перевешено до последнего зернышка и сверено со всеми записями, оказалось, как и следовало предполагать, что никакой недостачи нет и у меня полный порядок на складе. Единственно, в одном из закромов был обнаружен овес, смешанный с небольшим количеством ячменя. Я объяснил, что во время приемки нового урожая рабочие по ошибке высыпали два-три мешка не в тот закром. Синеок подтвердил мои слова.

Следствие над казахами и сторожем продолжалось с месяц и кончилось ничем — дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Так и осталось неясным, откуда у казахов взялись двенадцать мешков зерна. Ни меня, ни Буткевича следователь ни разу даже не вызывал. Я вышел чист, но на зерносклад, где к тому времени был уже новый заведующий, больше не вернулся. Болтался без дела в зоне.

Прибежал в барак запыхавшийся Синеок. Я лежал, покуривая, на нарах.

— Поедешь на Лиманный сдавать дела. Там у

тебя недостача тары.

— Сколько?

— Двадцать восемь мешков не хватает.

Нехватка мешков, о которой я знал, давно уже меня не беспокоила. После одной из выдач зерна обнаружилась пропажа целой кипы пустых мешков, лежавших внутри склада, на низкой стенке. Стащил мимоходом возчик — все это было уголовное ворье. Как бы ухитриться сактировать недостачу этих злополучных мешков — ломал я себе голову. Не хотелось платить своим карманом, и без того весьма тощим.

— Никуда я не поеду, — сказал я, продолжая лежать с заложенными за голову руками. Синеок дико на меня посмотрел, взвизгнул:

— Как не поедешь?

— Так. Уже две недели держат меня в зоне, дела я никому не сдавал, зерносклад фактически брошен на произвол судьбы. Я не могу отвечать за то, что произошло за эти две недели.

Синеок, потрясенный, побежал докладывать начальнику отделения о моем дерзком отказе ехать сдавать дела. Начальник — тот самый, что регулярно присылал ко мне кучера за просом, — был коренастый, мрачноватого вида мужчина в штатском, с украинской, не помню точно, фами-

лией на «ко». Вскоре я был вызван на расправу. И тут, стоя перед целым судилищем, состоящим из надзирателей во главе с начальником отделения, я выдержал — с гордостью могу это сказать, — выдержал жесточайший натиск.

— Немедленно собирайтесь и поезжайте на Лиманный! — кричал, перейдя на «вы», начальник отделения. Я отвечал спокойно:

— Никуда я не поеду, гражданин начальник. Меня неожиданно сняли с работы и две недели держат в зоне, склада я никому не передавал, а теперь с меня требуют какие-то мешки. Я не могу сейчас отвечать за наличие материальных ценностей. За это время могли все растащить, не только мешки.

— А я приказываю вам ехать! Слышите? — кричал, багровея, начальник. Он понимал, что допустил оплошность, которой я не замедлил воспользоваться. Прежде чем отправлять в зону, нужно было предложить мне тут же сдать кому-то дела — тогда и взыскивать с меня недостачу, если таковая обнаружится. А сейчас юридически я был совершенно прав.

— Не поеду, гражданин начальник, — отвечал я, собрав все присутствие духа. Это было тоже самоутверждением. — Заставить меня вы не

можете. Это незаконно. И никаких актов подписывать я не буду.

Надзиратели хранили дипломатическое молчание. Понимали: я прав, не придерешься.

Так и не поехал на Лиманный. Как уж там списывали недостающие мешки и как оформляли нового заведующего зерноскладом — ей-богу, меня мало интересовало.

## 50

Я заканчивал срок в последние годы правления Сталина и вышел на свободу в 1953 году, вскоре после его смерти, когда в стране явственно потянуло свежим живительным ветром. Можно было оглянуться на пройденное десятилетие. Не думал я, что выйду отсюда живым, ох не думал. А все-таки выжил. Да, выжил, благодаря самоотверженной помощи моей дорогой матери, ныне покойной. Только благодаря ей.

Почти в каждой с заботой и любовью собранной посылке присылала она мне пачку газет. Вообще газеты проникали в лагерь. Я имел возможность следить за тем, что происходило во внешнем мире и во внутренней жизни моей страны. А происходило что-то странное и не совсем понятное.

Казалось бы, фашизм был навсегда уничтожен.

Ценой нечеловеческих усилий истекающего кровью народа, ценой двадцати миллионов жертв, ценой половины европейской России, превращенной в развалины и пепелища, Сталин вышел победителем из титанического поединка с Гитлером. Но прошло немного времени — и во внутренней политике диктатора стали проявляться некие зловеще-знакомые тенденции. Прежнее раболепное преклонение перед вождем под усердным воздействием печати и радио все больше принимало характер обожествления его. Марксисты, яростно отрицающие роль личности в истории, превратили генерального секретаря партии в нового фюрера, окруженного почти мистическим ореолом. Леонид Леонов[40] не постыдился даже предложить начать летоисчисление человечества не с Рождества Христова, а со дня рождения Сталина. Вспыхнувший во время войны и вполне естественный патриотизм ныне перерождался в оголтелый ультранационализм, порой принимающий анекдотичные формы.

Появилось новое жутковатое словечко «космополитизм». Всякий сомневающийся в приоритете русского народа буквально во всех областях человеческой мысли, немедленно объявлялся космополитом, и с ним расправлялись по всем

испытанным правилам.

Печать открыто заявила о евреях-вредителях, был создан клеветнический процесс, при таинственных обстоятельствах погиб известный артист Михоэлс. Шептались о том, что якобы по примеру сосланных в Азию немцах Поволжья, крымских татар, калмыков, чеченцев, ингушей готовится массовая высылка и всех евреев. Новое гетто?

Если бы не смерть диктатора, совершенно неизвестно, какую окончательную форму принял бы этот новый политический курс.

Последние оставшиеся до выхода на свободу недели я, расконвоированный, работал дежурным на канале. То была чудесная пора. Целый день сидел я в поле, греясь на солнышке, в кустах, растущих вдоль неширокого канала, и наслаждался блаженством одиночества. В лагере особенно ощущается такое блаженство. Мирно, наводя сладкую дремоту, журчала под ногами холодная вода, узкой прямой голубой лентой устремлявшаяся вдаль — орошать поля. Если уровень ее понижался, нужно было опустить тяжелую деревянную створку, преграждая таким образом течение. Если повышался — поднять створку. Только и работы.

Я сидел в кустах, где невинно посвистывала какая-то случайно залетевшая птаха, слушал шелест волнующейся под ветром молодой зеленой листвы, усыпляющее журчание бегущей воды и думал, что буду делать, когда вернусь в нормальную человеческую жизнь, из которой меня вырвали десять лет назад. Что сулит завтрашний день? Где буду жить? Как устроюсь? Чем займусь? Каким трудом буду зарабатывать кусок хлеба?.. О литературной работе, которой жил четверть века, ныне придется забыть. Ни одна редакция, ни одно издательство не будут печатать политического, десять лет просидевшего в лагере. Это только в проклятое царское время политический преступник Достоевский мог беспрепятственно печататься, даже описывать каторгу, на которой находился.

Хотя мои доброжелатели и советовали не покидать Казахстан — здесь и устроиться на работу легче, и жить спокойнее, — все же я твердо решил ехать обратно в Россию, поселиться к Москве поближе, чтобы иметь возможность видеть маму и хлопотать о своей реабилитации. «После войны на ваше дело посмотрят другими глазами», — сказал тогда мне в Бутырках прокурор. Война давным-давно кончилась.

Все мысли были поглощены завтрашним днем. Наверно, этим объясняется, что, насколько яркими, навеки запомнившимися были впечатления первых лет неволи, настолько тускло, смутно, расплывчато вспоминаются последние лагерные дни.

Из ЦПО ехать оформляться нужно было в Дóлинку, административный центр. Последним, с кем я имел дело на Поливном, был Синеок, сопутствовавший мне в качестве ответственного лица во время оформления отъезда. И пока я ходил с ним по всяким канцелярским инстанциям, мы словом друг с другом не перемолвились. Лично у меня не было ни малейшего желания разговаривать с этим человеком, которого я, слава Богу, никогда в жизни больше не увижу. Что же касается его, то он молчал, подавленный и как бы растерянный. Мне казалось, я читал его мысли. Он остается, а вот я, благополучно закончив срок, покидаю лагерь. Я уезжаю, иду на волю, несмотря на все его попытки спровоцировать меня политически, несмотря на постоянную слежку за мной, за моей работой, несмотря на ревизию зерносклада, несмотря на пропавшие мешки. Я оставил его, соглядатая и провокатора, кругом в дураках и выхожу на свободу, а он остается в лагере.

Формальности были закончены, и я пошел направо, а он пошел налево. Расстались не простившись, не пожав руки друг другу, ни словом не обменявшись.

В Дóлинке, куда я приехал один — как вольный — на попутной грузовой машине, мне выдали свидетельство о выходе, по окончании срока, из лагеря и волчий паспорт, взглянув на который всякий чин мог сразу понять, какая перед ним птица. Поинтересовались, где я намерен жить, предупредив, что не только в столичных, но даже и в областных городах находиться мне не положено. Я выбрал Владимирскую область, поближе к Москве, захолустный районный городишко Покров. Там потом и поселился, и работал делопроизводителем-кассиром в примыкающем к городку колхозе. В Дóлинке же получил и железнодорожный билет до места нового жительства, и скромные суточные.

Затем, как и со всех, закончивших срок, взяли подписку, что я никому не стану рассказывать о лагерной своей жизни.

Всего несколько лет прошло — и Александр Солженицын[41] на весь мир распахнул ворота засекреченных советских лагерей, рассказав о них в «Одном дне Ивана Денисовича». Конечно, дале-

ко не все тогда рассказав. В литературе появилась — правда, на весьма короткий срок — лагерная тема. Та самая тема, о которой раньше боялись говорить даже за семейным столом.

Потом, под колесный рокот и мерное потряхивание, сидел я один, без конвоя, совершенно свободный, в жестком вагоне, с любопытством прислушиваясь к разговорам соседей, жадно глядел на мелькающие в окне со спущенным стеклом березы и липы — милы сердцу были наши леса после голых и унылых степных равнин. Я ехал на запад точно по новой, незнакомой мне стране, ехал день и ночь и думал, что так вот доеду до самой Москвы. Не сойду на станции, на которой кончается мой билет, а зайцем проеду оставшийся небольшой кусочек дальнего пути и вылезу из вагона в Москве, и увижу старенькую свою маму, и прижму ее к груди. Столько ведь лет не виделись.

Я ехал из Азии в Европу, и врывавшийся в открытое вагонное окно теплый ветер — ветер свободы — обвевал лицо. Прощай, треклятый Казахстан! Век тебя больше не видеть.

## 51

Подведем кое-какие итоги.

Тысячи лиц прошли передо мной за это время, в том числе люди, побывавшие в самых гиблых местах — и на Воркуте, и в Тайшете, и на Колыме, и в спецлагерях, — чуть ли не вся Русь лагерная. Среди них были и такие, с кем подружился, — например, Документов Николай Васильевич, экономист-плановик из Владимира, или Журавлев Павел Андреевич, слесарь из Орехова-Зуева, оба ныне реабилитированы. Однако писать обо всех невозможно.

Не буду также упоминать о тех мытарствах и скитаниях, которые ждали меня по выходе из лагеря, о новых тяжелых ударах, что пришлось перенести, об отчаянной борьбе за московскую прописку и обо всем том, что было с этим связано. Это тема для отдельной книги.

Но, оглядываясь на пережитое, могу сказать: а все-таки сбылось предсказанное мне старшиной Николенко исполнение желаний. Они исполнились, мои желания. «Тилько нэ скоро». Только не скоро. Очень даже не скоро.

Мало того, можно подумать, что осуществились

те два таинственных поворота колеса, которые он мне — и только одному мне — сулил. В самом деле, сначала было снятие судимости, а потом уже реабилитация. Семь лет ждал окончательной реабилитации. Десять плюс семь, итого семнадцать. Долго раскачивалась прокуратура, чтобы посмотреть на мое дело другими глазами.

Три человека сыграли роковую роль в моей жизни. Журналист Иван Рокотянский, генерал-лейтенант Мехлис и майор Коваленко.

Мехлис благополучно прожил свой век, умер, оплакиваемый газетами, посвятившими ему скорбные некрологи, и похоронен со всей подобающей пышностью. Светлая память о верном сыне ленинской партии, пламенном борце-коммунисте навеки останется в сердцах его товарищей.

Судьбы Коваленко я не знаю. Однако нисколько не удивлюсь, если мне сообщат, что третий мой следователь дослужился до генеральского чина.

Что же касается Рокотянского…

Поистине, жизнь порой преподносит такое, что не угнаться за ней литературной выдумке.

В 50-х годах, живя в деревушке под Клином (переехал туда из владимирской ссылки), я не раз наведывался в Москву хлопотать о своих делах в Главной военной прокуратуре. Ездить прихо-

дилось нелегально, ночевал тайком, прячась от соседей, либо у родных и знакомых, когда представлялась такая возможность, либо на вокзале, где всякую ночь милиция проверяла у пассажиров документы.

Так было и в тот летний день. Возвращаясь к себе в Клин, стоял я на перроне одной из станций метро и дожидался электрички. Народ толпился вокруг в изобилии. Я почувствовал на себе пристальный взгляд какого-то совершенно седого человека, стоявшего вблизи, однако не обратил внимания, весь во власти своих раздумий. Тут подошел, замелькав широкими светящимися окнами и замедляя бег, кремово-голубой поезд, двери разошлись, людская волна внесла меня в переполненный и без того вагон. Вновь сомкнулись автоматические двери, состав понесся дальше по подземным туннелям. Был час пик, люди стояли плечом к плечу, поезд мчался, гудел. Вдруг меня окликнули по фамилии — вполголоса, над ухом. Я оглянулся. Прижатый ко мне толпой седовласый человек глядел на меня и улыбался тонкими губами.

— Не узнаешь?

— Рокотянский! — пробормотал я, не веря глазам. Трудно было его узнать. (Как и меня,

вероятно.) Мне запомнился худой, сутулый, нескладный в своей военной форме парень с черной, будто обугленной головой, молчаливый и замкнутый. Теперь глядел на меня элегантный мужчина без шляпы, белоголовый, в дорогом летнем кремовом костюме, самодовольный, уверенный в себе. Глядел и улыбался.

— Ну как дела, Фибих? Ты где живешь? В Москве или в Ленинграде?

Запомнил мою фамилию! Но почему-то местом моего жительства определил Ленинград.

— В Москве, — совершенно ошеломленный, все же догадался я соврать. Теперь я окончательно узнал это не худое, как раньше, а солидно округлившееся, благообразно постаревшее, но такое же иезуитское лицо. На нем остановилась сладкая и вкрадчивая улыбка. Он рассматривал меня с живейшим и в то же время каким-то покровительственным любопытством. Он с интересом изучал меня — во что я превратился благодаря ему за эти годы. Он даже за пуговицу меня взял, продолжая сладко улыбаться. Как же, встреча старых фронтовых друзей! Однополчан. Соратников… Между прочим, на фронте я никогда не замечал у него такой улыбки.

Судорога омерзения прошла у меня по телу

— будто змея прикоснулась холодной скользкой кожей.

— Мне выходить, — сказал я, не прощаясь и протискиваясь к выходу, и минуту спустя покинул вагон на первой же остановке. Поезд нырнул под своды туннеля и скрылся, унося в неизвестность белоголового человека в дорогом летнем костюме. Будто из пустоты внезапно он появился и вновь провалился куда-то в пустоту. Навеки, похоже, провалился.

А неплохо, видно было, жил все эти годы Иван Рокотянский.

«Боже мой, Боже мой, какая встреча!» — думал я, стоя в ожидании поезда на пустынном перроне следующей станции. Не раз там, в Казахстане, приходило мне в голову: а вдруг судьба когда-нибудь столкнет лицом к лицу с главным виновником всего пережитого? Что я тогда сделаю? Что ему скажу?

И вот встретились. И разговаривали. И он после того как ни в чем не бывало поехал дальше по своим делам. Я должен был что-то сделать. И не сделал. Что именно сделать? Не знаю. Может быть, дать пощечину. Может быть, молча плюнуть в улыбающееся иезуитское лицо. Но и что ж с того? Меня забрали бы в милицию как

хулигана, только и всего. Давно миновало романтическое время дуэлей. Впрочем, какая там дуэль с подобными! Да и неизвестно, как отнеслись бы к нелегальному приезду в Москву… Может быть, следовало бы сказать ему пару теплых слов? Сказать вполголоса, в упор, так, чтобы разом смахнуть подленькую эту улыбочку, чтобы прохватило до кишок. Вот что нужно было сделать.

И я не сделал этого. Не сказал.

Так растеряться, так позорно растеряться, Боже мой!..

Впрочем, он и сам умолк и перестал улыбаться — видимо, понял что-то по выражению моего лица и по тому, что я при виде его сразу же поспешил покинуть вагон. Нет, не страх заставил обратиться в такое бегство, отнюдь не страх, а чувство непреодолимого физического отвращения к улыбающемуся, довольному жизнью мерзавцу. Просто ни секунды больше не мог я оставаться рядом с ним. Я бежал, как бегут от ядовитой змеи.

А сколько разоблаченных доносчиков и клеветников ныне преспокойно живут и поживают, и все при встрече раскланиваются с ними, приветливо улыбаются, руку жмут. Бойкот и остракизм по отношению к таким личностям не приняты

в советском обществе. Чего там! Литературовед Я. Эльсберг, в свое время погубивший не одного писателя и официально разоблаченный литературной общественностью, сейчас — почтенный, уважаемый автор. Я читал в «Литературной газете» его пространные статьи о коммунистической морали, о новом человеке. Товарищ ходит с поднятой головой: он проявлял бдительность, хвала ему.

А мало ли у нас таких эльсбергов?

Только у одного Александра Фадеева[42] хватило порядочности и мужества застрелиться, когда начали возвращаться из тюрем и лагерей реабилитированные писатели — те, кто уцелел, — арест которых в свое время он вынужден был санкционировать в качестве генерального секретаря Союза писателей.

Александр Дюма написал бессмертный роман о том, как невинно осужденный расправляется после со своими клеветниками, и эту книгу будут читать еще десятки лет. Для такой расправы Дантес должен был превратиться в графа Монте-Кристо, владельца несметных богатств. Но то, о чем пишет Дюма, произошло во Франции 30-х годов XIX века, а не в Советском Союзе.

Вчерашний лагерник, политический пре-

ступник, еще не оправданный изгой, я был совершенно бессилен, беспомощен и фактически ничего не мог сделать при такой встрече.

## Фрагменты писем Д. Фибиха к матери из лагеря

*Отдел рукописей ИМЛИ, фонд 242, оп. 3, № 3, 5*

***16 мая 1944 г. Бурма. Караганда***

Дорогая, любимая, бедная моя мамочка!

Пишу и не знаю, где ты и как ты. Прости за вынужденное молчание — обстоятельства вынуждают. Прежде всего, бесконечная благодарность за теплые вещи и передачу.

За меня не волнуйся. Самое тяжелое позади. Я здоров, духом не падаю и с надеждой смотрю на будущее. Заветное желание мое скорее попасть на фронт и доказать на деле, что я настоящий советский русский человек, патриот, готовый, если нужно, жизнь отдать за великую мать-Россию.

Не думайте обо мне плохо и знайте, что я тоскую без всех вас и люблю вас. Всей душой. А, в сущности говоря, то, что я пережил за этот год и узнал, неизмеримо обогатило меня как писателя и человека.

***30 октября 1944 г. Бурма***

Мамочка родная!

Получил от тебя два письма (с переводом). Спасибо, дорогие, но лучше потратить эти деньги на посылку. Мне требуются: сухари, жиры, сахар, сгущенное молоко. Из вещей: рукавицы, шарф, теплые носки и портянки, 1–2 смены тепл. белья, хорошо бы ватные штаны, свитер или суконную куртку, полотенце, 1–2 носовых платка. Очень нужны бумага (письменная и курительная), трубка, карандаши, иголка, нитки, расческа. Вкладывайте в каждое ваше письмо хоть бы по листку бумаги. Если можно, пришлите гр. 300–400 легкого табаку.

Вот уже три месяца на положении полубольного. Чувствую себя лучше. Духом бодр, надеюсь на лучшее будущее. Послал в Москву заявление, где прошусь на фронт, но ответа нет. Очевидно, и не будет. Что же, может, это и к лучшему — так суждено. Усиленно думаю над будущими книгами — план их в голове вполне готов. Но удастся ли реализовать эти планы?

***8 февраля 1945 г. Бурма***

Родная моя!

Вчера, 7-го февраля у меня был большой праздник. Пришла долгожданная прод. посылка. Дежурный надзиратель вскрывал посылку на почте в моем присутствии. Только лук померз,

но зато стал сладким. Сейчас я пирую. Конечно, кое-чем пришлось поделиться с окружающими, с влиятельными лицами — старостой, с дневальными в бараке. В особенности, поделиться папиросами, но большая часть продуктов в моем полном распоряжении.

Чувствую себя прилично. Спасибо врачам за их внимательное человечное отношение. Во многом они идут мне навстречу, прекрасно учитывая характер моего недуга. Не волнуйся, мамочка, инвалидность моя временная.

Очень мне хочется работать по-настоящему, по-серьезному. Тема ближайшей книги не только вполне созрела, но я ее могу писать хоть сейчас. Если бы я не пережил всех этих последних лет — арест, тюрьма и лагерь, — я бы, мне кажется, не мог задумать такую книгу. Бессонными ночами, лежа на больничных нарах и устав думать о себе, я создаю в голове не только отдельные сцены и главы этого романа, но и мысленно пишу его, фразу за фразой. Только перекладывай на бумагу. А сколько на очереди задуманных, кроме этого, книг, сколько новых тем, мыслей, идей, художественных образов…

***13 февраля 1945 г. Бурма***

…Ватную стежку у меня украли, остался в ват-

ной телогрейке. Ватные штаны постигла та же участь. Сапоги я ношу. А вторую пару — похуже — «проел» и «прокурил» по дороге. Ботинки не высылай, побереги. В шапке-ушанке проходил и лето, и зиму, она жива и сейчас. Теплой обуви нет. Единственная пара портянок и та рваная. Лук и чеснок пришлись бы кстати, но они портятся в пути.

Ты спрашиваешь о системе лечения. Дают дрожжи, витамины. Питание преимущественно овощное. Самое лучшее лекарство для меня мучные изделия, жиры, сахар, молочные изделия. До весны, видимо, буду в больнице, а там что судьба пошлет. Отношение ко мне как со стороны лагерного начальства, так и со стороны врачей самое внимательное и хорошее. Да и сейчас заключенным уделяется большое внимание, дорожат каждым человеком.

***26 июня 1945 г.***

…Отвечаю на вопросы. От фурункулов и карбункулов пока что совершенно освободился. Очки у меня украли вместе с другими вещами еще более года тому назад на этапе.

Очень нужны мне какие-нибудь башмачки, старенькие, ношеные, но целые. Мои совершенно истлели, не спасают и заплаты. Рот мой требует

капитального ремонта — за это время я потерял еще несколько зубов. Вспышек ишиаса пока не было, хотя часто приходилось спать на сырой земле.

Меня отправили на участок, на сенокос. Новое амплуа: ночной сторож при тракторах и бочек с горючим. (Кем я только не был за этот лагерный год!)

Обстановка поэтичная: акварельные закаты и яркие лунные ночи в степи. Но вся поэзия скоро кончилась тем, что меня с повышенной температурой привезли с участка в Бурму, в стационар — не тот, где я лежал раньше, а другой. Врачи нашли у меня малярию. Самое скверное то, что я снова ослабел, снова надо восстанавливать то, что уже было восстановлено. Сейчас я блаженствую: вымылся в ванной, весь наголо обрит, на мне чистое белье, я лежу на отдельной настоящей койке, покрытой свежей простыней, на мягком тюфяке, на белоснежных подушках, и, самое главное, снова получаю больничное питание. Порции такие маленькие, что почти все время чувствую себя впроголодь. Не такое питание сейчас мне требуется. Губит меня мой рост, да и силы давно уже крепко подорваны. Мне кажется, если выйду на волю, буду есть с утра до ночи.

***22 июля 1945 г.***

…лежать в больничной палате — привычное для меня состояние.

…Публика вокруг серая, но, по крайней мере, тихая, мирная — нет ни мата, ни драк, ни воровства. От скуки по вечерам рассказываю своим сотоварищам отдельные произведения Гоголя, Пушкина, Жюль Верна. Слушают с интересом. Нет ни газет, ни книг. Газеты (конечно, местные) попадают крайне редко. Говорят, в Москве и других крупных городах карточки отменены, правда ли это?

Из Москвы на три моих заявления (два Верховному прокурору и одно Берии) пока нет никакого ответа. Может быть, и к лучшему — может, это доказательство того, что занялись пересмотром моего дела.

***6 сентября 1945 г.***

…Отвечаю на твой вопрос относительно своих хворей. Кроме пеллагры или элементарной дистрофии (это одно и то же), излечение от которой требует и значительного времени, и усиленного питания, я болел малярией, а затем, когда избавился от нее, — заполучил плеврит. Лечили и лечат меня акрихином, вспрыскивают в вену кальций, пью адонис (от сердца), ставят банки.

Сейчас чувствую себя неплохо. Будет хуже — снова пойду в стационар, тот либо другой. Так мне и врачи говорят. Место для меня «забронировано».

Вещи свои я храню в картонном ящике, а ящик засовываю в рюкзак. Удобно и хорошо, не нужно и чемодана. Вещи (белье и пр.) в целости, только когда зимой водили нас в баню, у меня стащили теплый шарф и вязаные рукавицы, что ты прислала. Очень было обидно, жалко, но ничего не поделаешь. Лагерь!.. Из теплых вещей у меня меховая шапка, телогрейка, американское белье и носки, две пары портянок (твоих), брезентовые рукавицы.

В моих заявлениях в Москву, я тебе уже писал, на имя Верховного прокурора СССР послал два заявления. 1) просил освобождения как инвалид 4-й группы, совсем непригодный к труду — написано 5 апр. 45 г. 2) просил пересмотра своего дела — послано примерно через месяц-полтора. Получил на это ответ отказ, но почему-то не от Верх. прокурора СССР, а от Главного военного прокурора Красной Армии. 5-го июня написал заявление тов. Берия с просьбой аналогичного характера. Ответа пока нет. Между прочим, при аресте моем контрразведкой Степного фронта были отобраны 1500 р. денег, часы, медаль «За

боевые заслуги». Квитанции, полученные мною, в лагере украли. Но в своем «деле», еще сидя в Лефортовской тюрьме, в Москве, я видел копии этих квитанций. Где сейчас находятся эти деньги и как их получить?

***27 февраля 1946 г.***

Книжки получил — они подняли мой авторитет в глазах знакомых: настоящий, а не самозваный писатель. Даже начальство заинтересовалось и хочет поставить мою пьесу в клубе. Впрочем, сомневаюсь, удастся ли — слишком сложная для местной сцены постановка. Рыбий жир употребляю по совету, данному мне знакомыми. Крошу хлеб в миску, прибавляю соли, нарезанного сырого лука, заливаю это рыбьим жиром — получается не только съедобно, но даже вкусно.

***10 апреля 1946 г.***

Устал я, мамочка, устал безмерно. Будущее — мрак. Если бы не слабая надежда на какое-то чудо, которое рано или поздно, но должно произойти — честное слово, незачем и жить. У нас отвратительная погода: холода, дожди, бураны со снегом.

Ах, эти проклятые казахстанские зимы с сумасшедшими буранами! Как их здесь все боятся! Я

работал одно время дневальным в бараке, дверь то и дело заносило снегом выше колен — по несколько раз в день приходилось с лопатой в руках откапывать выход.

Многое хотелось бы тебе сказать, поделиться с тобой всем, что на душе. Повторяю, надежда на лучшее будущее еще во мне не угасла, хотя реальной почвы для этого как будто и нет. Все мои заявления и ходатайства перед высокими инстанциями остались гласом вопиющего в пустыне. Есть еще одна последняя инстанция — комитет Помилования при Верх. Совете, но я еще сам не решил, нужно ли мне туда обращаться.

***2 июня 1946 г.***

Мамочка, может тебе придется познакомиться с моим другом Анной Васильевной. Это очень интересная внутренне и талантливая женщина, очень жаль, что я лишился ее общества. Уверен, что ты примешь ее как родную. Она, вероятно, расскажет много интересного для тебя. (Анна Васильевна Тимирева — гражданская жена А.В. Колчака. — *Ред.*)

***23 марта 1947 г.***

…Очень хочется писать, в частности, написать одно большое, задуманное мною произведение в

трех или четырех книгах, где отобразил бы себя, свою жизненную судьбу, все пережитое, продуманное и выстраданное, все взлеты и падения своей души, но боюсь, что это так и останется только платонической мечтой. Так и уйдешь в могилу, не оставив после себя никакого следа, никакой памяти, никакого «памятника нерукотворного».

***25 апреля 1947 г.***

…Интересует меня, конечно, вопрос и о моей дальнейшей судьбе. Если раньше я рассчитывал на какое-то массовое общее для многих улучшение своей участи (и в том числе и моей), то теперь я понял, что все это детские мечты, розовые излишки. Пусть утешают себя ими те самые полуграмотные люди, которые меня окружают. А ведь верят — наивно, покорно, по-детски верят! Перемена в моей жизни — если она и произойдет — может совершиться лишь в индивидуальном порядке, как счастливая случайность, как нечто из ряда вон выходящее. Меня втянул огромный и страшный маховик, крутит и крутит по инерции и будет крутить весь полагающийся срок, пока не размолотит. Преодолеть этот закон инерции может только какой-то толчок извне, какое-то вмешательство снаружи.

...И снова, и снова, в тысячный раз встает все тот же мучительный вопрос: за что?..

***24 мая 1947 г.***

Сегодня утром у меня было маленькое неприятное происшествие. Ночью кто-то стащил из моей тумбочки «пайку» в 600 гр. — хлеб, который я приберег со вчерашнего дня. Подозреваю своего соседа — бухгалтера, в прошлом человека совершенно опустившегося. Это — в больнице! Вот тебе, мамочка, маленький штришок, рисующий здешние нравы и обстановку, в которой приходится жить.

***10 апреля 1948 г.***

Устал я, родная моя, очень устал. Больше всего угнетает и мучает меня неизвестность и неуверенность в нынешнем своем положении. Буквально не знаешь, что с тобой будет и где, на какой работе очутишься не только завтра, но через час. Будь я агроном, врач, бухгалтер, слесарь, хлебопек, сапожник — о, тогда другое дело! Тогда бы я имел постоянную работу на постоянном месте, жил спокойно, уверенный в завтрашнем дне, понемногу устраивал свой личный быт и чувствовал бы себя сравнительно неплохо, подобно многим из окружающих. Но вся беда в

том, что я не имею практически нужной здесь специальности. Моя проклятая и никчемная специальность литератора никому тут не нужна. Поэтому все время находишься в положении футбольного мяча: вот-вот чья-то нога швырнет тебя неизвестно куда.

Как я уже тебе писал, меня выдвинули в хлеборезы. Новая моя работа оказалась для меня тяжелой, беспокойной, неприятной, связанной с большой ответственностью, с бухгалтерской отчетностью. Отдыха не было ни днем, ни ночью. Помимо всех забот и неприятностей, приходилось еще остерегаться воровства. Стащить лишнюю пайку, а то и целую буханку хлеба здесь немало охотников. С одним из таких ловкачей — молодым здоровым парнем — я рассчитался как следует: за стащенную у меня с полки буханку он заплатил собственной кровью, обагрявшей, выражаясь высоким штилем, снег перед дверью хлеборезки. Не ужасайся, мамочка. В той обстановке, в которой я нахожусь, нередко приходится отстаивать свои права, подобно героям Джека Лондона, собственными кулаками. Занятия боксом в годы далекой моей юности, хоть и были они весьма непродолжительными, теперь приносят мне практическую пользу и не раз выручают.

Суровая расплата, учиненная с воришкой, сразу же стала здесь всем известна и подняла мой авторитет в глазах окружающих.

Поэтому, когда через два месяца меня, в значительной степени по моему желанию сняли с этой работы, я был почти рад.

По дороге сюда я совершенно неожиданно встретил свою приятельницу, ту, о которой писал тебе **(Мэри Капнист. — *Ред.*).** Она направлялась на новое место и снова подтвердила мне, что меня ждет большое литературное будущее (?!).

***22 ноября 1948 г.***

К Октябрьскому празднику мы приготовили большую современную пьесу, которая шла и в Москве — «Константин Заслонов» из эпохи недавней войны. Показали ее раз десять, у себя в клубе и выезжали на участки. Успех полный, исключительный. И в самом деле, если учесть наши скромные возможности — и игра, и сама постановка — весьма неплохи. Даже я выступал на сцене в роли немецкого солдата — эсэсовца. Вот не думал, не гадал стать артистом, да еще на старости лет! И представь себе, в грязь лицом не ударил. По словам моего начальства, я создал образ неповторимый, неподражаемый, типичного

немецкого солдата.

***14 декабря 1948 г.***

Обидно только до горечи, что ничем и никак не сумел я проявить себя как писатель и ушел из жизни, не оставив никакого следа, никакого творческого наследства. А ведь могу я создать нечто большое, крепкое, ценное, могу! Чувствую это, знаю это. Много задумано. Целая эпопея в три-четыре книги задумана, большое, очень большое, широкое полотно, где основным героем должен быть я сам… Но, очевидно, света этот цикл романов никогда не увидит.

***12 февраля 1949 г.***

Мамочка, не волнуйся, душечка моя дорогая, насчет моих ног. Об обморожении ног давно забыл. Не беспокойся, мамуся, ноги у меня целы, дело обошлось без ампутации, только сами собой отвалились, в результате сухой гангрены, почерневшие, как уголь, кончики больших пальцев. Но это пустяки, не стоит и говорить, ведь на фронте теряли целые ноги и руки.

В стационаре, где я лежал в свое время, отношение ко мне было самое хорошее и внимательное, врачи проявили себя прекрасно, но обмороженные ноги мои не требовали каких-либо особых

мер, чтобы их спасти.

***14 марта 1949 г.***

В чем особенно нуждаюсь — это в белье. Совсем износилось, одни лохмотья, да и тех недостаточно.

Физически я вполне здоров и бодр. Бытовые условия приличные, лучше, чем у многих других. Почти полностью расконвоирован, но живу пока еще в зоне. Барак, где помещаюсь, самый лучший. Весь день гремит радио, передающее далекую Москву. Отдельная койка, постельные принадлежности: тюфяк, одеяло, подушка. Живут здесь главным образом конторские служащие — народ приличный, тихий, солидный, интеллигентный.

Я стараюсь по мере возможности отблагодарить тех, кто поддерживает меня в трудные минуты (среди двуногих шакалов, которые в большинстве меня окружают, изредка, — и это тем более ценно — попадаются бескорыстные, добрые, чуткие люди, мои друзья), но, кроме того, приходится угощать и тех, от которых находишься в зависимости. Попробуй, получив посылку, не угостить такого человека. Сразу наживешь врага, который не упустит случая причинить тебе какую-нибудь пакость.

***2 августа 1949 г.***

Вот я и на новом месте, в новой обстановке и в новом амплуа, мамочка. Итак, я курсант. Студент. На старости лет пришлось сесть за школьную парту. Буду учиться на счетных курсах, срок учебы три месяца.

А все-таки отрадно сознавать, что больше не придется с лопатой в руках раскапывать арыки, или срубать тяпкой густейшие заросли бурьяна, или целый день под палящими лучами солнца, не разгибая спины, вырывать сорные травы. Главное, обидно было, мамочка, неужели я годен только на такую работу? Неужели я не могу принести гораздо большей пользы государству, работая в такой области, к которой я более приспособлен и которая больше соответствует и моему образованию, и моим навыкам, и моим способностям?

***11 сентября 1949 г.***

Чувствую себя в новой обстановке прекрасно. Есть перспективы, есть ради чего можно работать и жить, а это самое главное, мамочка. Живу в культурной обстановке, среди людей с интеллектуальными запросами — у одних они больше, у других меньше, — могу в свободные часы читать свежие газеты, новые книги, сплю на чистой,

полученной здесь простыне, питание по качеству значительно лучше, чем то, к какому я привык… Что еще желать? День весь заполнен, насыщен занятиями в школе, подготовкой уроков — время летит быстро. Это очень хорошо.

Иногда дают мне работу по канцелярской линии — за это получаю дополнительно хлеб.

В общем, родная, жизнь снова для меня заиграла своими красками, получила смысл и содержание.

***29 октября 1949 г.***

О будущей литературной работе я сейчас не думаю. Как и тебе, мне чудом кажется практическая возможность заниматься когда-либо такой работой. Замыслов много, и неплохих замыслов, но вряд ли удастся их осуществить. Но как бы там ни было, плохо то, что за эти годы я дисквалифицировался как писатель. Ведь всякая профессия, всякий труд, всякое ремесло требует ежедневной тренировки, чисто технической тренировки, а в особенности для литературного работника. Я же в течение многих лет фактически лишен этой возможности, что весьма грустно и что наводит меня на печальные размышления.

***20 июня 1950 г.***

Невольно вспоминается, когда я был последний раз в Москве, мой «шеф», знакомый подполковник (между прочим, он читал меня и одобрительно отзывался о моих книжках) сказал мне в беседе:

— Умный вы человек, только голова у вас дурная.

— Почему дурная? — спросил я.

— Запутались в трех соснах… Не будь войны, вы бы могли сейчас иметь Сталинскую премию.

***20 февраля 1952 г.***

Дорогая мамочка!

Я испытал в жизни все и знаю жизнь так, как никто из тебя окружающих. Хорошо ли это или плохо — вопрос другой. Я живу не на другой планете, как ты, может быть, думаешь, а на той же самой, что и вы, и жизнь нашей планеты мне хорошо известна. О том, как живет мир, я знаю из газет, из писем, получаемых мною и окружающими, от новых, недавно сюда приехавших людей. Но, кроме того, я знаю то, чего вы не знаете и чего не подозреваете — оборотную сторону жизни и оборотную, непоказную, настоящую сторону людей. Эта сторона открылась мне во всей своей неприглядности.

## Комментарии к части III

1. *Ежов* — Николай Иванович Ежов (1895–1940), советский государственный и политический деятель. Народный комиссар внутренних дел СССР (1936–1938), генеральный комиссар госбезопасности.

2. *Тухачевский* — Михаил Николаевич Тухачевский (1893–1937), с 1931 г. начальник вооружений РККА, с 1936 г. первый заместитель наркома обороны и начальник управления боевой подготовки. Маршал Советского Союза (1935). Репрессирован. В 1957 г. был реабилитирован.

3. *Блюхер* — Василий Константинович Блюхер (1889–1938), советский военный и партийный деятель, Маршал Советского Союза (1935).

4. *Луначарский* — Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933), русский писатель, публицист, издатель и первый народный комиссар просвещения СССР (1917–1929).

5. *Троцкий* — Лев Давидович Троцкий (настоящее имя Лейба Бронштейн) (1879–1940), советский партийный и государственный деятель, один из организаторов Октябрьской революции, один из создателей Красной армии.

6. *Киров* — Сергей Миронович Киров (настоящая фамилия Костриков) (1886–1934), видный деятель Коммунистической партии и Советского государства, первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б).

6а. *Лелюшенко* — Дмитрий Данилович Лелюшенко (1901–1987), советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза.

6в. *Левитанский* — Юрий Давидович Левитанский (1922–1996), русский поэт и переводчик, мастер лирического и пародийного жанров. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 1994 г.

7. *Михалков* — Сергей Владимирович Михалков (1913–2009), литератор, детский писатель, поэт, баснописец, драматург, автор гимнов Советского Союза и Российской Федерации (1943, 1977, 2001), общественный деятель.

8. *Ягода* — Генрих Григорьевич Ягода (Енох Гершенович) (1891–1938), деятель революционного движения, народный комиссар внутренних дел (1934–1936).

9. *Берия* — Лаврентий Павлович Берия (1899–1953), советский государственный деятель. Народный комиссар внутренних дел (1938–1945).

11. *Генерал Власов* — Андрей Андреевич Власов (1901–1946), советский генерал-лейтенант, перспективный советский военачальник, оказавшись в немецком плену, стал руководителем Русской освободительной армии, созданной при поддержке немцев для борьбы против СССР.

12. *Борис Пильняк* — Борис Андреевич Пильняк (настоящая фамилия Вогау) (1894–1938), русский писатель. Расстрелян в 1938 г. В 1956 г. реабилитирован.

13. *Артем Веселый* — Николай Иванович Кочкуров, писавший под псевдонимом Артем Веселый (1899–1938), русский советский писатель.

14. *Иван Касаткин* — Иван Михайлович Касаткин (1880–1938), русский писатель.

15. *Сергей Буданцев* — Сергей Федорович Буданцев (1896–1940), русский советский писатель. Участник революционных событий. В 1937 г. был арестован и приговорен к 8 годам лагерей, погиб в заключении в 1940 г. (?). Реабилитирован.

16. *Сергей Клычков* — Сергей Антонович Клычков (настоящая фамилия Лешенков) (1889–1937), русский поэт, прозаик, переводчик. В 1937 г. был арестован и расстрелян. В 1956 г. реабилитирован.

17. *Петр Орешкин* — Петр Петрович Орешкин,

крестьянский поэт.

18. *Николай Зарудин* — Николай Николаевич Зарудин (1899–1937), русский советский поэт и прозаик. Родился в семье российских немцев. В 1937 г. был арестован и вскоре расстрелян. В 1956 г. реабилитирован.

19. *Иван Катаев* — Иван Иванович Катаев (1902–1937) — русский советский писатель. Расстрелян 19 августа 1937 г. В 1956 г. реабилитирован.

20. *Борис Губер* — Борис Андреевич Губер (1903–1937), прозаик, поэт, критик. В 1956 г. реабилитирован.

21. *Давид Бергельсон* — Давид Рафаилович Бергельсон (1884–1952), еврейский советский писатель, драматург. В январе 1949 г. был арестован, а в 1952 г. расстрелян по делу Еврейского антифашистского комитета. В 1955 г. был посмертно реабилитирован.

22. *Ал. Толстой* — Алексей Николаевич Толстой (1883–1945), писатель, драматург, общественный деятель. Лауреат трех Сталинских премий первой степени (1941, 1943; 1945 — *посмертно*).

23. *Павленко* — Петр Андреевич Павленко (1899–1951), русский писатель, фантаст, киносценарист, лауреат четырех Сталинских премий первой степени (1941, 1947, 1948, 1950), депутат

Верховного Совета СССР.

24. *Георгий Березко* — Георгий Сергеевич Березко (1905–1982), русский советский прозаик, сценарист кино и мультфильмов.

25. *Лебедев-Кумач* — Василий Иванович Лебедев-Кумач (настоящая фамилия — Лебедев) (1898–1949), русский советский поэт. Лауреат Сталинской премии второй степени (1941).

26. *Исаковский* — Михаил Васильевич Исаковский (1900–1972), русский советский поэт, награжден 4 орденами Ленина.

27. *Анна Васильевна* — Анна Васильевна Тимирева (1893–1975), русская поэтесса, возлюбленная адмирала Колчака. (Урожденная Сафонова, во втором замужестве Книпер.) В 1911 г. вышла замуж за морского офицера Сергея Николаевича Тимирева. В 1914 г. у них родился сын Владимир.

Анна Тимирева и Александр Колчак познакомились в 1915 г. в Гельсингфорсе, куда перевели из Петрограда ее мужа. Рядом, вместе они пробыли менее двух лет: с лета 1918 г. по январь 1920 г. Именно в эту пору Колчак возглавил вооруженную борьбу с большевизмом, был Верховным правителем. После его гибели Анна Васильевна провела в тюрьмах, лагерях, ссылках и «минусах» в общей сложности около тридцати лет. Во вре-

мя этого периода, в апреле 1939-го осуждена по прежней статье на восемь лет лагерей и сослана в Карагандинский лагерь, где была сначала на общих работах, потом — художницей клуба Бурминского отделения.

В 1960 г. после реабилитации поселилась в Москве. Умерла на восемьдесят втором году жизни в 1975 г., похоронена на Ваганьковском кладбище.

27а. *Колчак* — Александр Васильевич Колчак (1874–1920), российский военачальник, полярный исследователь, руководитель белого движения на Востоке России в конце 1918 — начале 1920 г., адмирал (1918). Георгиевский кавалер.

28. *Володя Тимирев* — сын Анны Васильевны (род. 1914), талантливый художник. Арестован по доносу и расстрелян в 1938 г. на Бутовском полигоне. В 1956–1957 гг. реабилитирован.

28а. *Лацис* — Вилис Тенисович Лацис (1904–1966), латышский советский писатель и государственный деятель, народный писатель Латвийской ССР (1947).

29. *Мэри Капнист* — Мария Ростиславовна Капнист (1913–1993), потомственная дворянка, ведущая происхождение из рода поэта и драматурга Василия Васильевича Капниста. В августе

1941 г. была арестована.

Пятнадцать лет каторжных работ в самых дальних и страшных уголках страны. Она выстрадала столько, что любой другой человек на ее месте сломался бы, не дождавшись счастливого часа правосудия. Мария Капнист выдержала все испытания. Выдержала и нашла в себе силы заняться любимым делом. Она пришла в кино и привнесла в него своей оригинальной, выразительной внешностью то недостающее звено, о котором давно мечтали наши режиссеры. Ее облик, ее талант позволяли наиболее убедительно создавать образы графинь, дам, таинственных старух с загадочным прошлым.

В 1958 г. приговор и все последующие решения по делу Капнист М. Р. были отменены и дело о ней прекращено за отсутствием состава преступления.

30. *Герасимов* — Михаил Прокофьевич Герасимов (1889–1937), русский пролетарский поэт. Репрессирован в 1937 г.

31. *Н.П. Кончаловская* — Наталья Петровна Кончаловская (1903–1988), русская советская детская писательница, поэтесса и переводчица.

32. *Ян Гамарник* — Ян Борисович Гамарник (настоящее имя Янкель Бори́сович Пудикович)

(1894–1937), советский военачальник, государственный и партийный деятель, армейский комиссар 1-го ранга. 31 мая 1937 г. застрелился накануне неизбежного ареста. В 1955 г. реабилитирован.

33. *Томский* — Михаил Павлович Томский(настоящая фамилия — Ефре́мов) (1880–1936), советский партийный и профсоюзный деятель.

34. *Скрыпник* — Николай Алексеевич Скрыпник (1872–1933), политический деятель. В 1918–1919 гг. председатель СНК УССР, в 1933 г. заместитель председателя СНК и председателя Госплана УССР.

35. *Жена* — Ирина Владимировна Ходнева (1908–1977), последняя жена Д.Фибиха, его верный друг и помощник.

35а. *Корней Чуковский* — Корней Иванович Чуковский (настоящие имя и фамилия Николай Васильевич Корнейчуков) (1882–1969), русский советский писатель, критик, литературовед, переводчик.

36. *Савва Дангулов* — Савва Артемьевич Дангулов (1912–1989), известный советский писатель и дипломат.

37. *А. Чаковский* — Александр Борисович Чаковский (1913–1994), русский советский писатель и журналист. Герой Социалистического Труда

(1973). Лауреат Ленинской (1978), Сталинской третьей степени (1950) и Государственной премии СССР (1983).

38. *Ю. Бондарев* — Юрий Васильевич Бондарев (1924–2020), русский советский писатель.

39. *Николай Морозов* — Николай Александрович Морозов (1854–1946), выдающийся русский ученый-энциклопедист.

40. *Леонид Леонов* — Леонид Максимович Леонов (1899–1994), русский советский писатель, академик АН СССР (1972), заслуженный деятель искусств РСФСР (1949), Герой Социалистического Труда (1967).

41. *Александр Солженицын* — Александр Исаевич Солженицын (1918–2008), русский писатель, драматург, общественный и политический деятель. Академик РАН. Репрессирован в 1945 г. В 1957 г. реабилитирован. Автор первых произведений о ГУЛАГЕ. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970), Государственной премии РФ (2007).

42. *Александр Фадеев* — Александр Александрович Фадеев (настоящая фамилия Булыга) (1901–1956), прозаик, критик, теоретик литературоведения, общественный деятель.

# Приложение

*(материалы предоставлены архивными фондами ФСБ)*

**№ 1. Сопроводительное письмо отдела контрразведки Смерш о заявлении Д.В. Фибиха**[1]

6 августа 1943 г.

Совершенно секретно

*Пом. военпрокурора Степного фронта*
*гвардии подполковнику юстиции*
*тов. Великотному*

Препровождается при этом заявление арестованного Фибих Д.В. на имя прокурора Степного фронта от 23.7.1943 г., поступившее в Отдел 5.8.43 г. по прибытии арестованных к новому месту нашей дислокации.

***Начальник 4 отдела Упр[авления] к[онтр]разведки «Смерш» Степного фронта подполковник Острецов***

№ 3826/и

---

**[1] Примечания: 1**

На документе имеются резолюции: «Фибих. По жалобам мною доложено. Подпись. 12.8.43 г.», «Жалобы. Подложить к делу Фибиха. Подпись. 12.8.43 г.».

Машинопись. Автограф.

**№ 2. Заявление арестованного Д.В. Фибиха от 23 июля 1943 г.**

*Прокурору Степного фронта*
*Заявление арестованного Фибих Д.В.*

Во время посещения камеры, где я нахожусь, Вы обещали заняться моим делом в течение ближайших дней. С той поры прошел почти месяц. Прошу Вас, гражданин прокурор, вызвать меня для личной беседы и вообще поскорей заняться моим делом, тем более что в условиях тюремного режима, скудного питания (270 гр. сухарей в день и жидкая баланда) и отсутствия свежего воздуха я начинаю заметно терять силы.

Вместе с тем заявляю: поняв свою вину и с первых же дней следствия став на путь чистосердечного признания, я рассказал буквально все, что знаю. Больше прибавить я не в состоянии, даже если бы мне пришлось просидеть в полевой тюрьме целый год. Врагом советской власти и тем более троцкистом я никогда не был, свидетельством чего вся моя жизнь, мое политическое прошлое и моя общественно-литературная работа, как в мирное время, так и в рядах действующей Красной армии, куда я вступил добровольцем по

первому зову партии и правительства. Я не преступник, а честный советский литератор, за свою двухлетнюю боевую работу на фронте, на передовых позициях, в качестве писателя-агитатора, писателя-бойца, награжденный правительственной наградой. Враждебной пропаганды я не вел, никакой антисоветской литературы не хранил и не распространял, с троцкистской организацией никогда в жизни не был связан.

Вся моя вина в том, что я вел, исключительно для личного употребления, дневник, в котором, среди других записей, были отдельные антисоветские высказывания, отнюдь не носившие злостного характера, а явившиеся результатом моего недопонимания окружающих событий и желаньем объяснить их «своим умом». Ни с кем из окружающих меня я этими соображениями не делился. В этой своей вине, за которую уже понес достаточно суровое наказанье, я глубоко раскаиваюсь.

Прошу поскорей закончить мое дело и, если это возможно, направить меня на фронт, чтобы я мог на деле доказать, что я действительно советский патриот. Если же мою просьбу по каким-либо причинам удовлетворить нельзя, прошу дать возможность честно поработать в тылу на благо

Родины.

Я уже два месяца в заключении. Не такое сейчас время, чтобы бездельничать и даром есть государственный хлеб.

***Д. Фибих***

23 июля 43 г.

Рукопись. Автограф.

**№ 3. Заявление арестованного Д.В. Фибиха от 7 августа 1943 г.**

*Прокурору Степного фронта*
*Заявление арестованного Фибих Д.В.*

Свое заявление на Ваше имя, гражданин прокурор, от 23 июля с.г. дополняю следующим.

Я убежден в проницательности и справедливости советского правосудия и верю, что следствие поймет, наконец, что перед ним не сознательный преступник, а человек, заблуждавшийся и запутавшийся в своих умозаключениях, ложность и политическую вредность которых он давно уже осознал. Сейчас у меня одно лишь горячее желанье: полностью реабилитировать себя как гражданина и как писателя и, оставаясь в рядах Красной армии, на деле доказать свою преданность Родине. Тяжело и обидно покидать действующую армию именно в момент реша-

ющих боев. Но если это для меня неизбежно, убедительно прошу дать мне возможность в течение ближайших двух-трех месяцев написать книгу, тема и содержание которой явились как результат всего того, что я пережил, узнал и продумал за эти страшные для меня дни. Идея задуманной повести заключается в ее названии «Человек рождается вторично» — это идея искупления вины, настоящего патриотизма.

Работу такого рода я расцениваю как выполнение своего прямого гражданского долга, т. к. глубоко убежден в актуальности и большом общественно-политическом значении такой книги.

Одновременно прошу Вас, гражданин прокурор, скорее решить мое дело в ту либо иную сторону. Я сижу в полевой тюрьме уже третий месяц. Здоровье мое подорвано, я с каждым днем все больше теряю силы. Достаточно сказать, что во время пешего этапа из с. Рыкань до железнодорожной станции Трехсвятское я два раза падал, потеряв сознанье, и только с большим трудом преодолел эти 15 км.

***Д. Фибих***

7авг[уста] [19]43 г.

Рукопись. Автограф.

**№ 4. Сопроводительное письмо начальника Лефортовской тюрьмы о заявлении арестованного Фибиха Д.В.**[2]

Сов. секретно
Начальнику следотдела
ГУКР «Смерш» НКО
полковнику тов. Леонову
*№ 3741*
*от 16 сентября 1943 г.*

При этом препровождается заявление заключенного Фибих Даниила Владимировича, 1899 года рождения, гор. Кола, до ареста — писатель Союза сов[етских] писателей. Числится за ГУКР «Смерш» НКО. Обвиняется по ст. 58–10 ч. 2 УК РСФСР.

Заявление адресовано начальнику тюрьмы.

Приложение: упомянутое.

***Начальник Лефортовской тюрьмы НКГБ СССР подполковник госбезопасности Ивашко***
***Секретарь ст. лейтенант госбезопасности Малинин***

---

**[2] Примечания: 2**

Документ исполнен на бланке Лефортовской тюрьмы, имеет делопроизводственные реквизиты, штамп секретариата ГУКР «Смерш» о получении документа 16.09.1943 г., а также резолюции: «6 отдел. Коваленко. Подпись. 27.9.43 г.», «Доложено. В дело. Подпись».

Машинопись. Автограф.

**№ 5. Заявление Фибиха Д.В. от 15 сентября 1943 г.**

*Начальнику Лефортовской тюрьмы*
*от заключенного Фибих*
*Даниила Владимировича, камера № 134*

*Заявление*

Находясь около четырех месяцев в тюрьме под следствием, из них два с половиной месяца в полевой тюрьме на фронте, в настоящее время я чувствую себя сильно истощенным и силы свои подорванными. Поэтому обращаюсь с убедительной просьбой разрешить моей жене Карп-Фибих Берте Яковлевне, проживающей: гор. Москва, Тверской б[ульвар], д. 25, кв. 3, приносить мне передачу (продовольствие и табак).

***Д. Фибих***

15 сент[ября] [19]43 г.

Рукопись. Автограф.

**№ 6. Сопроводительное письмо начальника Лефортовской тюрьмы о заявлении арестован-**

**ного Фибиха Д.В.**[3]

Сов. секретно

Начальнику следотдела ГУКР «Смерш» НКО полковнику тов. Леонову

*№ 3892*

*от 25 сентября 1943 г.*

При этом препровождается заявление заключенного Фибих Даниила Владимировича, 1899 г. рождения, гор. Кола, до ареста — литератор, Союз советских писателей. Числится за ГУКР «Смерш» НКО. Обвиняется по ст. 58–10 ч. 2 УК РСФСР.

Заявление адресовано начальнику тюрьмы.

Приложение: упомянутое.

***Начальник Лефортовской тюрьмы НКГБ СССР подполковник госбезопасности Ивашко***

***Секретарь ст. лейтенант госбезопасности Малинин***

Машинопись. Автограф.

**№ 7. Заявление Фибиха Д.В. от 24 сентября 1943 г.**

---

**[3] Примечания: 3**

Документ исполнен на бланке Лефортовской тюрьмы, имеет делопроизводственные реквизиты, штамп секретариата ГУКР «Смерш» о получении документа 25.09.1943 г., а также резолюции: «6 отдел. Коваленко. 20.09.43 г. Подпись».

*Начальнику Лефортовской тюрьмы*
*от заключенного*
*Фибих Даниила Владимировича,*
*камера № 134*

Во время моего ареста 31 мая с.г. у меня были отобраны следующие ценности: деньгами 1500 (тысяча пятьсот) руб., ручные часы и медаль «За боевые заслуги» за № 232935. Все это находится в полевой тюрьме Степного фронта (Действующая] а[рмия], войсковая часть п/п 93241), где я находился до перевода моего в Москву, в Лефортовскую тюрьму.

Прошу вышеуказанные ценности перевести из полевой тюрьмы сюда, в Лефортовскую тюрьму.

При сем прилагаю №№ полученных мною на эти ценности квитанций: № 2, № 5, № 7.[4].

***Д. Фибих***

24 сент[ября] [19]43 г.

Рукопись. Автограф.

**№ 8. Сопроводительное письмо начальника Лефортовской тюрьмы о заявлении арестован-**

---

**[4] Примечания: 4**
Последний абзац заявления зачеркнут.

**ного Фибиха Д.В.**[5]

Сов. секретно
Начальнику следотдела
ГУКР «Смерш» НКО
полковнику тов. Леонову
*№ 4412*
*от 26 октября 1943 г.*

При этом препровождается заявление заключенного Фибих Даниила Владимировича, 1899 г. рождения, гор. Кола, до ареста — писатель. Числится за ГУКР «Смерш» НКО. Обвиняется по ст. 58–10 ч. 2 УК РСФСР. Заявление адресовано в Ваш адрес.

Приложение: упомянутое.

***Начальник Лефортовской тюрьмы НКГБ СССР подполковник госбезопасности Ивашко***
***Секретарь ст. лейтенант госбезопасности Малинин***

Машинопись. Автограф.

**№ 9. Заявление Фибиха Д.В. от 25 октября**

---

**[5] Примечания: 5**

Документ исполнен на бланке Лефортовской тюрьмы, имеет делопроизводственные реквизиты, штамп секретариата ГУКР «Смерш» о получении документа 26.10.1943 г., а также резолюции: «Шишовой. Передать следователю. 28.10. Подпись», «6 отдел. Коваленко. 30.10. Подпись».

**1943 г.**

*Начальнику следственной части*
*Заявление*
*Заключенного Фибих*
*Дан[ишла] Влад[имировича],*
*Лефортовская тюрьма, камера № 134*

Находясь под следствием вот уже пять месяцев, из них около трех месяцев в жестких условиях полевой тюрьмы, я в настоящее время по состоянию своего здоровья крайне нуждаюсь в дополнительном питании.

Прошу разрешить мне получать продовольственную передачу от моей матери Евгении Ниловны Фибих или от жены Берты Яковлевны Карп, проживающей — Тверской бульв[ар], д. 15, кв. 2[6].

***Д. Фибих***

25.10.43
Рукопись. Автограф.

**№ 10. Сопроводительное письмо Отдела учета и регистрации заключенных Карагандинского ИТЛ о заявлении заключенного Фибиха Д.В.***

*1-й спецотдел НКВД СССР*

---

**[6] Примечания: 6**
Так в тексте.

*г. Москва*

При этом направляем заявление з/к Фибих Даниила Владимировича, осужден[ного] Особ[ым] Сов[ещанием] НКВД СССР 4/ХИ-43 г. по ст. АСА на 10 лет.

***Зам[еститель] нач[альника] ОРЗ Карлага НКВД майор госбезоп[асности]***
***Меркулов***
***Врид нач[альника] 4 отд[еления] Глезер***

Рукопись. Автограф.

**№ 11. Заявление заключенного Фибиха Д.В. от 30 мая 1945 г.**

*Москва*
*Народный комиссариат внутренних дел СССР*
*Народному комиссару внутренних дел гр-ну Л. Берия*

*Прошение*
*з/к Фибих Даниила Владимировича*
*л/д 272483, Сев. Казахстан,*
*Карагандинская обл.,*
*10-е Бурминское отделение Карлага НКВД*

Я писатель-фронтовик, член Союза советских писателей, многолетний сотрудник «Известий

Верховного Совета», автор ряда художественно-беллетристических книг и пьес. Последняя моя пьеса «Снега Финляндии» (на тему о войне с белофиннами) шла в первые дни Великой Отечественной войны на московской сцене и заслужила полное одобрение со стороны «Правды» и др[угих] центральных газет. Когда грянула война, я, повинуясь долгу советского патриота, русского человека, сразу же поступил добровольцем в ряды Действующей Красной армии в качестве простого бойца. Два самых тяжелых, напряженных года, когда гитлеровские полчища угрожали Москве и Ленинграду, когда шла великая битва за Сталинград — провел я на фронте. Работая в дальнейшем в качестве писателя при газетах 1-й Ударной и 53-й армий, я не прятался в тылу, а три четверти своего времени проводил на линии огня, вместе с героическими нашими бойцами и командирами, и не раз смотрел смерти в глаза. Был контужен. Получил правительственную награду: медаль «За боевые заслуги».

1-го июня 1943 г., находясь на фронте под г. Воронежем, я был арестован контрразведкой Степного округа. Мне было предъявлено обвинение по ст. 58 п. 10 УК. В результате длительного следствия по моему делу Особое совещание при

НКВД СССР (в Москве) приговорило меня к 10-ти годам заключения в исправительно-трудовых лагерях, без конфискации имущества и без поражения в правах. (Постановление ОСО от 4 дек[абря] 1943 г.) Обвиненье, предъявленное мне, заключалось в следующем.

Будучи на фронте, я в силу многолетней профессиональной привычки вел дневник, в котором отражал свои переживания и свое участие в великой освободительной войне. В этом дневнике, среди других, нашли место отдельные записи, вызванные моментами моей душевной депрессии, в связи с первоначальными успехами врага на нашем фронте, критика действий отдельных командиров, слабой дисциплины, а также временами недопонимание общеполитического и международного положения. Это были случайные, наскоро записанные, может быть, не всегда удачные по форме личные записи, отражающие душевную боль, сомнения и тревоги человека, беззаветно любящего свою страну, советского патриота, не на словах, а на деле доказавшего свою преданность правительству и Родине, которая подверглась в то время такому грозному историческому испытанию.

Категорически заявляю, что ни с кем из окру-

жающих разговора на эти темы не вел, ни с кем сомнениями своими не делился, дневника своего никогда никому не показывал и, мало того, вообще даже не говорил, что веду дневник. Никогда в жизни я не занимался антисоветской агитацией, да и не мог ею заниматься, будучи по своему внутреннему складу, по убежденьям настоящим советским человеком. Подтвержденьем моих слов могут служить имеющиеся в деле свидетельские показания, а также решение военного прокурора Степного округа, который, детально изучив материалы следствия и отправляя меня на дальнейшее доследование в Москву, заявил мне, что снимает обвиненье в антисоветской агитации, но оставляет пункт «храненье контрреволюционной литературы», очевидно подразумевая под этим мой дневник. Не знаю, может ли вообще предназначенная исключительно для личного пользования рукопись рассматриваться как литература, да еще контрреволюционная.

Всей своей жизнью и многолетней общественно-литературной работой я доказал, что являюсь честным советским гражданином, беспартийным большевиком — звание, которое я всегда носил с гордостью. Никогда до сего времени я не

был ни под судом, ни под следствием, никогда не подвергался никаким административным репрессиям. Сразу же после потрясающей речи товарища Сталина от 3 июля 1941 г. я добровольцем пошел на фронт, чтобы с оружием в руках защищать свою социалистическую родину. Мог ли это сделать человек, настроенный антисоветски?

Находясь в заключении, дважды я подавал в высшие инстанции заявления с просьбой отправить меня на фронт, но ходатайства мои были отклонены.

Вот уже третий год, как я отбываю наказанье. В первый же день моего прибытия в лагерь меня расконвоировали. В дальнейшем, помимо участия в общих работах, я работал в качестве учетчика, вел и веду культурно-просветительскую работу при клубе 10-го Бурминского отделения. Не подвергался никаким дисциплинарным взысканьям.

Однако в настоящее время в результате фронтовой контузии и лагерного режима силы мои и здоровье окончательно подорваны. Около года (т. е. половину срока, проведенного мною в заключении) я пролежал в стационарах Карабаса и Бурмы и в данный момент являюсь инвалидом

4-й группы, совершенно непригодным к труду. Актирован.

Сейчас, после победоносного окончания Отечественной войны, в эти радостные дни всенародного ликования, мне вспоминаются слова московского военного прокурора, сказанные им во время беседы со мной в Бутырской тюрьме, после того, как следствие по моему делу закончилось: «Время сейчас напряженное. Кончится война — и на ваше дело посмотрят другими глазами».

Мне думается, что уже настало время взглянуть другими глазами на меня и на мой злополучный дневник.

Решительно отвергая обвиненье в антисоветской агитации, прошу рассмотреть мое дело и дать мне возможность вновь почувствовать себя полноправным свободным советским гражданином, вложившим частицу и своей жизни в великое общенародное дело разгрома германского фашизма. Прошу дать мне возможность вернуться к своей семье, которая бы на первых порах поддержала меня материально и помогла бы хоть частично восстановить утраченные силы и здоровье, с тем, чтобы в дальнейшем я снова мог стать полезным членом социалистического

общества.

Добавлю еще, что в деле имеется мое признанье в своей виновности, но это не только не соответствует, но и противоречит действительности.

***Д. Фибих***

# Иллюстрации



*Д. Фибих гимназист*



*Родители Д.В. Фибиха: Евгения Ниловна и Владимир Емельянович*



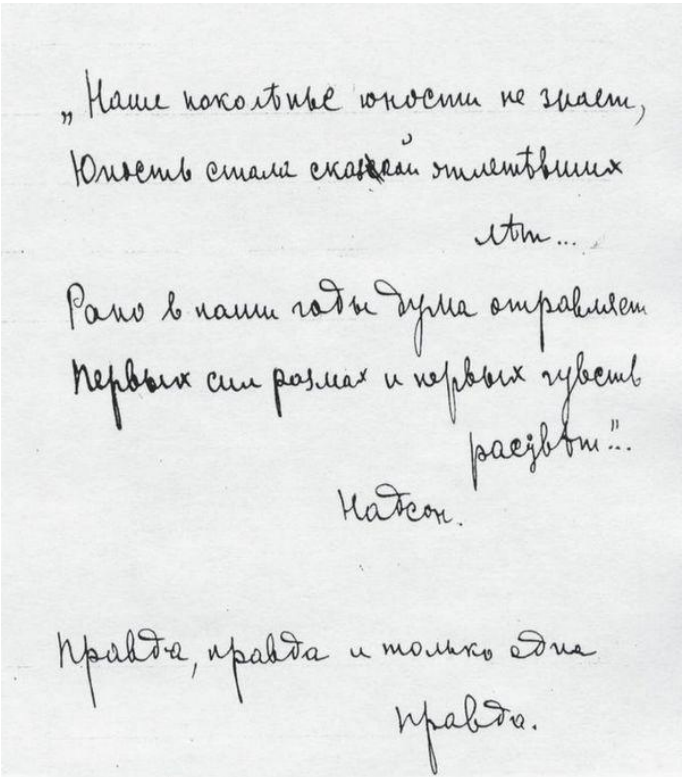
*Дети семьи Фибих: Даниил, Ксения, Виктор, Аркадий. 1910 г.*



*Д. Фибих. Нижний Ломов, 1909 г.*


1915

*Д. Фибих. Пенза, 1915 г.*


„Наше поколѣніе юности не знаетъ,
Юность стала сказкой элегическихъ
лѣтъ...
Рано в наши годы душа отравляетъ
Первыхъ сил разлад и первыхъ чувствъ
расцвѣтъ"...
Надсон.

Правда, правда и только одна
правда.

*Эпиграф к дневнику 1914 г.*



*Д. Фибих с женой Александрой. 1914 г.*



*Д. Фибих с женой Александрой. 1927 г.*



*Семья Фибих: бабушка Александра Дмитриевна, Александра, Евгения Ниловна, Кира, Ксана, Даниил. 1928 г.*



*Д. Фибих. 1931 г.*



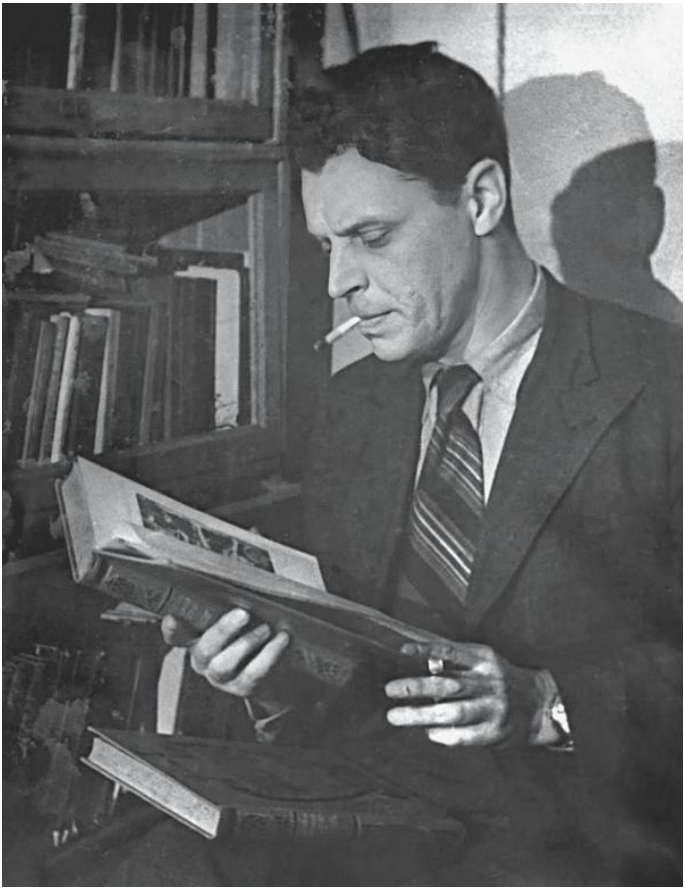
*Дочь Д. Фибиха Кира с матерью. 1933 г.*



*Дочь Кира. 1939 г.*



*Д. Фибих. 1940 г.*



*Д. Фибих. 1940 г.*

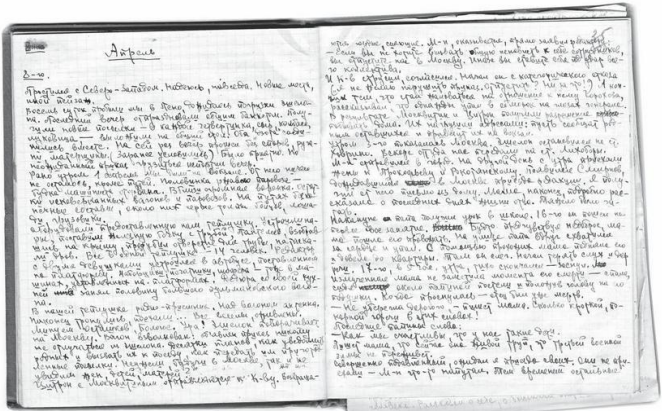
Глупое, но комфортабельное. Ничего не понимаю. Больше разговаривают в комнате (правда, она [illegible] маленькая, лишь на одну семью), чем [illegible] на улице.

Дальше [illegible] не фронте. Это то, что совершенно необходимо в передовой армии.

3-го.

Просыпаюсь рывком, с нашим изумительным. 2-го утром весенним [illegible]. Маленькая комната розовато, падает нежный сверху, [illegible] оранжевые у изб Урусовки. Снова замешкаю в наших увеличенной серии напольных мешков и [illegible], кружевное [illegible], пропавших в суп. Хаджиевец, окутанный мокрого мешковину. Красивый, сверкающие темными [illegible], серые, уходящие много чьими-нибудь. Блестящие, веселые глаза. Весной или весь вопросительно! Снова пожимаю плечами, обычно [illegible]. Идут... Наша артиллерия [illegible]. Идут... Мимо нашего [illegible] в тыл. Пешие, [illegible] пушки. Снова, за поворотом нашей [illegible] у двора бомбежки: „Осторожно! Мины!" Нежно [illegible] запорожец — синие кепи.

Минуты [illegible] орудий разных. Звание орудию. Конечно, [illegible], [illegible] и мягкое не будет создано, [illegible] парового. Длинное [illegible] ремонтное [illegible] и на каждой из них — уродливый, окрашенный в белое, наш танк. А всюду [illegible] наши мы не ожидаем говорящего на [illegible] танка. Орудия [illegible] во дворе [illegible] нашими много пленных немцев. Готовятся [illegible] по Врагу. В [illegible] отправляется в Феодосию Ермошкино (кафе-чей, так), где больше разговаривается наша [illegible], немцев отвезли в 10-ти километрах. Пленные, капитан не [illegible], сопротивления не [illegible] врага. Видим знакомые лица: наши [illegible] не [illegible]. Эпизод без комментария. Разговор [illegible] — наш немец объясняется с [illegible]. Разговор [illegible] разведку в [illegible] [illegible] дворе. [illegible] нужное объяснение в [illegible] [illegible] мне. Не [illegible] расположение [illegible] не [illegible]. Весело [illegible] Завязываем [illegible] не [illegible] не [illegible]. Говорят, что [illegible] [illegible] [illegible]



*Страницы дневника 1942 г.*



*Д. Фибих. 1942 г.*

Дорогой моей девочке
от папки-фронтовика.
Помни и не забывай!



фронт.
1943 год.



*Д. Фибих. 1943 г.*

СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ

# НА РАЗГРОМ ВРАГА

ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ГАЗЕТА

№ 44 (208) Среда 4 марта 1942 г.

*„Теперь судьба войны будет решаться на таком преследующем моменте, как момент внезапности, а постоянно действующими факторами: прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, организаторские способности начальствующего состава армии".*

(Из приказа Народного Комиссара Обороны от 23 февраля 1942 года).

## Смело преодолевать узлы сопротивления врага!

## Громить фашистов днем и ночью!

### ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА АТАКИ

Политическая подготовка атаки тесно связана с ее общими, как и тактическими ее подготовкой. Так как атака предполагает серьезные политические задачи, так атакующие подразделения было удобнее сформировать с наименьшим своей боевой силы.

Атака требует от каждого бойца большого напряжения материальных, особенно, энергии и решительного отношения к делу. Вот почему в качестве политического подготовительного мероприятия обязательно должно быть, чтобы бойцы его подразделения объяснили этими качествами каждого красноармейца.

Бойцам и командирам должна быть ясна задача, которую они должны выполнить в предстоящем бою. Они должны знать, какой участок местности, какой рубеж противника они должны занять, какие огневые точки они должны уничтожить.

Политработник должен помочь командиру в организации боевого взаимодействия. Он должен помочь командиру и красноармейцам с минимальными потерями пробраться через минные поля.

Нужно подготовить бойцов идейно, в духе, в повышенной встрече их с вражеским танком, напомнить о методах борьбы с ними, рассказать о приемах, эффективно борьбы с ними на отдельных группах истребителей вражеских танков.

Политработник обязан помочь командиру и в организации материально-технического обеспечения боя. Он должен помочь командиру в организации боевой разведки, в организации боевого охранения, снарядов с противником, с которым придется встретиться в ходе боя

*Газета «На разгром врага». 1942 г.*





*Западный фронт. 1941 г.*



*Д. Фибих уезжает на фронт. 1942 г.*

## И СОСТАВ СЕМЬИ

Центральное адресное бюро ФОС РСФСР

| Степень родства | Фамилия, имя и отчество | Год рождения | Место рождения | Место жительства, работы и должность |
|---|---|---|---|---|
| Отец | Фибих Владимир Емелья | 70-л. | Не знает | Умер. 1943 г. |
| Мать | Фибих Евгения Николаев | 1888 | Великие Луки | Краснопресненская ул. Хрущевский пер. д. 3 кв 1 |
| Жена (муж) | Корте – Фибих Берта Яковлевна | 1915 | Одесса | Тверской бул. дом №5 кв 3. |
| Дети | Совченко Кира Даниловна | 1935 | [illegible] | г. Тюмень Бан. АССР |
| Братья, сестры | Фибих Аркадий Владим | 1903 | г. Нижние Мамонт. Немецкой респ. | На юго-восток Фронте Вал. Врач. |
| | Фибих Виктор Владим | 1905 | — " — | Москва Краснопресненская ул. Хрущевский пер д. 3 кв 1 |

Место для фотокарточки




Отпечаток указательного пальца правой руки

(при отсутствии его последующего пальца — с соответствующей пометкой). Пальцевый узор должен быть ясным и полностью прокатанным (от одной кромки ногтя до другой)



Личная подпись (арестованного) Ф. Фибих

ФОТОГРАФИРОВАНО
ДАКТИЛОСКОПИРОВАНО
1-го Спецотдела НКВД СССР

*Анкета арестованного*

Упр. К. Разведки Смерш СВО

~~НКВД СССР~~

~~Особый отдел~~

Центральный архив ФСБ РФ

# ОРДЕР № 4

Июня 2 дня 1943 г.

Выдан Нач. 4 отд. Управления К. Разведки Смерш СВО

тов. Остроухову

на производство Ареста и обыска Фибих Данила Владимировича.

адрес 53 армия.

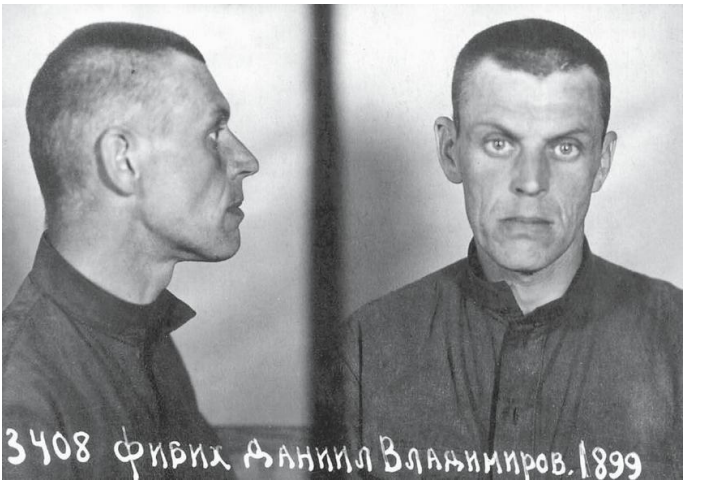
Место для печати

Начальник ~~Особого~~ отдела Разведки Смерш СВО полковник.

Нач. отделения опер. учета Упр. К. Разведки Смерш СВО. капитан

СПРАВКА: Арест санкционирован Военным прокурором СВО тов. Отдаюновым.

*Ордер на арест Д.В. Фибиха. 1943 г.*




*Фотография из следственного дела*

СССР

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ВИДОМ НА ЖИТЕЛЬСТВО НЕ СЛУЖИТ
ПРИ УТЕРЕ НЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ

8-АА

# СПРАВКА № Е 0025164

2 I 1953

Выдана гражданину (ке) Фибих Даниилу Владимировичу

1922 года рождения, уроженцу (ке) г. Кола Мурманской области

гражданство (подданство) СССР национальность русский

осужденному (ой) Особым Совещанием при МВД СССР

«4» XII 1953 г. по ст.ст. 58 10 ч II УК РСФСР

к лишению свободы на 10 лет с поражением в правах на — года, имеющему (ей) в прошлом судимость не судим

в том, что он (она) отбывал (ла) наказание в местах заключения МВД по «2» VI 1953 г. и по отбытии срока наказания

С применением

Освобожден (на) «2» VI 1953 г. и следует к избранному месту жительства г. Владимир (город, село, деревня, область)

до ст. Владимир жел. дороги.



Печать

Начальник лагеря (ИТК)

Нач. Отдела (части)

*Справка об освобождении Д.В. Фибиха. 1953 г.*



*Кира, Маша, Евгения Ниловна. 1951 г.*

Роль сберегательной традиционна в деле дальнейшего развития народного хозяйства СССР

*Под игом капитала*

ТАК ЖИЛИ СТУЛЬЯНЕ. ДЕТИ



## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КОММЮНИКЕ

Московского Совещания европейских стран по обеспечению мира и безопасности и Европе

## В агитпункте поселка



## ВЕЛИКИЕ ПРАВА СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНИНА

### Большая семья

### На широкой дороге к знаниям

Издается с июня 1924 года

№ 181 (6918) ДЕКАБРЬ 4 СУББОТА 1964 года

Выходит 3 раза в неделю

# НОВАЯ ЖИЗНЬ

Органы Верхнесалдинского районного комитета КПСС районного Совета депутатов трудящихся

**Завтра наша страна отмечает День Советской Конституции.**

**Народы нашей страны встречают этот день трудовыми успехами в производстве и сельском хозяйстве. Под знаменем Конституции, под руководством Коммунистической партии советский народ уверенно идет к коммунизму!**

### Под знаменем социалистической демократии

### В ЧЕСТЬ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ

#### Трудовые подарки

#### Вперед бригада Е. Ф. Романовой

#### *Трудовая активность колхозников*

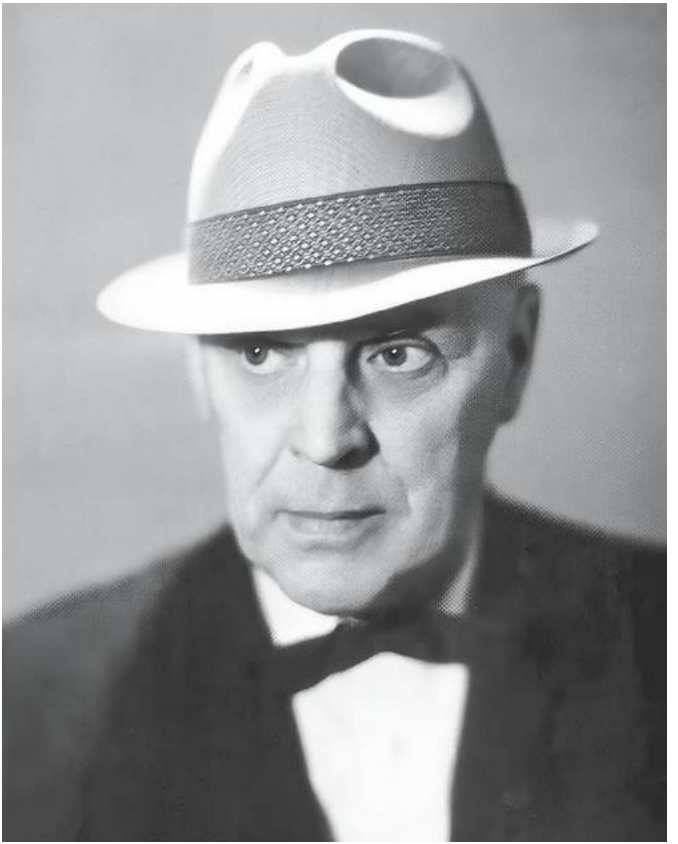
*Газета «Новая жизнь». 1954 г.*



*Д. Фибих. 1969 г.*



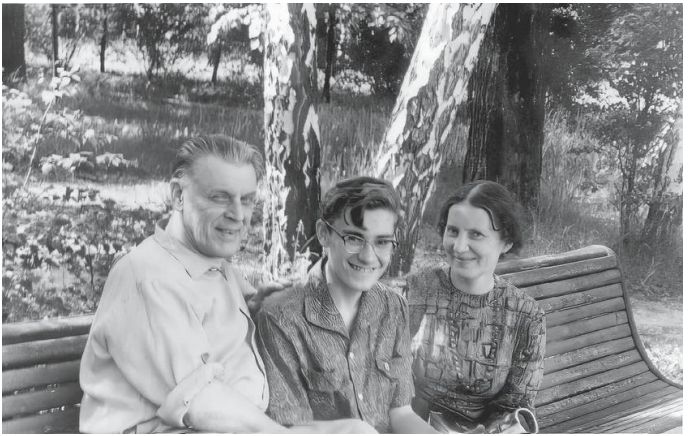
*Д. Фибих и С. Михалков. 1963 г.*



*Д.В. Фибих. Конец 1960-х гг.*



*Д. Фибих с дочерью (слева). Звенигород, 1960-е гг.*



*Д.В. Фибих с Ходневыми в Переделкино*



*Д.В. Фибих с женой И.В. Ходневой. Переделкино, 1965 г.*



*Мэри (Мария Ростиславовна) Капнист*



*М.Р. Капнист и А.В. Тимирева*

| Наименование произведений<br>Жанр<br>Выходные данные | стр. | экз. |
|---|---|---|
| Отдельные издания | | |
| ~~[illegible]~~<br>~~[illegible]~~<br>~~М.,МТП /В.Т./~~ | ~~208~~ | ~~[illegible]~~ |
| 1926 год | | |
| Святыни.Повесть.<br>Л."Прибой". | I30 | |
| 1927 год | | |
| Апельсиновые гетры.Повести и рассказы.<br>М.,МТП | 207 | 4.000 |
| 1928 год | | |
| Святыни.Повесть.<br>М.,Гудок | I26 | 40.000 |
| Угар.Роман. в 2 ч.<br>Харьков,"Пролетарий". | 336 | 5.000 |
| Страна гор.Очерки Дагестана.<br>М.Л.ГИЗ | I52 | 5.000 |
| 1929 год | | |
| Камни.Рассказы.<br>М."Огонек" | 44 | 30.000 |
| 1930 год | | |
| Поворот.Пьеса в 3 д.<br>М.Л."Зиф" | 56 | 9.000 |
| Поворот.Пьеса в 3 д.<br>М.Л."Зиф" | 58 | 20000 |
| 1931 год | | |
| Гон.Пьеса в 3 д.<br>М.Л.ГИХЛ | 48 | I5.000 |
| Фибих Д.,Берестинский М.<br>Звонкий ключ.Драма в 5-ти дейст. и8 карт.<br>М.,"Федерация" | 96 | 6.000 |
| Киноварь на золоте.<br>М.МТП | 82 | I5.000 |

По следам жизни.Очерки.
М.,"Федерация" 256 I0.000

I932 год

Дикое мясо.Рассказы.
Изд."Моск.т-во писателей" I08

I940 год

Семилетняя война.
М."Воениздат" 68

I94I год

Фибих Д.,Куприянов И.
Снега Финляндии.Пьеса в 3-х дейст.
М.Л."Искусство" 83 5.000

П е р и о д и к а

Люди,сталь,золото.
ж."Новый мир",№ 9 I78-I86

I934 год

Фибих Л.,Вальтман С.
Поверженные дацаны./Очерк/.
Известия,№I28 ,от 3.VI.

I935 год

Всемирный город.Очерк.
Нар.учит.

I939 год

Родная земля.Роман.Часть I-я.
Октябрь,№ I I24-I65

Родная земля.Роман.Часть вторая.
Октябрь,№2 II2-I54

I94I год

Три дня./Рассказ/.
"Смена",№2,февр. 4-6

I942 год

Проводы Каюрова.Очерк.
газ."Известия",№26 март 2

Семьи Болдано,Очерк,
"Огонек",№39,27.IX. 7

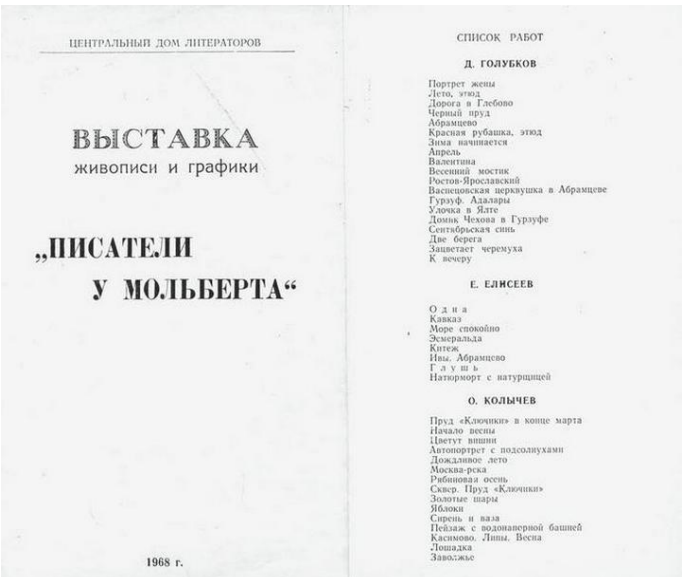
| | |
|---|---|
| У стереотрубы./Очерк/. газ."Известия",№151,30 июня | 2 |
| Гитлеровский солдат./Очерк/. газ."Известия",№ 21,27 янв. | 2 |
| Конногвардейцы./Очерк/. газ."Известия",№11,14 янв. | 2 |
| Наши девушки./Очерк/. "Огонек",№28,12.УП. | II,I5 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ СССП

З. Шакина

24/IX-60г.

*Список произведений Д.Фибиха. 1960 г.*



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ

# ВЫСТАВКА

живописи и графики

# „ПИСАТЕЛИ У МОЛЬБЕРТА“

1968 г.

СПИСОК РАБОТ

**Д. ГОЛУБКОВ**

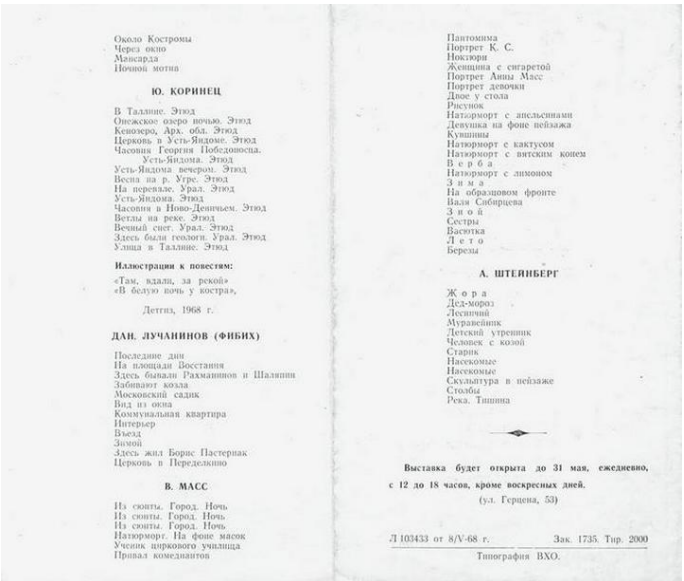
Портрет жены
Лето, этюд
Дорога в Глебово
Черный пруд
Абрамцево
Красная рубашка, этюд
Зима начинается
Апрель
Валентина
Весенний мостик
Ростов-Ярославский
Васнецовская церквушка в Абрамцеве
Гурзуф. Адалары
Уголка в Ялте
Домик Чехова в Гурзуфе
Сентябрьская синь
Две берега
Защетает черемуха
К вечеру

**Е. ЕЛИСЕЕВ**

О д и н а
Кавказ
Море спокойно
Эсмеральда
Китеж
Инь. Абрамцево
Г л у ш ь
Натюрморт с натурщицей

**О. КОЛЫЧЕВ**

Пруд «Ключики» в конце марта
Начало весны
Цветут вишни
Автопортрет с подсолнухами
Дождливое лето
Москва-река
Рябиновая осень
Сквер. Пруд «Ключики»
Золотые шары
Яблоки
Сирень и ваза
Пейзаж с водонапорной башней
Касимово. Липы. Весна
Лошадка
Заволжье



Около Костромы
Через окно
Мансарда
Ночной мотив

**Ю. КОРИНЕЦ**

В Таллине. Этюд
Онежское озеро ночью. Этюд
Кевозеро. Арх. обл. Этюд
Церковь в Усть-Ядоме. Этюд
Часовня Георгия Победоносца. Усть-Ядома. Этюд
Усть-Ядома вечером. Этюд
Весна на р. Угре. Этюд
На перевале. Урал. Этюд
Усть-Ядома. Этюд
Часовня в Ново-Деяичьем. Этюд
Ветлы на реке. Этюд
Вечный снег. Урал. Этюд
Здесь были геологи. Урал. Этюд
Улица в Таллине. Этюд

**Иллюстрации к повестям:**

«Там, вдали, за рекой»
«В белую ночь у костра»,

Детгиз, 1968 г.

**ДЛН. ЛУЧАНИНОВ (ФИБИХ)**

Последние дни
На площади Восстания
Здесь бывали Рахманинов и Шаляпин
Забивают козла
Московский садик
Вид из окна
Коммунальная квартира
Интерьер
Въезд
Зимой
Здесь жил Борис Пастернак
Церковь в Переделкино

**В. МАСС**

Из сюиты. Город. Ночь
Из сюиты. Город. Ночь
Из сюиты. Город. Ночь
Натюрморт. На фоне масок
Ученик церковного училища
Привал комедиантов

Пантомима
Портрет К. С.
Ноктюрн
Женщина с сигаретой
Портрет Анны Масс
Портрет девочки
Двое у стола
Рисунок
Натюрморт с апельсинами
Девушка на фоне пейзажа
Кувшины
Натюрморт с кактусом
Натюрморт с витязем копем
В е р б а
Натюрморт с лимоном
З и м а
На образцовом фронте
Валя Сибирцева
З и н а
Сестры
Васютка
Л е т о
Березы

**А. ШТЕЙНБЕРГ**

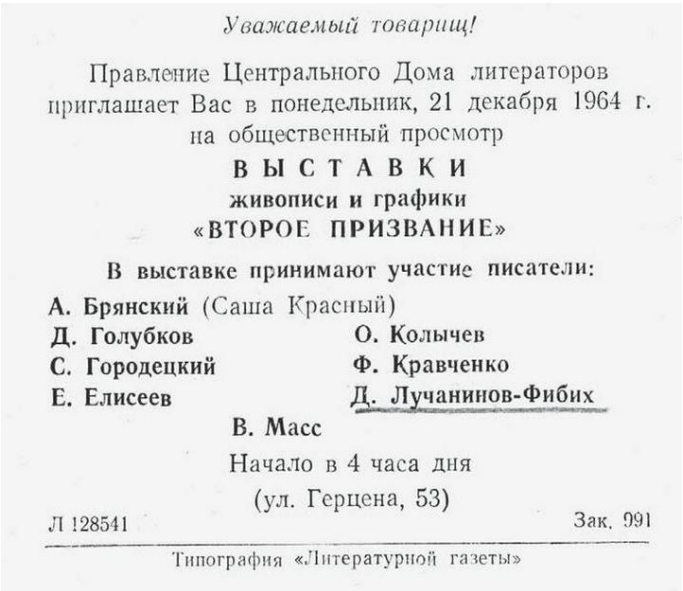
Ж о р а
Дед-мороз
Лесничий
Муравейник
Детский утренник
Человек с козой
Старик
Насекомые
Насекомые
Скульптура в пейзаже
Столбы
Река. Тишина

**Выставка будет открыта до 31 мая, ежедневно, с 12 до 18 часов, кроме воскресных дней.**

(ул. Герцена, 53)

Л 103433 от 8/V-68 г. Зак. 1735. Тир. 2000
Типография ВХО.

*Выставка «Писатели у мольберта». Список произведений. 1968 г.*



*Уважаемый товарищ!*

Правление Центрального Дома литераторов приглашает Вас в понедельник, 21 декабря 1964 г. на общественный просмотр

**ВЫСТАВКИ**
**живописи и графики**
**«ВТОРОЕ ПРИЗВАНИЕ»**

**В выставке принимают участие писатели:**

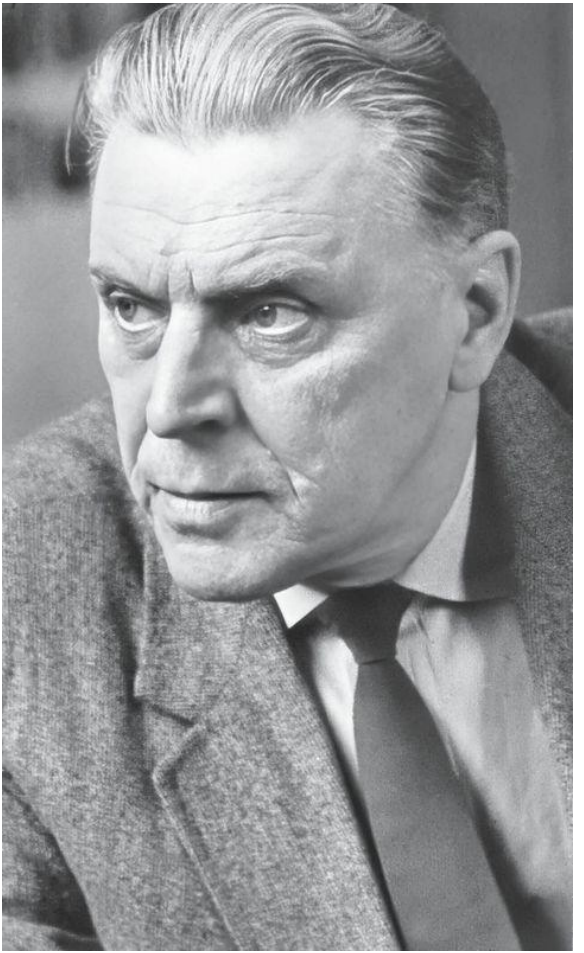
**А. Брянский** (Саша Красный)
**Д. Голубков**
**С. Городецкий**
**Е. Елисеев**
**О. Колычев**
**Ф. Кравченко**
**Д. Лучанинов-Фибих**
**В. Масс**

Начало в 4 часа дня
(ул. Герцена, 53)

Л 128541 Зак. 991

Типография «Литературной газеты»

*Пригласительный билет на выставку «Второе призвание». 1964 г.*



*Д.В. Фибих-Лучанинов*